This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

A 470686 DUPL

Library of the University of Michigan
Bought with the income
of the
Ford - Messer
Bequest

891.78
T94
O3

И. С. ТУРГЕНЕВЪ

Томъ VI.

891.77
T.94
c.3
v.6

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

И. С. ТУРГЕНЕВА

ТОМЪ VI.

Посмертное изданіе.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Глазунова, Казанская ул., 8.

1883.

Собственность Глазунова.

ПОВѢСТИ и РАЗСКАЗЫ

195005

Собствен-

Short Stories

СОДЕРЖАНІЕ

ШЕСТОГО ТОМА:

	стр.
АНДРЕЙ КОЛОСОВЪ	1
БРЕТТЁРЪ	38
ТРИ ПОРТРЕТА	98
ЖИДЪ	135
ПѢТУШКОВЪ	157
ДНЕВНИКЪ ЛИШНЯГО ЧЕЛОВѢКА	212
ТРИ ВСТРѢЧИ	277
МУМУ	315
ПОСТОЯЛЫЙ ДВОРЪ	351
ДВА ПРІЯТЕЛЯ	413—487

АНДРЕЙ КОЛОСОВЪ.

Въ небольшой, порядочно убранной комнатѣ, передъ каминомъ, сидѣло нѣсколько молодыхъ людей. Зимній вечеръ только-что начинался: самоваръ кипѣлъ на столѣ, разговоръ разыгрывался и переходилъ отъ одного предмета къ другому. Начали толковать о людяхъ необыкновенныхъ и о томъ, чѣмъ они отличаются отъ обыкновенныхъ людей. Каждый излагалъ свое мнѣніе какъ умѣлъ; голоса возвысились и зашумѣли. Одинъ небольшой, блѣдный человѣкъ, который долго слушалъ, попивая чай и покуривая сигарку, разглагольствованія своихъ товарищей, внезапно всталъ и обратился ко всѣмъ намъ (я тоже былъ въ числѣ спорившихъ) съ слѣдующими словами:

— Господа! всѣ ваши глубокомысленныя рѣчи въ своемъ родѣ хороши, но безполезны. Каждый, какъ водится, узнаётъ мнѣніе своего противника, и каждый остается при своемъ убѣжденіи. Но мы не въ первый разъ сходимся, не въ первый разъ мы споримъ, и потому, вѣроятно, уже успѣли и высказаться и узнать мнѣнія другихъ. Такъ изъ чего же вы хлопочете?

Сказавъ эти слова, небольшой человѣчекъ небрежно стряхнулъ въ каминъ пепелъ съ сигарки, прищурилъ глаза и спокойно улыбнулся. Мы всѣ замолчали.

— Такъ что-жъ намъ, по твоему, дѣлать? сказалъ одинъ

изъ насъ:—играть въ карты, что́ ли? лечь спать? разойдтись по домамъ?

— Пріятно играть въ карты и полезно спать, возразилъ небольшой человѣкъ:—а разойдтись по домамъ теперь еще рано. Но вы меня не поняли. Послушайте; я предлагаю каждому изъ васъ, ужъ если на то пошло, описать намъ какую нибудь необыкновенную личность, разсказать намъ свою встрѣчу съ какимъ-нибудь замѣчательнымъ человѣкомъ. Повѣрьте мнѣ, самый плохой разсказъ гораздо дѣльнѣе самаго отличнаго разсужденія.

Мы задумались.

— Странное дѣло, замѣтилъ одинъ изъ насъ, большой шутникъ: — кромѣ самого себя я не знаю ни одного необыкновеннаго человѣка, а моя жизнь вамъ всѣмъ, кажется, извѣстна. Впрочемъ, если прикажете....

— Нѣтъ, воскликнулъ другой: — не нужно! Да что́, прибавилъ онъ, обращаясь къ небольшому человѣчку: — начни ты. Ты насъ всѣхъ сбилъ съ толку, тебѣ и книги въ руки. Только, смотри, если твой разсказъ намъ не понравится, мы тебя освищемъ.

— Пожалуй, отвѣчалъ тотъ.

Онъ сталъ у камина; мы усѣлись вокругъ него и притихли. Небольшой человѣчекъ посмотрѣлъ на всѣхъ насъ, взглянулъ въ потолокъ и началъ слѣдующимъ образомъ:

— Десять лѣтъ тому назадъ, милостивые государи мои, я былъ студентомъ въ Москвѣ. Отецъ мой, добродѣтельный степной помѣщикъ, отдалъ меня на руки отставному нѣмецкому профессору, который за сто рублей въ мѣсяцъ взялся меня поить, кормить и наблюдать за моею нравственностью. Этотъ нѣмецъ былъ одаренъ весьма важной и степенной осанкой; я его сначала порядкомъ побаивался. Но въ одинъ прекрасный вечеръ, возвратившись домой,

я съ невыразимымъ умиленіемъ увидѣлъ своего наставника, возсѣдающаго съ тремя или четырьмя товарищами за круглымъ столомъ, на которомъ находилось довольное количество пустыхъ бутылокъ и недопитыхъ стакановъ. Увидѣвъ меня, мой почтенный наставникъ всталъ и, размахивая руками и заикаясь, представилъ меня честной компаніи, которая вся тотчасъ же предложила мнѣ стаканъ пунша. Это пріятное зрѣлище освѣжительно подѣйствовало на мою душу; будущность моя предстала мнѣ въ самыхъ привлекательныхъ образахъ. И дѣйствительно: съ того достопамятнаго дня, я пользовался неограниченной свободой и только-что не колотилъ своего наставника. У него была жена, отъ которой вѣчно несло дымомъ и огуречнымъ разсоломъ; она была еще довольно молода, но уже не имѣла ни одного передняго зуба. Извѣстно, что всѣ нѣмки весьма скоро лишаются этого необходимаго украшенія человѣческаго тѣла. Я о ней упоминаю единственно потому, что она въ меня влюбилась страстно и чуть-чуть не закормила меня на смерть.

— Къ дѣлу, къ дѣлу, закричали мы.—Ужъ не свои ли похожденія ты хочешь намъ разсказывать?

— Нѣтъ, господа! возразилъ спокойно небольшой человѣчекъ: — я обыкновенный смертный. Итакъ, я жилъ у моего нѣмца, какъ говорится, припѣваючи. Въ университетъ я ходилъ не слишкомъ прилежно, а дома рѣшительно ничего не дѣлалъ. Въ весьма короткое время, сошелся я со всѣми моими товарищами и со всѣми былъ на «ты». Въ числѣ моихъ новыхъ друзей находился одинъ, довольно порядочный и добрый малый, сынъ отставного городничаго. Его звали Бобовымъ. Этотъ Бобовъ повадился ко мнѣ ходить и, какъ кажется, полюбилъ меня. И я его.... знаете ли, не то̀ чтобъ любилъ, не то̀ чтобъ не любилъ, такъ какъ-то.... Надобно вамъ сказать, что у меня въ

цѣлой Москвѣ не было ни одного родственника, исключая стараго дяди, который у меня же иногда просилъ денегъ. Я никуда не ходилъ, и въ особенности боялся женщинъ; я также избѣгалъ знакомства съ родителями моихъ университетскихъ товарищей, съ тѣхъ поръ, какъ одинъ изъ этихъ родителей отодралъ своего сына при мнѣ за вихоръ—за то, что у него пуговица на мундирѣ отпоролась, а у меня, въ тотъ день, на всёмъ сюртукѣ не находилось болѣе шести пуговицъ. Въ сравненіи со многими изъ моихъ товарищей, я слылъ человѣкомъ богатымъ; отецъ мой изрѣдка присылалъ мнѣ небольшія пачки синихъ полинялыхъ ассигнацій, а потому я не только наслаждался независимостью, но у меня постоянно были льстецы и прислужники.... что́ я говорю—у меня! даже у моей куцой собаки Армишки, которая, несмотря на свою лягавую породу, до того боялась выстрѣла, что одинъ видъ ружья повергалъ ее въ тоску неописанную. Впрочемъ, я, какъ всякій молодой человѣкъ, не былъ лишенъ того глухого, внутренняго броженія, которое обыкновенно, разрѣшившись дюжиной болѣе или менѣе шершавыхъ стихотвореній, оканчивается весьма мирно и благополучно. Я чего-то хотѣлъ, къ чему-то стремился и мечталъ о чемъ-то; признаюсь, я и тогда не зналъ хорошенько, о чемъ именно я мечталъ. Теперь я понимаю, чего мнѣ недоставало:—я чувствовалъ свое одиночество, *жаждалъ* сообщенія съ такъ-называемыми живыми людьми; слово: жизнь (выговаривай: *жызнь*) звучало въ моей душѣ, и я съ неопредѣленной тоской прислушивался къ этому звуку.... Валерьянъ Никитичъ, пожалуйте мнѣ пахитосъ.

Закуривъ пахитосъ, небольшой человѣчекъ продолжалъ:

— Въ одно прекрасное утро, Бобовъ, запыхавшись, прибѣжалъ ко мнѣ:—«Знаешь, братъ, великую новость?

Кóлосовъ пріѣхалъ».—Кóлосовъ? чтó за птица господинъ Кóлосовъ? — «Ты его не знаешь? Андрюшу Кóлосова? Пойдемъ, братецъ, къ нему поскорѣе. Онъ вчера вечеромъ вернулся съ *кондиціи*».—Да кто онъ такой?—«Необыкновенный, братецъ, человѣкъ, помилуй»!—Необыкновенный человѣкъ, промолвилъ я: ступай же ты одинъ. Я останусь дома. Знаемъ мы вашихъ необыкновенныхъ людей! Какой-нибудь полупьяный виршеплетъ съ вѣчно-восторженной улыбкой!...—«Э, нѣтъ! Кóлосовъ не такой». Я-было хотѣлъ замѣтить Бобову, что г. Кóлосову слѣдовало самому явиться ко мнѣ; но не знаю почему, послушался Бобова и пошелъ. Бобовъ привелъ меня въ одинъ изъ самымъ грязныхъ, кривыхъ и узкихъ переулковъ Москвы.... Домъ, въ которомъ жилъ Кóлосовъ, былъ выстроенъ на старинный образецъ, хитро и неудобно. Мы вошли на дворъ; толстая баба развѣшивала бѣлье на веревочки, протянутыя отъ дома къ забору.... дѣти перекрикивались на деревянной лѣстницѣ....

— Къ дѣлу! къ дѣлу! возопили мы.

— Я вижу, господа, вы не любите пріятнаго и придерживаетесь единственно полезнаго. Пожалуй! Черезъ темный и узкій проходъ добрались мы до комнаты Колосова;—вошли. Вы, вѣроятно, имѣете приблизительное понятіе о томъ, чтó такое комната бѣднаго студента. Прямо передъ дверью на комодѣ сидѣлъ Колосовъ и курилъ трубку. Онъ дружески протянулъ Бобову руку и вѣжливо мнѣ поклонился. Я взглянулъ на Колосова и тотчасъ же почувствовалъ неотразимое влеченіе къ нему. Господа! Бобовъ не ошибался: Колосовъ былъ дѣйствительно необыкновенный человѣкъ. Позвольте мнѣ описать вамъ его нѣсколько подробнѣе.... Онъ былъ роста довольно высокаго, строенъ, ловокъ и весьма недуренъ собою. Его лицо.... Я нахожу, господа, что весьма трудно описать чье-нибудь

лицо. Легко перебрать поодиночкѣ всѣ отдѣльныя черты; но какимъ образомъ передать другому то, что̀ составляетъ отличительную принадлежность, сущность именно *этого* лица?

— То, что̀ Байронъ называетъ: «the music of the face», замѣтилъ одинъ, перетянутый и блѣдный господинъ.

— Такъ-съ.... А потому я ограничусь однимъ замѣчаніемъ: то особенное «нѣчто», о которомъ я сейчасъ упомянулъ, состояло у Колосова въ беззаботно веселомъ и смѣломъ выраженіи лица, да еще въ улыбкѣ чрезвычайно плѣнительной. Родителей своихъ онъ не помнилъ, воспитанъ былъ на мѣдные гроши въ домѣ какого-то отдаленнаго родственника, который за взятки былъ выключенъ изъ службы. До пятнадцати-лѣтняго возраста жилъ онъ въ деревнѣ; потомъ попалъ въ Москву къ старой, глухой попадьѣ, пробылъ у ней года два, вступилъ въ университетъ и началъ жить уроками. Онъ преподавалъ исторію, географію и россійскую грамматику, хотя объ этихъ наукахъ имѣлъ понятіе слабое; но, во-первыхъ, у насъ на Руси завелись «руководства», чрезвычайно благодѣтельныя для наставниковъ; а во-вторыхъ, требованія почтенныхъ купцовъ, поручавшихъ Колосову образованіе своихъ дѣтищъ, были слишкомъ ограниченны. Колосовъ не былъ ни острякомъ, ни юмористомъ; но вы, господа, не можете себѣ представить, какъ охотно всѣ мы покорялись этому человѣку. Мы какъ-то невольно любовались имъ; его слова, его взгляды, его движенія дышали такой юношеской прелестью, что всѣ его товарищи были влюблены въ него по̀-уши. Профессоры считали его малымъ неглупымъ, но «безъ большихъ способностей» и лѣнивымъ. Присутствіе Колосова придавало особенную стройность нашимъ вечернимъ сходкамъ: веселость наша при немъ никогда не переходила въ безобразное буянство; станови-

лось ли всѣмъ вамъ грустно—эта полудѣтская грусть при немъ разрѣшалась тихимъ, иногда довольно дѣльнымъ разговоромъ, и никогда не превращалась въ хандру. Вы улыбаетесь, господа,—я понимаю вашу улыбку: точно, многіе изъ насъ въ послѣдствіи оказались порядочными пошлецами! но молодость.... молодость....

—Oh talk not to me of a name great in story!
The days of our youth are the days of our glory....*)

промолвилъ тотъ же блѣдный господинъ....

— Фу ты чортъ, какая у васъ память! и все изъ Байрона! замѣтилъ разскащикъ.—Словомъ, господа, Колосовъ былъ душою нашего общества. Я къ нему привязался такъ сильно, какъ послѣ того не привязывался ни къ одной женщинѣ. И между тѣмъ мнѣ и теперь не совѣстно вспомнить эту странную любовь—именно любовь, потому-что я, помнится, испыталъ тогда всѣ терзанія этой страсти, напримѣръ: ревность. Колосовъ одинаково любилъ всѣхъ насъ, но въ особенности жаловалъ одного молчаливаго, бѣлокураго и смирнаго малаго, по имени Гаврилова. Съ этимъ Гавриловымъ онъ почти никогда не разставался, часто съ нимъ перешептывался и вмѣстѣ съ нимъ исчезалъ изъ Москвы, Богъ-вѣсть куда, дня на два, на три.... Колосовъ не любилъ разспросовъ, и я терялся въ догадкахъ. Не простое любопытство меня волновало; мнѣ хотѣлось пойдти въ товарищи, въ оруженосцы къ Колосову: я ревновалъ къ Гаврилову; я завидовалъ ему; я никакъ не могъ объяснить себѣ причину странныхъ отлучекъ Колосова. Между-тѣмъ въ немъ не было ни той таинственности, которою щеголяютъ юноши, одаренные самолюбіемъ, блѣдностью, черными волосами

*) О, не говорите мнѣ о славномъ имени!
Дни нашей молодости—дни нашей славы....

и «выразительнымъ» взглядомъ, ни того поддѣльнаго равнодушія, подъ которымъ будто бы скрываются громадныя силы; нѣтъ: онъ весь былъ, какъ говорится, на-распашку; но когда имъ овладѣвала страсть, во всемъ существѣ его внезапно проявлялась порывистая, стремительная дѣятельность; только онъ не тратилъ своей силы по-пустому, и никогда, ни въ какомъ случаѣ не становился на ходули. Кстати, господа.... скажите правду: не случалось ли вамъ сидѣть и курить трубку съ такимъ уныло-величественнымъ видомъ, какъ будто вы только-что рѣшились на великій подвигъ, а вы просто размышляете о томъ, какого цвѣта сшить себѣ панталоны?.... Но дѣло въ томъ, что я первый замѣтилъ въ веселомъ и ласковомъ Колосовѣ эти невольные, страстные порывы.... Не даромъ говорятъ, что любовь проницательна. Я рѣшился — во что́ бы то ни стало—втереться въ его довѣренность. Мнѣ не для чего было волочиться за Колосовымъ; я такъ дѣтски благоговѣлъ передъ нимъ, что онъ не могъ сомнѣваться въ моей преданности.... но, къ неописанной моей досадѣ, я долженъ былъ наконецъ убѣдиться, что Колосовъ избѣгалъ болѣе тѣснаго сближенія со мною, что онъ какъ-будто тяготился моей непрошенной привязанностью. Разъ какъ-то онъ съ явнымъ неудовольствіемъ попросилъ у меня денегъ взаймы—и на другой день съ насмѣшливой благодарностью возвратилъ мнѣ ихъ снова. Въ теченіе цѣлой зимы, мои отношенія къ Колосову не измѣнились ни на волосъ; я часто сравнивалъ себя съ Гавриловымъ—и не могъ понять, чѣмъ онъ лучше меня.... Но вдругъ все перемѣнилось. Въ половинѣ апрѣля, Гавриловъ захворалъ и умеръ на рукахъ Колосова, который не отлучался ни на мигъ изъ его комнаты и цѣлую недѣлю послѣ его смерти не выходилъ никуда. Всѣ мы сожалѣли о бѣдномъ Гавриловѣ; этотъ блѣдный, молчаливый чело-

вѣкъ какъ-будто предчувствовалъ свою кончину. Я тоже искренно сожалѣлъ о немъ, но сердце во мнѣ замирало, ждало чего-то.... Въ одинъ незабвенный вечеръ.... я лежалъ одинъ на диванѣ и безсмысленно глядѣлъ въ потолокъ.... кто-то быстро растворилъ дверь моей комнаты и остановился на порогѣ; я приподнялъ голову: передо мной стоялъ Колосовъ. Онъ медленно вошелъ и сѣлъ подлѣ меня. — «Я пришелъ къ тебѣ», началъ онъ довольно глухимъ голосомъ: «потому что ты болѣе всѣхъ другихъ меня любишь.... Я потерялъ своего лучшаго друга»—голосъ его слегка задрожалъ—«и чувствую себя одинокимъ.... Вы всѣ не знали Гаврилова.... вы не знали».... Онъ всталъ, походилъ по комнатѣ и быстро подошелъ ко мнѣ.... «Хочешь ли ты замѣнить мнѣ его?» сказалъ онъ и подалъ мнѣ руку. Я вскочилъ и бросился къ нему на грудь. Моя искренняя радость его тронула.... Я не зналъ что́ сказать, я задыхался.... Колосовъ глядѣлъ на меня и тихонько посмѣивался. Подали чай. За чаемъ онъ разговорился о Гавриловѣ; я узналъ, что этотъ робкій и кроткій мальчикъ спасъ Колосову жизнь — и я долженъ былъ самому себѣ сознаться, что, на мѣстѣ Гаврилова, я бы не могъ не проболтаться—не похвастаться своимъ счастіемъ. Пробило восемь часовъ. Колосовъ всталъ, подошелъ къ окну, побарабанилъ по стекламъ, быстро повернулся ко мнѣ, хотѣлъ что-то сказать.... и молча сѣлъ на стулъ. Я взялъ его за руку.—Колосовъ! право, право, я заслуживаю твою довѣренность!—Онъ взглянулъ мнѣ прямо въ глаза.—«Ну, если такъ», промолвилъ онъ наконецъ:—«бери шапку, пойдемъ». — Куда?—«Гавриловъ меня не спрашивалъ». — Я тотчасъ же замолчалъ.—«Ты умѣешь играть въ карты?»—Умѣю.

Мы вышли, взяли извощика къ ....ой заставѣ. У заставы мы слѣзли. Колосовъ пошелъ впередъ очень скоро;

я за нимъ. Мы шли по большой дорогѣ. Пройдя съ версту, Колосовъ свернулъ въ сторону. Между-тѣмъ настала ночь. Направо — въ туманѣ мелькали огни, высились безчисленныя церкви громаднаго города; налѣво, подлѣ лѣса, паслись на лугу двѣ бѣлыя лошади; передъ нами тянулись поля, покрытыя сѣроватыми парами. Я шелъ молча за Колосовымъ. Онъ вдругъ остановился, протянулъ руку впередъ и промолвилъ: «вотъ куда мы идемъ». Я увидѣлъ темный небольшой домикъ; два окошка слабо свѣтились въ туманѣ.—«Въ этомъ домѣ», продолжалъ Колосовъ:—«живетъ нѣкто Сидоренко, отставной поручикъ, съ своей сестрой, старой дѣвой—и дочерью. Я тебя выдамъ за своего родственника — ты сядешь съ нимъ играть въ карты». Я молча кивнулъ головой. Я хотѣлъ доказать Колосову, что я умѣлъ молчать не хуже Гаврилова.... Но признаюсь, любопытство сильно меня мучило. Подходя къ крыльцу домика, я увидѣлъ въ освѣщенномъ окнѣ стройный образъ дѣвушки.... Она, казалось, насъ ждала и тотчасъ исчезла. Мы вошли въ темную и тѣсную переднюю. Кривая, горбатая старушка вышла къ намъ на стрѣчу и съ недоумѣніемъ посмотрѣла на меня. — «Иванъ Семенычъ дома?» спросилъ Колосовъ.—«Дома-съ».—«Дома!» раздался густой мужской голосъ изъ-за двери. Мы перешли въ залу, если можно назвать залой длинную, довольно грязную комнату; старое небольшое фортепьяно смиренно прижалось къ уголку подлѣ печки; нѣсколько стульевъ торчало вдоль стѣнъ, нѣкогда желтыхъ. Посреди комнаты стоялъ мужчина лѣтъ пятидесяти, высокаго роста, сутуловатый, въ замасленномъ шлафрокѣ. Я взглянулъ на него попристальнѣе: угрюмое лицо, волосы щетиной, низкій лобъ, сѣрые глаза, огромные усы, толстыя губы.... Хорошъ гусь! подумалъ я. —«Давненько не видали мы васъ, Андрей Николаичъ», промолвилъ онъ,

протягивая къ нему свою безобразную красную руку: — «давненько! А гдѣ Севастьянъ Севастьяновичъ? — «Гавриловъ умеръ», печально проговорилъ Колосовъ? — «Умеръ! вотъ-те на! А это кто?» — «Мой родственникъ— честь имѣю представить: — Николай Алекс....» — «Хорошо, хорошо», перебилъ его Иванъ Семенычъ: — «радъ, очень радъ. А въ карты играетъ?» — «Играетъ, какъ же!» — «Ну, и прекрасно; мы вотъ сейчасъ и засядемъ. Эй! Матрена Семеновна—гдѣ ты? карточный столъ —поскорѣй!... Да чаю!» Съ этими словами, г. Сидоренко пошелъ въ другую комнату. Колосовъ посмотрѣлъ на меня.—«Послушай», сказалъ онъ:—«мнѣ Богъ-знаетъ какъ совѣстно!».... Я зажалъ ему ротъ.—«Что̀-жъ вы, батюшка, какъ васъ зовутъ — пожалуйте сюда», воскликнулъ Иванъ Семенычъ. Я вошелъ въ гостиную. Гостиная была еще меньше столовой. На стѣнахъ висѣли какіе-то уродливые портреты; предъ диваномъ, изъ котораго въ нѣсколькихъ мѣстахъ высовывалась мочалка, стоялъ зеленый столъ; на диванѣ возсѣдалъ Иванъ Семенычъ и тасовалъ уже карты; подлѣ него, на самомъ кончикѣ креселъ, сидѣла сухощавая женщина въ бѣломъ чепцѣ и черномъ платьѣ, желтая, сморщенная, съ подслѣповатыми глазками и тонкими кошачьими губами.—«Вотъ», сказалъ Иванъ Семенычъ:—«рекомендую; прежній-то умеръ; Андрей Николаевичъ привелъ другого; посмотримъ, какъ онъ играетъ!» Старуха неловко поклонилась и раскашлялась. Я оглянулся; Колосова уже не было въ комнатѣ. — «Полно тебѣ кашлять, Матрена Семеновна; — овцы кашляютъ», проворчалъ Сидоренко. Я сѣлъ; игра началась. Г-нъ Сидоренко ужасно горячился и бѣсился при малѣйшей моей ошибкѣ; осыпа́лъ сестру упреками; но она повидимому успѣла привыкнуть къ любезностямъ своего братца и только помаргивала глазами. Однако-жъ, когда онъ объявилъ

Матренѣ Семеновнѣ, что она «антихристъ», бѣдная старуха вспыхнула. — «Вы Иванъ Семенычъ», проговорила она съ сердцемъ: — «супругу свою Анфису Карповну уморили, а меня не уморите!» — «Будто?» — «Нѣтъ! не уморите!» «Будто?» — «Нѣтъ! не уморите!» Такимъ образомъ они довольно долго перебранивались. Мое положеніе было, какъ изволите видѣть, не только незавидно, но даже просто глупо; я не понималъ, зачѣмъ Колосову вздумалось привести меня.... Я никогда не былъ хорошимъ игрокомъ; но тутъ я самъ чувствовалъ, что играю изъ рукъ вонъ плохо. «Нѣтъ!» повторялъ безпрестанно отставной поручикъ: — «далеко вамъ до Севастьяныча! Нѣтъ! вы разсѣянно играете!» Я, разумѣется, внутренно посылалъ его ко всѣмъ чертямъ. Эта пытка продолжалась часа два; меня обыграли въ пухъ. Передъ концомъ послѣдняго роббера услышалъ я за своимъ стуломъ легкій шумъ — оглянулся и увидѣлъ Колосова; подлѣ него стояла дѣвушка лѣтъ семнадцати и съ едва замѣтной улыбкой посматривала на меня? «Набей-ка мнѣ трубку, Варя», проворчалъ Иванъ Семенычъ. Дѣвушка тотчасъ порхнула въ другую комнату. Она была не очень хороша собой, довольно блѣдна, довольно худа; но я, и прежде и послѣ, не видывалъ ни такихъ глазъ, ни такихъ волосъ. Мы кое-какъ доиграли робберъ; я расплатился. Сидоренко закурилъ трубку и возопилъ: «Ну, теперь пора ужинать!» Колосовъ представилъ меня Варѣ, т. е. Варварѣ Ивановнѣ, дочери Ивана Семеныча. Варя сконфузилась; и я сконфузился. Но Колосовъ, по своему обыкновенію, въ нѣсколько мгновеній привелъ все и всѣхъ въ порядокъ: усадилъ Варю за фортепьяно, попросилъ ее съиграть плясовую, и пустился отхватывать казачка въ запуски съ Иваномъ Семенычемъ. Поручикъ вскрикивалъ, топалъ и выкидывалъ ногами такія непо-

стижимыя штуки, что сама Матрена Семеновна расхохоталась и ушла къ себѣ наверхъ. Горбатая старушонка накрыла столъ; мы сѣли ужинать. За ужиномъ, Колосовъ разсказывалъ разные вздоры; поручикъ смѣялся оглушительно; я изъ-подлобья поглядывалъ на Варю. Она глазъ не сводила съ Колосова.... и я по одному выраженію ея лица могъ догадаться, что она и любитъ его — и любима имъ. Губы ея были слегка раскрыты, голова немножко нагнулась впередъ, по всему лицу играла легкая краска; она изрѣдка глубоко вздыхала, вдругъ опускала глаза, и тихонько смѣялась.... Я радовался за Колосова.... А между-тѣмъ, мнѣ было, чортъ возьми, завидно....

Послѣ ужина, мы съ Колосовымъ тотчасъ взялись за шапки, чтó однако-жъ не помѣшало поручику, позѣвывая, сказать намъ: «Вы, господа, засидѣлись; пора вамъ и честь знать». Варя проводила Колосова до передней. — «Когда же вы придете, Андрей Николаевичъ? шепнула она ему. — «На-дняхъ, непремѣнно». — «Приведите-жъ и его», прибавила она съ весьма коварной улыбкой. — «Какъ же, какъ же»... Покорнѣйшій слуга! подумалъ я....

На возвратномъ пути узналъ я слѣдующее. Мѣсяцевъ шесть тому назадъ, Колосовъ довольно страннымъ образомъ познакомился съ г. Сидоренко. Въ одинъ дождливый вечеръ Колосовъ возвращался домой съ охоты — и подходилъ уже къ ...ой заставѣ, какъ вдругъ въ недальнемъ разстояніи отъ дороги онъ услышалъ стоны, прерываемыя проклятіями. Съ нимъ было ружье; не думая долго, отправился онъ прямо на крикъ и нашелъ на землѣ человѣка съ вывихнутой ногой. Этотъ человѣкъ былъ г. Сидоренко. Съ большимъ трудомъ проводилъ онъ его до дому, поручилъ его попеченіямъ испуганной

сестры и дочери, сбѣгалъ за докторомъ.... Между тѣмъ, настало утро; Колосовъ едва могъ стоять на ногахъ отъ усталости. Съ позволенія Матрены Семеновны, онъ бросился на диванъ въ гостиной и проспалъ часовъ до восьми. Проснувшись, онъ тотчасъ хотѣлъ-было уйти домой; но его удержали и напоили чаемъ. Ночью, ему удалось увидать раза два мелькомъ блѣдное личико Варвары Ивановны: онъ не обратилъ на нее особеннаго вниманія, но утромъ она ему рѣшительно понравилась. Матрена Семеновна болтливо восхваляла и благодарила Колосова; Варя сидѣла молча, разливая чай, изрѣдка поглядывала на него и съ робкой, стыдливой услужливостью подавала ему то чашку, то сливки, то сахарницу. Въ это время поручикъ проснулся, громкимъ голосомъ потребовалъ трубку и, помолчавъ немного, закричалъ: «сестра! а, сестра!» Матрена Семеновна отправилась къ нему въ спальню. «Что, этотъ.... какъ его зовутъ, чортъ знаетъ! ушелъ что ли?» — «Нѣтъ, я еще здѣсь», отвѣчалъ Колосовъ, подойдя къ дверямъ: — «вамъ лучше теперь?» — «Лучше», отвѣчалъ поручикъ: — «войдите-ка сюда, батюшка». Колосовъ вошелъ. Сидоренко посмотрѣлъ на него и неохотно проговорилъ: «Ну, спасибо; заходите-жъ когда-нибудь ко мнѣ — какъ васъ зовутъ, чортъ васъ знаетъ?» — «Колосовъ», возразилъ Андрей. «Ну, хорошо, хорошо, заходите; а теперь вамъ нечего здѣсь киснуть; чай, васъ дома ждутъ». Колосовъ вышелъ, простился съ Матреной Семеновной, поклонился Варварѣ Ивановнѣ, и вернулся домой. Съ этого дня онъ началъ ходить къ Ивану Семенычу сперва изрѣдка, потомъ все чаще и чаще. Наступило лѣто: онъ возьметъ, бывало, ружье, надѣнетъ ягдташъ и отправится будто на охоту; зайдетъ къ отставному поручику—да и засидится у него до вечера. Отецъ Варвары Ивановны прослужилъ лѣтъ двадцать-пять въ арміи, нажилъ небольшія день-

жишки и купилъ себѣ нѣсколько десятинъ земли въ двухъ верстахъ отъ Москвы. Онъ едва умѣлъ читать и писать; но, несмотря на свою наружную неповоротливость и грубость, былъ смышленъ и хитеръ и даже плутоватъ подъчасъ, какъ многіе малороссы. Онъ былъ эгоистъ страшный, упрямъ, какъ волъ, и вообще весьма нелюбезенъ, особенно съ незнакомыми; мнѣ даже случалось подмѣчать въ немъ что-то похожее на презрѣніе ко всему роду человѣческому. Онъ ни въ чемъ себѣ не отказывалъ, какъ избалованное дитя, никого знать не хотѣлъ и жилъ «въ свое удовольствіе». Мы какъ-то разъ разговорились съ нимъ о свадьбахъ вообще. «Свадьба.... свадьба», проговорилъ онъ: — «ну, на какой дьяволъ выдамъ я свою дѣвку замужъ? ну, для чего? Чтобъ ея муженекъ тузилъ ее, какъ я тузилъ свою покойницу? А я-то съ кѣмъ останусь?» Вотъ каковъ былъ отставной поручикъ Иванъ Семенычъ. Колосовъ ходилъ къ нему, — разумѣется, не на его счетъ, а на счетъ его дочки. Въ одинъ прекрасный вечеръ, Андрей сидѣлъ съ ней въ саду и болталъ о чемъ-то. Иванъ Семенычъ подошелъ къ нимъ, угрюмо посмотрѣлъ на Варю и отозвалъ Андрея въ сторону. «Послушай, братецъ», сказалъ онъ ему,—«тебѣ, я вижу, весело болтать съ моей единородной, а мнѣ старику, скучно; приведи-ка кого-нибудь съ собой, а то мнѣ не съ кѣмъ въ карты перекинуть; слышишь? Одного тебя я пускать не стану». На слѣдующій день Колосовъ явился съ Гавриловымъ, и бѣдный Севастьянъ Севастьянычъ въ теченіе цѣлой осени и зимы игралъ по вечерамъ въ карты съ отставнымъ поручикомъ; этотъ достойный мужъ обходился съ нимъ, какъ говорится, безъ чиновъ, то-есть, ужасно грубо. Теперь вы, господа, вѣроятно, поняли, зачѣмъ Колосовъ, послѣ смерти Гаврилова, привелъ меня съ собой къ Ивану Семенычу. Сообщивъ мнѣ всѣ эти

подробности, Колосовъ прибавилъ: «я люблю Варю, она премилая дѣвушка; ты ей понравился».

Я, кажется, забылъ довести до свѣдѣнія вашего, милостивые государи мои, что до того времени я боялся женщинъ и избѣгалъ ихъ, хотя бывало, наединѣ, по цѣлымъ часамъ мечталъ о свиданьяхъ, о любви, о взаимной любви, и т. д. Варвара Ивановна была первая дѣвушка, съ которой необходимость заставила меня поговорить, — именно необходимость. Варя была дѣвушка обыкновенная, — а между-тѣмъ такихъ дѣвушекъ весьма немного на святой Руси. Вы меня спросите: отчего? Оттого, что я никогда не замѣчалъ въ ней ничего натянутаго, неестественнаго, жеманнаго; оттого, что она была простое, откровенное, нѣсколько грустное созданіе; оттого, что ее нельзя было назвать «барышней». Мнѣ нравилась ея тихая улыбка; я любилъ ея простодушно-звонкій голосокъ, ея легкій и веселый смѣхъ, ея внимательные, хотя совсѣмъ не «глубокіе» взоры. Этотъ ребенокъ не обѣщалъ ничего; но вы невольно любовались имъ, какъ любуетесь внезапнымъ мягкимъ крикомъ иволги вечеромъ, въ высокой и темной березовой рощѣ. Я долженъ сознаться, что въ иное время я довольно равнодушно прошелъ бы мимо такого созданья: мнѣ теперь не до вечернихъ одинокихъ прогулокъ, не до иволгъ; но тогда....

Господа, я думаю, вы, какъ всѣ порядочные люди, были влюблены хоть разъ въ теченіе своей жизни и на собственномъ опытѣ узнали, какимъ образомъ зарождается и развивается любовь въ человѣческомъ сердцѣ; а потому я не стану слишкомъ распространяться о томъ, что̀ происходило во мнѣ тогда. Мы съ Колосовымъ довольно часто ходили къ Ивану Семенычу; и хотя проклятыя карты меня не разъ приводили въ совершенное отчаяніе, но въ одной близости любимой женщины (я полюбилъ Варю) есть ка-

кая-то странная, сладкая, мучительная отрада. Я не старался подавлять это возникающее чувство; притомъ, когда я наконецъ рѣшился назвать это чувство по имени, оно уже было слишкомъ сильно.... Я молча лелѣялъ и ревниво и робко таилъ свою любовь. Мнѣ самому нравилось это томительное броженіе молчаливой страсти. Страданія мои не лишали меня ни сна, ни пищи; но я по цѣлымъ днямъ ощущалъ въ груди то особенное физическое чувство, которое служитъ признакомъ присутствія любви. Я не въ состояніи изобразить вамъ ту борьбу разнороднѣйшихъ ощущеній, которая происходила во мнѣ, когда, напримѣръ, Колосовъ возвращался съ Варей изъ саду и все лицо ея дышало восторженной преданностью, усталостью отъ избытка блаженства.... Она до того жила его жизнью, до того была проникнута имъ, что незамѣтно перенимала его привычки, такъ же взглядывала, такъ же смѣялась, какъ онъ.... Я воображаю, какія мгновенья провела она съ Андреемъ, какимъ блаженствомъ обязана ему.... А онъ.... Колосовъ не утратилъ своей свободы; въ ея отсутствіи, онъ, я думаю, и не вспоминалъ о ней; онъ былъ все тѣмъ же безпечнымъ, веселымъ и счастливымъ человѣкомъ, какимъ мы его всегда знавали.

Итакъ, мы, какъ я вамъ уже сказалъ, ходили съ Колосовымъ къ Ивану Семеновичу довольно часто. Иногда (когда онъ не былъ въ духѣ) отставной поручикъ не засаживалъ меня за карты; въ такомъ случаѣ, онъ молча забивался въ уголъ, хмурилъ брови и поглядывалъ на всѣхъ волкомъ. Въ первый разъ я обрадовался его снисхожденью; но потомъ, бывало, самъ начну упрашивать его сѣсть за «вистикъ»: роль третьяго лица такъ невыносима! я такъ непріятно стѣснялъ и Колосова, и Варю, хотя они сами увѣряли другъ друга, что при мнѣ нечего церемониться!...

Между тѣмъ время шло да шло.... Они были счастливы.... Я не охотникъ описывать счастье другихъ. Но вотъ я сталъ замѣчать, что дѣтская восторженность Вари постепенно замѣнялась болѣе женскимъ, болѣе тревожнымъ чувствомъ. Я началъ догадываться, что новая погудка загудѣла на старый ладъ, т. е., что Колосовъ.... понемногу.... холодѣетъ. Это открытіе меня, признаюсь, обрадовало; признаюсь, я не почувствовалъ ни малѣйшаго негодованья противъ Андрея.

Промежутки между нашими посѣщеніями становились все больше и больше.... Варя начинала встрѣчать насъ съ заплаканными глазками. Послышались упреки.... Бывало, я спрошу Колосова съ притворнымъ равнодушіемъ: «что-жъ? пойдемъ мы сегодня къ Ивану Семенычу?...» Онъ холодно посмотритъ на меня и спокойно проговоритъ: «нѣтъ, не пойдемъ». Мнѣ иногда казалось, что онъ лукаво улыбается, говоря со мной о Варѣ.... Вообще, я не замѣнилъ ему Гаврилова.... Гавриловъ былъ въ тысячу разъ добрѣй и глупѣй меня.

Теперь позвольте мнѣ небольшое отступленіе. Говоря вамъ о своихъ университетскихъ товарищахъ, я не упомянулъ о нѣкоемъ господинѣ Щитовѣ. Этому Щитову минулъ тридцать-пятый годъ; онъ уже лѣтъ десять числился въ студентахъ. Я и теперь живо вижу передъ собой его довольно длинное, блѣдное лицо, маленькіе, каріе глазки, длинный, орлиный, къ концу скривленный носъ, тонкія, насмѣшливыя губы, торжественный хохолъ, подбородокъ, самодовольно утопавшій въ широкомъ полиняломъ галстухѣ цвѣта воронова крыла, манишку съ бронзовыми пуговицами, синій фракъ на распашку, пестрый жилетъ! мнѣ слышится его непріятно дребезжащій смѣхъ.... Онъ таскался всюду, отличался на всевозможныхъ «танцклассахъ».... Помнится, я не могъ безъ особеннаго со-

дроганья слушать его циническіе разсказы.... Колосовъ его какъ-то сравнилъ однажды съ неподметённой комнатой русскаго трактира.... страшное сравненіе! И между тѣмъ, въ этомъ человѣкѣ было пропасть ума, здраваго смысла, наблюдательности, остроты.... Онъ иногда поражалъ насъ какимъ-нибудь дотого дѣльнымъ, дотого вѣрнымъ и рѣзкимъ словомъ, что мы всѣ невольно притихали, и съ изумленьемъ глядѣли на него. Да вѣдь русскому человѣку въ сущности все равно: глупость ли онъ сказалъ, или умную вещь. Въ особенности боялись Щитова тѣ самолюбивые, мечтательные и бездарные мальчики, которые по цѣлымъ днямъ мучительно высиживаютъ дюжину паскуднѣйшихъ стишковъ, на распѣвъ читаютъ ихъ своимъ «друзьямъ» и пренебрегаютъ всякимъ положительнымъ знаньемъ. Одного изъ нихъ онъ просто выжилъ изъ Москвы, безпрестанно повторяя ему его же два стишка:

Человѣкъ —
Сей неободранный скелетъ....

«Скелетъ» риѳмовалъ съ «человѣкомъ». Между тѣмъ самъ Щитовъ тоже вѣдь ничего не дѣлалъ и ничему не учился.... Но это все въ порядкѣ вещей. Вотъ этотъ-то Щитовъ, Богъ вѣсть съ чего, началъ трунить надъ моей романтической привязанностью къ Колосову. Въ первый разъ, я съ благороднымъ негодованіемъ прогналъ его къ чорту; во второй разъ, я съ холоднымъ презрѣньемъ объявилъ, ему, что онъ не въ состояніи судить о нашей дружбѣ—однако-жъ я его не прогналъ; и когда онъ, прощаясь со мной, замѣтилъ, что я безъ позволенія Колосова не смѣю даже хвалить его, мнѣ стало досадно; послѣднія слова Щитова запали мнѣ въ душу.—Болѣе двухъ недѣль я не видалъ Вари ... Гордость, любовь, смутное ожиданіе, множество разныхъ чувствъ расшевелилось во мнѣ...

*

я махнулъ рукой и съ страшнымъ замираніемъ сердца отправился одинъ къ Ивану Семенычу.

Не знаю, какъ я добрался до знакомаго домика; помню, что нѣсколько разъ садился отдыхать на дорогѣ—не отъ усталости, отъ волненія. Я вошелъ въ переднюю и не успѣлъ еще произнести одно слово, какъ дверь изъ залы растворилась, и Варя выбѣжала ко мнѣ на встрѣчу. — «Наконецъ» сказала она трепещущимъ голосомъ:—«гдѣ-жъ Андрей Николаевичъ?»—«Колосовъ не пришелъ....» пробормоталъ я съ усиліемъ.—«Не пришелъ!» повторила она. —«Да.... онъ велѣлъ вамъ сказать, что.... его задержали...» Я рѣшительно не зналъ самъ, что́ говорилъ, и не смѣлъ поднять глаза. Варя неподвижно и безмолвно стояла передо мною. Я взглянулъ на нее: она повернула голову въ сторону; двѣ крупныя слезы медленно покатились по ея щекамъ. Въ выраженіи ея лица было столько внезапной, горькой скорби: борьба стыдливости, горя, довѣренности ко мнѣ, такъ добродушно, такъ трогательно высказалась въ невольномъ движеніи ея бѣдной головки, что сердце во мнѣ перевернулось. Я подался немного впередъ.... она быстро вздрогнула и убѣжала. Въ залѣ меня встрѣтилъ Иванъ Семенычъ.— «Что́ это, батюшка, вы одни-съ?» спросилъ онъ меня, странно прищуривъ лѣвый глазъ. — «Одинъ-съ», отвѣчалъ я съ замѣшательствомъ. Сидоренко вдругъ расхохотался и ушелъ въ другую комнату. Я никогда еще не находился въ такомъ глупѣйшемъ положеніи, — чортъ знаетъ, что за гадость! Но дѣлать было нечего. Я сталъ ходить взадъ и впередъ по залѣ.—«Чему, думалъ я, засмѣялся этотъ толстый кабанъ?» Матрена Семеновна съ чулкомъ въ рукахъ вышла въ залу и усѣлась у окошка. Я началъ съ ней разговаривать. — Между тѣмъ подали чай. Варя сошла съ верху, блѣдная и печальная. Отставной поручикъ острилъ

на счетъ Колосова — «Я», говорилъ онъ: — «знаю, что́ онъ за гусь; теперь, я думаю, чай, его сюда калачемъ не заманишь!» Варя поспѣшно встала и ушла. Иванъ Семенычъ посмотрѣлъ ей вслѣдъ и плутовски присвиснулъ. Я съ недоумѣніемъ взглянулъ на него. — «Неужели-жъ думалъ я, онъ все знаетъ?» И поручикъ, какъ-будто угадывая мои мысли, утвердительно покачалъ головой. Тотчасъ послѣ чая, я всталъ и раскланялся.—«Васъ-то, батюшка, мы еще увидимъ», замѣтилъ мнѣ поручикъ. Я ни слова не отвѣчалъ.... я просто начиналъ бояться этого человѣка. На крыльцѣ чья-то холодная дрожащая рука схватила мою руку; я оглянулся: Варя.—«Мнѣ нужно поговорить съ вами», шепнула она.—«Приходите завтра пораньше, прямо въ садъ. Послѣ обѣда папаша спитъ; намъ никто не помѣшаетъ». Я молча пожалъ ей руку— и мы разстались.

На другой день, въ три часа пополудни, я уже былъ въ саду Ивана Семеныча. Утромъ я не видалъ Ко́лосова, хоть онъ и заходилъ ко мнѣ. День былъ осенній, сѣрый, но тихій и теплый. Желтыя, тонкія былинки грустно качались надъ поблѣднѣвшей травой; по темно-бурымъ, обнаженнымъ сучьямъ орѣшника попрыгивали проворныя синицы; запоздалые жаворонки торопливо бѣгали по дорожкамъ: кой-гдѣ по зеленямъ осторожно пробирался заяцъ; стадо лѣниво бродило по жнивью. Я нашелъ Варю въ саду, подъ яблоней, на скамейкѣ; на ней было темное, немного-измятое платье; въ ея усталомъ взглядѣ, въ небрежной прическѣ волосъ высказывалась неподдѣльная горесть.

Я сѣлъ подлѣ нея. Мы оба молчали. Она долго вертѣла въ рукахъ какую-то вѣтку, наклонила голову, проговорила: «Андрей Николаевичъ....» Я тотчасъ замѣтилъ по движеніямъ ея губъ, что она собиралась заплакать, и

началъ утѣшать ее, съ жаромъ увѣрять ея въ привязанности Андрея.... Она слушала меня, печально покачивала головой, произносила невнятныя слова и тотчасъ же умолкла, но не плакала. Первыя мгновенія, которыхъ я болѣе всего боялся, прошли довольно благополучно. Она понемногу разговорилась объ Андреѣ.—«Я знаю, что онъ меня теперь ужъ не любитъ», повторяла она: — «Богъ съ нимъ! Я не могу придумать, какъ мнѣ жить безъ него... Я по ночамъ не сплю, все плачу... Что-жъ мнѣ дѣлать!... Что́-жъ мнѣ дѣлать?...» Глаза ея наполнились слезами. «Онъ мнѣ казался такимъ добрымъ.... и вотъ...» Варя утерла слезы, кашлянула и выпрямилась. «Давно ли, кажется», продолжала она: — «онъ мнѣ читалъ *изъ* Пушкина, сидѣлъ со мной на этой скамьѣ...» Наивная болтливость Вари меня трогала; я молча слушалъ ея признанья: душа моя медлительно проникалась горькимъ, мучительнымъ блаженствомъ; я не отводилъ глазъ отъ этого блѣднаго лица, отъ этихъ длинныхъ мокрыхъ рѣсницъ, отъ полураскрытыхъ, слегка засохшихъ губъ.... И между тѣмъ, я чувствовалъ.... Угодно вамъ выслушать небольшой психологическій разборъ моихъ тогдашнихъ чувствъ? во-первыхъ, меня мучила мысль, что не я любимъ, не я заставляю страдать Варю; во вторыхъ, меня радовала ея довѣренность; я зналъ: она будетъ благодарна за то, что я доставилъ ей возможность высказать свое горе; въ-третьихъ, я внутренно давалъ себѣ слово сблизить опять Колосова съ Варей, и меня утѣшало сознанье моего великодушія.... въ-четвертыхъ, я надѣялся своимъ самоотверженіемъ тронуть сердце Вари—а тамъ.... Вы видите, я не щажу себя; слава Богу, пора! Но вотъ на колокольнѣ ....го монастыря пробило пять часовъ; вечеръ быстро приближался. Варя торопливо встала, всунула мнѣ въ руку записочку и пошла домой. Я догналъ ее, обѣ-

щалъ ей привести Андрея, и тихонько, будто счастливый любовникъ, выскочилъ изъ калитки въ поле. На запискѣ неровнымъ почеркомъ были написаны слова: «Милостивому государю, Андрею Николаевичу».

На другой же день, рано поутру я отправился къ Колосову. Признаюсь, хоть я и увѣрялъ себя, что мои намѣренія не только благородны, но даже вообще исполнены великодушнаго самоотверженія, я все-таки чувствовалъ какую-то неловкость, даже робость. Пришелъ я къ Колосову. У него сидѣлъ нѣкто Пузырицынъ, недоучившійся студентъ, одинъ изъ сочинителей романовъ, извѣстныхъ подъ именемъ «московскихъ», или «сѣрыхъ». Пузырицынъ былъ весьма добрый и робкій человѣкъ и все собирался поступить въ гусары, несмотря на свои тридцать-три года. Онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, которымъ непремѣнно надобно разъ въ сутки сказать фразу въ родѣ: «прекрасное все гибнетъ въ пышномъ цвѣтѣ,—таковъ удѣлъ прекраснаго на свѣтѣ», для того, чтобы все остальное время дня съ усвоенной пріятностью покуривать трубочку въ кружку «добрыхъ товарищей». За то его и прозвали идеалистомъ. Итакъ, этотъ Пузырицынъ сидѣлъ у Колосова и читалъ ему какой-то «отрывокъ». Я сталъ слушать: дѣло шло о юношѣ, который любитъ дѣву, убиваетъ ее и т. д. Наконецъ Пузырицынъ кончилъ и удалился. Его нелѣпое сочиненіе, восторженно-крикливый голосъ, вообще его присутствіе возбудило въ Колосовѣ насмѣшливую раздражительность. Я чувствовалъ, что пришелъ не въ пору, но дѣлать было нѣчего; безъ всякихъ предисловій вручилъ я Андрею записку Вари.

Колосовъ съ изумленіемъ посмотрѣлъ на меня, распечаталъ записку, пробѣжалъ ее глазами, помолчалъ и спокойно улыбнулся. — «Вотъ какъ!» проговорилъ онъ наконецъ. — «Такъ ты былъ у Ивана Семеныча?» —

«Былъ, вчера, одинъ», отвѣчалъ я отрывисто и рѣшительно. — «А!....» насмѣшливо замѣтилъ Колосовъ и закурилъ трубку. — «Андрей», сказалъ я ему: — «тебѣ не жаль ея?... Если-бъ ты видѣлъ ея слезы....» И я пустился краснорѣчиво описывать свое вчерашнее посѣщеніе. Я дѣйствительно былъ тронутъ. Колосовъ молчалъ и курилъ трубку. — «Ты сидѣлъ съ ней подъ яблоней въ саду?» проговорилъ онъ наконецъ. — «Помнится, въ маѣ и я сидѣлъ съ ней на этой скамейкѣ.... Яблонь была въ цвѣту, изрѣдка падали на насъ свѣжіе бѣлые цвѣточки, я держалъ обѣ руки Вари.... мы были счастливы тогда.... Теперь яблонь отцвѣла, да и яблоки на ней кислыя». Я запылалъ благороднымъ негодованьемъ, началъ упрекать Андрея въ холодности, въ жестокости; толковать ему, что онъ не имѣетъ права такъ внезапно покинуть дѣвушку, въ которой онъ возбудилъ множество новыхъ впечатлѣній; просилъ его по крайней мѣрѣ пойдти проститься съ Варей. Колосовъ выслушалъ меня до конца. — «Положимъ», сказалъ онъ мнѣ, когда взволнованный и усталый, я бросился въ кресло: — «положимъ, что тебѣ, какъ другу моему, позволено осуждать меня.... Но выслушай же мое оправданіе хотя....» Тутъ онъ помолчалъ немного и странно улыбнулся. «Варя прекрасная дѣвушка», продолжалъ онъ: и ни въ чемъ передо мной не виновата.... Напротивъ, я ей многимъ обязанъ, очень многимъ. Я пересталъ ходить къ ней по весьма простой причинѣ — я разлюбилъ ее....» — «Да отчего же? отчего же?» перебилъ я его. — «А Богъ-знаетъ отчего. Пока я любилъ ее, я весь принадлежалъ ей; я не думалъ о будущемъ, и всѣмъ, всей жизнью своей дѣлился съ нею.... теперь эта страсть во мнѣ погасла.... Что-жъ? Ты мнѣ прикажешь притворяться, прикидываться влюбленнымъ, что ли? Да изъ чего? изъ жалости къ ней?

Если она порядочная дѣвушка, такъ она сама не захочетъ такой милостыни, а если она рада тѣшиться моимъ.... участіемъ, такъ чортъ ли въ ней!..» Безпечно-рѣзкія выраженія Колосова меня оскорбляли, можетъ-быть, болѣе потому, что дѣло шло о женщинѣ, которую я втайнѣ любилъ.... Я вспыхнулъ. — «Полно!» сказалъ я ему: — «полно! Я знаю, почему ты пересталъ ходить къ Варѣ.» «Почему».—«Танюша тебѣ запретила». Сказавъ эти слова, я вообразилъ, что сильно уязвилъ Андрея. Эта Танюша была весьма «легкая» барышня, черноволосая, смуглая, лѣтъ двадцати-пяти, развязная и умная, какъ бѣсъ, Щитовъ въ женскомъ платьѣ. Колосовъ ссорился и мирился съ ней разъ пять въ мѣсяцъ. Она страстно его любила, хоть иногда, во время размолвки, божилась и клялась, что жаждетъ его крови.... да и Андрей не могъ бы обойдтись безъ нея. Колосовъ посмотрѣлъ на меня и спокойно проговорилъ: «Можетъ-быть».—«Не можетъ-быть», закричалъ я: — «а навѣрное!» Упреки мои наконецъ надоѣли Колосову.... Онъ всталъ и надѣлъ фуражку. — «Куда?» — «Гулять; у меня отъ васъ съ Пузырицынымъ голова разболѣлась». — «Ты на меня сердишься?» — «Нѣтъ» отвѣчалъ онъ, улыбнувшись своей милой улыбкой, и протянулъ мнѣ руку. — «По крайней мѣрѣ, что ты велишь сказать Варѣ?«—«Что?...» Онъ немного призадумался. «Она тебѣ сказывала», промолвилъ онъ: — «что мы вмѣстѣ съ ней читали Пушкина... Напомни ей одинъ Пушкинскій стихъ». — «Какой, какой?» спросилъ я съ нетерпѣньемъ. — «А вотъ какой:

«Что было, то не будетъ вновь».

Съ этими словами онъ вышелъ изъ комнаты. Я пошелъ вслѣдъ за нимъ; на лѣстницѣ онъ остановился.—«И очень она огорчена?» спросилъ онъ меня надвинувъ шапку на

глаза.—«Очень, очень!...»—«Бѣдная! Утѣшь ее, Николай; вѣдь ты ее любишь». — «Да, я привязался къ ней, разумѣется....» — «Ты ее любишь», повторилъ Колосовъ и взглянулъ мнѣ прямо въ глаза. Я молча отвернулся; мы разошлись.

Придя домой, я былъ какъ въ лихорадкѣ.

«Я исполнилъ свой долгъ — думалъ я — побѣдилъ собственное самолюбіе; я совѣтовалъ Андрею сойдтись вновь съ Варей!!.. Теперь я правъ: честь предложена, отъ убытковъ Богъ избавилъ». Между тѣмъ равнодушіе Андрея оскорбляло меня. Онъ не ревновалъ ко мнѣ, онъ велѣлъ мнѣ *утѣшать* ее.... Да развѣ Варя ужъ такая обыкновенная дѣвушка?... развѣ она не стóитъ даже сожалѣнья?... «Найдутся люди, которые съумѣютъ оцѣнить то, чѣмъ вы пренебрегаете, Андрей Николаичъ!... Но чтó пользы? Вѣдь она меня не любитъ.... Да, она меня не любитъ теперь, пока она еще не совсѣмъ потеряла надежду на возвращеніе Колосова.... Но потомъ.... кто знаетъ? моя преданность ее тронетъ, я откажусь отъ всякихъ притязаній.... я отдамъ ей всего себя, безвозвратно.... Варя! неужели-жъ ты меня не полюбишь.... никогда?... никогда?...»

Вотъ какія рѣчи произносилъ вашъ покорнѣйшій слуга въ столичномъ градѣ Москвѣ, лѣта тысяща восемьсотъ-тридцать-третьяго, въ домѣ своего почтеннаго наставника. Я плакалъ.... я замиралъ.... Погода была скверная.... мелкій дождь съ упорнымъ, тонкимъ скрипомъ струился по стекламъ; влажныя, темно-сѣрыя тучи недвижно висѣли надъ городомъ. Я наскоро пообѣдалъ, не отвѣчалъ на заботливые распросы доброй нѣмки, которая сама расхныкалась при видѣ моихъ красныхъ, опухшихъ глазъ (нѣмки—извѣстное дѣло—всегда рады поплакать); обошелся весьма немилостиво съ наставникомъ.... и тот-

часъ послѣ обѣда отправился къ Ивану Семенычу.... Согнувшись въ три погибели, на тряскихъ «калиберныхъ» дрожкахъ, я самъ себя спрашивалъ: что́? разсказать ли Варѣ все какъ есть, или продолжать лукавить и понемногу отучать ее отъ Андрея?... Я доѣхалъ до Ивана Семеныча и не зналъ, на что́ рѣшиться.... Я засталъ все семейство въ залѣ. Увидѣвъ меня, Варя страшно поблѣднѣла; но не тронулась съ мѣста; Сидоренко заговорилъ со мной какъ-то особенно насмѣшливо.... Я отвѣчалъ ему какъ могъ, изрѣдка поглядывая на Варю.... и почти безсознательно придалъ своему лицу уныло задумчивое выраженіе. Поручикъ опять составилъ «вистикъ». Варя сѣла подлѣ окошка и не шевелилась.—«Чай, тебѣ теперь скучно?» разъ двадцать спросилъ ее Иванъ Семенычъ. Наконецъ, мнѣ удалось улучить удобное мгновенье.—«Вы опять одни», шепнула мнѣ Варя.—«Одинъ», отвѣчалъ я мрачно: — «и вѣроятно, надолго». Она быстро понурила голову. — «Отдали вы ему мое письмо?» проговорила она едва слышнымъ голосомъ.—«Отдалъ».— «Ну?....» Она задыхалась. Я взглянулъ на нее.... Злая радость внезапно вспыхнула во мнѣ.—«Онъ велѣлъ вамъ сказать», произнесъ я съ разстановкою: —«что́ было, то̀ не будетъ вновь....» Варя схватилась лѣвой рукой за сердце, протянула правую впередъ, покачнулась вся и проворно вышла изъ комнаты. Я хотѣлъ догнать ее.... Иванъ Семенычъ остановилъ меня. Я остался еще часа два у него, но Варя не появлялась. На возвратномъ пути мнѣ стало совѣстно.... совѣстно передъ Варей, предъ Андреемъ, предъ самимъ собою; хотя, говорятъ, лучше разомъ отсѣчь страдающій членъ, чѣмъ долго томить больного, но кто-жъ мнѣ далъ право такъ безжалостно поразить сердце бѣдной дѣвушки?... Я долго не могъ заснуть.... но заснулъ же наконецъ. Вообще, я

долженъ повторить, что «любовь» ни разу не лишала меня сна.

Я началъ ѣздить къ Ивану Семенычу довольно часто; мы видѣлись по-прежнему съ Колосовымъ, но ни я, ни онъ, не упоминали о Варѣ. Мои отношенія къ ней были довольно страннаго рода. Она привязалась ко мнѣ тою привязанностью, которая исключаетъ всякую возможность любви; она не могла не замѣтить моего горячаго участія, и охотно со мной говорила.... о чемъ бы вы думали? — о Колосовѣ, объ одномъ Колосовѣ! Этотъ человѣкъ до того завладѣлъ ею, что она какъ-будто не принадлежала самой себѣ. Я тщетно старался возбудить ея гордость.... она или молчала, или говорила, и какъ! болтала о Колосовѣ. Я тогда и не подозрѣвалъ, что горе такого рода, болтливое горе, въ сущности гораздо истиннѣе всѣхъ молчаливыхъ страданій. Признаюсь, я пережилъ много горькихъ мгновеній въ то время. Я чувствовалъ, что не въ состояніи замѣнить Колосова; я чувствовалъ, что прошедшее Вари такъ полно, такъ прекрасно.... а настоящее такъ бѣдно.... Я дошелъ до того, что невольно вздрагивалъ при словахъ «помните ли»... которыми почти каждая рѣчь ея начиналась. Она немного похудѣла въ первые дни нашего знакомства.... но потомъ опять поправилась и даже повеселѣла; ее тогда можно было сравнить съ раненой, не совсѣмъ еще выздоровѣвшей, птичкой. Между тѣмъ, мое положеніе становилось невыносимымъ; самыя низкія страсти по немногу завладѣли душой моей; мнѣ случалось клеветать на Колосова въ присутствіи Вари. Я рѣшился прекратить такія неестественныя отношенія. Но какъ? Разстаться съ Варей —я не могъ.... Объявить ей свою любовь—я не смѣлъ; я чувствовалъ, что не могу, пока, надѣяться на взаимность. Жениться на ней.... Эта мысль меня испугала; мнѣ было

всего восемнадцать лѣтъ; мнѣ стало страшно такъ рано «закабалить» всю свою будущность; я вспомнилъ отца, мнѣ послышались насмѣшки товарищей Колосова.... Но, говорятъ, всякая мысль подобна тѣсту: стóитъ помять ее хорошенько — все изъ нея сдѣлаешь. Я началъ по цѣлымъ днямъ думать о женитьбѣ.... Я воображалъ себѣ, какой благодарностью преисполнится сердце Вари, когда я, товарищъ и повѣренный Колосова, предложу ей свою руку, зная, что она безнадежно любитъ другого. Люди опытные, помнится, говаривали мнѣ, что бракъ по любви—совершенная нелѣпость; я началъ фантазировать: воображалъ себѣ наше тихое житье вдвоемъ, гдѣ-нибудь въ тепломъ уголкѣ южной Россіи; мысленно слѣдилъ за постепеннымъ переходомъ сердца Вари отъ благодарности къ дружбѣ, отъ дружбы къ любви.... Я давалъ себѣ слово тотчасъ же оставить Москву, университетъ, забыть все и всѣхъ. Я началъ избѣгать свиданій съ Колосовымъ. Наконецъ, въ одно зимнее, ясное утро (наканунѣ Варя какъ-то особенно меня очаровала), я одѣлся получше, медленно и торжественно вышелъ изъ комнаты, нанялъ отличнаго извощика и поѣхалъ къ Ивану Семенычу. Варя сидѣла въ залѣ одна и читала Карамзина. Увидѣвъ меня, она тихонько положила книгу на колѣни и съ тревожнымъ любопытствомъ посмотрѣла мнѣ въ лицо: я никогда къ нимъ по утрамъ не ѣздилъ.... Я подсѣлъ къ ней; мучительно билось мое сердце.—«Чтó вы это читаете?» спросилъ я наконецъ.—«Карамзина»—«Чтó-жъ? Васъ занимаетъ русская....» Она вдругъ перебила меня.—«Послушайте, вы не отъ Андрея ли?» Это имя, этотъ трепетный, вопрошающій голосъ, полу-радостное, полу-робкое выраженіе ея лица, всѣ эти несомнѣнные признаки живучей любви—стрѣлами впились въ мою душу. Я рѣшился или разстаться съ Варей, или получить отъ нея же самой

право навсегда согнать съ ея губъ ненавистное имя Андрея. Я не помню, что́ я сказалъ ей тогда; сперва я, должно-быть, выражался довольно неясно, потому-что она долго меня не понимала; наконецъ, я не вытерпѣлъ и почти закричалъ: «я васъ люблю, я хочу на васъ жениться».—«Вы меня любите?» съ изумленіемъ проговорила Варя. Мнѣ показалось, что она хочетъ встать, уйдти, отказать мнѣ.—«Ради Бога», прошепталъ я задыхаясь:—«не отвѣчайте мнѣ, не говорите мнѣ ни да, ни нѣтъ: подумайте; завтра я вернусь за рѣшительнымъ отвѣтомъ.... Я давно васъ люблю. Я не требую отъ васъ любви, я хочу быть вашимъ защитникомъ, вашимъ другомъ, не отвѣчайте мнѣ теперь, не отвѣчайте... До завтра». Съ этими словами я бросился вонъ изъ комнаты. Въ передней встрѣтилъ меня Иванъ Семенычъ, и нетолько не удивился моему посѣщенію, но даже съ пріятной улыбкой предложилъ мнѣ яблоко. Такая неожиданная любезность до того поразила меня, что я просто остолбенѣлъ.—«Возьмите-жъ яблочко, хорошее яблочко, право!» твердилъ Иванъ Семенычъ. Я машинально взялъ наконецъ яблоко и доѣхалъ съ нимъ до дома.

Вы легко себѣ можете представить, какъ я провелъ весь этотъ день и слѣдующее утро. Эту ночь я спалъ довольно плохо. «Боже мой! Боже мой!» думалъ я: «если она мнѣ откажетъ!... Я погибну.... я погибну!...» повторялъ я уныло. «Да, она непремѣнно мнѣ откажетъ.... И къ чему я торопился!!».... Желая чѣмъ-нибудь развлечь себя, я началъ писать письмо къ отцу—отчаянное, рѣшительное. Говоря о себѣ, я употреблялъ слова: «вашъ сынъ». Бобовъ ко мнѣ зашелъ. Я сталъ плакать на его груди, чему бѣдный Бобовъ, вѣроятно, удивился не мало.... Я потомъ узналъ, что онъ приходилъ ко мнѣ занять денегъ (хозяинъ грозился выгнать его изъ дому); онъ принужденъ былъ—

говоря студентскимъ языкомъ — удалиться вспять и обратно.... Наконецъ, насталъ великій мигъ. Выходя изъ комнаты, я остановился въ дверяхъ. «Съ какими чувствами», подумалъ я: «перешагну я сегодня этотъ порогъ!».... Волненіе мое, при видѣ домика Ивана Семеныча, было до того сильно, что я слѣзъ, досталъ пригоршню снѣга и жадно приникъ къ нему лицомъ. «О, Господи!» думалъ я: «если я застану Варю одну—я пропалъ!» Ноги мои подкашивались; я едва взобрался на крыльцо. Желанья мои сбылись. Я нашелъ Варю въ гостиной съ Матреной Семеновной. Я неловко раскланялся и присѣлъ къ старухѣ. Лицо Вари было нѣсколько блѣднѣе обыкновеннаго.... мнѣ показалось, что она старалась избѣгать моихъ взоровъ.... Но что́ сталось со мной, когда Матрена Семеновна вдругъ поднялась и пошла въ другую комнату!... Я началъ глядѣть въ окно—я весь внутренно трепеталъ, какъ осиновый листъ. Варя молчала.... Наконецъ я преодолѣлъ свою робость, подошелъ къ ней, нагнулъ голову.... «Что́-жъ вы мнѣ скажете?» произнесъ я замирающимъ голосомъ. Варя отвернулась—слезы сверкнули у ней на рѣсницахъ.—«Я вижу», продолжалъ я:—«мнѣ нѐчего надѣяться».... Варя стыдливо взглянула кругомъ и молча подала мнѣ руку.—«Варя!» невольно проговорилъ я.... и остановился, какъ-будто испугавшись собственныхъ надеждъ. «Поговорите съ папенькой», промолвила она наконецъ.—«Вы мнѣ позволяете поговорить съ Иваномъ Семенычемъ?»....—«Да-съ». Я осыпалъ ея руки поцѣлуями.—«Полноте-съ, полноте-съ», шептала Варя — и вдругъ залилась слезами. Я подсѣлъ къ ней, уговаривалъ ее, утиралъ ея слезы.... Къ счастью, Ивана Семеныча не было дома, а Матрена Семеновна ушла въ свою свѣтёлку. Я клялся Варѣ въ любви, въ вѣрности.... «Да́», сказала она, удерживая послѣднія рыданія и без-

престанно утирая слезы:—«я знаю, вы хорошій человѣкъ; вы честный человѣкъ; вы не то, что Колосовъ».... — «Опять это имя!».... подумалъ-я. Но съ какимъ наслажденьемъ цѣловалъ я эти теплыя, сырыя ручки! съ какой тихой радостью глядѣлъ я въ это милое лицо!... Я говорилъ ей о будущемъ, ходилъ по комнатѣ, садился передъ ней на полу, закрывалъ глаза рукой и вздрагивалъ.... Тяжелая походка Ивана Семеныча прервала нашъ разговоръ. Варя торопливо встала и ушла къ себѣ—не пожавъ, однакожъ, мнѣ руки, не взглянувъ на меня. Г-нъ Сидоренко былъ еще любезнѣе вчерашняго: смѣялся, потиралъ себѣ животъ, острилъ на счетъ Матрены Семеновны, и т. д. Я-было хотѣлъ тотчасъ попросить его «благословенія», но подумалъ и отложилъ до завтра. Его тяжелыя шутки мнѣ надоѣли; притомъ я чувствовалъ усталость.... Я простился съ нимъ и уѣхалъ.

Я принадлежу къ числу людей, которые любятъ размышлять о собственныхъ ощущеніяхъ, хотя самъ терпѣть не могу такихъ людей. И потому, послѣ перваго взрыва сердечной радости, я тотчасъ началъ предаваться различнымъ соображеніямъ. Отъѣхавъ съ полверсты отъ дома отставнаго поручика, я въ избыткѣ восторга кинулъ шляпу на воздухъ и закричалъ: «ура!» Но пока я тащился по длиннымъ и кривымъ улицамъ Москвы, мысли мои по немногу приняли другой оборотъ. Разныя довольно грязныя сомнѣнія завозились въ моей душѣ. Я вспомнилъ свой разговоръ съ Иваномъ Семенычемъ о свадьбахъ вообще.... и невольно проговорилъ въ полголоса: «вишь какъ прикидывался старый плутъ!»... Правда, я безпрестанно твердилъ: «но за то Варя моя! моя!»... Но, во-первыхъ, это: «но»—охъ, это *но!*—а во-вторыхъ, слова: «Варя моя!» возбуждали во мнѣ не глубокую, сокрушающую радость, а какой-то дюжинный, самолюбивый восторгъ.... Если-бъ Варя отказала мнѣ

на отрѣзъ, я бы запылалъ неистовою страстью; но, получивъ ея согласіе, я походилъ на человѣка, который сказалъ гостю: «будьте, какъ дома» — и гость дѣйствительно начинаетъ распоряжаться въ его комнатѣ, какъ у себя. «Если она любила Колосова», думалъ я: «какъ же это она такъ скоро согласилась? Видно, она рада за кого-нибудь выйдти замужъ.... Ну что́-жъ? тѣмъ лучше для меня».... Вотъ съ какими смутными и странными чувствами я перешагнулъ порогъ своего дома. Вы, можетъ быть, господа, находите мой разсказъ неправдоподобнымъ? Не знаю, похожъ ли онъ на истину, но знаю, что все, что̀ я вамъ сказалъ, совершенная и сущая правда. Впрочемъ, я весь этотъ день предавался лихорадочной веселости, говорилъ самому себѣ, что я просто не заслуживаю такого счастья; но на другое утро....

Удивительное дѣло — сонъ! Онъ не только возобновляетъ тѣло, онъ нѣкоторымъ образомъ возобновляетъ душу, приводитъ ее къ первобытной простотѣ и естественности. Въ теченіе дня вамъ удалось *настроить* себя, проникнуться ложью, ложными мыслями.... сонъ своей холодной волной смываетъ всѣ эти мизерныя дрязги, и, проснувшись, вы, по крайней мѣрѣ на нѣсколько мгновеній, способны понимать и любить истину. Я пробудился и, размышляя о вчерашнемъ днѣ, чувствовалъ какую-то неловкость.... мнѣ какъ-будто стало стыдно всѣхъ своихъ продѣлокъ. Я съ невольнымъ безпокойствомъ думалъ о сегодняшнемъ посѣщеніи, объ объясненіи съ Иваномъ Семенычемъ.... Это безпокойство было мучительно и тоскливо; оно походило на безпокойство зайца, который слышитъ лай гончихъ и долженъ выйдти наконецъ изъ родимаго лѣса въ поле.... а въ полѣ ждутъ его зубастыя борзыя.... — «Къ чему я торопился! повторилъ я такъ же, какъ и вчера, но уже совсѣмъ въ другомъ смыслѣ.

Помню — эта страшная разница между вчерашнимъ и сегодняшнимъ днемъ меня самого поразила; въ первый разъ пришло мнѣ въ голову тогда, что въ жизни человѣческой скрываются тайны — странныя тайны.... Съ дѣтскимъ недоумѣніемъ глядѣлъ я въ этотъ новый, не фантастическій, дѣйствительный міръ. Подъ словомъ «дѣйствительность» многіе понимаютъ слово «пошлость». Можетъ-быть, оно иногда и такъ; но я долженъ сознаться, что первое появленіе *дѣйствительности* передо мною потрясло меня глубоко, испугало, поразило меня....

Какія громкія рѣчи по поводу *невытанцовавшейся* любви, говоря словами Гоголя!... Возвращаюсь къ своему разсказу. Въ теченіе того же утра я опять увѣрялъ себя, что я блаженнѣйшій изъ смертныхъ. Я поѣхалъ за городъ къ Ивану Семенычу. Онъ меня принялъ весьма радостно; хотѣлъ-было пойдти къ сосѣду, но я самъ его остановилъ. Я боялся остаться наединѣ съ Варей. Этотъ вечеръ прошелъ весело, но неотрадно. Варя была ни то, ни сё, ни любезна, ни грустна.... ни хороша собой, ни дурна. Я взиралъ на нее, какъ говорятъ философы, объективнымъ окомъ, т. е. какъ сытый человѣкъ смотритъ на кушанья. Я нашелъ, что у ней руки немного красны. Впрочемъ, кровь иногда во мнѣ разгоралась, и я, глядя на нее, предавался другимъ мечтамъ и замысламъ. Давно-ли я сдѣлалъ такъ-называемое предложеніе, и вотъ уже я чувствовалъ, что мы съ нею живемъ супружеской жизнью.... что наши души уже составляютъ одно *прекрасное цѣлое*, принадлежатъ другъ другу, и, слѣдовательно, стараются каждая сыскать для себя особую дорожку.. .

— «Что́ жъ? вы говорили съ папенькой?» сказала мнѣ Варя, когда мы съ ней остались наединѣ. Этотъ вопросъ мнѣ ужасно не понравился.... я подумалъ про себя:

«больно изволите торопиться, Варвара Ивановна».—«Нѣтъ еще-съ», отвѣчалъ я довольно сухо: — «но поговорю». Вообще я обходился съ ней нѣсколько небрежно. Несмотря на свое обѣщаніе, я Ивану Семенычу ничего не сказалъ положительнаго. Уѣзжая, я значительно пожалъ его руку и объявилъ ему, что мнѣ нужно съ нимъ поговорить.... вотъ и все.... — «Прощайте!» сказалъ я Варѣ. — «До свиданія», сказала она.

Я васъ не стану долго томить, господа; боюсь истощить ваше терпѣніе.... Этого свиданія не было. Я не вернулся болѣе къ Ивану Семенычу. Правда, первые дни моей добровольной разлуки съ Варей не прошли безъ слезъ, упрековъ и волненій; я самъ былъ испуганъ быстрымъ увяданіемъ моей любви; я двадцать разъ собирался ѣхать къ ней, живо представлялъ себѣ ея изумленіе, горе, оскорбленіе, но — не вернулся къ Ивану Семенычу. Я заочно просилъ у ней прощенія, заочно становился передъ ней на колѣни, увѣрялъ ее въ своемъ глубокомъ раскаяніи — и какъ-то разъ, встрѣтивъ на улицѣ дѣвушку, слегка похожую на нее, пустился бѣжать безъ оглядки и отдохнулъ только въ кондитерской, за пятымъ слоёнымъ пирожкомъ. Слово «завтра» придумано для людей нерѣшительныхъ и для дѣтей; я, какъ ребенокъ, успокоивалъ себя этимъ волшебнымъ словомъ. «Завтра я пойду къ ней непремѣнно», говорилъ я самому себѣ, и отлично ѣлъ и спалъ сегодня. Я началъ гораздо болѣе думать о Колосовѣ, чѣмъ о Варѣ....вездѣ и безпрестанно видѣлъ я передъ собой его открытое, смѣлое, безпечное лицо. Я сталъ снова ходить къ нему. Онъ меня принялъ попрежнему. Но какъ глубоко я чувствовалъ его превосходство надо мною! Какъ смѣшны показались мнѣ всѣ мои затѣи; моя грустная задумчивость во время связи Колосова съ Варей, моя великодушная

*

рѣшимость сблизить ихъ снова, мои ожиданія, мои восторги, мое раскаяніе!... Я разыгралъ плохую, крикливую и растянутую комедію, а онъ такъ просто, такъ хорошо прожилъ это время.... Вы мнѣ скажете: «Что-жъ тутъ удивительнаго? вашъ Колосовъ полюбилъ дѣвушку, потомъ разлюбилъ и бросилъ ее.... Да это случалось со всѣми»... Согласенъ; но кто изъ насъ умѣлъ во́-время разстаться съ своимъ прошедшимъ? Кто, скажете, кто не боится упрековъ, не говорю упрековъ женщины.... упрековъ перваго глупца? Кто изъ насъ не поддавался желанію то щегольнуть великодушіемъ, то себялюбиво поиграть съ другимъ, преданнымъ сердцемъ? Наконецъ, кто изъ насъ въ силахъ противиться мелкому самолюбію — *мелкимъ хорошимъ чувствамъ*: сожалѣнію и раскаянію?... О! господа, человѣкъ, который разстается съ женщиною, нѣкогда любимой, въ тотъ горькій и великій мигъ, когда онъ невольно сознаетъ, что его сердце не все, не вполнѣ проникнуто ею, этотъ человѣкъ, повѣрьте мнѣ, лучше и глубже понимаетъ святость любви, чѣмъ тѣ малодушные люди, которые отъ скуки, отъ слабости продолжаютъ играть на полупорванныхъ струнахъ своихъ вялыхъ и чувствительныхъ сердецъ! Въ началѣ разсказа я вамъ сказывалъ, что мы всѣ прозвали Андрея Колосова человѣкомъ необыкновеннымъ. И если ясный, простой взглядъ на жизнь, если отсутствіе всякой фразы въ молодомъ человѣкѣ можетъ назваться вещью необыкновенной, Колосовъ заслужилъ данное ему имя. Въ извѣстныя лѣта — быть естественнымъ — значитъ быть необыкновеннымъ.... Однако, пора кончить. Благодарю васъ за вниманіе.... Да́, я забылъ вамъ сказать, что мѣсяца три послѣ моего послѣдняго посѣщенія, встрѣтился я со старымъ плутомъ, Иваномъ Семенычемъ. Я, разумѣется, постарался незамѣтно и скоро проскользнуть мимо него, но все-таки

не могъ не услышать слѣдующихъ, съ досадой произнесенныхъ словъ: «вѣдь вотъ бываютъ же такіе широмыжники!»

— А что́ сталось съ Варей? спросилъ кто-то.

— Не знаю, отвѣчалъ разскащикъ.

Мы всѣ встали и разошлись.

1844 г.

БРЕТТЁРЪ.

I.

....ій кирасирскій полкъ квартировалъ въ 1829 году въ селѣ Кирилловѣ, калужской губерніи. Это село съ своими избушками и скирдами, зелеными коноплянниками и тощими ракитами издали казалось островомъ среди необозримаго моря распаханныхъ, черноземныхъ полей. Посреди села находился небольшой прудъ, вѣчно покрытый гусинымъ пухомъ, съ грязными, изрытыми берегами; во ста шагахъ отъ пруда, на другой сторонѣ дороги, высился господскій деревянный домъ, давно пустой и печально подавшійся на бокъ; за домомъ тянулся заброшенный садъ; въ саду росли старыя, безплодныя яблони, высокія березы, усѣянныя вороньими гнѣздами; на концѣ главной аллеи, въ маленькомъ домишкѣ (бывшей господской банѣ) жилъ дряхлый дворецкій и, покрёхтывая да покашливая, каждое утро, по старой привычкѣ, тащился черезъ садъ въ барскіе покои, хотя въ нихъ нѣчего было стеречь, кромѣ дюжины бѣлыхъ креселъ, обитыхъ полинялымъ штофомъ, двухъ пузатыхъ комодовъ на кривыхъ ножкахъ съ мѣдными ручками, четырехъ дырявыхъ картинъ и одного чернаго Арапа изъ алебастра съ отбитымъ носомъ. Владѣлецъ этого дома, молодой и безпечный человѣкъ, жилъ то въ Петербургѣ, то за границей — и

совершенно позабылъ о своемъ помѣстьѣ. Оно досталось ему, лѣтъ восемь тому назадъ, отъ престарѣлаго дяди, извѣстнаго нѣкогда всему околотку своими отличными наливками. Пустыя, темно-зеленыя бутыли до сихъ поръ еще валялись въ кладовой, вмѣстѣ съ разнымъ хламомъ, скупо исписанными тетрадями въ пестрыхъ переплетахъ, старинными стеклянными люстрами, дворянскимъ мундиромъ временъ Екатерины, заржавѣвшей шпагой съ стальной рукояткой и т. д. Въ одномъ изъ флигелей помѣщался самъ полковникъ, человѣкъ женатый, высокаго роста, скупой на слова, угрюмый и сонливый. Въ другомъ флигелѣ жилъ полковой адъютантъ, чувствительный и раздушенный человѣкъ, охотникъ до цвѣтовъ и до бабочекъ. Общество гг. офицеровъ ...го полка не отличалось отъ всякаго другого общества. Въ числѣ ихъ были хорошіе и дурные, умные и пустые люди... Между ними нѣкто Авдѣй Ивановичъ Лучковъ, штабсъ-ротмистръ, слылъ бреттёромъ. Лучковъ былъ роста небольшого, не казистъ; лицо имѣлъ малое, желтоватое, сухое, волосы жиденькіе, черные, черты лица обыкновенныя и темные глазки. Онъ рано остался сиротой, выросъ въ нуждѣ и загонѣ. По цѣлымъ недѣлямъ велъ онъ себя тихо.... и вдругъ— словно бѣсъ какой имъ овладѣетъ—ко всѣмъ пристаетъ, всѣмъ надоѣдаетъ, всѣмъ нагло смотритъ въ глаза; ну, такъ и напрашивается на ссору. Впрочемъ, Авдѣй Иванычъ не чуждался своихъ сослуживцевъ, но въ дружбѣ состоялъ съ однимъ только раздушеннымъ адъютантомъ; въ карты не игралъ и не пилъ вина.

Въ маѣ 1829 года, незадолго до начатія ученій, прибылъ въ полкъ молодой корнетъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ Кистеръ, русскій дворянинъ нѣмецкаго происхожденія, очень бѣлокурый и очень скромный, образованный и начитанный. Онъ до двадцатилѣтняго возраста жилъ въ родитель-

скомъ домѣ подъ крылышками матушки, бабушки и двухъ тетушекъ; поступилъ же въ военную службу единственно по желанію бабушки, которая даже подъ старость не могла безъ волненія видѣть бѣлый султанъ.... Онъ служилъ безъ особенной охоты, но съ усердіемъ, точно и добросовѣстно исполнялъ долгъ свой; одѣвался не щеголевато, но чисто и по формѣ. Въ первый же день своего пріѣзда Ѳедоръ Ѳедоровичъ явился къ начальникамъ; потомъ началъ устраивать свою квартиру. Онъ привезъ съ собою дешевенькіе обои, коврики, полочки и т. д., оклеилъ всѣ стѣны, двери, надѣлалъ разныхъ перегородокъ, велѣлъ вычистить дворъ, перестроилъ конюшню, кухню, отвелъ даже мѣсто для ванны.... Цѣлую недѣлю хлопоталъ онъ; за то любо было потомъ войдти въ его комнату. Передъ окнами стоялъ опрятный столъ, покрытый разными вещицами; въ углу находилась полочка для книгъ съ бюстами Шиллера и Гёте; на стѣнахъ висѣли ландкарты, четыре Греведоновскія головки и охотничье ружье; возлѣ стола стройно возвышался рядъ трубокъ съ исправными мундштуками; въ сѣняхъ на полу лежалъ коврикъ; всѣ двери запирались на замокъ; окна завѣшивались гардинами. Все въ комнатѣ Ѳедора Ѳедоровича дышало порядкомъ и чистотой. То ли дѣло у другихъ товарищей! Къ иному едва проберешься черезъ грязный дворъ; въ сѣняхъ, за облупившимися парусинными ширмами, храпитъ деньщикъ; на полу—гнилая солома; на плитѣ—сапоги и донышко банки, залитое ваксой; въ самой комнатѣ—покоробленный ломберный столъ, исписанный мѣломъ; на столѣ — стаканы, до половины наполненные холоднымъ темнобурымъ чаемъ; у стѣны — широкій проломленный, замасленный диванъ; на окнахъ— трубочный пепелъ.... На неуклюжемъ и пухломъ креслѣ возсѣдаетъ самъ хозяинъ въ шлафрокѣ травяного цвѣта,

съ малиновыми плисовыми отворотами и вышитой ермолкѣ азіятскаго происхожденія, а возлѣ хозяина храпитъ безобразно толстый и негодный песъ въ вонючемъ мѣдномъ ошейникѣ.... Всѣ двери всегда настежъ....

Ѳедоръ Ѳедоровичъ понравился своимъ новымъ товарищамъ. Они его полюбили за добродушіе, скромность, сердечную теплоту и природную наклонность ко «всему прекрасному»—словомъ, за все то, что́ въ другомъ офицерѣ нашли бы, можетъ быть, неумѣстнымъ. Кистера прозвали красной дѣвушкой и обращались съ нимъ нѣжно и кротко. Одинъ Авдѣй Ивановичъ поглядывалъ на него косо. Однажды послѣ ученья, Лучковъ подошелъ къ нему, слегка сжимая губы и расширяя ноздри.

— Здравствуйте, г. Кнастеръ.

Кистеръ взглянулъ на него съ недоумѣніемъ.

— Мое почтеніе, г. Кнастеръ, повторилъ Лучковъ.

— Меня зовутъ Кистеръ, милостивый государь.

— Вотъ какъ-съ, г. Кнастеръ.

Ѳедоръ Ѳедоровичъ обернулся къ нему спиной и пошелъ домой. Лучковъ съ усмѣшкой посмотрѣлъ ему въ слѣдъ.

На другой день онъ, тотчасъ послѣ ученья, опять подошелъ къ Кистеру.

— Ну, какъ вы поживаете, г. Киндербальзамъ?

Кистеръ вспыхнулъ и посмотрѣлъ ему прямо въ лицо. Маленькіе, желчные глазки Авдѣя Ивановича засвѣтились злобной радостью.

— Я съ вами говорю, г. Киндербальзамъ?

— Милостивый государь, отвѣчалъ ему Ѳедоръ Ѳедоровичъ:—я нахожу вашу шутку глупою и неприличною—слышите-ли? глупою и неприличною.

— Когда мы деремся? спокойно возразилъ Лучковъ.

— Когда вы хотите.... хоть завтра.

На другое утро они дрались. Лучковъ легко ранилъ Кистера и, къ крайнему удивленію секундантовъ, подошелъ къ раненому, взялъ его за руку и попросилъ у него извиненья. Кистеръ просидѣлъ дома двѣ недѣли; Авдѣй Ивановичъ нѣсколько разъ заходилъ навѣстить больного, а по выздоровленіи Ѳедора Ѳедоровича, подружился съ нимъ. Понравилась ли ему рѣшительность молодого офицера, пробудилось ли въ его душѣ чувство, похожее на раскаянье — рѣшить мудрено.... но со времени поединка съ Кистеромъ, Авдѣй Ивановичъ почти не разставался съ нимъ и называлъ его сперва Ѳедоромъ, потомъ и Ѳедей. Въ его присутствіи онъ дѣлался инымъ человѣкомъ, и—странное дѣло! не въ свою выгоду. Ему не шло быть кроткимъ и мягкимъ. Сочувствія онъ все-таки возбуждать ни въ комъ не могъ: ужъ такова была его судьба! Онъ принадлежалъ къ числу людей, которымъ какъ-будто дано право власти надъ другими; но природа отказала ему въ дарованіяхъ — необходимомъ оправданіи подобнаго права. Не получивъ образованія, не отличаясь умомъ, онъ не долженъ бы былъ разоблачаться; можетъ быть, ожесточеніе въ немъ происходило именно отъ сознанія недостатковъ своего воспитанія, отъ желанья скрыть себя всего подъ одну неизмѣнную личину. Авдѣй Ивановичъ сперва заставлялъ себя презирать людей; потомъ замѣтилъ, что ихъ пугнуть не трудно и дѣйствительно сталъ ихъ презирать. Лучкову было весело прекращать однимъ появленіемъ своимъ всякій не совсѣмъ пошлый разговоръ. «Я ничего не знаю и ничему не учился, да и способностей у меня нѣтъ», думалъ онъ про себя: «такъ и вы ничего не знайте и не выказывайте своихъ способностей при мнѣ».... Кистеръ, быть можетъ, потому заставилъ Лучкова выйдти наконецъ изъ своей роли — что до знакомства съ нимъ, бреттёръ не встрѣтилъ ни одного чело-

вѣка дѣйствительно «идеальнаго», т. е. безкорыстно и добродушно занятаго мечтами, а потому снисходительнаго и не самолюбиваго.

Бывало Авдѣй Ивановичъ придетъ поутру къ Кистеру, закуритъ трубку и тихонько присядетъ на кресла. Лучковъ при Кистерѣ не стыдился своего невѣжества; онъ надѣялся—и не даромъ—на его нѣмецкую скромность.

— Ну, что? начиналъ онъ: — что вчера подѣлывалъ? Читалъ, небось, а?

— Да, читалъ....

— А что-жъ такое читалъ? разскажи-ка, братецъ, разскажи-ка. Авдѣй Ивановичъ до конца придерживался насмѣшливаго тона.

— Читалъ, братъ, «Идиллію» Клейста. Ахъ, какъ хорошо! Позволь, я переведу тебѣ нѣсколько строкъ. — И Кистеръ съ жаромъ переводилъ, а Лучковъ, наморщивъ лобъ и стиснувъ губы, слушалъ внимательно....—Дá, дá, твердилъ онъ поспѣшно, съ непріятной улыбкой,—хорошо.... очень хорошо.... Я, помнится, это читалъ.... хорошо.

— Скажи мнѣ, пожалуйста, прибавлялъ онъ протяжно и какъ-будто нехотя:—какого ты мнѣнія о Людовикѣ Четырнадцатомъ?

И Кистеръ пускался толковать о Людовикѣ XIV-мъ. А Лучковъ слушалъ, многаго не понималъ вовсе, иное понималъ криво.... и наконецъ рѣшался сдѣлать замѣчаніе.... Его бросало въ потъ; «ну, если я совру?» думалъ онъ. И дѣйствительно, вралъ онъ часто, но Кистеръ никогда рѣзко не возражалъ ему: добрый юноша душевно радовался тому, что вотъ, дескать, въ человѣкѣ пробуждается охота къ просвѣщенію. Увы! Авдѣй Ивановичъ разспрашивалъ Кистера не изъ охоты къ просвѣщенію, а такъ! Богъ знаетъ отчего. Можетъ быть, онъ желалъ самъ удо-

стовѣриться на дѣлѣ, какая у него, Лучкова, голова, тупая что-ли, или только необдѣланная? «А я вѣдь въ сущности глупъ», говорилъ онъ самому себѣ не разъ съ горькой усмѣшкой, и вдругъ выпрямлялся весь, нахально и дерзко глядѣлъ кругомъ и злобно улыбался, если замѣчалъ, что какой-нибудь товарищъ опускалъ свой взглядъ передъ его взглядомъ. «То-то, братъ, ученый, воспитанный».... — шепталъ онъ сквозь зубы: «не хочешь ли.... того?»

Гг. офицеры недолго толковали о внезапной дружбѣ Кистера съ Лучковымъ: они привыкли къ странностямъ бреттёра. «Связался же чортъ съ младенцемъ!» говорили они.... Кистеръ повсюду съ жаромъ выхвалялъ своего новаго пріятеля: съ нимъ не спорили, потому что боялись Лучкова; самъ же Лучковъ никогда при другихъ не упоминалъ имени Кистера, но пересталъ знаться съ раздушеннымъ адъютантомъ.

II.

Помѣщики южной Россіи большіе охотники давать балы, приглашать къ себѣ на домъ гг. офицеровъ и выдавать своихъ дочерей замужъ. Въ десяти верстахъ отъ села Кириллова жилъ именно такой помѣщикъ, нѣкто господинъ Перекатовъ, владѣлецъ четырехъ-сотъ душъ и довольно просторнаго дома. У него была дочь лѣтъ восемнадцати, Машенька, и жена, Ненила Макарьевна. Господинъ Перекатовъ служилъ нѣкогда въ кавалеріи, но по любви къ деревенской жизни, по лѣни, вышелъ въ отставку и началъ жить-себѣ потихоньку, какъ живутъ помѣщики средней руки. Ненила Макарьевна происходила не совершенно законнымъ образомъ отъ знатнаго московскаго барина.

Покровитель ея воспитывалъ свою Ненилушку весьма, какъ говорится, тщательно, въ собственномъ домѣ, но сбылъ ее съ рукъ довольно поспѣшно, по первому востребованію, какъ ненадежный товаръ. Ненила Макарьевна была нехороша собой; знатный баринъ давалъ за ней всего тысячъ десять приданаго; она ухватилась за господина Перекатова. Господину Перекатову показалось весьма лестнымъ жениться на барышнѣ воспитанной, умной.... ну, да наконецъ все же состоявшей въ родствѣ съ знатнымъ сановникомъ. Сановникъ этотъ и послѣ брака оказывалъ супругамъ свое покровительство, то-есть, принималъ отъ нихъ въ подарокъ соленыхъ перепелокъ и говорилъ Перекатову: «ты, братецъ», а иногда просто: «ты». Ненила Макарьевна совершенно завладѣла мужемъ, хозяйничала и распоряжалась всѣмъ имѣньемъ — весьма, впрочемъ, умно; во всякомъ случаѣ, гораздо лучше самого господина Перекатова. Она не слишкомъ притѣсняла своего сожителя, но держала его въ рукахъ, сама заказывала ему платье и наряжала его по-англійски, какъ оно и прилично помѣщику; по ея приказанію, господинъ Перекатовъ завелъ у себя на подбородкѣ эспаньолку для прикрытія большой бородавки, похожей на переспѣлую малину; Ненила Макарьевна съ своей стороны объявила гостямъ, что мужъ ея играетъ на флейтѣ и что всѣ флейтисты подъ нижней губой отпускаютъ себѣ волосы: ловчѣе держать инструментъ. Господинъ Перекатовъ съ утра ходилъ въ высокомъ, чистомъ галстухѣ, причесанный и вымытый. Впрочемъ, онъ былъ своей судьбой весьма доволенъ: обѣдалъ всегда очень вкусно, дѣлалъ чтó хотѣлъ и спалъ сколько могъ. Ненила Макарьевна завела, какъ говорили сосѣди, у себя въ домѣ «иностранный порядокъ»: держала мало людей, одѣвала ихъ опрятно. Честолюбіе ее мучило; она хотѣла попасть хоть

въ уѣздныя предводительши, но дворяне ....го уѣзда, хоть и наѣдались у ней всласть, однако-жъ все-таки выбирали не ея мужа, а то отставного премьеръ-маіора Буркольца, то отставнаго секундъ-маіора Бурундюкова. Господинъ Перекатовъ казался имъ черезъ-чуръ столичной штучкой.

Дочь господина Перекатова, Машенька, съ лица походила на отца. Ненила Макарьевна много хлопотала надъ ея воспитаніемъ. Она хорошо говорила по-французски, играла порядочно на фортепьянахъ. Она была средняго роста, довольно полна и бѣла; ея нѣсколько пухлое лицо оживлялось доброй, веселой улыбкой; русые, не слишкомъ густые волосы, каріе глазки, пріятный голосъ — все въ ней тихо нравилось, и только. За то отсутствіе жеманства, предразсудковъ, начитанность необыкновенная въ степной дѣвицѣ, свобода выраженій, спокойная простота рѣчей и взглядовъ, невольно въ ней поражали. Она развилась на волѣ; Ненила Макарьевна не стѣсняла ее.

Однажды поутру, часовъ въ двѣнадцать, все семейство Перекатовыхъ собралось въ гостиную. Мужъ въ зеленомъ кругломъ фракѣ, высокомъ клѣтчатомъ галстухѣ и гороховыхъ панталонахъ съ штиблетами стоялъ передъ окномъ и съ большимъ вниманіемъ ловилъ мухъ. Дочь сидѣла за пяльцами; ея небольшая, полненькая ручка въ черной митенкѣ граціозно и медленно подымалась и опускалась надъ канвой. Ненила Макарьевна сидѣла на диванѣ и молча посматривала на полъ.

— Вы послали въ ....й полкъ приглашеніе, Сергѣй Сергѣичъ? спросила она мужа.

— На сегодняшній вечеръ? Какъ же, ма-шеръ, послалъ. (Ему запрещено было называть ее матушкой.) Какъ же!

— Совсѣмъ нѣтъ кавалеровъ, продолжала Ненила Макарьевна.—Не съ кѣмъ танцовать барышнямъ.

Мужъ вздохнулъ, какъ-будто отсутствіе кавалеровъ его сокрушало.

— Маменька, заговорила вдругъ Маша: — мсьё Лучковъ приглашенъ?

— Какой Лучковъ?

— Онъ тоже офицеръ. Онъ, говорятъ, очень интересенъ.

— Какъ такъ?

— Да; онъ собой не хорошъ и не молодъ, но его всѣ боятся. Онъ ужасный дуэлистъ. (Маменька слегка нахмурила брови). Я бы очень желала его видѣть....

Сергѣй Сергѣевичъ перебилъ свою дочку.

— Чтó тутъ видѣть, душа моя? Ты думаешь, онъ такъ и смотритъ лордомъ Байрономъ? (Въ то время только-что начинали у насъ толковать о лордѣ Байронѣ).—Пустяки! Вѣдь и я, душа моя, въ кои-то вѣки слылъ забіякой.

Маша посмотрѣла съ изумленіемъ на родителя, засмѣялась, потомъ вскочила и поцѣловала его въ щеку. Супруга слегка улыбнулась.... а Сергѣй Сергѣичъ не солгалъ.

— Не знаю, пріѣдетъ ли этотъ господинъ, промолвила Ненила Макарьевна. Можетъ-быть, и онъ пожалуетъ.

Дочка вздохнула.

— Смотри, не влюбись въ него, замѣтилъ Сергѣй Сергѣичъ.—Я знаю, вы всѣ такія теперь.... того.... восторженныя....

— Нѣтъ, простодушно возразила Маша.

Ненила Макарьевна холодно посмотрѣла на своего мужа. Сергѣй Сергѣичъ съ нѣкоторымъ замѣшательствомъ поигралъ часовой цѣпочкой, взялъ со стола свою англійскую, съ широкими полями, шляпу и отправился на хо-

зяйство. Его собака робко и смиренно побѣжала вслѣдъ за нимъ. Какъ животное умное, она чувствовала, что и самъ хозяинъ ея не слишкомъ властный человѣкъ въ домѣ, и вела себя скромно и осторожно.

Ненила Макарьевна подошла къ дочери, тихонько подняла ей голову и ласково посмотрѣла ей въ глаза. «Ты мнѣ скажешь, когда ты влюбишься?» спросила она.

Маша съ улыбкой поцѣловала руку матери и нѣсколько разъ утвердительно покачала головой.

— Смотри же, замѣтила Ненила Макарьевна, погладила ее по щекѣ и вышла вслѣдъ за мужемъ. Маша прислонилась къ спинкѣ креселъ, опустила голову на грудь, скрестила пальцы и долго глядѣла въ окно, прищуривъ глазки.... Легкая краска заиграла на свѣжихъ ея щекахъ; со вздохомъ выпрямилась она, принялась-было шить, уронила иголку, оперла лицо на руку и, легонько покусывая кончики ногтей, задумалась.... потомъ взглянула на свое плечо, на свою протянутую руку, встала, подошла къ зеркалу, усмѣхнулась, надѣла шляпу и пошла въ садъ.

Въ тотъ же вечеръ, часовъ въ восемь, начали съѣзжаться гости. Г-жа Перекатова весьма любезно принимала и «занимала» дамъ, Машенька—дѣвицъ; Сергѣй Сергѣичъ толковалъ съ помѣщиками о хозяйствѣ, и то-и-дѣло взглядывалъ на жену. Начали появляться молодые франты, нарочно пріѣхавшіе попозже офицеры; наконецъ вошелъ самъ г-нъ полковникъ, въ сопровожденіи своего адъютанта, Кистера и Лучкова. Онъ представилъ ихъ хозяйкѣ. Лучковъ молча поклонился; Кистеръ пробормоталъ обычное: «весьма радъ».... Г-нъ Перекатовъ подошелъ къ полковнику, крѣпко пожалъ ему руку и съ чувствомъ посмотрѣлъ ему въ глаза. Полковникъ немедленно насупился. Начались танцы. Кистеръ пригласилъ Машеньку. Въ то время процвѣталъ еще экосезъ.

— Скажите мнѣ, пожалуйста, сказала ему Маша, когда, проскакавъ разъ двадцать до конца залы, они стали наконецъ въ первыя пары: — отчего вашъ пріятель не танцуетъ?

— Какой пріятель?

Маша концомъ вѣера указала на Лучкова.

— Онъ никогда не танцуетъ, возразилъ Кистеръ.

— Зачѣмъ же онъ пріѣхалъ?

Кистеръ немного смѣшался.— Онъ желалъ имѣть удовольствіе....

Машенька его перебила.—Вы, кажется, недавно переведены въ нашъ полкъ?

— Въ *вашъ* полкъ, замѣтилъ съ улыбкой Кистеръ: — нѣтъ, недавно.

— Вы здѣсь не скучаете?

— Помилуйте... Я здѣсь нашелъ такое пріятное общество.... а природа!.... Кистеръ пустился въ описаніе природы. Маша слушала его, не поднимая головы. Авдѣй Ивановичъ стоялъ въ углу, и равнодушно посматривалъ на танцующихъ.

— Сколько лѣтъ г. Лучкову? спросила она вдругъ.

— Лѣтъ.... лѣтъ тридцать-пять, я думаю, возразилъ Кистеръ.

— Онъ, говорятъ, человѣкъ опасный.... сердитый, поспѣшно прибавила Маша.

— Онъ немного вспыльчивъ.... но, впрочемъ, онъ очень хорошій человѣкъ.

— Говорятъ, всѣ его боятся?

Кистеръ засмѣялся.

— А вы?

— Мы съ нимъ пріятели.

— Въ самомъ дѣлѣ.

— Вамъ, вамъ, вамъ, кричали имъ со всѣхъ сторонъ.

Они встрепенулись и пустились опять скакать бокомъ чрезъ всю залу.

— Ну, поздравляю тебя, сказалъ Лучкову Кистеръ, подходя къ нему послѣ танца — хозяйская дочь то-и-дѣло разспрашивала меня о тебѣ.

— Неужели? презрительно возразилъ Лучковъ.

— Честный человѣкъ! А вѣдь она очень собой хороша; посмотри-ка.

— А какая изъ нихъ она?

Кистеръ указалъ ему Машу.

— А! не дурна!—И Лучковъ зѣвнулъ.

— Холодный человѣкъ! воскликнулъ Кистеръ и побѣжалъ приглашать другую дѣвицу.

Авдѣю Ивановичу очень понравилось извѣстіе, сообщенное Кистеромъ, хоть онъ и зѣвнулъ, и даже громко зѣвнулъ. Возбуждать любопытство — сильно льстило его самолюбіе; любовь онъ презиралъ — на словахъ.... а внутренно чувствовалъ самъ, что трудно и хлопотно заставить полюбить себя... Трудно и хлопотно заставить полюбить себя,—но весьма легко и просто прикидываться равнодушнымъ, молчаливымъ гордецомъ. Авдѣй Ивановичъ былъ дуренъ собою и немолодъ; но за то пользовался страшной славой — и, слѣдовательно, имѣлъ право рисоваться. Онъ привыкъ къ горькимъ и безмолвнымъ наслажденіямъ угрюмаго одиночества; не въ первый разъ обращалъ онъ на себя вниманіе женщинъ; иныя даже старались сблизиться съ нимъ, но онъ ихъ отталкивалъ съ ожесточеннымъ упрямствомъ; онъ зналъ, что не къ лицу ему нѣжность (въ часы свиданій, откровеній, онъ становился сперва неловкимъ и пошлымъ, а потомъ съ досады, грубымъ до плоскости, до оскорбленія); онъ помнилъ, что двѣ-три женщины, съ которыми онъ нѣкогда знался, охладѣли къ нему тотчасъ послѣ первыхъ мгно-

веній ближайшаго знакомства, и сами съ поспѣшностью удалялись отъ него.... а потому онъ и рѣшился, наконецъ, оставаться загадкой, и презирать то, въ чемъ судьба отказала ему.... Другого презрѣнія люди вообще, кажется, не знаютъ. Всякое откровенное, непроизвольное, то-есть доброе проявленіе страсти не шло къ Лучкову; онъ долженъ былъ постоянно сдерживать себя, даже когда злился. Одному Кистеру не становилось гадко, когда Лучковъ заливался хохотомъ; глаза добраго нѣмца сверкали благородной радостью сочувствія, когда онъ читалъ Авдѣю любимыя страницы изъ Шиллера, а бреттёръ сидѣлъ передъ нимъ, понуривъ голову, какъ волкъ....

Кистеръ танцовалъ до упаду, Лучковъ не покидалъ своего уголка, хмурилъ брови, изрѣдка украдкой взглядывалъ на Машу — и встрѣтивъ ея взоры, тотчасъ придавалъ глазамъ своимъ равнодушное выраженіе. Маша раза три танцовала съ Кистеромъ. Восторженный юноша возбудилъ ея довѣренность. Она довольно весело болтала съ нимъ, но на сердцѣ ей было неловко. Лучковъ занималъ ее.

Загремѣла мазурка. Офицеры пустились подпрыгивать, топать каблуками и подбрасывать плечами эполеты; статскіе тоже топали каблуками. Лучковъ все не двигался съ своего мѣста и медленно слѣдилъ глазами за мелькающими парами. Кто-то тронулъ его рукавъ.... онъ оглянулся; его сосѣдъ указывалъ ему на Машу. Она стояла передъ нимъ, не поднимая глазъ, и протягивала ему руку. Лучковъ сперва посмотрѣлъ на нее съ недоумѣніемъ, потомъ равнодушно снялъ палашъ, бросилъ шляпу на полъ, неловко пробрался между креселъ, взялъ Машу за руку — и пошелъ вдоль круга, безъ припрыжекъ и топаній, какъ-бы нехотя исполняя непріятный долгъ.... У Маши сильно билось сердце.

*

— Отчего вы не танцуете? спросила она его наконецъ.

— Я не охотникъ, отвѣчалъ Лучковъ. — Гдѣ ваше мѣсто?

— Вонъ тамъ-съ.

Лучковъ довелъ Машу до ея стула, спокойно поклонился ей, спокойно вернулся въ свой уголъ.... но весело въ немъ шевельнулась жолчь.

Кистеръ пригласилъ Машу.

— Какой вашъ пріятель странный!

— А онъ васъ очень занимаетъ.... сказалъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ, плутовски прищуривъ свои голубые и добрые глаза.

— Да.... онъ, должно быть, очень несчастливъ.

— Онъ несчастливъ? Съ чего вы это взяли?—И Ѳедоръ Ѳедоровичъ засмѣялся.

— Вы не знаете.... Вы не знаете....—Маша важно покачала головой.

— Да какъ же мнѣ не знать?...

Маша опять покачала головой и взглянула на Лучкова. Авдѣй Ивановичъ замѣтилъ этотъ взглядъ, пожалъ незамѣтно плечами и вышелъ въ другую комнату.

III.

Прошло нѣсколько мѣсяцевъ съ того вечера. Лучковъ ни разу не былъ у Перекатовыхъ. За то Кистеръ посѣщалъ ихъ довольно часто. Ненила Макарьевна его полюбила, но не она привлекала Ѳедора Ѳедоровича. Маша ему нравилась. Какъ человѣкъ неопытный и невыболтавшійся, онъ находилъ большое удовольствіе въ обмѣнѣ чувствъ и мыслей и добродушно вѣрилъ въ возможность

возвышенной и спокойной дружбы между молодымъ человѣкомъ и молодой дѣвушкой.

Однажды тройка сытыхъ и рѣзвыхъ лошадокъ примчала его къ дому г-на Перекатова. День былъ лѣтній, душный и знойный. Нигдѣ ни облака. Синева неба по краямъ сгущалась до того, что глазъ принималъ ее за грозовую тучу. Домъ, построенный г-мъ Перекатовымъ на лѣтнее жительство съ обыкновенной степной предусмотрительностію, былъ обращенъ окнами прямо на солнце. Ненила Макарьевна съ утра велѣла затворить всѣ ставни. Кистеръ вошелъ въ гостиную, прохладную и полумрачную. Свѣтъ ложился длинными чертами по полу, короткими и частыми полосками по стѣнамъ. Семейство Перекатовыхъ ласково встрѣтило Ѳедора Ѳедоровича. Послѣ обѣда, Ненила Макарьевна отправилась на отдыхъ къ себѣ въ спальню; г. Перекатовъ умѣстился въ гостиной на диванѣ; Маша сѣла подлѣ окна за пяльцы; Кистеръ противъ нея. Маша, не раскрывая пялецъ, слегка приложилась къ нимъ грудью, и подперла голову руками. Кистеръ началъ ей что-то разсказывать; она слушала его безъ вниманія, какъ-будто ждала чего-то, изрѣдка взглядывала на отца и вдругъ протянула руку.

— Послушайте, Ѳедоръ Ѳедоровичъ.... да только говорите потише.... папенька заснулъ.

Дѣйствительно, г-нъ Перекатовъ, по обыкновенію, заснулъ сидя на диванѣ, закинувъ голову и раскрывъ немного ротъ.

— Что вамъ угодно? съ любопытствомъ спросилъ Кистеръ.

— Вы будете надо мной смѣяться.

— Помилуйте!...

Маша опустила голову, такъ что только верхняя часть ея лица осталась незакрытой руками, и вполголоса, не

безъ замѣшательства, спросила Кистера: отчего онъ никогда не привезетъ съ собой г-на Лучкова? Маша не въ первый разъ упоминала о немъ послѣ бала.... Кистеръ молчалъ. Маша боязливо взглянула изъ-за переплетенныхъ пялецъ.

— Могу ли я откровенно сказать вамъ мое мнѣніе? спросилъ ее Кистеръ.

— Отчего же нѣтъ? разумѣется.

— Мнѣ кажется, Лучковъ произвелъ на васъ большое впечатлѣніе!

— Нѣтъ! отвѣчала Маша и нагнулась, какъ-бы желая разсмотрѣть поближе узоръ; узкая, золотая полоска свѣта легла ей на волосы:—нѣтъ.... но....

— Что́: но? проговорилъ Кистеръ съ улыбкой.

— Вотъ видите ли, сказала Маша и приподняла вдругъ голову, такъ что полоска пришлась ей прямо на глаза:— вотъ видите ли.... онъ....

— Онъ васъ занимаетъ....

— Ну.... да́.... сказала Маша съ разстановкой, покраснѣла, отвернула немного голову въ сторону и въ такомъ положеніи продолжала говорить: — въ немъ есть что-то такое.... Вѣдь вотъ вы смѣетесь надо мной, прибавила она вдругъ, быстро взглянувъ на Ѳедора Ѳедоровича.

Ѳедоръ Ѳедоровичъ улыбался самой кроткой улыбкой.

— Я вамъ все говорю, что́ только мнѣ вздумается, продолжала Маша:—я знаю, что вы мой.... (она хотѣла-было сказать «другъ») хорошій пріятель.

Кистеръ наклонился. Маша помолчала и робко протянула ему руку; Ѳедоръ Ѳедоровичъ почтительно пожалъ кончики ея пальцевъ.

— Онъ, должно-быть, большой чудакъ, замѣтила Маша и опять облокотилась на пяльцы.

— Чудакъ?

— Конечно; онъ меня и занимаетъ какъ чудакъ! хитро прибавила Маша.

— Лучковъ—благородный, замѣчательный человѣкъ, съ важностью возразилъ Кистеръ.—Его не знаютъ у насъ въ полку, не цѣнятъ, видятъ въ немъ только наружную сторону. Конечно, онъ ожесточенъ, страненъ, нетерпѣливъ, но сердце у него доброе.

Маша жадно слушала Ѳедора Ѳедоровича.

— Я его привезу къ вамъ. Я скажу ему, что васъ бояться нѐчего, что смѣшно ему дичиться.... Я ему скажу.... О! да я уже знаю, чтó сказать.... То-есть, вы однакожъ не думайте, чтобъ я....—Кистеръ смѣшался; Маша тоже смѣшалась.... — Да и наконецъ, вѣдь онъ только вамъ такъ.... нравится....

— Ну, конечно, какъ многіе мнѣ нравятся.

Кистеръ плутовски посмотрѣлъ на нее.

— Хорошо, хорошо, промолвилъ онъ съ довольнымъ видомъ:—я вамъ его привезу....

— Да нѣтъ....

— Хорошо, я-жъ вамъ говорю, все будетъ хорошо.... Ужъ я устрою.

— Какой вы.... съ улыбкой замѣтила Маша, и погрозилась на него. Г-нъ Перекатовъ зѣвнулъ и открылъ глаза.

— А я, кажется, заснулъ, пробормоталъ онъ съ удивленьемъ. Этотъ вопросъ и это удивленіе повторялись каждый день. Маша съ Кистеромъ заговорили о Шиллерѣ.

Однакожъ Ѳедору Ѳедоровичу было не совсѣмъ ловко; въ немъ какъ-будто шевельнулась зависть.... и онъ благородно негодовалъ на себя. Ненила Макарьевна сошла въ гостиную. Подали чай. Г-нъ Перекатовъ заставилъ

свою собаку прыгнуть нѣсколько разъ черезъ палку и объявилъ потомъ, что онъ самъ ее всему выучилъ, при чемъ собака учтиво вертѣла хвостомъ, облизывалась и моргала. Когда же, наконецъ, зной уменьшился и повѣялъ вечерній вѣтерокъ, все семейство Перекатовыхъ отправилось гулять въ березовую рощу. Ѳедоръ Ѳедоровичъ безпрестанно взглядывалъ на Машу, какъ бы желая дать ей знать, что онъ исполнитъ ея порученіе; Машѣ было и на себя досадно, и весело и жутко. Кистеръ вдругъ ни съ того ни съ сего заговорилъ довольно высокопарно о любви вообще, о дружбѣ.... но, замѣтивъ наблюдательный и ясный взглядъ Ненилы Макарьевны, также внезапно перемѣнилъ разговоръ.

Ярко и пышно зардѣлась заря. Передъ березовой рощей разстилался ровный и широкій лугъ. Машѣ вздумалось играть въ горѣлки. Явились горничныя, лакеи; г-нъ Перекатовъ сталъ съ своей супругой, Кистеръ съ Машей. Горничныя бѣгали съ подобострастными и легкими криками; камердинеръ г-на Перекатова осмѣлился разлучить Ненилу Макарьевну съ ея супругомъ; одна горничная почтительно поддалась барину; Ѳедоръ Ѳедоровичъ не разставался съ Машей. Всякій разъ, становясь на свое мѣсто, онъ ей говорилъ два-три слова; Маша, вся раскраснѣвшаяся отъ бѣга, съ улыбкой слушала его, проводила рукой по волосамъ. Послѣ ужина Кистеръ уѣхалъ.

Ночь была тихая, звѣздная. Кистеръ снялъ фуражку. Онъ волновался; ему слегка щемило горло. «Да», сказалъ онъ наконецъ почти вслухъ: «она его любитъ; я сближу ихъ; я оправдаю ея довѣренность». Хотя еще ничто не доказывало явнаго расположенія Маши къ Лучкову, хотя, по собственнымъ ея словамъ, онъ только возбуждалъ ея любопытство, но Кистеръ успѣлъ уже сочинить себѣ цѣлую повѣсть, предписать себѣ свою обязанность.

Онъ рѣшился пожертвовать своимъ чувствомъ—тѣмъ болѣе, что «пока, кромѣ искренней привязанности, я ничего вѣдь не ощущаю», думалъ онъ. Кистеръ дѣйствительно былъ въ состояніи принести себя въ жертву дружеству, признанному долгу. Онъ много читалъ, и потому воображалъ себя опытнымъ и даже проницательнымъ; онъ не сомнѣвался въ истинѣ своихъ предположеній; онъ не подозрѣвалъ, что жизнь безконечно разнообразна и не повторяется никогда. Понемногу Ѳедоръ Ѳедоровичъ пришелъ въ восторгъ. Онъ съ умиленіемъ началъ думать о своемъ призваніи. Быть посредникомъ между любящей робкой дѣвушкой и человѣкомъ, можетъ-быть, только потому ожесточеннымъ, что ему ни разу въ жизни не пришлось любить и быть любимымъ; сблизить ихъ, растолковать имъ ихъ же собственныя чувства, и потомъ удалиться, не давъ никому замѣтить величія своей жертвы,—какое прекрасное дѣло! Несмотря на прохладу ночи, лицо добраго мечтателя пылало....

На другой день, онъ рано поутру отправился къ Лучкову.

Авдѣй Ивановичъ, по обыкновенію, лежалъ на диванѣ и курилъ трубку. Кистеръ поздоровался съ нимъ.

— Я былъ вчера у Перекатовыхъ, сказалъ онъ съ нѣкоторою торжественностью.

— А! равнодушно возразилъ Лучковъ и зѣвнулъ.

— Да. Они прекрасные люди.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Мы говорили о тебѣ.

— Много чести; съ кѣмъ это?

— Съ стариками.... и съ дочерью.

— А! съ этой.... толстенькой?

— Она прекрасная дѣвушка, Лучковъ.

— Ну, да́, всѣ онѣ прекрасны.

— Нѣтъ, Лучковъ, ты ея не знаешь. Я еще не встрѣчалъ такой умной, доброй и чувствительной дѣвицы.

Лучковъ запѣлъ въ носъ: «Въ гамбургской газетѣ—не ты ли читалъ,—какъ въ запрошломъ лѣтѣ,—Минихъ побѣждалъ»....

— Да я-жъ тебѣ говорю....

— Ты въ нее влюбленъ, Ѳедя, насмѣшливо замѣтилъ Лучковъ.

— Совсѣмъ нѣтъ. И не думалъ.

— Ѳедя, ты въ нее влюбленъ!

— Что за вздоръ! Будто ужъ нельзя....

— Ты въ нее влюбленъ, другъ ты мой сердечный, тараканъ запечный, протяжно запѣлъ Авдѣй Ивановичъ.

— Эхъ, Авдѣй, какъ тебѣ не стыдно! съ досадой проговорилъ Кистеръ.

Со всякимъ другимъ Лучковъ тутъ-то и запѣлъ бы пуще прежняго: Кистера онъ не дразнилъ. «Ну, ну, шпрехенъ зи дейчь, Иванъ Андреичъ», проворчалъ онъ вполголоса: «не сердись».

— Послушай, Авдѣй, съ жаромъ заговорилъ Кистеръ и сѣлъ подлѣ него.—Ты знаешь, я тебя люблю. (У Лучкова покривилось лицо). Но одно мнѣ въ тебѣ, признаюсь, не нравится.... именно то, что ты ни съ кѣмъ знаться не хочешь, все дома сидишь, всякаго сближенія съ хорошими людьми избѣгаешь. Вѣдь наконецъ есть же хорошіе люди! Ну, положимъ, ты былъ обманутъ въ жизни, ожесточился, что̀ ли; не бросайся на шею каждому, но почему же тебѣ всѣхъ отвергать? Вѣдь этакъ ты и меня, пожалуй, когда нибудь прогонишь.

Лучковъ хладнокровно продолжалъ курить.

— Оттого-то тебя никто и не знаетъ.... кромѣ меня; иной, пожалуй, Богъ-вѣсть что̀ о тебѣ думаетъ.... Авдѣй!

прибавилъ Кистеръ послѣ небольшого молчанія: — ты въ добродѣтель не вѣришь, Авдѣй?

— Какъ не вѣрить.... вѣрю.... проворчалъ Лучковъ.

Кистеръ съ чувствомъ пожалъ ему руку.

— Мнѣ хочется, продолжалъ онъ тронутымъ голосомъ: — примирить тебя съ жизнію. Ты у меня повеселѣешь, разцвѣтешь.... именно разцвѣтешь. Какъ я-то буду радъ тогда! Только ты мнѣ позволь распоряжаться иногда тобою, твоимъ временемъ. У насъ сегодня—что? понедѣльникъ.... завтра вторникъ.... въ среду, да́, въ среду мы съ тобой поѣдемъ къ Перекатовымъ. Они тебѣ такъ рады будутъ.... и мы тамъ весело время проведемъ.... А теперь дай мнѣ трубочку выкурить.

Авдѣй Ивановичъ недвижно лежалъ на диванѣ и глядѣлъ въ потолокъ. Кистеръ закурилъ трубку, подошелъ къ окну и сталъ барабанить пальцами по стекламъ.

— Такъ говорили обо мнѣ? спросилъ вдругъ Авдѣй.

— Говорили, значительно возразилъ Кистеръ.

— Что́-жъ такое говорили?

— Ну ужъ говорили. Весьма желаютъ съ тобой познакомиться.

— Кто же именно?

— Вишь какой любопытный!

Авдѣй кликнулъ слугу и приказалъ сѣдлать себѣ лошадь.

— Куда ты?

— Въ манежъ.

— Ну, прощай. Такъ ѣдемъ, что-ли, къ Перекатовымъ?

— Ѣдемъ, пожалуй, лѣниво проговорилъ Лучковъ и потянулся.

— Молодецъ! воскликнулъ Кистеръ и вышелъ на улицу, задумался и глубоко вздохнулъ.

IV.

Маша подходила къ дверямъ гостиной, когда доложили о пріѣздѣ гг. Кистера и Лучкова. Она тотчасъ вернулась въ свою комнату, подошла-было къ зеркалу.... Ея сердце сильно билось. Дѣвушка пришла позвать ее въ гостиную. Маша выпила немного воды, остановилась раза два на лѣстницѣ и наконецъ сошла внизъ. Г-на Перекатова дома не было. Ненила Макарьевна сидѣла на диванѣ; Лучковъ сидѣлъ на креслѣ, въ мундирѣ, съ шляпой на колѣняхъ; Кистеръ возлѣ него. Оба они приподнялись при входѣ Маши—Кистеръ съ обычной дружелюбной улыбкой, Лучковъ съ торжественнымъ и натянутымъ видомъ. Она съ смущеніемъ поклонилась имъ и подошла къ матери. Первыя десять минутъ прошли благополучно. Маша отдохнула и начала понемногу наблюдать за Лучковымъ. Онъ отвѣчалъ на разспросы хозяйки коротко, но неспокойно; онъ робѣлъ, какъ всѣ самолюбивые люди. Ненила Макарьевна предложила гостямъ погулять по саду, а сама вышла только на балконъ. Она не почитала необходимостью не спускать глазъ съ дочки и ковылять за нею всюду съ толстымъ ридикюлемъ въ рукахъ, по примѣру многихъ степныхъ матерей. Прогулка продолжалась довольно долго. Маша говорила больше съ Кистеромъ, но не смѣла взглянуть ни на него, ни на Лучкова. Авдѣй Ивановичъ съ ней не заговаривалъ; въ голосѣ Кистера замѣтно было волненіе. Онъ что-то много смѣялся и болталъ.... Они подошли къ рѣчкѣ. Въ сажени отъ берега росла водяная лилія и словно покоилась на гладкой поверхности воды, устланной широкими и круглыми листьями.

— Какой красивый цвѣтокъ! замѣтила Маша.

Не успѣла она выговорить этихъ словъ, какъ уже Луч-

ковъ вынулъ палашъ, ухватился одной рукой за тонкія вѣтки ракиты и, нагнувшись всѣмъ тѣломъ надъ водой, сшибъ головку цвѣтка. «Здѣсь глубоко, берегитесь!» съ испугомъ вскрикнула Маша. Лучковъ концомъ палаша пригналъ цвѣтокъ къ берегу, къ самымъ ея ногамъ. Она наклонилась, подняла цвѣтокъ и съ нѣжнымъ, радостнымъ удивленіемъ поглядѣла на Авдѣя. «Браво!» закричалъ Кистеръ. — «А я не умѣю плавать».... отрывисто проговорилъ Лучковъ. Это замѣчаніе не понравилось Машѣ. «Зачѣмъ онъ это сказалъ?» подумала она.

Лучковъ съ Кистеромъ остались у г-на Перекатова до вечера. Что-то новое, небывалое происходило въ душѣ Маши; задумчивое недоумѣніе изображалось не разъ на лицѣ ея. Она какъ-то двигалась медленнѣе, не вспыхивала отъ взглядовъ матери,—напротивъ, сама какъ-будто ихъ искала, какъ-будто сама вопрошала ее. Въ продолженіе всего вечера, Лучковъ оказывалъ ей какое-то неловкое вниманіе; но даже эта неловкость нравилась ея невинному тщеславію. Когда-жъ они оба уѣхали съ обѣщаніемъ побывать опять на-дняхъ, она тихонько пошла въ свою комнату и долго, какъ-бы съ изумленіемъ, глядѣла кругомъ. Ненила Макарьевна пришла къ ней, поцѣловала и обняла ее,. по обыкновенію. Маша раскрыла губы, хотѣла-было заговорить съ матерью—и не сказала ни слова. Она и хотѣла признаться, да не знала, въ чемъ. Въ ней тихо бродила душа. На ночномъ столикѣ, въ чистомъ стаканѣ, лежалъ на водѣ цвѣтокъ, сорванный Лучковымъ. Ужъ въ постели, Маша приподнялась осторожно, оперлась на локоть, и ея дѣвственныя губы тихо прикоснулись бѣлыхъ и свѣжихъ лепестковъ.....

— Ну, что? спросилъ на другой день Кистеръ своего товарища: нравятся тебѣ Перекатовы? Правъ я былъ? а? скажи!

Лучковъ не отвѣчалъ.

— Нѣтъ, скажи, скажи.

— А, право, не знаю.

— Ну, полно!

— Эта.... какъ-бишь ее зовутъ.... Машенька—ничего, недурна.

— Ну, вотъ видишь.... сказалъ Кистеръ—и замолчалъ.

Дней черезъ пять Лучковъ самъ предложилъ Кистеру съѣздить къ Перекатовымъ. Одинъ онъ бы къ нимъ не поѣхалъ; въ отсутствіи Ѳедора Ѳедоровича ему бы пришлось вести разговоръ, а этого онъ не умѣлъ и избѣгалъ по возможности.

Во второй пріѣздъ обоихъ друзей, Маша была гораздо развязнѣе. Она теперь втайнѣ радовалась тому, что не обезпокоила маменьки непрошеннымъ признаніемъ. Авдѣй передъ обѣдомъ вызвался сѣсть на молодую, необъѣзжанную лошадь и, несмотря на ея бѣшеные скачки, укротилъ ее совершенно. Вечеромъ онъ-было расходился, пустился шутить и хохотать — и хотя скоро опомнился, однако-жъ успѣлъ произвести мгновенное непріятное впечатлѣніе на Машу. Она сама еще не знала, какое именно чувство въ ней возбуждалъ Лучковъ, но все, чтó въ немъ ей не нравилось, приписывала она вліянію несчастій, одиночества.

V.

Пріятели начали часто посѣщать Перекатовыхъ. Положеніе Кистера становилось болѣе и болѣе тягостнымъ. Онъ не раскаявался.... нѣтъ, но желалъ по крайней мѣрѣ сократить время своего искуса. Привязанность его къ Машѣ увеличивалась съ каждымъ днемъ; она сама къ нему благоволила; но быть все только посредникомъ, наперсникомъ, даже другомъ — такое тяжелое, неблагодар-

ное ремесло! Холодно восторженные люди много толкуютъ о святости страданій, о блаженствѣ страданій.... но теплому простому сердцу Кистера онѣ не доставляли никакого блаженства. Наконецъ, однажды, когда Лучковъ, уже совсѣмъ одѣтый, зашелъ за нимъ, и коляска подъѣхала къ крыльцу — Ѳедоръ Ѳедоровичъ, къ изумленію пріятеля, объявилъ ему напрямикъ, что остается дома. Лучковъ просилъ, досадовалъ, сердился.... Кистеръ отговорился головной болью. Лучковъ отправился одинъ.

Бреттёръ во многомъ измѣнился въ послѣднее время. Товарищей онъ оставлялъ въ покоѣ, къ новичкамъ не приставалъ, и хотя не разцвѣлъ душою, какъ предсказалъ ему Кистеръ, однако дѣйствительно поуспокоился. Его и прежде нельзя было назвать разочарованнымъ человѣкомъ — онъ почти ничего не видалъ и не испыталъ — и потому не диво, что Маша занимала его мысль. Впрочемъ, сердце его не смягчилось; только желчь въ немъ угомонилась. Чувства Маши къ нему были страннаго рода. Она почти никогда не глядѣла ему прямо въ лицо; не умѣла разговаривать съ нимъ.... Когда-жъ имъ случалось оставаться вдвоемъ, Машѣ становилось страхъ неловко. Она принимала его за человѣка необыкновеннаго и робѣла передъ нимъ, волновалась, воображала, что не понимаетъ его, не заслуживаетъ его довѣренности; безотрадно, тяжело — но безпрестанно думала о немъ. Напротивъ, присутствіе Кистера облегчало ее и располагало къ веселости, хотя не радовало ея и не волновало; съ нимъ она могла болтать по часамъ, опираясь на руку его, какъ на руку брата, дружелюбно глядѣла ему въ глаза, смѣялась отъ его смѣха — и рѣдко вспоминала о немъ. Въ Лучковѣ было что-то загадочное для молодой дѣвушки; она чувствовала, что душа его темна «какъ лѣсъ», и силилась проникнуть въ этотъ таинствен-

ный мракъ.... Такъ-точно дѣти долго смотрятъ въ глубокій колодезь, пока разглядятъ, наконецъ, на самомъ днѣ неподвижную, черную воду.

При входѣ Лучкова одного въ гостиную, Маша сперва испугалась.... но потомъ обрадовалась. Ей уже не разъ казалось, что между Лучковымъ и ею существуетъ какое-то недоразумѣніе, что онъ до сихъ поръ не имѣлъ случая высказаться. Лучковъ сообщилъ причину отсутствія Кистера; старики изъявили свое сожалѣніе; но Маша съ недовѣрчивостію глядѣла на Авдѣя и томилась ожиданіемъ. Послѣ обѣда они остались одни; Маша не знала, что́ сказать, сѣла за фортепьяно; пальцы ея торопливо и трепетно забѣгали по клавишамъ; она безпрестанно останавливалась и ждала перваго слова.... Лучковъ не понималъ и не любилъ музыки. Маша заговорила съ нимъ о Россини (Россини только-что входилъ тогда въ моду), о Моцартѣ.... Авдѣй Ивановичъ отвѣчалъ: «да-съ, нѣтъ-съ, какъ-же-съ, прекрасно», — и только. Маша заиграла блестящія варіяціи на Россиніевскую тэму. Лучковъ, слушалъ, слушалъ.... и когда наконецъ она обратилась къ нему, лицо его выражало такую нелицемѣрную скуку, что Маша тотчасъ же вскочила и захлопнула фортепьяно. Она подошла къ окну и долго глядѣла въ садъ; Лучковъ не трогался съ мѣста и все молчалъ. Нетерпѣніе начинало смѣнять робость въ душѣ Маши. «Что-жъ?» думала она: «не хочешь.... или не можешь?» Очередь робѣть была за Лучковымъ. Онъ ощущалъ опять обычную томительную неувѣренность: онъ уже злился!.... «Чортъ же меня дернулъ связаться съ дѣвчонкой», бормоталъ онъ про себя.... А между тѣмъ, какъ легко было въ это мгновеніе тронуть сердце Маши! Чтобы ни сказалъ такой необыкновенный, хотя и странный человѣкъ, какимъ она воображала Лучкова — она бы все поняла, все извини-

ла, всему бы повѣрила.... Но это тяжелое, глупое молчаніе! Слезы досады навертывались у ней на глаза. «Если онъ не хочетъ объясниться, если я точно не стою его довѣренности, зачѣмъ же ѣздитъ онъ къ намъ? Или, можетъ-быть, я не умѣю заставить его высказаться?».... И она быстро обернулась и такъ вопросительно, такъ настойчиво взглянула на него, что онъ не могъ не понять ея взгляда, не могъ долѣе молчать....

— Марья Сергѣевна, произнесъ онъ запинаясь:—я.... у меня.... я вамъ долженъ что-то сказать....

— Говорите, быстро возразила Маша.

Лучковъ нерѣшительно посмотрѣлъ кругомъ.

— Я теперь не могу....

— Отчего же?

— Я бы желалъ поговорить съ вами.... наединѣ....

— Мы и теперь одни.

— Да.... но... здѣсь въ домѣ...

Маша смутилась.... «Если я откажу ему», подумала она: «все кончено».... Любопытство погубило Еву....

— Я согласна, сказала она наконецъ.

— Когда же? Гдѣ?

Маша дышала быстро и неровно....

— Завтра.... вечеромъ. Вы знаете рощицу надъ Долгимъ-Лугомъ?...

— За мельницей?

Маша кивнула головой.

— Въ которомъ часу?

— Ждите....

Больше она не могла ничего выговорить; голосъ ея перервался.... она поблѣднѣла и проворно вышла изъ комнаты.

Черезъ четверть часа, г-нъ Перекатовъ, съ свойственной ему любезностью, провожалъ Лучкова до передней,

съ чувствомъ жалъ ему руку и просилъ «не забывать»; потомъ, отпустивъ гостя, съ важностью замѣтилъ человѣку, что не худо бы ему остричься — и, не дождавшись отвѣта, съ озабоченнымъ видомъ вернулся къ себѣ въ комнату, съ тѣмъ же озабоченнымъ видомъ присѣлъ на диванъ и тотчасъ же невинно заснулъ.

— Ты что-то блѣдна сегодня, говорила Ненила Макарьевна своей дочери вечеромъ того же дня. — Здорова ли ты?

— Я здорова, маменька.

Ненила Макарьевна поправила у ней на шеѣ косынку.

— Ты очень блѣдна; посмотри на меня, продолжала она съ той материнской заботливостью, въ которой все-таки слышится родительская власть: — ну, вотъ и глаза твои невеселы. Ты нездорова, Маша.

— У меня голова немного болитъ, сказала Маша, чтобъ какъ-нибудь отдѣлаться.

— Ну вотъ, я знала. — Ненила Макарьевна приложила ладонь ко лбу Маши:—однако жару въ тебѣ нѣтъ.

Маша нагнулась и подняла съ полу какую-то нитку.

Руки Ненилы Макарьевны тихо легли вокругъ тонкаго стана Маши.

— Ты что-то какъ будто-бы мнѣ сказать хочешь, ласково проговорила она, не распуская рукъ.

Маша внутренно вздрогнула.

— Я? Нѣтъ, маменька.

Мгновенное смущеніе Маши не ускользнуло отъ родительскаго вниманія.

— Право, хочешь.... Подумай-ка.

Но Маша успѣла оправиться и, вмѣсто отвѣта, со смѣхомъ поцѣловала руку матери.

— И будто нечего тебѣ сказать мнѣ?

— Ну, право же, нечего.

— Я тебѣ вѣрю, возразила Ненила Макарьевна послѣ непродолжительнаго молчанія. — Я знаю, у тебя нѣтъ ничего отъ меня скрытнаго.... Не правда ли?

— Конечно, маменька.

Маша, однакожъ, не могла не покраснѣть немного.

— И хорошо дѣлаешь. Грѣшно было бы тебѣ скрываться отъ меня.... Ты вѣдь знаешь, какъ я тебя люблю, Маша.

— О, да, маменька!

И Маша прижалась къ ней.

— Ну, полно, довольно. (Ненила Макарьевна прошлась по комнатѣ). Ну, скажи же мнѣ, продолжала она голосомъ человѣка, который чувствуетъ, что вопросъ его не имѣетъ никакого особеннаго значенія: — о чемъ ты сегодня разговаривала съ Авдѣемъ Иванычемъ?

— Съ Авдѣемъ Иванычемъ? спокойно повторила Маша. — Да такъ, обо всемъ....

— Что, онъ тебѣ нравится?

— Какъ же, нравится.

— А помнишь, ка́къ ты желала съ нимъ познакомиться, ка́къ волновалась?

Маша отвернулась и засмѣялась.

— Какой онъ странный! добродушно замѣтила Ненила Макарьевна.

Маша хотѣла-было заступиться за Лучкова, да прикусила язычекъ.

— Да́, конечно, проговорила она довольно небрежно: — онъ чудакъ, но все же онъ хорошій человѣкъ!

— О, да!... Что́, Ѳедоръ Ѳедоровичъ не пріѣхалъ?

— Видно, нездоровъ. Ахъ, да! кстати: Ѳедоръ Ѳедорычъ хотѣлъ мнѣ подарить собачку.... Ты мнѣ позволишь?

*

— Что̀? принять его подарокъ?

— Да.

— Разумѣется.

— Ну, благодарствуй, сказала Маша: — вотъ благодарствуй!

Ненила Макарьевна дошла до двери и вдругъ вернулась назадъ.

— А помнишь ты свое обѣщаніе, Маша?

— Какое?

— Ты хотѣла мнѣ сказать, когда влюбишься.

— Помню.

— Ну, что-жъ?... Еще не время? (Маша звонко разсмѣялась). Посмотри-ка мнѣ въ глаза.

Маша ясно и смѣло взглянула на свою мать.

«Не можетъ быть!» подумала Ненила Макарьевна и успокоилась. — «Гдѣ ей меня обмануть!..... И съ чего я взяла?... Она еще совершенный ребенокъ»....

Она ушла....

«А вѣдь это грѣхъ», подумала Маша.

VI.

Кистеръ легъ уже спать, когда Лучковъ вошелъ къ нему въ комнату. Лицо бреттёра никогда не выражало *одного* чувства; такъ и теперь: — притворное равнодушіе, грубая радость, сознаніе своего превосходства.... множество различныхъ чувствъ разыгрывалось въ его чертахъ.

— Ну, что? ну, что? торопливо спросилъ его Кистеръ.

— Ну, что! Былъ. Тебѣ кланяются.

— Что? они всѣ здоровы?

— Что имъ дѣлается!

— Спрашивали, отчего я не пріѣхалъ?

— Спрашивали, кажется.

Лучковъ поглядѣлъ въ потолокъ и запѣлъ фальшиво. Кистеръ опустилъ глаза и задумался.

— А вѣдь вотъ, хриплымъ и рѣзкимъ голосомъ промолвилъ Лучковъ: — вотъ ты умный человѣкъ, ты ученый человѣкъ, а вѣдь тоже иногда, съ позволенія сказать, дичь порешь.

— А что́?

— А вотъ что́. Напримѣръ, на счетъ женщинъ. Вѣдь ужъ ка́къ ты ихъ превозносишь! Стихи о нихъ читаешь! Всѣ онѣ у тебя ангелы.... Хороши ангелы!

— Я женщинъ люблю и уважаю, но....

— Ну, конечно, конечно, перебилъ его Авдѣй. — Я вѣдь съ тобой не спорю. Гдѣ мнѣ! Я, разумѣется, человѣкъ простой.

— Я хотѣлъ сказать, что.... Однако, почему ты именно сегодня.... именно теперь.... заговорилъ о женщинахъ?

— Такъ! — Авдѣй значительно улыбнулся. — Такъ!

Кистеръ пронзительно поглядѣлъ на своего пріятеля. Онъ подумалъ (чистая душа!), что Маша дурно съ нимъ обошлась; пожалуй, помучила его, какъ однѣ женщины умѣютъ мучить....

— Ты огорченъ, мой бѣдный Авдѣй; признайся....

Лучковъ расхохотался.

— Ну, огорчаться мнѣ, кажется, нѐчѣмъ, промолвилъ онъ съ разстановкой, самодовольно разглаживая усы.— Нѣтъ, вотъ видишь ли что, Ѳедя, продолжалъ онъ тономъ наставника: — я хотѣлъ тебѣ только замѣтить, что ты на-счетъ женщинъ ошибаешься, другъ мой. Повѣрь мнѣ, Ѳедя, онѣ всѣ на одну стать. Сто́итъ похлопотать немного, повертѣться около нихъ — и дѣло въ шляпѣ. Вотъ хоть бы Маша Перекатова....

— Ну!

Лучковъ постучалъ ногой объ полъ и покачалъ головой.

— Кажется, что́ во мнѣ такого особеннаго и привлекательнаго, а? Кажется, ничего. Вѣдь ничего? А вотъ завтра мнѣ назначено свиданье.

Кистеръ приподнялся, оперся на локоть и съ изумленіемъ посмотрѣлъ на Лучкова.

— Вечеромъ, въ рощѣ.... спокойно продолжалъ Авдѣй Ивановичъ.—Но ты не думай чего-нибудь такого. Я только такъ. Знаешь—скучно. Дѣвочка хорошенькая.... ну, думаю, что́ за бѣда? Жениться-то я не женюсь.... а такъ тряхну стариной. Бабиться не люблю—а дѣвчонку потѣшить можно. Вмѣстѣ послушаемъ соловьевъ. Это — по-настоящему, твое дѣло; да вишь, у этого бабья глазъ нѣту. Что́ я, кажись, передъ тобой?

Лучковъ говорилъ долго. Но Кистеръ его не слушалъ. У него голова пошла кругомъ. Онъ блѣднѣлъ и проводилъ рукою по лицу. Лучковъ покачивался въ креслахъ, жмурился, потягивался,—и приписывая ревности волненіе Кистера, чуть не задыхался отъ удовольствія. Но Кистера мучила не ревность: онъ былъ оскорбленъ не самимъ признаніемъ, но грубой небрежностью Авдѣя, его равнодушнымъ и презрительнымъ отзывомъ о Машѣ. Онъ продолжалъ пристально глядѣть на бреттёра—и, казалось, въ первый разъ хорошенько разсмотрѣлъ его черты. Такъ вотъ изъ чего хлопоталъ онъ! Вотъ для чего жертвовалъ собственной наклонностью! Вотъ оно, благодатное дѣйствіе любви!

— Авдѣй.... развѣ ты ея не любишь? пробормоталъ онъ наконецъ.

— О, невинность! о, Аркадія! съ злобнымъ хохотомъ возразилъ Авдѣй.

Добрый Кистеръ и тутъ не поддался: можетъ быть, думалъ онъ, Авдѣй злится и «ломается» по привычкѣ... онъ не нашелъ еще новыхъ словъ для выраженія новыхъ ощущеній. Да и въ немъ самомъ—въ Кистерѣ—не скрывается ли другое чувство подъ негодованіемъ? Не оттого ли такъ непріятно поразило его признаніе Лучкова, что дѣло касалось Маши? Почему знать, можетъ-быть, Лучковъ дѣйствительно въ нее влюбленъ.... Но нѣтъ! нѣтъ! тысячу разъ нѣтъ! Этотъ человѣкъ влюбленъ?... Гадокъ этотъ человѣкъ съ своимъ желчнымъ и желтымъ лицомъ, съ своими судорожными и кошачьими движеніями, съ приподнятымъ отъ радости горломъ.... гадокъ! Нѣтъ, не такими словами высказалъ бы Кистеръ преданному другу тайну любви своей.... Въ избыткѣ счастія, съ нѣмымъ восторгомъ, съ свѣтлыми, обильными слезами на глазахъ прижался бы онъ къ его груди....

— Чтó братъ? говорилъ Авдѣй: — не ожидалъ, признайся? и теперь самому досадно? а? завидно? признайся. Ѳедя! а? а? Вѣдь изъ-подъ носу подтибрилъ у тебя дѣвчонку!

Кистеръ хотѣлъ-было высказаться, но отвернулся лицомъ къ стѣнѣ. — Объясняться.... передъ нимъ? Ни за что! шепталъ онъ про себя.—Онъ меня не понимаетъ.... пусть! Онъ предполагаетъ во мнѣ одни дурныя чувства—пусть!...

Авдѣй всталъ.

— Я вижу; ты спать хочешь, проговорилъ онъ съ притворнымъ участіемъ:—я тебѣ не хочу мѣшать. Спи спокойно, другъ мой.... спи!

И Лучковъ вышелъ, весьма довольный собою.

Кистеръ не могъ заснуть до зари. Онъ съ лихорадочнымъ упрямствомъ перевертывалъ и передумывалъ одну и ту же мысль — занятіе, слишкомъ извѣстное несчаст-

нымъ любовникамъ; оно дѣйствуетъ на душу, какъ мѣхи на тлѣющій уголь.

«Если даже», думалъ онъ:—«Лучковъ къ ней равнодушенъ, если она сама бросилась ему на шею, все-таки не долженъ онъ былъ даже со мной, съ своимъ другомъ, такъ непочтительно, такъ обидно говорить о ней! Чѣмъ она виновата? Какъ не пожалѣть бѣдной, неопытной дѣвушки?

«Но неужели она ему назначила свиданіе? Назначила—точно назначила. Авдѣй не лжетъ; онъ никогда не лжетъ. Но, можетъ-быть, это въ ней такъ, одна фантазія....

«Но она его не знаетъ.... Онъ въ состояніи, пожалуй, оскорбить ее. Послѣ сегодняшняго дня, я ни за что не отвѣчаю.... А не сами ли вы, г-нъ Кистеръ, его расхваливали и превозносили? Не сами ли вы возбудили ея любопытство?... Но кто-жъ это зналъ? Кто это могъ предвидѣть?...

«Чтó предвидѣть? Давно ли онъ пересталъ быть моимъ другомъ?... Да полно, былъ ли онъ когда моимъ другомъ? Какое разочарованіе! Какой урокъ!

Все прошедшее вихремъ крутилось передъ глазами Кистера. «Дá, я его любилъ», прошепталъ онъ наконецъ.—«Отчего же я разлюбилъ его? такъ скоро?... Да разлюбилъ ли я его? Нѣтъ, отчего полюбилъ я его? Я одинъ?»

Любящее сердце Кистера оттого именно и привязалось къ Авдѣю, что всѣ другіе его чуждались. Но добрый молодой человѣкъ не зналъ самъ, какъ велика его доброта.

«Мой долгъ», продолжалъ онъ;—«предупредить Марью Сергѣевну. Но какъ? Какое право имѣю я вмѣшиваться въ чужія дѣла, въ чужую любовь? Почему я знаю какого рода эта любовь? Можетъ-быть, и въ самомъ Лучковѣ.... Нѣтъ! нѣтъ!» говорилъ онъ вслухъ, съ досадой,

почти со слезами, поправляя подушки:—«этотъ человѣкъ камень»....

«Я самъ виноватъ.... я потерялъ друга.... Хорошъ другъ! Хороша и она!... Какой я гадкій эгоистъ! Нѣтъ, нѣтъ!! отъ глубины души желаю имъ счастья.... Счастья! да онъ смѣется надъ ней!... И зачѣмъ онъ себѣ усы краситъ? Ужъ, право, кажется.... Ахъ, какъ я смѣшонъ!» твердилъ онъ, засыпая.

VII.

На другой день утромъ, Кистеръ поѣхалъ къ Перекатовымъ. При свиданіи, — и Кистеръ замѣтилъ большую перемѣну въ Машѣ, и Маша нашла въ немъ перемѣну; но промолчали оба. Все утро имъ было противъ обыкновенія неловко. Дóма Кистеръ приготовилъ-было множество двусмысленныхъ рѣчей и намековъ, дружескихъ совѣтовъ.... но всѣ эти приготовленія оказались совершенно безполезными. Маша смутно чувствовала, что Кистеръ за ней наблюдаетъ; ей казалось, что онъ съ намѣреніемъ значительно произноситъ иныя слова; но она также чувствовала въ себѣ волненіе и не вѣрила своимъ наблюденіямъ. «Какъ бы онъ не вздумалъ остаться до вечера!» безпрестанно думала она и старалась дать ему понять, что онъ лишній. Съ своей стороны, Кистеръ принималъ ея неловкость, ея тревогу, за очевидные признаки любви, и чѣмъ болѣе онъ за нее боялся, тѣмъ менѣе рѣшался говорить о Лучковѣ; а Маша упорно молчала о немъ. Тяжело было бѣдному Ѳедору Ѳедоровичу. Онъ начиналъ, наконецъ, понимать собственныя чувства. Никогда Маша ему не казалась милѣй. Она видимо не спала во всю ночь. Легкій румянецъ пятнами выступалъ на ея блѣдномъ лицѣ; станъ слегка сгибался, невольная, томная

улыбка не сходила съ губъ; изрѣдка пробѣгала дрожь по ея поблѣднѣвшимъ плечамъ; взгляды тихо разгорались и быстро погасали.... Ненила Макарьевна подсѣла къ нимъ и, можетъ-быть, съ намѣреніемъ упомянула объ Авдѣѣ Ивановичѣ. Но Маша въ присутствіи матери вооружалась jusqu'aux dents, какъ говорятъ французы, и не выдала себя нисколько. Такъ прошло все утро.

— Вы обѣдаете у насъ? спросила Ненила Макарьевна Кистера.

Маша отвернулась.

— Нѣтъ, поспѣшно произнесъ Кистеръ и взглянулъ на Машу.—Вы меня извините.... обязанности службы.... Ненила Макарьевна изъявила свое сожалѣніе, какъ водится; вслѣдъ за ней изъявилъ что-то г. Перекатовъ. «Я никому не хочу мѣшать», хотѣлъ сказать Кистеръ Машѣ, проходя мимо, но вмѣсто того, наклонился, шепнулъ: «будьте счастливы.... прощайте.... берегитесь».... и скрылся.

Маша вздохнула отъ глубины души, а потомъ испугалась его отъѣзда. Что-жъ ее мучило? любовь или любопытство? Богъ-знаетъ; но, повторяемъ, одного любопытства достаточно было, чтобы погубить Еву.

VIII.

Долгимъ-Лугомъ называлась широкая и ровная поляна на правой сторонѣ рѣчки Снѣжинки, въ верстѣ отъ имѣнія гг. Перекатовыхъ. Лѣвый берегъ, весь покрытый молодымъ, густымъ дубнякомъ, круто возвышался надъ рѣчкой, почти заросшей лозниками, исключая небольшихъ «заводей», пристанища дикихъ утокъ. Въ полуверстѣ отъ рѣчки, по правую же сторону Долгаго-Луга, начинались

покатые, волнистые холмы, рѣдко усѣянные старыми березами, кустами орѣшника и калины.

Солнце садилось. Мельница шумѣла и стучала вдали, то громче, то тише, смотря по вѣтру. Господскій табунъ лѣниво бродилъ по лугу; пастухъ шелъ, напѣвая, за стадомъ жадныхъ и пугливыхъ овецъ; сторожевыя собаки со скуки гнались за воронами. По рощѣ ходилъ скрестя руки Лучковъ. Его привязанная лошадь уже не разъ отозвалась нетерпѣливо на звонкое ржаніе жеребятъ и кобылъ. Авдѣй злился и робѣлъ, по обыкновенію. Еще неувѣренный въ любви Маши, онъ уже сердился на нее, досадовалъ на себя.... но волненіе въ немъ заглушало досаду. Онъ остановился наконецъ передъ широкимъ кустомъ орѣшника и началъ хлыстикомъ сбивать крайніе листья....

Ему послышался легкій шумъ.... онъ поднялъ голову.... Въ десяти шагахъ отъ него стояла Маша, вся раскраснѣвшаяся отъ быстрой ходьбы, въ шляпкѣ, но безъ перчатокъ, въ бѣломъ платьѣ, съ наскоро завязаннымъ платочкомъ на шеѣ. Она проворно опустила глаза и тихо покачнулась....

Авдѣй неловко и съ натянутой улыбкой подошелъ къ ней.

— Какъ я счастливъ.... началъ-было онъ едва внятно.

— Я очень рада.... васъ встрѣтить.... задыхаясь перебила его Маша. — Я обыкновенно гуляю здѣсь по вечерамъ.... и вы....

Но Лучковъ не умѣлъ даже пощадить ея стыдливости, поддержать ея невинную ложь.

— Кажется, Марья Сергѣевна, промолвилъ онъ съ достоинствомъ:—вамъ самимъ угодно было....

— Да.... да.... торопливо возразила Маша.— Вы желали меня видѣть, вы хотѣли.... Голосъ ея замеръ.

Лучковъ молчалъ. Маша робко подняла глаза.

— Извините меня, началъ онъ, не глядя на нее: — я человѣкъ простой и не привыкъ объясняться.... съ дамами.... Я.... я желалъ вамъ сказать.... но, кажется, вы не расположены меня слушать....

— Говорите....

— Вы приказываете.... Ну, такъ скажу вамъ откровенно, что уже давно, съ тѣхъ поръ, какъ я имѣлъ честь съ вами познакомиться....

Авдѣй остановился. Маша ждала конца рѣчи.

— Впрочемъ, я не знаю, для чего это все вамъ говорю.... Своей судьбы не перемѣнишь....

— Почему знать....

— Я знаю! мрачно возразилъ Авдѣй. — Я привыкъ встрѣчать ея удары!

Машѣ показалось, что теперь по крайней мѣрѣ не слѣдовало Лучкову жаловаться на судьбу.

— Есть добрые люди на свѣтѣ, съ улыбкой замѣтила она: даже слишкомъ добрые....

— Я понимаю васъ, Марья Сергѣевна и, повѣрьте, умѣю цѣнить ваше расположеніе.... Я.... я.... Вы не разсердитесь?

— Нѣтъ.... Что̀ вы хотите сказать?

— Я хочу сказать.... что вы мнѣ нравитесь, Марья Сергѣевна, чрезвычайно нравитесь....

— Я очень вамъ благодарна, съ смущеніемъ перебила его Маша; сердце ея сжалось отъ ожиданія и страха.— Ахъ, посмотрите, г. Лучковъ, продолжала она, посмотрите, какой видъ!

Она указала ему на лугъ, весь испещренный длинными, вечерними тѣнями, весь алѣющій на солнцѣ.

Внутренно обрадованный внезапной перемѣной разго-

вора, Лучковъ началъ «любоваться» видомъ. Онъ сталъ подлѣ Маши....

— Вы любите природу? спросила она вдругъ, быстро повернувъ головку и взглянувъ на него тѣмъ дружелюбнымъ, любопытнымъ и мягкимъ взглядомъ, который, какъ звенящій голосокъ, дается только молодымъ дѣвушкамъ.

— Да́.... природа.... конечно.... пробормоталъ Авдѣй. — Конечно.... вечеромъ пріятно гулять, хотя, признаться, я солдатъ и нѣжности не по моей части.

Лучковъ часто повторялъ, что онъ «солдатъ». Настало небольшое молчаніе. Маша продолжала глядѣть на лугъ.

— Не уйдти ли? подумалъ Авдѣй. — Вотъ вздоръ! Смѣлѣй!... Марья Сергѣевна.... заговорилъ онъ довольно твердымъ голосомъ.

Маша обернулась къ нему.

— Извините меня, началъ онъ какъ бы шутя: — но позвольте съ моей стороны узнать, что́ вы думаете обо мнѣ, чувствуете ли вы какое-нибудь.... этакое.... расположеніе къ моей особѣ?

«Боже мой, ка́къ онъ неловокъ!» сказала про себя Маша.—Знаете ли вы, господинъ Лучковъ, отвѣчала она ему съ улыбкой:—что не всегда легко дать рѣшительный отвѣтъ на рѣшительный вопросъ?

— Однако....

— Да на что вамъ?

— Да я, помилуйте, желаю знать....

— Но.... Правда ли, что вы большой дуэлистъ? Скажите, правда ли? промолвила Маша съ робкимъ любопытствомъ: — говорятъ, вы уже не одного человѣка убили?

— Случалось, равнодушно возразилъ Авдѣй и погладилъ усы.

Маша пристально посмотрѣла на него.

— Вотъ этой рукой.... прошептала она.

Между тѣмъ кровь разгорѣлась въ Лучковѣ. Уже болѣе четверти часа молодая, хорошенькая дѣвушка вертѣлась передъ нимъ....

— Марья Сергѣевна, заговорилъ онъ опять рѣзкимъ и страннымъ голосомъ: вы теперь знаете мои чувства, знаете, зачѣмъ я желалъ васъ видѣть.... Вы были столько добры.... Скажите же и вы мнѣ, наконецъ, чего я могу надѣяться....

Маша вертѣла въ рукахъ полевую гвоздику.... Она взглянула съ боку на Лучкова, покраснѣла, улыбнулась, сказала: «Какіе вы пустяки говорите», — и подала ему цвѣтокъ.

Авдѣй схватилъ ее за руку.

— Итакъ, вы меня любите! воскликнулъ онъ.

Маша вся похолодѣла отъ испуга. Она не думала признаваться Авдѣю въ любви; она сама еще навѣрное не знала, любитъ ли она его, и вотъ ужъ онъ ее предупреждаетъ, насильно заставляетъ высказаться—стало-быть, онъ ея не понимаетъ.... Эта мысль быстрѣе молніи сверкнула въ головѣ Маши. Она никакъ не ожидала такой скорой развязки.... Маша, какъ любопытный ребенокъ, цѣлый день себя спрашивала: «неужели Лучковъ меня любитъ?» мечтала о пріятной вечерней прогулкѣ, почтительныхъ и нѣжныхъ рѣчахъ, мысленно кокетничала, пріучала къ себѣ дикаря, позволяла при прощаньѣ поцѣловать свою руку.... и вмѣсто того....

Вмѣсто того, она вдругъ почувствовала у себя на щекѣ жосткіе усы Авдѣя....

— Будемте счастливы, шепталъ онъ: — вѣдь только есть одно счастье на землѣ!...

Маша вздрогнула, съ ужасомъ отбѣжала въ сторону и,

вся блѣдная, остановилась, опираясь рукой о березу. Авдѣй смѣшался страшно.

— Извините меня, бормоталъ онъ, подвигаясь къ ней: — я право, не думалъ....

Маша молча, во всѣ глаза, глядѣла на него.... Непріятная улыбка кривила его губы.... красныя пятна выступили на его лицѣ....

— Чего же вы боитесь? продолжалъ онъ: — велика важность? Вѣдь между нами уже все.... того....

Маша молчала.

— Ну, полноте?.... что за глупости? это только такъ....

Лучковъ протянулъ къ ней руку....

Маша вспомнила Кистера, его «берегитесь», замерла отъ страха, и довольно визгливымъ голосомъ закричала:

— Танюша!

Изъ-за орѣховаго куста вынырнуло круглое лицо горничной.... Авдѣй потерялся совершенно. Успокоенная присутствіемъ своей прислужницы, Маша не тронулась съ мѣста. Но бреттёръ весь затрепеталъ отъ прилива злости; глаза его съёжились; онъ стиснулъ кулаки и судорожно захохоталъ.

— Браво! браво! Умно — нéчего сказать! закричалъ онъ.

Маша остолбенѣла.

— Вы, я вижу, приняли всѣ мѣры предосторожности, Марья Сергѣевна? Осторожность никогда не мѣшаетъ. Каково? Въ наше время барышни дальновиднѣе стариковъ. Вотъ тебѣ и любовь!

— Я не знаю, господинъ Лучковъ, кто вамъ далъ право говорить о любви.... о какой любви?

— Какъ кто? Да вы сами! перебилъ ее Лучковъ: —

вотъ еще! Онъ чувствовалъ, что портитъ все дѣло, но не могъ удержаться.

— Я поступила необдуманно, проговорила Маша.... Я снизошла на вашу просьбу въ надеждѣ на вашу délicatesse.... да вы не понимаете по-французски—на вашу вѣжливость....

Авдѣй поблѣднѣлъ. Маша поразила его въ самое сердце.

— Я не понимаю по-французски.... можетъ-быть; но я понимаю.... я понимаю, что вамъ угодно было смѣяться надо мной....

— Совсѣмъ нѣтъ, Авдѣй Иванычъ.... я даже очень сожалѣю.

— Ужъ, пожалуйста, не толкуйте о вашемъ сожалѣніи, съ запальчивостію перебилъ ее Авдѣй: — ужъ отъ этого-то вы меня избавьте!

— Г-нъ Лучковъ....

— Да не извольте смотрѣть герцогиней.... Напрасный трудъ! меня вы не запугаете.

Маша отступила шагъ назадъ, быстро повернулась и пошла прочь.

— Прикажете вамъ прислать вашего друга, вашего пастушка, чувствительнаго Сердечкина, Кистера? закричалъ ей вслѣдъ Авдѣй. Онъ терялъ голову. — Ужъ не этотъ ли пріятель?...

Маша не отвѣчала ему и поспѣшно, радостно удалялась. Ей было легко, несмотря на испугъ и волненье. Она какъ-будто пробудилась отъ тяжелаго сна, изъ темной комнаты вышла на воздухъ и солнце.... Авдѣй, какъ изступленный, посмотрѣлъ кругомъ, съ молчаливымъ бѣшенствомъ сломалъ молодое деревцо, вскочилъ на лошадь, и такъ яростно вонзалъ въ нее шпоры, такъ безжалостно дергалъ и крутилъ поводья, что несчастное жи-

вотное, проскакавъ восемь верстъ въ четверть часа, едва не издохло въ ту же ночь....

Кистеръ напрасно до полуночи прождалъ Лучкова, и на другой день утромъ самъ отправился къ нему. Денщикъ доложилъ Ѳедору Ѳедоровичу, что баринъ-де почиваетъ и не велѣлъ никого принимать «И меня не велѣлъ?» — И ваше благородіе не велѣлъ. — Кистеръ съ мучительнымъ безпокойствомъ прошелся раза два по улицѣ, вернулся домой. Человѣкъ ему подалъ записку.

— Отъ кого?

— Отъ Перекатовыхъ-съ. Артёмка-фалеторъ привезъ.

У Кистера задрожали руки.

— Приказали кланяться. Приказали отвѣта просить-съ. Артёмкѣ прикажете дать водки-съ?

Кистеръ медленно развернулъ записочку и прочелъ слѣдующее:

«Любезный, добрый Ѳедоръ Ѳедоровичъ!

«Мнѣ очень, *очень* нужно васъ видѣть. Пріѣзжайте, «если можете, сегодня. Не откажите мнѣ въ моей просьбѣ, «прошу васъ именемъ нашей старинной дружбы. Если-бъ «вы знали.... да вы все узнаете. До свиданія—не правда «ли?—«Marie».

«P. S. Непремѣнно пріѣзжайте сегодня».

— Такъ прикажете-съ Артёмкѣ-фалетору поднести водки?

Кистеръ долго, съ изумленіемъ посмотрѣлъ въ лицо своему человѣку и вышелъ не сказавъ ни слова.

— Баринъ приказалъ тебѣ водки поднести, и мнѣ приказалъ съ тобой выпить, говорилъ Кистеровъ человѣкъ Артёмкѣ-фалетору.

IX.

Маша съ такимъ яснымъ и благодарнымъ лицомъ пошла на встрѣчу Кистеру, когда онъ вошелъ въ гостиную, такъ дружелюбно и крѣпко стиснула ему руку, что у него сердце забилось отъ радости, и камень свалился съ груди. Впрочемъ, Маша не сказала ему ни слова и тотчасъ вышла изъ комнаты. Сергѣй Сергѣевичъ сидѣлъ на диванѣ и раскладывалъ пасьянсъ. Начался разговоръ. Не успѣлъ еще Сергѣй Сергѣевичъ съ обычнымъ искусствомъ навести стороною рѣчь на свою собаку, какъ уже Маша возвратилась съ шелковымъ клѣтчатымъ поясомъ на платьѣ, любимымъ поясомъ Кистера. Явилась Ненила Макарьевна и дружелюбно привѣтствовала Ѳедора Ѳедоровича. За обѣдомъ всѣ смѣялись и шутили; самъ Сергѣй Сергѣевичъ одушевился и разсказалъ одну изъ самыхъ веселыхъ проказъ своей молодости, — при чемъ онъ, какъ страусъ, пряталъ голову отъ жены.

— Пойдемте гулять, Ѳедоръ Ѳедоровичъ, сказала Кистеру Маша послѣ обѣда, съ тою ласковою властью въ голосѣ, которая какъ-будто знаетъ, что вамъ весело ей покориться.—Мнѣ нужно переговорить съ вами о важномъ, важномъ дѣлѣ, прибавила она съ граціозною торжественностью, надѣвая шведскія перчатки.—Пойдешь ты съ нами, maman?

— Нѣтъ, возразила Ненила Макарьевна.

— Да мы не въ садъ идемъ.

— А куда же?

— Въ Долгій Лугъ, въ рощу.

— Возьми съ собой Танюшу.

— Танюша, Танюша! звонко крикнула Маша, легче птицы выпорхнувъ изъ комнаты.

Черезъ четверть часа, Маша шла съ Кистеромъ къ

Долгому-Лугу. Проходя мимо стада она покормила хлѣбомъ свою любимую корову, погладила ее по головѣ, и Кистера заставила приласкать ее. Маша была весела и болтала много. Кистеръ охотно вторилъ ей, хотя съ нетерпѣніемъ ждалъ объясненій.... Танюша шла сзади въ почтительномъ отдаленіи, и лишь изрѣдка, лукаво взглядывала на барышню.

— Вы на меня не сердитесь, Ѳедоръ Ѳедоровичъ? спросила Маша.

— На васъ, Марья Сергѣевна? Помилуйте, за что?

— А третьяго дня.... помните?

— Вы были не въ духѣ.... вотъ и все.

— Зачѣмъ мы идемъ розно? давайте мнѣ вашу руку. Вотъ такъ.... И вы были не въ духѣ.

— И я.

— Но сегодня я въ духѣ, не правда ли?

— Да, кажется, сегодня....

— И знаете отчего? Оттого, что.... Маша важно покачала головой.—Ну, ужъ я знаю отчего.... Оттого, что я съ вами, прибавила она, не глядя на Кистера.

Кистеръ тихонько пожалъ ея руку.

— А что-жъ вы меня не спрашиваете?... вполголоса проговорила Маша.

— О чемъ?

— Ну, не притворяйтесь.... о моемъ письмѣ.

— Я ждалъ....

— Вотъ оттого мнѣ и весело съ вами, съ живостію перебила его Маша:—оттого, что вы добрый, нѣжный человѣкъ, оттого, что вы не въ состояніи.... parceque vous avez de la délicatesse. Вамъ это можно сказать: вы понимаете по-французски.

Кистеръ понималъ по-французски, но рѣшительно не понималъ Маши.

— Сорвите мнѣ этотъ цвѣтокъ, вотъ этотъ.... какой хорошенькій! Маша полюбовалась имъ и вдругъ, быстро высвободивъ свою руку, съ заботливой улыбкой, начала осторожно вдѣвать гибкій стебелекъ въ петлю Кистерова сюртука. Ея тонкіе пальцы почти касались его губъ. Онъ посмотрѣлъ на эти пальцы, потомъ на нее. Она кивнула головой, какъ-бы говоря: можно.... Кистеръ нагнулся и поцѣловалъ кончики ея перчатокъ.

Между тѣмъ они приблизились къ знакомой рощѣ. Маша вдругъ стала задумчивѣе и наконецъ замолчала совершенно. Они пришли на то самое мѣсто, гдѣ ожидалъ ее Лучковъ. Измятая трава еще не успѣла приподняться; сломанное деревцо уже успѣло завянуть, листочки уже начинали свертываться въ трубочки и сохнуть. Маша посмотрѣла кругомъ и вдругъ обратилась къ Кистеру.

— Знаете ли вы, зачѣмъ я васъ привела сюда?

— Нѣтъ, не знаю.

— Не знаете?... Отчего вы мнѣ ничего не сказали сегодня о вашемъ пріятелѣ, господинѣ Лучковѣ? Вы всегда его такъ хвалите....

Кистеръ опустилъ глаза и замолчалъ.

— Знаете ли, не безъ усилья произнесла Маша:—что я ему назначила вчера.... здѣсь.... свиданье?

— Я это зналъ, глухо возразилъ Кистеръ.

— Знали?.... А! теперь я понимаю, почему третьяго дня.... Г-нъ Лучковъ, видно, поспѣшилъ похвастаться своей *побѣдой*.

Кистеръ хотѣлъ-было отвѣтить....

— Не говорите, не возражайте мнѣ ничего.... Я знаю— онъ вашъ другъ; вы въ состояніи его защищать. Вы знали, Кистеръ, знали.... Ка́къ же вы не помѣшали мнѣ сдѣлать такую глупость? Ка́къ вы не выдрали меня за

уши, какъ ребенка? Вы знали.... и вамъ было все равно?

— Но какое право имѣлъ я....

— Какое право!... право друга. Но и онъ вашъ другъ.... Мнѣ совѣстно, Кистеръ.... Онъ вашъ другъ.... Этотъ человѣкъ обошелся со мной вчера́ такъ....

Маша отвернулась. Глаза Кистера вспыхнули; онъ поблѣднѣлъ.

— Ну, полноте, не сердитесь.... Слышите, Ѳедоръ Ѳедорычъ, не сердитесь. Все къ лучшему. Я очень рада вчерашнему объясненію.... именно объясненію, прибавила Маша.—Для чего вы думаете, я заговорила съ вами объ этомъ? Для того, чтобъ пожаловаться на г. Лучкова? Полноте! Я забыла о немъ. Но я виновата передъ вами, мой добрый другъ.... Я хочу объясниться, попросить вашего прощенья.... вашего совѣта. Вы пріучили меня къ откровенности; мнѣ легко съ вами.... Вы не какой-нибудь г. Лучковъ!

— Лучковъ неловокъ и грубъ, съ трудомъ выговорилъ Кистеръ:—но....

— Что: *но?* Какъ вамъ не стыдно говорить: *но?* Онъ грубъ, *и* неловокъ, *и* золъ, *и* самолюбивъ.... Слышите: *и*, а не *но*.

— Вы говорите подъ вліяніемъ гнѣва, Марья Сергѣевна, грустно промолвилъ Кистеръ.

— Гнѣва? Какого гнѣва? Посмотрите на меня: развѣ такъ гнѣваются? Послушайте, продолжала Маша: — думайте обо мнѣ, что́ вамъ угодно.... но если вы воображаете, что я сегодня кокетничаю съ вами изъ мести, то.... то.... Слезы навернулись у ней на глазахъ:— я разсержусь не шутя.

— Будьте со мной откровенны, Марья Сергѣевна....

— О, глупый человѣкъ! О, недогадливый! Да взгля-

ните на меня, развѣ я не откровенна съ вами, развѣ вы не видите меня насквозь?

— Ну хорошо.... да; я вѣрю вамъ, съ улыбкой продолжалъ Кистеръ, видя, съ какой заботливой настойчивостью она ловила его взглядъ;—ну скажите же мнѣ, что васъ побудило назначить свиданіе Лучкову?

— Что? сама не знаю. Онъ хотѣлъ говорить со мной на единѣ. Мнѣ казалось, что онъ все еще не имѣлъ время, случая высказаться. Теперь онъ высказался! Послушайте: онъ, можетъ-быть, необыкновенный человѣкъ, но онъ — глупъ, право.... Онъ двухъ словъ сказать не умѣетъ. Онъ—просто невѣжливъ. Впрочемъ, я даже не очень его виню.... онъ могъ подумать, что я вѣтренная, сумасшедшая дѣвчонка. Я съ нимъ почти никогда не говорила.... Онъ, точно, возбуждалъ мое любопытство, но я воображала, что человѣкъ, который заслуживаетъ быть вашимъ другомъ....

— Не говорите, пожалуйста, о немъ, какъ о моемъ другѣ, перебилъ ее Кистеръ.

— Нѣтъ! нѣтъ, я не хочу васъ разсорить.

— О, Боже мой, я для васъ готовъ пожертвовать нетолько другомъ, но и.... Между мной и г. Лучковымъ все кончено! поспѣшно прибавилъ Кистеръ.

Маша пристально взглянула ему въ лицо.

— Ну, Богъ съ нимъ! сказала она.—Не станемте говорить о немъ. Мнѣ впередъ урокъ. Я сама виновата. Въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, я почти каждый день видѣла человѣка добраго, умнаго, веселаго, ласковаго, который....— Маша смѣшалась и замѣшкалась: — который, кажется, меня тоже.... немного.... жаловалъ.... и я, глупая,—быстро продолжала она,— предпочла ему.... нѣтъ, нѣтъ, не предпочла, а....

Она потупила голову и съ смущеніемъ замолчала.

Кистеру становилось страшно.—Быть не можетъ! твердилъ онъ про себя.

— Марья Сергѣевна! заговорилъ онъ наконецъ.

Маша подняла голову и остановила на немъ глаза, отягченные непролитыми слезами.

— Вы не угадываете о комъ я говорю? спросила она.

Едва дыша, Кистеръ протянулъ руку. Маша тотчасъ съ жаромъ схватилась за нее.

— Вы мой другъ по прежнему, не правда ли?... Что-жъ вы не отвѣчаете?

— Я вашъ другъ, вы это знаете, пробормоталъ онъ.

— И вы не осуждаете меня? Вы простили мнѣ?... Вы понимаете меня? Вы не смѣетесь надъ дѣвушкой, которая наканунѣ назначила свиданіе одному, а сегодня говоритъ уже съ другимъ, какъ я говорю съ вами.... Не правда ли, вы не смѣетесь надо мною?... — Лицо Маши рдѣло; она обѣими руками держалась за руку Кистера....

— Смѣяться надъ вами, отвѣчалъ Кистеръ:—я.... я.... да я васъ люблю.... я васъ люблю, воскликнулъ онъ.

Маша закрыла себѣ лицо.

— Неужели-жъ вы давно не знаете, Марья Сергѣевна, что я люблю васъ?

X.

Три недѣли послѣ этого свиданья, Кистеръ сидѣлъ одинъ въ своей комнатѣ и писалъ слѣдующее письмо къ своей матери:

«Любезная матушка!

«Спѣшу подѣлиться съ вами большой радостью: я же«нюсь. Это извѣстіе васъ, вѣроятно, только потому уди«витъ, что въ прежнихъ моихъ письмахъ я даже не на-

«мекалъ на такую важную перемѣну въ моей жизни,—а «вы знаете, что я привыкъ дѣлиться съ вами всѣми мо«ими чувствами, моими радостями и печалями. Причины «моего молчанія объяснить вамъ легко. Во-первыхъ, я «только недавно самъ узналъ, что я любимъ; а во-вто«рыхъ, съ моей стороны, я тоже недавно почувствовалъ «всю силу собственной привязанности. Въ одномъ изъ «первыхъ моихъ писемъ отсюда, я вамъ говорилъ о Пе«рекатовыхъ, нашихъ сосѣдяхъ; я женюсь на ихъ един«ственной дочери Маріи. Я твердо увѣренъ, что мы оба «будемъ счастливы; она возбудила во мнѣ не мгновенную «страсть, но глубокое, искреннее чувство, въ которомъ «дружба слилась съ любовью. Ея веселый кроткій нравъ «вполнѣ соотвѣтствуетъ моимъ наклонностямъ. Она обра«зована, умна, прекрасно играетъ на фортепьяно.... «Если-бъ вы могли ее видѣть!! Посылаю вамъ ее пор«третъ, мною нарисованный. Нечего, кажется, и говорить, «что она во сто разъ лучше своего портрета. Маша васъ «уже любитъ какъ дочь и не дождется дня свиданія съ «вами. Я намѣренъ выйдти въ отставку, поселиться въ «деревнѣ и заняться хозяйствомъ. У старика Перекато«ва четыреста душъ въ отличномъ состояніи. Вы види«те, что и съ этой, матеріальной стороны, нельзя не по«хвалить моего рѣшенія. Я беру отпускъ и ѣду въ Мос«кву и къ вамъ. Ждите меня недѣли черезъ двѣ, не бо«лѣе. Милая добрая маменька—какъ я счастливъ!... Об«нимите меня....» и т. д.

Кистеръ сложилъ и запечаталъ письмо, всталъ, подошелъ къ окну, выкурилъ трубку, подумалъ немного и вернулся къ столу. Онъ досталъ небольшой листокъ почтовой бумаги, тщательно обмокнулъ перо въ чернила, но долго не начиналъ писать, хмурилъ брови, поднималъ глаза къ потолку, кусалъ конецъ пера.... Наконецъ онъ

рѣшился — и въ теченіе четверти часа сочинилъ слѣдующее посланіе:

«Милостивый государь
«Авдѣй Ивановичъ!

«Со дня вашего послѣдняго посѣщенія (т. е. въ тече-«ніе трехъ недѣль) вы мнѣ не кланяетесь, не говорите «со мной и какъ-бы избѣгаете моей встрѣчи. Всякій че-«ловѣкъ, безспорно въ своихъ поступкахъ воленъ; вамъ «угодно было прекратить наше знакомство—и я, повѣрь-«те, не обращаюсь къ вамъ съ жалобой на васъ же са-«михъ; я не намѣренъ и не привыкъ навязываться кому «бы то ни было; мнѣ довольно сознанія моей правоты. «Я пишу къ вамъ теперь—по чувству долга. Я сдѣлалъ «предложеніе Марьѣ Сергѣевнѣ Перекатовой и получилъ «ея согласіе, а также и согласіе ея родителей. Сообщаю «это извѣстіе—прямо и непосредственно *вамъ*, для избѣ-«жанія всякихъ недоразумѣній и подозрѣній. Откровенно «признаюсь вамъ, М. Г., что я не могу слишкомъ забо-«титься о мнѣніи человѣка, который самъ не обращаетъ «малѣйшаго вниманія на мнѣнія и чувства другихъ лю-«дей и пишу къ вамъ единственно потому, что въ этомъ «случаѣ я не хочу даже подать вида, какъ-будто посту-«палъ или поступаю украдкой. Смѣю сказать: вы меня «знаете — и не припишите моего теперешняго поступка «какому-нибудь другому, дурному чувству. Въ послѣдній «разъ говоря съ вами, не могу не пожелать вамъ, въ па-«мять нашей прежней дружбы, всевозможныхъ земныхъ «благъ.

«Съ истиннымъ уваженіемъ остаюсь, М. Г.,
«вашъ покорный слуга
«Ѳедоръ Кистеръ».

Ѳедоръ Ѳедоровичъ отправилъ эту записку по адресу, одѣлся и велѣлъ заложить себѣ коляску. Веселый и беззаботный, ходилъ онъ, напѣвая, по своей комнаткѣ, подпрыгнулъ даже раза два, свернулъ тетрадь романсовъ въ трубочку и перевязалъ ее голубой ленточкой.... Дверь отворилась — и въ сюртукѣ, безъ эполетъ, съ фуражкой на головѣ, вошелъ Лучковъ. Изумленный Кистеръ остановился среди комнаты, не додѣлавъ розетки.

— Вы женитесь на Перекатовой? спросилъ спокойнымъ голосомъ Авдѣй.

Кистеръ вспыхнулъ.

— Милостивый государь, началъ онъ: — входя въ комнату, порядочные люди снимаютъ шапку и здороваются.

— Извините-съ, отрывисто возразилъ бреттёръ и снялъ фуражку. — Здравствуйте.

— Здравствуйте, г-нъ Лучковъ. Вы меня спрашиваете, женюсь ли я на дѣвицѣ Перекатовой? Развѣ вы не прочли моего письма?

— Я ваше письмо прочелъ. Вы женитесь. Поздравляю.

— Принимаю ваше поздравленіе и благодарю васъ. Но я долженъ ѣхать.

— Я желалъ бы объясниться съ вами, Ѳедоръ Ѳедорычъ.

— Извольте, съ удовольствіемъ, отвѣчалъ добрякъ. — Я, признаться, ждалъ этого объясненія. Ваше поведеніе со мной такъ странно, и я съ своей стороны, кажется, не заслуживалъ.... по крайней мѣрѣ не могъ ожидать.... Но не угодно ли вамъ сѣсть? Не хотите ли трубки?

Лучковъ сѣлъ. Въ его движеніяхъ замѣчалась усталость. Онъ повелъ усами и поднялъ брови.

— Скажите, Ѳедоръ Ѳедорычъ, началъ онъ наконецъ: — зачѣмъ вы такъ долго со мной притворялись?

— Какъ это?

— Зачѣмъ вы прикидывались такимъ.... безукоризненнымъ созданіемъ, когда вы такой же человѣкъ, какъ и всѣ мы грѣшные?

— Я васъ не понимаю.... Ужъ не оскорбилъ ли я васъ чѣмъ-нибудь?...

— Вы меня не понимаете.... положимъ. Я постараюсь говорить яснѣе. Скажите мнѣ, напримѣръ, откровенно: давно вы чувствовали расположеніе къ дѣвицѣ Перекатовой, или воспылали страстью внезапной?

— Я бы не желалъ говорить съ вами, Авдѣй Иванычъ, о моихъ отношеніяхъ къ Марьѣ Сергѣевнѣ, холодно отвѣчалъ Кистеръ.

— Такъ-съ. Какъ угодно. Только вы ужъ сдѣлайте одолженіе, позвольте мнѣ думать, что вы меня дурачили.

Авдѣй говорилъ очень медленно и съ разстановкой.

— Вы не можете этого думать, Авдѣй Иванычъ; вы меня знаете.

— Я васъ знаю?... кто васъ знаетъ? Чужая душа — темный лѣсъ, а товаръ лицомъ показывается. Я знаю, что вы читаете нѣмецкіе стихи съ большимъ чувствомъ и даже со слезами на глазахъ; я знаю, что на стѣнахъ своей квартиры вы развѣсили разныя географическія карты; я знаю, что вы содержите свою персону въ опрятности; это я знаю.... а больше я ничего не знаю....

Кистеръ началъ сердиться.

— Позвольте узнать, спросилъ онъ наконецъ: — какая цѣль вашего посѣщенія? Вы три недѣли со мной не кланялись, а теперь пришли ко мнѣ, кажется, съ намѣреніемъ трунить надо мной. Я не мальчикъ, милостивый государь, и не позволю никому....

— Помилуйте, перебилъ его Лучковъ: — помилуйте, Ѳедоръ Ѳедоровичъ, кто осмѣлится трунить надъ вами? Я, напротивъ, пришелъ къ вамъ съ покорнѣйшей прось-

бой; а именно: сдѣлайте милость, растолкуйте мнѣ *ваше* поведеніе со мною. Позвольте спросить: не вы ли насильно меня познакомили съ семействомъ Перекатовыхъ? Не вы ли увѣряли вашего покорнаго слугу, что онъ разцвѣтетъ душой? Не вы ли, наконецъ, свели меня съ добродѣтельной Марьей Сергѣевной? Почему же мнѣ не предполагать, что *вамъ* я обязанъ тѣмъ послѣднимъ, пріятнымъ объясненіемъ, о которомъ васъ уже, вѣроятно, надлежащимъ образомъ извѣстили? Жениху вѣдь невѣста все разсказываетъ, особенно свои *невинныя* продѣлки. Почему же мнѣ не думать, что по вашей милости мнѣ наклеили такой великолѣпный носъ? Вы вѣдь такое принимали участіе въ моемъ «разцвѣтаньѣ!»

Кистеръ прошелся по комнатѣ.

— Послушайте, Лучковъ, сказалъ онъ наконецъ: — если вы дѣйствительно, не шутя, убѣждены въ томъ, что́ вы говорите, — чему я, признаюсь, не вѣрю, — то позвольте вамъ сказать: стыдно и грѣшно вамъ такъ оскорбительно толковать мои поступки и мои намѣренія. Я не хочу оправдываться.... Я обращаюсь къ вашей собственной совѣсти, къ вашей памяти.

— Да; я помню, что вы безпрестанно перешептывались съ Марьей Сергѣевной. Сверхъ того, позвольте мнѣ опять-таки спросить у васъ: не были ли вы у Перекатовыхъ послѣ извѣстнаго разговора со мной? Послѣ этого вечера, когда я, какъ дуракъ, разболтался съ вами, съ моимъ лучшимъ другомъ, о назначенномъ свиданьѣ?

— Какъ! вы подозрѣваете меня въ....

— Я ни въ чемъ не подозрѣваю другого, съ убійственной холодностью прервалъ его Авдѣй:—въ чемъ я самого себя не подозрѣваю; но я также имѣю слабость думать, что другіе люди не лучше меня.

— Вы ошибаетесь, съ запальчивостью возразилъ Кистеръ; другіе люди лучше васъ.

— Съ чѣмъ честь имѣю ихъ поздравить, спокойно замѣтилъ Лучковъ:—но....

— Но, прервалъ его въ свою очередь раздосадованный Кистеръ: — вспомните, въ какихъ выраженіяхъ вы мнѣ говорили объ.... этомъ свиданьѣ, о.... Впрочемъ, эти объясненія ни къ чему не поведутъ, я вижу.... Думайте обо мнѣ, чтó вамъ угодно, и поступайте, какъ знаете.

— Вотъ этакъ-то лучше, замѣтилъ Авдѣй.—Насилу-то заговорили откровенно.

— Какъ знаете! повторилъ Кистеръ.

— Я понимаю ваше положенье, Ѳедоръ Ѳедорычъ, съ притворнымъ участіемъ продолжалъ Авдѣй. — Оно непріятно, дѣйствительно непріятно. Человѣкъ игралъ, игралъ роль, и никто не замѣчалъ въ немъ актёра; вдругъ....

— Если-бъ я могъ думать, перебилъ его, стиснувъ зубы, Кистеръ:—что въ васъ говоритъ теперь оскорбленная любовь, я бы почувствовалъ къ вамъ сожалѣнье; я бы извинилъ васъ.... Но въ вашихъ упрекахъ, въ вашихъ клеветахъ слышится одинъ крикъ уязвленнаго самолюбія.... и я не чувствую къ вамъ никакой жалости.... Вы сами заслужили вашу участь.

— Фу ты, Боже мой, какъ говоритъ человѣкъ! замѣтилъ въ-полголоса Авдѣй.—Самолюбіе, продолжалъ онъ:— можетъ-быть; дá, дá, самолюбіе во мнѣ, какъ вы говорите, уязвлено глубоко, нестерпимо. Но кто же не самолюбивъ? Не вы ли? Дá; я самолюбивъ, и, напримѣръ, никому не позволю сожалѣть обо мнѣ....

— Не позволите? гордо возразилъ Кистеръ. — Чтó за выраженіе, милостивый государь! Не забудьте: связь между

влекло его къ Машѣ. Онъ сыскалъ секунданта, наскоро устроилъ свои дѣла, и тотчасъ послѣ обѣда уѣхалъ къ Перекатовымъ. Весь вечеръ Кистеръ былъ веселъ, можетъ-быть, слишкомъ веселъ.

Маша много играла на фортепьянахъ, ничего не предчувствовала и мило съ нимъ кокетничала. Сперва ея безпечность огорчала его, потомъ онъ эту самую безпечность Маши принялъ за счастливое предсказаніе—и обрадовался и успокоился. Она съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе къ нему привязывалась; потребность счастія въ ней была сильнѣе потребности страсти. Притомъ Авдѣй отлучилъ ее отъ всѣхъ преувеличенныхъ желаній, и она съ радостію и навсегда отказалась отъ нихъ. Ненила Макарьевна любила Кистера, какъ сына. Сергѣй Сергѣевичъ, по привычкѣ, подражалъ своей женѣ.

— До свиданія, сказала Кистеру Маша, проводивъ его до передней и съ тихой улыбкой глядя, какъ онъ нѣжно и долго цѣловалъ ея руки.

— До свиданія, съ увѣренностью возразилъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ:—до свиданія.

Но, отъѣхавъ съ полверсты отъ дома Перекатовыхъ, онъ приподнялся въ коляскѣ и съ смутнымъ безпокойствомъ сталъ искать глазами освѣщенныя окна.... Въ домѣ все было уже темно, какъ въ могилѣ.

XI.

На другой день, въ 11-мъ часу утра, секундантъ Кистера, старый, заслуженный маіоръ, заѣхалъ за нимъ. Добрый старикъ ворчалъ и кусалъ свои сѣдые усы, сулилъ всякую пакость Авдѣю Ивановичу.... Подали коляску. Кистеръ вручилъ майору два письма, одно къ матери, другое къ Машѣ.

— Это зачѣмъ?

— Да нельзя знать....

— Вотъ вздоръ! мы его подстрѣлимъ, какъ куропатку.

— Все же лучше....

Маіоръ съ досадой сунулъ оба письма въ боковой карманъ своего сюртука.

— Ѣдемъ.

Они отправились. Въ небольшомъ лѣсу, въ двухъ верстахъ отъ села Кириллова, ихъ дожидался Лучковъ съ своимъ секундантомъ, прежнимъ своимъ пріятелемъ, раздушеннымъ полковымъ адъютантомъ. Погода была прекрасная; птицы мирно чирикали; невдалекѣ отъ лѣса мужикъ пахалъ землю. Пока секунданты отмѣривали разстояніе, устанавливали барьеръ, осматривали и заряжали пистолеты, противники даже не взглянули другъ на друга. Кистеръ съ беззаботнымъ видомъ прохаживался взадъ и впередъ, помахивая сорванною вѣткою. Авдѣй стоялъ неподвижно, скрестя руки и нахмуря брови. Наступило рѣшительное мгновеніе. «Начинайте, господа!» Кистеръ быстро подошелъ къ барьеру, но не успѣлъ ступить еще пяти шаговъ, какъ Авдѣй выстрѣлилъ. Кистеръ дрогнулъ, ступилъ еще разъ, зашатался, опустилъ голову.... Его колѣни подогнулись.... онъ, какъ мѣшокъ, упалъ на траву. Маіоръ бросился къ нему.... «Неужели?» шепталъ умирающій....

Авдѣй подошелъ къ убитому. На его сумрачномъ и похудѣвшемъ лицѣ выразилось свирѣпое, ожесточенное сожалѣніе.... Онъ поглядѣлъ на адъютанта и на маіора, наклонилъ голову, какъ виноватый, молча сѣлъ на лошадь и поѣхалъ шагомъ прямо на квартиру полковника.

Маша.... жива до сихъ поръ.

1846 г.

ТРИ ПОРТРЕТА.

«*Сосѣдство*» составляетъ одну изъ важнѣйшихъ непріятностей деревенской жизни. Я зналъ одного вологодскаго помѣщика, который, при всякомъ удобномъ случаѣ, повторялъ слѣдующія слова: «слава Богу, у меня нѣтъ сосѣдей»,— и, признаюсь, не могъ не завидовать этому счастливому смертному. Моя деревенька находится въ одной изъ многолюднѣйшихъ губерній Россіи. Я окруженъ великимъ множествомъ сосѣдушекъ, начиная съ благонамѣренныхъ и почтенныхъ помѣщиковъ, облеченныхъ въ просторные фраки и просторнѣйшіе жилеты, — и кончая записными гуляками, носящими венгерки съ длинными рукавами и такъ-называемымъ «фимскимъ» узломъ на спинѣ. Въ числѣ всѣхъ этихъ дворянъ, случайнымъ образомъ открылъ я, однакожъ, одного весьма любезнаго малаго: онъ прежде служилъ въ военной службѣ, потомъ вышелъ въ отставку и поселился на вѣки-вѣковъ въ деревнѣ. По его разсказамъ, онъ служилъ два года въ П-мъ полку; но я рѣшительно не понимаю, какъ могъ этотъ человѣкъ нести какую-нибудь обязанность, не только въ теченіе двухъ лѣтъ, но даже въ продолженіе двухъ дней. Онъ былъ рожденъ «для жизни мирной, для деревенской тишины», то-есть, для лѣниваго, безпечнаго прозябанія, которое, замѣчу въ скобкахъ, не лишено великихъ и неистощимыхъ прелестей. Онъ пользовался весьма порядочнымъ состоя-

ніемъ: не заботясь слишкомъ о хозяйствѣ, проживалъ около десяти тысячъ рублей въ годъ, досталъ себѣ прекраснаго повара (мой пріятель любилъ хорошо покушать); также выписывалъ себѣ изъ Москвы новѣйшія французскія книги и журналы. По-русски же читалъ онъ одни лишь донесенія своего прикащика, и то съ большимъ трудомъ. Онъ съ утра (если не уѣзжалъ на охоту) до обѣда и за обѣдомъ не покидалъ халата; перебиралъ какіе-нибудь хозяйственные рисунки, не то отправлялся на конюшню или въ молотильный сарай, и пересмѣивался съ бабами, которыя при немъ взмахивали цѣпами, какъ говорится, съ прохвалà. Послѣ обѣда, мой другъ одѣвался передъ зеркаломъ весьма тщательно и ѣхалъ къ какому-нибудь сосѣду, одаренному двумя или тремя хорошенькими дочками; безпечно и миролюбиво волочился за одной изъ нихъ, игралъ съ ними въ жмурки, возвращался домой довольно поздно и тотчасъ же засыпàлъ богатырскимъ сномъ. Онъ скучать не могъ, потому что никогда не предавался полному бездѣйствію; а на выборъ занятій не былъ прихотливъ, и какъ ребенокъ тѣшился малѣйшей бездѣлицей. Съ другой стороны — особенной привязанности къ жизни онъ не чувствовалъ, и бывало, когда приходилось *перескакивать* волка или лисицу—пускалъ свою лошадь во всю прыть по такимъ рытвинамъ, что я до сихъ поръ понять не могу, какъ онъ себѣ сто разъ не сломалъ шеи. Онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, которые возбуждаютъ въ васъ мысль, что они сами себѣ не знаютъ цѣны, что подъ ихъ наружнымъ равнодушіемъ скрываются сильныя и великія страсти; но онъ бы разсмѣялся вамъ въ носъ, если-бъ могъ догадаться, что вы питаете о немъ подобное мнѣніе; да и признаться сказать, я самъ думаю, что если и водилось за моимъ пріятелемъ въ молодости какое-нибудь, хотя неясное, но силь-

ное стремленіе къ тому, что весьма мило названо «чѣмъ-то высшимъ», то это стремленіе давнымъ-давно въ немъ угомонилось и *зачичкало*. Онъ былъ довольно толстъ и наслаждался превосходнымъ здоровьемъ. Въ нашъ вѣкъ нельзя не любить людей, мало помышляющихъ о самихъ себѣ, потому-что они чрезвычайно рѣдки.... а мой пріятель едва ли не забылъ о своей особѣ. Впрочемъ, я, кажется, уже слишкомъ много говорю о немъ—и моя болтовня тѣмъ болѣе неумѣстна, что не онъ служилъ предметомъ моего разсказа. Его звали Петромъ Ѳедоровичемъ Лучиновымъ.

Въ одинъ осенній день съѣхалось насъ человѣкъ пять записныхъ охотниковъ у Петра Ѳедоровича. Цѣлое утро мы провели въ полѣ, затравили двухъ волковъ и множество зайцевъ и вернулись домой въ томъ восхитительно пріятномъ расположеніи духа, которое овладѣваетъ всякимъ порядочнымъ человѣкомъ послѣ удачной охоты. Смеркалось. Вѣтеръ разыгрывался въ темныхъ поляхъ и шумно колебалъ обнаженныя вершины березъ и липъ, окружавшихъ домъ Лучинова. Мы пріѣхали, слѣзли съ коней.... На крыльцѣ я остановился и оглянулся: по сѣрому небу тяжко ползли длинныя тучи; темнобурый кустарникъ крутился на вѣтрѣ и жалобно шумѣлъ; желтая трава безсильно и печально пригибалась къ землѣ; стаи дроздовъ перелетывали по рябинамъ, осыпаннымъ ярко-пунцовыми гроздьями; въ тонкихъ и ломкихъ сучьяхъ березъ съ свистомъ попрыгивали синицы; на деревнѣ сипло лаяли собаки. Мнѣ стало грустно.... за то я съ истинной отрадой вошелъ въ столовую. Ставни были заперты; на кругломъ столѣ, покрытомъ скатертью ослѣпительной бѣлизны, среди хрустальныхъ графиновъ, наполненныхъ краснымъ виномъ, горѣло восемь свѣчей въ серебряныхъ подсвѣчникахъ; въ каминѣ весело пылалъ огонь—и старый, весь-

ма благообразный дворецкій, съ огромной лысиной, одѣтый по-англійски, стоялъ въ почтительной неподвижности передъ другимъ столомъ, на которомъ уже красовалась большая суповая чаша, обвитая легкимъ пахучимъ паромъ. Въ сѣнцахъ мы прошли мимо другого почтеннаго человѣка, занятаго мороженіемъ шампанскаго—«по строгимъ правиламъ искусства».—Обѣдъ былъ, какъ водится въ подобныхъ случаяхъ, чрезвычайно пріятный; мы хохотали, разсказывали происшествія, случившіяся на охотѣ, и съ восторгомъ упоминали о двухъ знаменитыхъ «угонкахъ». Покушавши довольно плотно, разложились мы въ широкихъ креслахъ около камина; на столѣ появилась объемистая серебряная чаша и черезъ нѣсколько мгновеній, бѣглое пламя запылавшаго рома возвѣстило намъ о пріятномъ намѣреніи хозяина: «сотворить жженку». — Петръ Ѳедоровичъ былъ человѣкъ не безъ вкуса; онъ, напримѣръ, зналъ, что ничего не дѣйствуетъ такъ убійственно на фантазію, какъ ровный, холодный и педантическій свѣтъ лампъ — потому велѣлъ оставить въ комнатѣ всего двѣ свѣчи. Странныя полу-тѣни трепетали по стѣнамъ, произведенныя прихотливою игрою огня въ каминѣ и пламенемъ жжёнки.... тихая, чрезвычайно пріятная отрада замѣнила въ нашихъ сердцахъ нѣсколько буйную веселость, господствовавшую за обѣдомъ.

Разговоры имѣютъ свои судьбы—какъ книги (по латинской пословицѣ), какъ все на свѣтѣ. Нашъ разговоръ въ этотъ вечеръ былъ какъ-то особенно разнообразенъ и живъ. Отъ частностей восходилъ онъ къ довольно важнымъ общимъ вопросамъ, легко и непринужденно возвращался къ ежедневностямъ жизни.... Поболтавши довольно много, мы вдругъ всѣ замолчали. Въ это время, говорятъ, пролетаетъ тихій ангелъ.

Не знаю, отчего мои товарищи затихли, но я замол-

чалъ оттого, что мои глаза остановились внезапно на трехъ запыленныхъ портретахъ въ черныхъ деревянныхъ рамкахъ. Краски истерлись и кое-гдѣ покоробились, но лица можно было еще разобрать. На середнемъ портретѣ изображена была женщина молодыхъ лѣтъ въ бѣломъ платьѣ съ кружевными каемками, въ высокой прическѣ восьмидесятыхъ годовъ. Направо отъ нея, на совершенно черномъ фонѣ виднѣлось круглое и толстое лицо добраго русскаго помѣщика лѣтъ двадцати-пяти, съ низкимъ и широкимъ лбомъ, тупымъ носомъ и простодушной улыбкой. Французская напудренная прическа весьма не согласовалась съ выраженіемъ его славянскаго лица. Живописецъ изобразилъ его въ кафтанѣ алаго цвѣта съ большими стразовыми пуговицами; въ рукѣ держалъ онъ какой-то небывалый цвѣтокъ. На третьемъ портретѣ, писанномъ другою, болѣе искусною рукою, былъ представленъ человѣкъ лѣтъ тридцати, въ зеленомъ мундирѣ екатерининскаго времени, съ красными отворотами, въ бѣломъ камзолѣ, въ тонкомъ батистовомъ галстухѣ. Одной рукой опирался онъ на трость съ золотымъ набалдашникомъ, другую заложилъ за камзолъ. Его смуглое, худощавое лицо дышало дерзкою надменностью. Тонкія длинныя брови почти сростались надъ черными какъ смоль глазами; на блѣдныхъ, едва замѣтныхъ губахъ играла недобрая улыбка.

— Что вы это заглядѣлись на эти лица? спросилъ меня Петръ Ѳедоровичъ.

— Такъ! отвѣчалъ я, посмотрѣвъ на него.

— Хотите ли выслушать цѣлый разсказъ объ этихъ трехъ особахъ?

— Сдѣлайте одолженіе, отвѣчали мы въ одинъ голосъ.

Петръ Ѳедоровичъ всталъ, взялъ свѣчку, поднесъ ее къ портретамъ, и голосомъ человѣка, показывающаго ди-

кихъ звѣрей, «господа!» провозгласилъ онъ: «эта дама— пріемышъ моего родного прадѣдушки, Ольга Ивановна NN., прозванная Лучиновой, умершая лѣтъ сорокъ тому назадъ въ дѣвицахъ. Этотъ господинъ» — показывая на портретъ мужчины въ мундирѣ—«гвардіи сержантъ, Василій Ивановичъ Лучиновъ же, скончавшійся волею Божіею въ тысяща семь-сотъ девяностомъ году; а этотъ господинъ, съ которымъ я не имѣю чести состоять въ родствѣ, нѣкто Павелъ Аѳанасьевичъ Рогачевъ, нигдѣ, сколько мнѣ извѣстно, не служившій. Извольте обратить вниманіе на дыру, находящуюся у него на груди, на самомъ мѣстѣ сердца. Эта дыра, какъ вы видите, правильная трехгранная, вѣроятно не могла произойдти случайно.... Теперь, продолжалъ онъ обыкновеннымъ своимъ голосомъ, извольте усѣсться, вооружитесь терпѣніемъ и слушайте.

«Господа! началъ онъ,—я происхожу отъ довольно стариннаго рода. Я моимъ происхожденіемъ не горжусь, потому-что мои предки были всѣ страшные мотыги. Впрочемъ, этотъ упрекъ не относится къ моему прадѣду, Ивану Андреевичу Лучинову, — напротивъ: ,онъ слылъ за человѣка чрезвычайно бережливаго и даже скупого— по-крайней-мѣрѣ въ послѣдніе годы своей жизни. Онъ провелъ свою молодость въ Петербургѣ, и былъ свидѣтелемъ царствованія Елизаветы. Въ Петербургѣ онъ женился и прижилъ съ своей женой, а моей прабабушкой, четырехъ человѣкъ дѣтей—трехъ сыновей, Василія, Ивана и Павла (моего родного дѣда) и одну дочь, Наталью. Сверхъ того, Иванъ Андреевичъ принялъ къ себѣ въ семейство дочь одного отдаленнаго родственника, круглую безъимянную сироту — Ольгу Ивановну, о которой я уже вамъ говорилъ. Подданные моего дѣдушки, вѣроятно, знали о его существованіи, потому-что высылали къ нему

(когда не случалось особаго несчастія) весьма незначительный оброкъ — но никогда въ лицо его не видали. Сельцо Лучиновка, лишенное лицезрѣнія своего господина, процвѣтало, — какъ вдругъ, въ одно прекрасное утро, тяжолая колымага въѣхала въ деревню и остановилась передъ избой старосты. Мужики, встревоженные такимъ небывалымъ происшествіемъ, сбѣжались и увидали своего барина, барыню и всѣхъ ихъ чадъ, исключая, старшаго, Василія, оставшагося въ Петербургѣ. Съ того достопамятнаго дня и до самой своей кончины, Иванъ Андреевичъ не выѣзжалъ изъ Лучиновки. Онъ выстроилъ себѣ домъ, тотъ самый, въ которомъ я теперь имѣю удовольствіе бесѣдовать съ вами; построилъ также церковь и началъ жить помѣщикомъ. Иванъ Андреевичъ былъ человѣкъ огромнаго роста, худой, молчаливый и весьма медлительный во всѣхъ своихъ движеніяхъ; никогда не носилъ халата, и никто, исключая его камердинера, не видалъ его не напудреннымъ. Иванъ Андреевичъ обыкновенно ходилъ заложа руки за спину, медленно поворачивая голову при каждомъ шагѣ. Всякій день прогуливался онъ по длинной липовой аллеѣ, которую самъ собственноручно насадилъ—и передъ смертью имѣлъ удовольствіе пользоваться тѣнью этихъ липъ. Иванъ Андреевичъ былъ чрезвычайно скупъ на слова; доказательствомъ его молчаливости служитъ то замѣчательное обстоятельство, что онъ въ теченіе двадцати лѣтъ не сказалъ ни одного слова своей супругѣ, Аннѣ Павловнѣ. Вообще, его отношенія къ Аннѣ Павловнѣ были весьма страннаго рода.—Она завѣдывала всѣмъ домашнимъ хозяйствомъ, за обѣдомъ сидѣла всегда возлѣ своего мужа— онъ нещадно наказалъ бы человѣка, который осмѣлился бы сказать ей одно непочтительное слово,—а между-тѣмъ, самъ съ ней никогда не говорилъ, не прикасался къ ея

рукѣ. Анна Павловна была робкая, блѣдная, убитая женщина; каждый день молилась въ церкви на колѣняхъ и никогда не улыбалась. Толковали, что они прежде, т. е. до пріѣзда въ деревню, жили въ большомъ ладу; поговаривали также, что Анна Павловна нарушила свои супружескія обязанности, что мужъ узналъ о ея проступкѣ.... Какъ бы то ни было, но Иванъ Андреевичъ, даже умирая, не примирился съ ней. Во время послѣдней его болѣзни, она не отлучалась отъ него; но онъ, казалось, ея не замѣчалъ. Въ одну ночь, Анна Павловна сидѣла въ спальнѣ Ивана Андреевича; его мучила безсонница— лампада горѣла передъ образомъ; слуга моего дѣдушки, Юдичъ, о которомъ я вамъ въ послѣдствіи скажу два слова, вышелъ. Анна Павловна встала, перешла черезъ комнату и рыдая бросилась на колѣни передъ постелью мужа, хотѣла что-то сказать—протянула руки.... Иванъ Андреевичъ посмотрѣлъ на нее—и слабымъ голосомъ, но твердо закричалъ: «человѣкъ!» Слуга вошелъ, Анна Павловна поспѣшно встала, и шатаясь возвратилась на свое мѣсто.

Дѣти Ивана Андреевича чрезвычайно его боялись. Они выросли въ деревнѣ и были свидѣтелями страннаго обхожденія Ивана Андреевича съ своею женою. Они всѣ страстно любили Анну Павловну, но не смѣли высказать свою любовь. Она сама какъ-будто ихъ чуждалась.... Вы помните, господа, моего дѣда: онъ до самой смерти всегда ходилъ на цыпочкахъ и говорилъ шопотомъ.... что́ значитъ привычка! Мой дѣдъ и братъ его, Иванъ Ивановичъ, были люди простые, добрые, смирные и грустные; моя grand' tante Наталья вышла, какъ вамъ извѣстно, замужъ за грубаго и глупаго человѣка, и до смерти питала къ нему безмолвную, подобострастную, овечью любовь — но не таковъ былъ братъ ихъ Василій. Я вамъ,

кажется, сказывалъ, что Иванъ Андреевичъ оставилъ его въ Петербургѣ. Ему было тогда лѣтъ двѣнадцать. Отецъ поручилъ его попеченіямъ одного отдаленнаго родственника, человѣка уже не молодого, холостого, страшнаго вольтеріянца.

Василій выросъ, поступилъ на службу. Онъ былъ не великъ ростомъ, но хорошо сложенъ и чрезвычайно ловокъ; прекрасно говорилъ по-французски и славился своимъ умѣньемъ драться на шпагахъ. Его считали однимъ изъ блистательныхъ молодыхъ людей начала царствованія Екатерины. Отецъ мой мнѣ часто говаривалъ, что онъ знавалъ не одну старушку, которая безъ сердечнаго умиленія вспомнить не могла о Васильѣ Ивановичѣ Лучиновѣ. Вообразите себѣ человѣка, одареннаго необыкновенной силой воли, страстнаго и разсчетливаго, терпѣливаго и смѣлаго, скрытнаго до чрезвычайности и — по словамъ всѣхъ его современниковъ—очаровательно, обаятельно любезнаго. Въ немъ не было ни совѣсти, ни доброты, ни честности, хотя никто же не могъ назвать его положительно злымъ человѣкомъ. Онъ былъ самолюбивъ — но умѣлъ таить свое самолюбіе, и страстно любилъ независимость. Когда, бывало, Василій Ивановичъ, улыбаясь, ласково прищуритъ черные глаза, когда захочетъ плѣнить кого-нибудь, говорятъ, невозможно ему было противиться — и даже люди, увѣренные въ сухости и холодности его души, неразъ поддавались чарующему могуществу его вліянія. Онъ усердно служилъ самому себѣ, и другихъ заставлялъ трудиться для своихъ же выгодъ, и всегда во всемъ успѣвалъ, потому-что никогда не терялъ головы, не гнушался лести, какъ средства, и умѣлъ льстить.

Лѣтъ десять спустя послѣ поселенія Ивана Андреевича въ деревнѣ, пріѣхалъ онъ на четыре мѣсяца въ Лучиновку

блестящимъ гвардейскимъ офицеромъ—и въ теченіе этого времени успѣлъ вскружить голову даже угрюмому старику, отцу своему. Странно! Иванъ Андреевичъ съ наслажденіемъ слушалъ разсказы своего сына о нѣкоторыхъ его *побѣдахъ*. Братья его нѣмѣли передъ нимъ и удивлялись ему, какъ существу высшему. Да и сама Анна Павловна едва ли не полюбила его болѣе всѣхъ другихъ дѣтей, такъ искренно ей преданныхъ.

Василій Ивановичъ пріѣхалъ въ деревню во-первыхъ для того, чтобы повидаться съ родными; но во-вторыхъ и для того, чтобы достать какъ можно болѣе денегъ отъ отца. Онъ жилъ пышно и открыто въ Петербургѣ и надѣлалъ множество долговъ. Не легко ему было сладить съ скупостью родителя, и хоть Иванъ Андреевичъ далъ ему въ одинъ его пріѣздъ, вѣроятно, гораздо болѣе денегъ, чѣмъ всѣмъ другимъ своимъ сыновьямъ въ продолженіе двадцати лѣтъ, прожитыхъ ими въ родительскомъ домѣ, но Василій держался извѣстнаго русскаго правила: «брать, такъ брать!» У Ивана Андреевича былъ слуга, по прозванію Юдичъ, такой же высокій, худой и молчаливый человѣкъ, какъ самъ его баринъ. Говорятъ, этотъ Юдичъ былъ отчасти причиной страннаго обращенія Ивана Андреевича съ Анной Павловной: говорятъ, онъ открылъ преступную связь моей прабабушки съ однимъ изъ лучшихъ пріятелей моего прадѣда. Вѣроятно, Юдичъ глубоко раскаялся въ своей неумѣстной ревности, потому-что трудно вообразить себѣ болѣе добраго человѣка. Память его до сихъ поръ священна всѣмъ моимъ дворовымъ людямъ. Юдичъ пользовался неограниченною довѣренностью моего прадѣда. Въ то время, помѣщики имѣли деньги, но не отдавали ихъ на сбереженіе въ заемныя учрежденія, а сами хранили ихъ въ сундукахъ, въ подполицахъ и т. д. Иванъ Андреевичъ держалъ всѣ свои

деньги въ большомъ кованномъ сундукѣ, находившемся у него подъ изголовьемъ. Ключъ отъ этого сундука былъ отданъ Юдичу. Каждый вечеръ, ложась спать, Иванъ Андреевичъ при себѣ приказывалъ отпирать этотъ сундукъ, постукивалъ палкой поочередно по всѣмъ туго-набитымъ мѣшкамъ, а по субботамъ самъ съ Юдичемъ развязывалъ мѣшки и тщательно пересчитывалъ деньги. Василій провѣдалъ о всѣхъ этихъ продѣлкахъ и возгорѣлъ желаніемъ потревожить завѣтный сундучекъ. Въ теченіе пяти, шести дней онъ *умягчилъ* Юдича, то-есть довелъ бѣднаго старика до того, что тотъ въ молодомъ баринѣ—какъ говорится—души не чаялъ. Подготовивъ его надлежащимъ образомъ, Василій прикинулся озабоченнымъ и мрачнымъ, долго не хотѣлъ отвѣчать на разспросы Юдича и наконецъ сказалъ ему, что онъ проигрался и что наложитъ на себя руки—если не достанетъ гдѣ-нибудь денегъ. Юдичъ зарыдалъ, бросился передъ нимъ на колѣни, просилъ вспомнить Бога, не губить себя. Василій, не говоря ни слова, заперся въ своей комнатѣ. Черезъ нѣсколько времени услышалъ онъ, что кто-то осторожно къ нему стучится; онъ отперъ дверь и увидѣлъ на порогѣ Юдича, блѣднаго, трепещущаго, съ ключемъ въ рукѣ. Василій тотчасъ все понялъ. Сперва онъ долго отказывался. Юдичъ со слезами твердилъ: «извольте, баринъ! возьмите».... Василій наконецъ согласился. Дѣло было въ понедѣльникъ. Василью пришла въ голову мысль замѣнить вынутыя деньги битыми черепками. Онъ разсчитывалъ на то, что Иванъ Андреевичъ, постукивая по мѣшкамъ палкой, не обратитъ особеннаго вниманія на едва замѣтное различіе звука—а до субботы онъ надѣялся достать и вложить обратно деньги въ сундукъ. Придумано—сдѣлано. Отецъ дѣйствительно ничего не замѣтилъ. Но къ субботѣ Василій денегъ не досталъ; онъ надѣялся на

взятыя деньги обыграть одного богатаго сосѣда — и, напротивъ, самъ все проигралъ. Между тѣмъ настала суббота; дошла очередь и до мѣшковъ, набитыхъ черепками. Представьте себѣ господа, удивленіе Ивана Андреевича!

— Это что значитъ? загремѣлъ онъ.

Юдичъ молчалъ.

— Ты укралъ эти деньги?

— Никакъ нѣтъ-съ.

— Такъ кто-нибудь ключъ у тебя бралъ?

— Я никому не отдавалъ ключа.

— Никому? А когда никому — такъ ты воръ. Сознавайся?

— Я не воръ, Иванъ Андреевичъ.

— Откуда-жъ взялись эти черепки, чортъ возьми! Такъ-то ты меня обманываешь? Въ послѣдній разъ говорю тебѣ—сознавайся!

Юдичъ потупилъ голову и сложилъ руки за спиной.

— Эй, люди! закричалъ Иванъ Андреевичъ иступленнымъ голосомъ.—Палокъ!

— Какъ? меня.... наказывать? прошепталъ Юдичъ.

— Вотъ тебѣ на! да чѣмъ ты лучше другихъ? Ты воръ! Ну, Юдичъ! не ожидалъ я отъ тебя такого мошенничества!

— Я посѣдѣлъ на вашей службѣ, Иванъ Андреевичъ, проговорилъ съ усиліемъ Юдичъ.

— А мнѣ что за дѣло до твоихъ сѣдыхъ волосъ! Чортъ бы тебя побралъ съ твоей службой!

Люди вошли.

— Возьмите-ка его, да хорошенько!

У Ивана Андреевича поблѣднѣли и затряслись губы. Онъ ходилъ по комнатѣ, какъ дикій звѣрь въ тѣсной клѣткѣ.

Люди не смѣли исполнить его приказанія.

— Что-жъ вы стоите, хамовы дѣти? Иль мнѣ самому за него приняться, что́ ли?

Юдичъ пошелъ было къ двери....

— Стойте! закричалъ Иванъ Андреевичъ.—Юдичъ, въ послѣдній разъ говорю тебѣ, прошу тебя, Юдичъ, сознайся!

— Не могу! простоналъ Юдичъ.

— Такъ берите же его, стараго подлипалу!... На смерть его! Въ мою голову! загремѣлъ бѣшеный старикъ. Истязаніе началось....

Дверь вдругъ растворилась и вошелъ Василій. Онъ былъ едва ли еще не блѣднѣе отца, руки его дрожали, верхняя губа приподнялась и обнажила рядъ бѣлыхъ и ровныхъ зубовъ.

— Я виноватъ, сказалъ онъ глухимъ, но твердымъ голосомъ.—Я взялъ эти деньги.

Люди остановились.

— Ты! какъ? ты, Васька! безъ согласія Юдича?

— Нѣтъ! сказалъ Юдичъ:—съ моего согласія. Я самъ отдалъ ключъ Василью Ивановичу. Батюшка, Василій Ивановичъ! зачѣмъ вы изволили безпокоиться?

— Такъ вотъ кто воръ! закричалъ Иванъ Андреевичъ.—Спасибо, Василій, спасибо! А тебя Юдичъ, я все-таки не помилую. Зачѣмъ ты мнѣ тотчасъ же во всемъ не сознался? Эй вы! что вы стали? или уже и вы моей власти не признаете? А съ тобой я справлюсь, голубчикъ! прибавилъ онъ, обращаясь къ Василью.

Люди опять-было взялись за Юдича.

— Не трогайте его! прошепталъ Василій сквозь зубы.— Слуги его не послушались. — Назадъ! закричалъ онъ и бросился на нихъ.... Они отшатнулись.

— А! бунтовать! простоналъ Иванъ Андреевичъ, и, поднявъ палку, пошелъ на сына.

Василій отскочилъ, схватился за рукоять шпаги и обнажилъ ее до половины. Всѣ затрепетали. Анна Павловна, привлеченная шумомъ, испуганная, блѣдная, показалась въ дверяхъ.

Страшно измѣнилось лицо Ивана Андреевича. Онъ зашатался, уронилъ палку, и тяжко опустился на кресло, закрывъ лицо обѣими руками. Никто не шевелился, всѣ стояли какъ вкопанные, не исключая и Василья. Судорожно стискивалъ онъ стальную рукоять шпаги, глаза его сверкали унылымъ, злобнымъ блескомъ....

— Подите всѣ.... всѣ вонъ, проговорилъ тихимъ голосомъ Иванъ Андреевичъ, не отнимая рукъ отъ лица.

Вся толпа вышла. Василій остановился на порогѣ, потомъ вдругъ тряхнулъ головой, обнялъ Юдича, поцѣловалъ руку матери.... и черезъ два часа его уже не было въ деревнѣ. Онъ уѣхалъ въ Петербургъ.

Вечеромъ того же дня, Юдичъ сидѣлъ на крылечкѣ дворовой избы. Люди окружали его, сожалѣли о немъ и горько упрекали барина.

— Полноте, дѣти, сказалъ онъ имъ наконецъ: — полноте.... что вы его браните? онъ и самъ чай, батюшка нашъ, своей удали не радъ....

Вслѣдствіе этого происшествія, Василій уже болѣе не видался съ своимъ родителемъ. Иванъ Андреевичъ умеръ безъ него, и умеръ вѣроятно съ такой тоской на сердцѣ, какую не дай Богъ испытывать кому-либо изъ насъ. Василій Ивановичъ между тѣмъ выѣзжалъ, веселился посвоему и сорилъ деньгами. Какъ онъ добывалъ эти деньги, не могу навѣрное сказать. Досталъ онъ себѣ слугу француза, ловкаго и смышленнаго малаго, нѣкоего Бурсье. Этотъ человѣкъ страстно къ нему привязался, и помо-

галъ ему во всѣхъ его многочисленныхъ продѣлкахъ. Я не намѣренъ разсказывать вамъ въ подробности всѣ проказы моего grand'oncle; онъ отличался такой неограниченной смѣлостью, такой змѣиной изворотливостью, такимъ непостижимымъ хладнокровіемъ, такимъ ловкимъ и тонкимъ умомъ, что, признаюсь, я понимаю неограниченную власть этого безнравственнаго человѣка надъ самыми благородными душами....

Вскорѣ послѣ смерти отца, Василій Ивановичъ, не смотря на свою изворотливость, былъ вызванъ на дуэль однимъ оскорбленнымъ мужемъ. Онъ дрался, тяжело ранилъ своего соперника и принужденъ былъ выѣхать изъ столицы; ему приказали безвыѣздно жить въ своемъ помѣстьѣ. Василію Ивановичу было 30 лѣтъ. Вы легко можете себѣ представить, господа, съ какими чувствами этотъ человѣкъ, привыкшій къ столичной, блестящей жизни, ѣхалъ на родину. Говорятъ, онъ на дорогѣ часто выходилъ изъ кибитки, бросался лицомъ въ снѣгъ и плакалъ. Никто въ Лучиновкѣ не узнавалъ прежняго веселаго, любезнаго Василія Ивановича. Онъ ни съ кѣмъ не говорилъ, съ утра до вечера ѣздилъ на охоту, съ видимымъ нетерпѣніемъ сносилъ робкія ласки своей матери и безжалостно насмѣхался надъ братьями, надъ ихъ женами (они уже оба успѣли жениться)....

Я вамъ до-сихъ-поръ, кажется, ничего не сказалъ объ Ольгѣ Ивановнѣ. Груднымъ ребенкомъ привезли ее въ Лучиновку; она чуть-чуть не умерла на дорогѣ. Ольга Ивановна была воспитана, какъ говорится, въ страхѣ Божіемъ и родительскомъ.... Надобно сознаться, что Иванъ Андреевичъ и Анна Павловна — оба обращались съ ней какъ съ дочерью. Но въ ней таилась слабая искра того огня, который такъ ярко пылалъ въ душѣ Василья Ивановича. Между-тѣмъ, какъ настоящія дѣти Ивана Андрее-

вича не дерзали помышлять о причинахъ страннаго безмолвнаго раздора между ихъ родителями, — Ольгу съ раннихъ лѣтъ тревожило и мучило положеніе Анны Павловны. Подобно Василью, она любила независимость; всякое притѣсненіе ее возмущало. Она всѣми силами души привязалась къ своей благодѣтельницѣ; старика Лучинова она ненавидѣла, и не разъ, сидя за столомъ, устремляла на него такіе мрачные взгляды, что даже человѣку, подававшему кушанье, становилось жутко. Иванъ Андреевичъ не замѣчалъ всѣхъ этихъ взглядовъ, потому что вообще не обращалъ никакого вниманія на свое семейство.

Сперва Анна Павловна старалась истребить въ ней эту ненависть — но нѣкоторые смѣлые вопросы Ольги заставили ее замолчать совершенно. Дѣти Ивана Андреевича обожали Ольгу, и старуха ее любила тоже, хотя довольно холодной любовью.

Продолжительное горе подавило въ этой бѣдной женщинѣ всякую веселость, всякое сильное чувство; ничего такъ ясно не доказываетъ очаровательной любезности Василья, какъ тò, что онъ даже мать свою заставилъ горячо полюбить себя. Изліянія дѣтской нѣжности не были въ духѣ того времени, а потому не удивительно, что Ольга не смѣла обнаруживать свою приверженность, хотя всегда съ особенной почтительностью цѣловала руку Анны Павловны вечеромъ, при прощаніи. Читать и писать она едва умѣла. Двадцать лѣтъ спустя, русскія дѣвицы начали почитывать романы въ родѣ Похожденій маркиза Глаголя,—Фанфана и Лолоты,—Алексѣя или Хижины въ лѣсу; — начали учиться на клавикордахъ и пѣть пѣсни въ родѣ слѣдующей, нѣкогда весьма извѣстной:

«Мужчины на свѣтѣ
Какъ мухи къ намъ льнутъ»—и т д.

но въ семидесятыхъ годахъ (Ольга Ивановна родилась въ 1757 году) наши деревенскія красавицы не имѣли понятія обо всѣхъ этихъ усовершенствованіяхъ. Трудно намъ теперь себѣ представить русскую барышню того вѣка; правда, мы можемъ, по нашимъ бабушкамъ, судить о степени образованности дворянокъ временъ Екатерины; но какъ прикажете отличить то, что́ постепенно къ нимъ привилось въ теченіе ихъ долгой жизни,—отъ того, чѣмъ онѣ были во дни молодости?

Ольга Ивановна нѣсколько говорила по-французски — но съ сильнымъ русскимъ произношеніемъ: въ ея время объ эмигрантахъ не было еще помина. Словомъ, при всѣхъ ея хорошихъ качествахъ, она все-таки была порядочнымъ *дичкомъ*—и, пожалуй, въ простотѣ сердца своего, изъ собственныхъ рукъ не разъ наказывала какую-нибудь злополучную горничную....

За нѣсколько времени до пріѣзда Василія Ивановича, Ольгу Ивановну сговорили за сосѣда — Павла Аѳанасьевича Рогачева, добрѣйшаго и честнѣйшаго человѣка. Природа позабыла надѣлить его желчью. Собственные люди не слушались его, уходили иногда всѣ отъ перваго до послѣдняго и оставляли бѣднаго Рогачева безъ обѣда.... но ничто не могло возмутить тишину его души. Онъ съ дѣтскихъ лѣтъ отличался толстотою и неповоротливостію, нигдѣ не служилъ, любилъ ходить въ церковь и пѣть на клиросѣ. Посмотрите, господа, на это доброе круглое лицо; вглядитесь въ эту тихую, свѣтлую улыбку.... не правда ли, вамъ самимъ становится отрадно? Отецъ его въ които вѣки ѣзжалъ въ Лучиновку и по праздникамъ привозилъ съ собой Павлушу, котораго маленькіе Лучиновы всячески терзали. Павлуша выросъ, началъ самъ ѣздить къ Ивану Андреевичу, влюбился въ Ольгу Ивановну и предложилъ ей руку и сердце—не лично ей, а ея благо-

дѣтелямъ. Благодѣтели согласились. У Ольги Ивановны даже не подумали спросить: нравится ли ей Рогачевъ? Въ то время, по словамъ моей бабушки—«такихъ роскошей не водилось». Впрочемъ, Ольга скоро привыкла къ своему жениху; нельзя было не привязаться къ этому кроткому, снисходительному созданію. Воспитанія Рогачевъ не получилъ никакого; по-французски умѣлъ только сказать: «бонжуръ»—и втайнѣ почиталъ даже это слово неприличнымъ. Да еще какой-то шутникъ выучилъ его слѣдующей, будто бы французской, пѣснѣ: «Сонечка, Сонечка! Ке-вуле-ву-де-муа — я васъ обожаю—ме-же-не-пёпа».... Эту пѣсенку онъ всегда напѣвалъ вполголоса, когда чувствовалъ себя въ духѣ. Отецъ его былъ тоже человѣкъ доброты неописанной; вѣчно ходилъ въ длинномъ нанковомъ сюртукѣ, и что́ бы ему ни говорили—на все съ улыбкой поддакивалъ. Со времени помолвки Павла Аѳанасьевича, оба Рогачевы — отецъ и сынъ, хлопотали страшно; передѣлывали свой домъ, пристроивали разныя «галдареи», дружелюбно разговаривали съ работниками, подчивали ихъ водкою. Къ зимѣ не успѣли окончить всѣ постройки — отложили свадьбу до лѣта; лѣтомъ умеръ Иванъ Андреевичъ—отложили свадьбу до будущей весны; зимой пріѣхалъ Василій Ивановичъ. Ему представили Рогачева; онъ принялъ его холодно и небрежно и въ послѣдствіи времени до того запугалъ его своимъ надменнымъ обхожденіемъ, что бѣдный Рогачевъ трепеталъ какъ листъ при одномъ его появленіи, молчалъ и принужденно улыбался. Василій разъ чуть-чуть не уходилъ его совершенно—предложивъ ему пари, что онъ, Рогачевъ, не въ состояніи перестать улыбаться. Бѣдный Павелъ Аѳанасьевичъ едва не заплакалъ отъ замѣшательства, но — дѣйствительно!—улыбка, глупѣйшая, напряженная улыбка не хотѣла сойдти съ его вспотѣвшаго лица! А Ва-

силій медленно поигрывалъ концами своего шейнаго платка и поглядывалъ на него ужъ черезчуръ презрительно. Отецъ Павла Аѳанасьевича узналъ также о прибытіи Василія, и спустя нѣсколько дней — для «большей важности» — отправился въ Лучиновку съ намѣреніемъ: «поздравить любезнаго гостя съ прибытіемъ въ родныя палестины». Аѳанасій Лукичъ славился во всемъ околоткѣ своимъ краснорѣчіемъ—т. е. умѣньемъ не запинаясь произнести довольно длинную и хитро сплетенную рѣчь, съ легкой примѣсью книжныхъ словечекъ. Увы! на этотъ разъ онъ не поддержалъ своей славы; смутился гораздо болѣе сына своего, Павла Аѳанасьевича; пробормоталъ что-то весьма невнятное и хотя отъ роду не пивалъ водки, но тутъ «для контенансу», выпивъ рюмочку (онъ засталъ Василія за завтракомъ)—хотѣлъ-было по крайней мѣрѣ крякнуть съ нѣкоторою самостоятельностью, и не произвелъ ни малѣйшаго звука. Уѣзжая домой, Павелъ Аѳанасьевичъ шепнулъ своему родителю: «Что-съ, батюшка?» Аѳанасій Лукичъ съ досадой отвѣчалъ ему также шопотомъ: «И не говори!»

Рогачевы начали рѣже ѣздить въ Лучиновку. Впрочемъ, Василій застращалъ не ихъ однихъ; въ братьяхъ своихъ, въ ихъ женахъ, даже въ самой Аннѣ Павловнѣ возбуждалъ онъ тоскливую, невольную неловкость.... они стали всячески избѣгать его; Василій не могъ этого не замѣтить, но, повидимому, не имѣлъ намѣренья перемѣнить свое обращеніе съ ними, какъ вдругъ въ началѣ весны онъ явился опять тѣмъ любезнымъ, милымъ человѣкомъ, какимъ его прежде знали....

Первымъ проявленіемъ этой внезапной перемѣны былъ неожиданный пріѣздъ Василія къ Рогачевымъ. Аѳанасій Лукичъ, въ особенности, порядкомъ струсилъ при видѣ коляски Лучинова, но испугъ его исчезъ весьма скоро.

Никогда Василій не былъ любезнѣе и веселѣе. Онъ взялъ молодого Рогачева подъ-руку, пошелъ съ нимъ осматривать постройки, толковалъ съ плотниками, давалъ имъ совѣты, дѣлалъ самъ нарубки топоромъ, велѣлъ себѣ показать заводскихъ лошадей Аѳанасья Лукича, самъ гонялъ ихъ на кордѣ—и вообще своей радушной любезностью довелъ добрыхъ степняковъ до того, что они оба неоднократно его обняли: Дома Василій тоже въ нѣсколько дней по-прежнему вскружилъ всѣмъ головы: затѣялъ разныя смѣшныя игры, досталъ музыкантовъ, назвалъ сосѣдей и сосѣдокъ, разсказывалъ старушкамъ самымъ потѣшнымъ образомъ городскія сплетни, слегка волочился за молодыми, придумывалъ небывалыя увеселенія, фейерверки и т. д., словомъ, оживилъ все и всѣхъ. Печальный, мрачный домъ Лучиновыхъ превратился вдругъ въ какое-то шумное, блестящее, очарованное жилище, о которомъ заговорилъ весь околотокъ.—Эта внезапная перемѣна удивила многихъ, всѣхъ обрадовала; начали носиться разные слухи; знающіе люди говорили, что Василья Ивановича до тѣхъ поръ сокрушала какая-то скрытая забота, что ему представилась возможность возвратиться въ столицу.... но до истинной причины перерожденія Василья Ивановича не добрался никто.

Ольга Ивановна, господа, была очень не дурна собой. —Впрочемъ, ея красота состояла болѣе въ необыкновенной нѣжности и свѣжести тѣла, въ спокойной прелести движеній, чѣмъ въ строгой правильности очертаній. Природа одарила ее нѣкоторой самобытностью; ея воспитанье — она выросла сиротой — развило въ ней осторожность и твердость. Ольга не принадлежала къ числу тихихъ и вялыхъ барышень; но одно лишь чувство въ ней созрѣло вполнѣ: ненависть къ благодѣтелю. Впрочемъ, и другія болѣе женскія страсти могли вспыхнуть въ душѣ

Ольги Ивановны съ необычайной болѣзненной силой.... но въ ней не было ни того гордого холода, ни той сжатой крѣпости души, ни той самолюбивой сосредоточенности, безъ которыхъ всякая страсть исчезаетъ весьма быстро.— Первые порывы такихъ полу-дѣятельныхъ, полу-страдательныхъ душъ бываютъ иногда необыкновенно стремительны; но онѣ измѣняютъ самимъ себѣ весьма скоро, особенно, когда дѣло дойдетъ до безжалостнаго примѣненія принятыхъ правилъ; онѣ боятся послѣдовательности.... И между тѣмъ, господа, признаюсь вамъ откровенно: на меня женщины такого рода производятъ сильнѣйшее впечатлѣніе.... (При этихъ словахъ разскащикъ опорожнилъ стаканъ воды.— Пустяки, пустяки! подумалъ я, глядя на его круглый подбородокъ: — на тебя, любезный другъ, ничто въ свѣтѣ не производитъ «сильнѣйшаго впечатлѣнія»)....

Петръ Ѳедоровичъ продолжалъ:—Господа, я вѣрю въ кровь, въ породу. Въ Ольгѣ Ивановнѣ было болѣе крови, чѣмъ, напримѣръ въ нареченной ея сестрицѣ—Натальѣ. Въ чемъ же проявлялась эта «кровь», спросите вы меня?— да во всемъ: въ очеркахъ рукъ, губъ, въ звукѣ голоса, во взглядѣ, въ походкѣ, въ прическѣ, — въ складкахъ платья, наконецъ. Во всѣхъ этихъ бездѣлкахъ таилось что-то особенное, хотя я долженъ признаться, что, та.... какъ-бы выразиться?... та distinction, которая доставалась на долю Ольгѣ Ивановнѣ, не привлекала бы вниманія Василья, если-бъ онъ встрѣтился съ нею въ Петербургѣ. Въ деревнѣ же, въ глуши, она не только возбудила его вниманье — но и даже вообще была единственной причиной той перемѣны, о которой я говорилъ выше.

Судите сами: Василій Ивановичъ любилъ наслаждаться жизнью; онъ не могъ не скучать въ деревнѣ; братья его

были добрые ребята, но весьма ограниченные люди: онъ ничего не имѣлъ съ ними общаго; сестра его Наталья въ теченіе трехъ лѣтъ прижила съ своимъ супругомъ четырехъ человѣкъ дѣтей: между ней и Васильемъ была цѣлая бездна.... Анна Павловна ходила въ церковь, молилась, постилась и готовилась къ смерти. Оставалась одна Ольга, свѣжая, робкая, миленькая дѣвочка.... Василій ее сперва не замѣтилъ.... да и кто обращаетъ вниманье на воспитанницу, на сироту, на пріемыша?... Однажды, въ самомъ началѣ весны, шелъ онъ по саду и тросточкой сбивалъ головки цикорій, этихъ глупенькихъ желтыхъ цвѣтковъ, которые въ такомъ множествѣ первые появляются на едва зеленѣющихъ лугахъ. — Онъ гулялъ по саду, передъ домомъ, поднялъ голову — и увидалъ Ольгу Ивановну. — Она сидѣла бокомъ у окна и задумчиво гладила полосатаго котенка, который, мурлыча и жмурясь, угнѣздился на ея колѣняхъ и съ большимъ удовольствіемъ подставлялъ свой носикъ весеннему, уже довольно яркому солнцу. На Ольгѣ Ивановнѣ было бѣлое утреннее платье съ короткими рукавами; ея голыя, блѣднорозовыя, не вполнѣ развитыя плечи и руки дышали свѣжестью и здоровьемъ; небольшой чепчикъ осторожно сжималъ ея густые, мягкіе, шелковистые локоны; лицо слегка пылало: она недавно проснулась. Ея тонкая и гибкая шея такъ мило подавалась впередъ; такъ плѣнительно небрежно, такъ стыдливо отдыхалъ ея незатянутый станъ, что Василій Ивановичъ (большой знатокъ!) невольно остановился и заглядѣлся. Ему вдругъ пришло въ голову, что не слѣдуетъ оставлять Ольгу Ивановну въ ея первобытномъ невѣжествѣ; что изъ нея можетъ со временемъ выдти премилая и прелюбезная женщина. Онъ подкрался къ окну, поднялся на цыпочки и на бѣлой и гладкой рукѣ Ольги Ивановны немного пониже локтя напечатлѣлъ без-

молвный поцѣлуй. — Ольга вскрикнула и вскочила, котенокъ поднялъ хвостъ и прыгнулъ въ садъ, Василій Ивановичъ съ улыбкой удержалъ ее за руку.... Ольга покраснѣла вся до-ушей; онъ началъ шутить надъ ея испугомъ.... звалъ ее гулять съ собой; но вдругъ Ольга Ивановна замѣтила небрежность своего наряда—и «быстрѣе быстрой лани» улизнула въ другую комнату.

Въ тотъ же самый день, Василій отправился къ Рогачевымъ. Онъ вдругъ повеселѣлъ и просвѣтлѣлъ духомъ. Василій не полюбилъ Ольгу, нѣтъ! — словомъ: «любовь» шутить не надобно.... Онъ нашелъ себѣ занятіе, поставилъ себѣ задачу и радовался радостью дѣятельнаго человѣка. Онъ и не вспомнилъ о томъ, что она — воспитанница его матери, невѣста другого; онъ ни на одинъ мигъ не обманывалъ себя; онъ очень хорошо зналъ, что ей не быть его женой.... Можетъ-быть, его извиняла страсть — правда не возвышенная, не благородная, но все-таки довольно сильная и мучительная страсть. Разумѣется, онъ влюбился не какъ ребенокъ; онъ не предавался неопредѣленнымъ восторгамъ; онъ очень зналъ, чего онъ хотѣлъ и къ чему онъ стремился.

Василій Ивановичъ вполнѣ владѣлъ способностью въ самое короткое время пріучить къ себѣ другого, даже предубѣжденнаго или робкого человѣка. Ольга скоро перестала его дичиться. Василій Ивановичъ ввелъ ее въ новый міръ. Онъ выписалъ для нея клавикорды, давалъ ей музыкальные уроки (онъ самъ порядочно игралъ на флейтѣ), читалъ ей книги, долго разговаривалъ съ ней.... Голова закружилась у бѣдной степнячки. Василій совершенно покорилъ ее. Онъ умѣлъ говорить съ ней о томъ, что до того времени ей было чуждымъ, и говорить языкомъ ей понятнымъ. Ольга понемногу рѣшилась высказывать ему свои чувства; онъ помогалъ ей, подсказывалъ ей слова, которыхъ

она не находила, не запугивалъ ее; то удерживалъ, то поощрялъ ея порывы.... Василій занимался ея воспитаніемъ не изъ безкорыстнаго желанія разбудить и развить ея способности; онъ, просто, хотѣлъ ее нѣсколько къ себѣ приблизить, и зналъ, притомъ, что неопытную, робкую, но самолюбивую дѣвушку легче завлечь умомъ, чѣмъ сердцемъ. Если-бъ Ольга была даже существомъ необыкновеннымъ, Василій никакъ бы не могъ этого замѣтить, потому-что онъ обращался съ ней, какъ съ ребенкомъ; но вы уже знаете, господа, что въ Ольгѣ особенно замѣчательнаго ничего не было. Василій старался по возможности дѣйствовать на ея воображеніе, и часто вечеромъ она уходила отъ него съ такимъ вихремъ новыхъ образовъ, словъ и мыслей въ головѣ, что не въ состояніи была заснуть до зари, и, тоскливо вздыхая, безпрестанно прикладывала горящія щеки къ холоднымъ подушкамъ, или вставала, подходила къ окну, и пугливо и жадно глядѣла въ темную даль. Василій наполнялъ каждое мгновенье ея жизни, ни о комъ другомъ она думать не могла. Рогачева она скоро даже перестала замѣчать. Василій, какъ человѣкъ ловкій и хитрый, въ его присутствіи не говорилъ съ Ольгой; но либо смѣшилъ его самого до слезъ, либо затѣвалъ какую-нибудь шумную игру, прогулку верхомъ, катанье ночью по рѣкѣ съ факелами и музыкой — словомъ, не давалъ опомниться Павлу Аѳанасьевичу. Однако, несмотря на всю ловкость Василья Ивановича, Рогачевъ смутно почувствовалъ, что онъ, женихъ и будущій мужъ Ольги, какъ-будто сталъ для нея чужимъ человѣкомъ.... но, по безконечной своей добротѣ, боялся огорчить ее упрекомъ, хотя дѣйствительно любилъ ее и дорожилъ ея привязанностью. Наединѣ съ ней онъ не зналъ, чтó заговорить, и только старался всячески прислуживаться. Прошло два мѣсяца. Въ Ольгѣ

исчезла, наконецъ, всякая самостоятельность, всякая воля; слабый и молчаливый Рогачевъ не могъ служить ей опорой; она даже не хотѣла противиться обаянью, и съ замирающимъ сердцемъ безусловно отдалась Василью....

Ольга Ивановна, вѣроятно, узнала тогда радости любви; но не надолго. Хотя Василій — за неимѣніемъ другого занятія—не только не бросилъ ее, но даже привязался къ ней и заботливо ее лелѣялъ, но сама Ольга до того потерялась, что даже въ любви не находила блаженства, и все-таки не могла оторваться отъ Василья. Она стала всего бояться, не смѣла думать; не разговаривала ни о чемъ, перестала читать; тоска ее грызла. Иногда удавалось Василью увлечь ее за собою и заставить позабыть всѣхъ и все; но на другой же день онъ находилъ ее блѣдной, безмолвной, съ похолодѣвшими руками, съ безмысленной улыбкой на губахъ.... Настало довольно трудное время для Василія; но никакія трудности запугать его не могли. Онъ весь сосредоточился, какъ опытный игрокъ. Онъ нисколько не могъ полагаться на Ольгу Ивановну; она безпрестанно себѣ измѣняла, блѣднѣла, краснѣла и плакала.... ея новая роль не пришлась ей по силамъ. Василій работалъ за двухъ; въ его буйномъ и шумномъ весельѣ только опытный наблюдатель могъ бы замѣтить лихорадочную напряженность; онъ игралъ братьями, сестрами, Рогачевыми, сосѣдями, сосѣдками — какъ пѣшками: вѣчно былъ на сторóжѣ, не терялъ ни одного взгляда, ни одного движенья, хотя казался беззаботнѣйшимъ человѣкомъ; каждое утро вступалъ въ сраженіе и каждый вечеръ торжествовалъ побѣду. Онъ нисколько ни тяготился такой страшной дѣятельностью; спалъ четыре часа въ сутки, ѣлъ очень мало и былъ здоровъ, свѣжъ и веселъ. Между тѣмъ, день свадьбы приближался; Василій успѣлъ убѣдить самого Павла Аѳа-

насьевича въ необходимости отсрочки; потомъ услалъ его въ Москву за покупками, а самъ переписывался съ петербургскими пріятелями. Онъ хлопоталъ не столько изъ сожалѣнья къ Ольгѣ Ивановнѣ, сколько изъ охоты и любви къ хлопотамъ и тревогамъ.... Притомъ—Ольга Ивановна начала ему надоѣдать, и онъ уже не разъ, послѣ неистоваго взрыва страсти, поглядывалъ на нее, какъ бывало, на Рогачева. Лучиновъ всегда оставался загадкой для всѣхъ; въ самой холодности его неумолимой души вы чувствовали присутствіе страннаго, почти южнаго пламени: и въ самомъ бѣшеномъ разгарѣ страсти отъ этого человѣка вѣяло холодомъ. — При другихъ онъ, по-прежнему, поддерживалъ Ольгу Ивановну; но наединѣ онъ игралъ съ ней какъ кошка съ мышью, или пугалъ ее софизмами, или тяжело и ядовито скучалъ, или, наконецъ, опять бросался къ ея ногамъ, увлекалъ ее какъ вихрь щепку.... и не притворялся тогда влюбленнымъ.... но дѣйствительно самъ замиралъ....

Однажды, довольно поздно вечеромъ, Василій сидѣлъ одинъ у себя въ комнатѣ и внимательно перечитывалъ послѣднія, полученныя имъ изъ Петербурга письма — какъ вдругъ дверь тихонько заскрипѣла и вошла Палашка, горничная Ольги Ивановны.

— Чтó тебѣ надобно? спросилъ ее Василій довольно сурово.

— Барышня изволитъ васъ просить къ себѣ.

— Теперь не могу. Ступай.... Ну, что-жъ ты стоишь? продолжалъ онъ, увидя, что Палашка не выходила.

— Барышня приказала сказать, что очень дескать, нужно-съ.

— Да чтó тамъ такое?

— Сами изволите увидѣть-съ....

Василій всталъ, съ досадой бросилъ письма въ ящикъ

и отправился къ Ольгѣ Ивановнѣ. Она сидѣла одна, въ углу—блѣдная и неподвижная.

— Чтó вамъ угодно? спросилъ онъ ее не совсѣмъ привѣтно.

Ольга посмотрѣла на него, и, содрогаясь, закрыла глаза.

— Что съ вами? что съ тобой, Ольга?

Онъ взялъ ее за руку.... Рука Ольги Ивановны была холодна какъ ледъ.... Она хотѣла заговорить.... и голосъ ея замеръ. Бѣдной женщинѣ не оставалось никакого сомнѣнія на счётъ своего положенія.

Василій нѣсколько смутился. Комната Ольги Ивановны находилась въ двухъ шагахъ отъ спальни Анны Павловны. Василій осторожно подсѣлъ къ Ольгѣ, цѣловалъ и грѣлъ ея руки, шопотомъ ее уговаривалъ. Она слушала его и молча—слегка вздрагивала. Въ дверяхъ стояла Палашка и тихонько утирала слезы. Въ сосѣдней комнатѣ тяжко и мѣрно стучалъ маятникъ и слышалось дыханіе спящаго. Оцѣпенѣніе Ольги Ивановны разрѣшилось наконецъ слезами и глухими рыданіями. Слезы—что гроза: послѣ нихъ человѣкъ всегда тише. Когда Ольга Ивановна успокоилась нѣсколько и лишь изрѣдка, судорожно всхлипывала, какъ ребенокъ, Василій сталъ передъ ней на колѣни и ласками, нѣжными обѣщаніями успокоилъ ее совершенно, далъ ей напиться, уложилъ ее и ушелъ. Всю ночь онъ не раздѣвался, написалъ два-три письма, сжегъ двѣ три бумаги, досталъ золотой медальонъ съ портретомъ женщины чернобровой и черноглазой, съ лицомъ сладострастнымъ и смѣлымъ, долго разсматривалъ ея черты и въ раздумьѣ ходилъ по комнатѣ. На другое утро за чаемъ, онъ съ необыкновеннымъ неудовольствіемъ увидѣлъ покраснѣвшіе, распухшіе глаза и блѣдное, встревоженное лицо бѣдной Ольги. Послѣ завтрака предложилъ онъ ей прогуляться съ нимъ по саду. Ольга пошла за Васильемъ,

какъ послушная овечка. Когда же, часа черезъ два, она вернулась изъ сада—на ней лица не было; она сказала Аннѣ Павловнѣ, что ей нездоровится и слегла въ постель. Во время прогулки, Василій съ достодолжнымъ раскаяніемъ объявилъ ей, что онъ тайно обвѣнчанъ — онъ былъ такой же холостякъ, какъ я. Ольга Ивановна не упала въ обморокъ — падаютъ въ обморокъ только на сценѣ; но вдругъ окаменѣла, хотя сама не только не надѣялась выдти за Василья Ивановича, но даже какъ-то боялась объ этомъ думать. Василій началъ ей доказывать необходимость разлуки съ нимъ и бракосочетанія съ Рогачевымъ. Ольга Ивановна глядѣла на него съ нѣмымъ ужасомъ. Василій говорилъ холодно, дѣльно, основательно; винилъ себя, каялся—но кончилъ всѣ свои разсужденія слѣдующими словами: «прошедшаго не вернешь; надобно дѣйствовать». Ольга потерялась совершенно; ей было страшно, стыдно; унылое, тяжкое отчаяніе овладѣло ею; она желала смерти — и съ тоской ожидала рѣшенія Василья.

— Надобно во всемъ сознаться матушкѣ, сказалъ онъ ей наконецъ.

Ольга помертвѣла; ноги у ней подкосились.

— Не бойся, не бойся, твердилъ Василій:—положись на меня, я тебя не оставлю.... я все улажу.... надѣйся на меня.

Бѣдная женщина посмотрѣла на него съ любовью.... да, съ любовью, и глубокой, хотя уже безнадежной преданностью.

— Я все, все устрою, сказалъ ей на прощанье Василій.... и въ послѣдній разъ поцѣловалъ ея похолодѣвшія руки....

На другое же утро, Ольга Ивановна только-что встала съ постели—дверь ея растворилась.... и Анна Павловна

появилась на порогѣ. Ее поддерживалъ Василій. Молча добралась она до креселъ и сѣла молча. Василій сталъ возлѣ нея. Онъ казался спокойнымъ; брови его сдвинулись и губы слегка раскрылись. Анна Павловна, блѣдная, негодующая, разгнѣванная, собиралась говорить—но голосъ измѣнялъ ей. Ольга Ивановна съ ужасомъ окинула взоромъ свою благодѣтельницу—своего любовника: страшно замерло въ ней сердце.... она съ крикомъ упала посреди комнаты на колѣни и закрыла себѣ лицо руками.... «Такъ правда.... правда?» прошептала Анна Павловна, и наклонилась къ ней.... «Отвѣчайте же!» продолжала она съ жестокостью схвативъ Ольгу за руку.

— Матушка! раздался мѣдный голосъ Василія. — Вы обѣщали мнѣ не оскорблять ее.

— Я хочу.... признавайся же.... признавайся.... правда ли? правда?

— Матушка.... вспомните.... проговорилъ медленно Василій.

Это одно слово сильно потрясло Анну Павловну. Она прислонилась къ спинкѣ креселъ и зарыдала.

Ольга Ивановна тихонько подняла голову и хотѣла-было броситься къ ногамъ старухи, но Василій удержалъ ее, поднялъ и посадилъ на другое кресло. Анна Павловна продолжала плакать и шептать несвязныя слова....

— Послушайте, матушка, заговорилъ Василій. — Не убивайте себя! бѣдѣ помочь еще можно.... Если Рогачевъ....

Ольга Ивановна вздрогнула и выпрямилась.

— Если Рогачевъ, продолжалъ Василій, значительно взглянувъ на Ольгу Ивановну:—вообразилъ, что можетъ безнаказанно опозорить честное семейство....

Ольгѣ Ивановнѣ стало страшно.

— Въ моемъ домѣ, простонала Анна Павловна.

— Успокойтесь, матушка. Онъ воспользовался ея неопытностью, ея молодостью, онъ.... вы что-то хотите сказать? прибавилъ онъ, увидя, что Ольга порывается къ нему....

Ольга Ивановна упала въ кресло.

— Я сейчасъ ѣду къ Рогачеву. Я заставлю его жениться сегодня же. Будьте увѣрены, я не позволю ему насмѣхаться надъ нами....

— Но.... Василій Ивановичъ.... вы.... прошептала Ольга.

Онъ долго и холодно посмотрѣлъ на нее. Она замолчала снова.

— Матушка, дайте мнѣ слово не безпокоить ея до моего пріѣзда. Посмотрите—она едва жива. Да и вамъ надобно отдохнуть. Надѣйтесь на меня; я отвѣчаю за все; во всякомъ случаѣ, подождите моего возвращенія. Повторяю вамъ—не убивайте ни ее, ни себя — и положитесь на меня.

Онъ приблизился къ дверямъ и остановился.

— Матушка, сказалъ онъ:—пойдемте со мной, оставьте ее одну, прошу васъ.

Анна Павловна встала, подошла къ иконѣ, положила земной поклонъ и тихо послѣдовала за сыномъ. Ольга Ивановна молча и неподвижно проводила ее глазами. Василій проворно вернулся, схватилъ ее за руку, шепнулъ ей на ухо: «надѣйтесь на меня и не выдайте насъ»,—и тотчасъ удалился.... «Бурсьѐ» закричалъ онъ, спускаясь быстро внизъ по лѣстницѣ. «Бурсьѐ!»....

Черезъ четверть часа онъ уже сидѣлъ въ коляскѣ съ своимъ слугой.

Въ этотъ день старика Рогачева не было дома. Онъ поѣхалъ въ уѣздный городъ закупать мухояру на кафтаны своимъ челядинцамъ. Павелъ Аѳанасьевичъ сидѣлъ

у себя въ кабинетѣ и разсматривалъ коллекцію полинявшихъ бабочекъ. Приподнявъ брови и вытянувъ губы, онъ осторожно переворачивалъ булавкой хрупкія крылышки «ночного сфинкса», какъ вдругъ почувствовалъ у себя на плечѣ небольшую, но тяжелую руку. Онъ оглянулся—передъ нимъ стоялъ Василій.

— Здравствуйте, Василій Ивановичъ, проговорилъ онъ не безъ нѣкотораго изумленія.

Василій посмотрѣлъ на него и сѣлъ передъ нимъ на стулъ.

Павелъ Аѳанасьевичъ улыбнулся-было.... да взглянулъ на Василья, опустился, раскрылъ ротъ и сложилъ руки.

— А скажите-ка, Павелъ Аѳанасьевичъ, заговорилъ вдругъ Василій: — скоро ли вы намѣрены сыграть свадебку?

— Я?... скоро.... конечно.... я, съ моей стороны.... впрочемъ, какъ вы и ваша сестрица.... я, съ моей стороны, готовъ хоть завтра.

— Прекрасно, прекрасно. Вы человѣкъ весьма нетерпѣливый, Павелъ Аѳанасьевичъ.

— Какъ это-съ?

— Слушайте, прибавилъ Василій Ивановичъ, вставая:— я все знаю; вы меня понимаете, и я вамъ приказываю безъ отлагательства завтра же жениться на Ольгѣ.

— Позвольте, позвольте, однако-жъ, возразилъ Рогачевъ, не поднимаясь съ мѣста:—вы мнѣ приказываете? я самъ искалъ руки Ольги Ивановны, и мнѣ нечего приказывать.... признаюсь, Василій Ивановичъ, я васъ что-то не понимаю.

— Не понимаешь?

— Нѣтъ, право, не понимаю-съ.

— Даешь ты мнѣ слово жениться на ней завтра же?

— Да помилуйте, Василій Ивановичъ.... не сами ли

вы неоднократно откладывали нашу свадьбу? Безъ васъ она бы уже давно состоялась. И теперь я и не думаю отказываться. Чтó же значатъ ваши угрозы, ваши настоятельныя требованія?

Павелъ Аѳанасьевичъ отеръ потъ съ лица.

— Даешь ли ты мнѣ слово? говори: да или нѣтъ? повторилъ съ разстановкой Василій.

— Извольте.... даю-съ, но....

— Хорошо. Помни же.... А она во всемъ призналась.

— Кто призналась?

— Ольга Ивановна.

— Да въ чемъ призналась?

— Да чтó вы передо мной-то притворяетесь, Павелъ Аѳанасьевичъ? Я вѣдь вамъ нечужой.

— Въ чемъ я притворяюсь? я васъ не понимаю, не понимаю, рѣшительно не понимаю. Въ чемъ могла Ольга Ивановна признаться?

— Въ чемъ? Вы мнѣ надоѣли! Извѣстно въ чемъ.

— Убей меня Богъ....

— Нѣтъ, я тебя убью — если ты на ней не женишься.... понимаешь?

— Какъ!.... Павелъ Аѳанасьевичъ вскочилъ и остановился передъ Васильемъ. — Ольга Ивановна.... вы говорите....

— Ловокъ, братецъ, ты, ловокъ, признаюсь;—Василій съ улыбкой потрепалъ его по плечу:—даромъ-что на видъ смиренъ....

— Боже мой, Боже!... Вы меня съ ума сводите.... Чтó вы хотите сказать, объяснитесь ради Бога!

Василій нагнулся къ нему и шепнулъ ему что-то на ухо.

Рогачевъ вскрикнулъ:—Какъ?... я?

Василій топнулъ ногой.

— Ольга Ивановна? Ольга?...

— Да.... ваша невѣста....

— Моя невѣста.... Василій Иванычъ.... она.... она.... Да я-жъ ея и знать не хочу, закричалъ Павелъ Аѳанасьевичъ.—Богъ съ ней совсѣмъ! за кого вы меня принимаете? Обмануть меня—меня обмануть.... Ольга Ивановна, не грѣшно вамъ, не совѣстно вамъ.... (Слезы брызнули у него изъ глазъ). — Спасибо вамъ, Василій Ивановичъ, спасибо.... А я ея и знать теперь не хочу! не хочу! не хочу! и не говорите.... Ахъ, мои батюшки—вотъ до чего я дожилъ! Хорошо же, хорошо!

— Полно вамъ ребячиться, замѣтилъ хладнокровно Василій Ивановичъ.—Помните, вы мнѣ дали слово: завтра свадьба.

— Нѣтъ, этому не бывать! Полноте, Василій Ивановичъ, опять-таки скажу вамъ — за кого вы меня принимаете? много чести: покорно благодаримъ-съ. Извините-съ.

— Какъ угодно! возразилъ Василій. — Доставайте шпагу.

— Какъ шпагу.... зачѣмъ шпагу?

— Зачѣмъ? А вотъ зачѣмъ.

Василій вынулъ свою французскую, тонкую, гибкую шпагу и слегка согнулъ ее объ полъ.

— Вы хотите ... со мной.... драться?....

— Именно.

— Но, Василій Ивановичъ, помилуйте, войдите въ мое положеніе. Какъ же я могу, посудите сами, послѣ того, что́ вы мнѣ сказали.... я честный человѣкъ, Василій Ивановичъ, я дворянинъ.

— Вы дворянинъ, вы честный человѣкъ, — такъ извольте же со мной драться.

— Василій Ивановичъ!

— Вы, кажется, робѣете, господинъ Рогачевъ?

— Я вовсе не робѣю, Василій Ивановичъ. Вы думали запугать меня, Василій Ивановичъ. Вотъ, дескать, я его пугну, онъ и струситъ, онъ на все тотчасъ и согласится.... Нѣтъ, Василій Ивановичъ, я такой же дворянинъ, какъ и вы, хотя воспитанія столичнаго не получилъ, дѣйствительно, и запугать вамъ меня не удастся, извините.

— Очень хорошо, возразилъ Василій: — гдѣ же ваша шпага?

— Ерошка! закричалъ Павелъ Аѳанасьевичъ.

Вошелъ человѣкъ.

— Достань мнѣ шпагу — тамъ — ты знаешь, на чердакѣ.... поскорѣй....

Ерошка вышелъ. Павелъ Аѳанасьевичъ вдругъ чрезвычайно поблѣднѣлъ, торопливо снялъ шлафрокъ, надѣлъ кафтанъ рыжаго цвѣта съ стразовыми большими пуговицами.... намоталъ на шею галстухъ.... Василій глядѣлъ на него и перебиралъ пальцами правой руки.

— Такъ чтожъ? драться намъ, Павелъ Аѳанасьевичъ?

— Драться, такъ драться, возразилъ Рогачевъ и торопливо застегнулъ камзолъ.

— Эй, Павелъ Аѳанасьевичъ, послушайся моего совѣта: женись.... что тебѣ.... А я, повѣрь мнѣ....

— Нѣтъ, Василій Ивановичъ, перебилъ его Рогачевъ.— Вы меня, я знаю, либо убьете, либо изувѣчите; но чести своей я терять не намѣренъ, умирать такъ умирать.

Ерошка вошелъ и трепетно подалъ Рогачеву старенькую шпажонку въ кожаныхъ истресканныхъ ножнахъ. Въ то время всѣ дворяне носили шпаги при пудрѣ; но степные помѣщики пудрились раза два въ годъ. Ерошка отошелъ къ дверямъ и заплакалъ. Павелъ Аѳанасьевичъ вытолкалъ его вонъ изъ комнаты.

*

— Однако, Василій Ивановичъ, замѣтилъ онъ съ нѣкоторымъ смущеніемъ: — я не могу сейчасъ съ вами драться: позвольте отложить нашу дуэль до завтра; батюшки нѣтъ дома: да и дѣла мои на всякій случай не худо привести въ порядокъ.

— Вы, я вижу, опять начинаете робѣть, милостивый государь.

— Нѣтъ, нѣтъ, Василій Ивановичъ; но посудите сами....

— Послушайте, закричалъ Лучиновъ:—вы меня выводите изъ терпѣнья.... Или дайте мнѣ слово тотчасъ жениться, или деритесь.... или я васъ прибью палкой, какъ труса, понимаете?

— Пойдемте въ садъ, отвѣчалъ сквозь зубы Рогачевъ.

Но вдругъ дверь растворилась и старая няня Ефимовна, вся растрепанная, ворвалась въ комнату, упала передъ Рогачевымъ на колѣни, схватила его за ноги....

— Ватюшка ты мой! завопила она:—дитятко ты мое.... что́ ты такое затѣялъ? не погуби насъ горемычныхъ, батюшка! Вѣдь онъ тебя убьетъ, голубчикъ ты мой! Да прикажи намъ только, прикажи, мы его озорника этакого шапками закидаемъ.... Павелъ Аѳанасьевичъ, дитятко ты мое, побойся Бога!

Въ дверяхъ показалось множество блѣдныхъ и встревоженныхъ лицъ.... показалась даже рыжая борода старосты....

— Пусти меня, Ефимовна, пусти! пробормоталъ Рогачевъ.

— Не пущу, родимый, не пущу. Что ты это, батюшка, что ты? Да что́ скажетъ Аѳанасій-то Лукичъ-то? Да онъ насъ всѣхъ съ бѣла свѣта сгонитъ.... А вы что стоите? Возьмите-ка незваннаго гостя подъ ручки, да и

выпроводите его вонъ изъ дому, чтобы духа его не было....

— Рогачевъ! грозно вскрикнулъ Василій Ивановичъ.

— Ты съ ума сошла, Ефимовна, ты меня позоришь, помилуй.... проговорилъ Павелъ Аѳанасьевичъ. — Ступай, ступай себѣ съ Богомъ, и вы пошли вонъ, слышите?...

Василій Ивановичъ быстро подошелъ къ растворенному окошку, досталъ небольшой серебряный свистокъ—слегка свиснулъ.... Бурсьѐ отозвался невдалекѣ. Лучиновъ тотчасъ обратился къ Павлу Аѳанасьевичу.

— Чѣмъ же эта комедія кончится?

— Василій Ивановичъ, я пріѣду къ вамъ завтра—что́ мнѣ дѣлать съ этой сумасшедшей бабой....

— Э! да я вижу, съ вами нечего долго толковать, сказалъ Василій и поднялъ быстро трость....

Павелъ Аѳанасьевичъ рванулся, оттолкнулъ Ефимовну, схватилъ шпагу и бросился черезъ другія двери въ садъ.

Василій ринулся вслѣдъ за нимъ. Они вбѣжали оба въ деревянную бесѣдку, хитро раскрашенную на китайскій манеръ, заперлись и обнажили шпаги. Рогачевъ когда-то бралъ уроки въ фехтованіи; но теперь едва съумѣлъ выпасть, какъ слѣдуетъ. Лезвія скрестились. Василій видимо игралъ шпагой Рогачева. Павелъ Аѳанасьевичъ задыхался, блѣднѣлъ и съ смятеньемъ глядѣлъ въ лицо Лучинову. Между тѣмъ, въ саду раздавались крики; толпа народа бѣжала къ бесѣдкѣ. Вдругъ Рогачеву послышался раздирающій старческій вопль.... онъ узналъ голосъ отца. Аѳанасій Лукичъ безъ шапки, съ растрепанными волосами бѣжалъ впереди всѣхъ, отчаянно махая руками....

Сильнымъ и неожиданнымъ поворотомъ клинка вышибъ Василій шпагу изъ руки Павла Аѳанасьевича.

— Женись, братъ, сказалъ онъ ему:—полно тебѣ дурачиться.

— Не женюсь, прошепталъ Рогачевъ, закрылъ глаза и весь затрясся.

Аѳанасій Лукичъ началъ ломиться въ дверь бесѣдки.

— Не хочешь? закричалъ Василій.

Рогачевъ покачалъ отрицательно головой.

— Ну, такъ чортъ же съ тобой!

Бѣдный Павелъ Аѳанасьевичъ упалъ мертвый: шпага Лучинова воткнулась ему въ сердце.... Дверь затрещала, старикъ Рогачевъ ворвался въ бесѣдку, но Василій уже успѣлъ выскочить въ окно....

Два часа спустя, вошелъ онъ въ комнату Ольги Ивановны.... Она съ ужасомъ бросилась къ нему на встрѣчу.... Онъ молча поклонился ей, вынулъ шпагу и прокололъ, на мѣстѣ сердца, портретъ Павла Аѳанасьевича. Ольга вскрикнула и въ безпамятствѣ упала на полъ.... Василій отправился къ Аннѣ Павловнѣ. Онъ засталъ ее въ образной. — «Матушка», проговорилъ онъ: «мы отомщены».—Бѣдная старуха вздрогнула и продолжала молиться.

Черезъ недѣлю, Василій уѣхалъ въ Петербургъ—и черезъ два года вернулся въ деревню, разбитый параличемъ, безъ языка. Онъ уже не засталъ въ живыхъ ни Анны Павловны, ни Ольги—и умеръ скоро самъ на рукахъ у Юдича, который кормилъ его какъ ребенка и одинъ умѣлъ понимать его несвязный лепетъ.

1846 г.

ЖИДЪ.

....Разскажите-ка вы намъ что-нибудь, полковникъ, сказали мы, наконецъ, Николаю Ильичу.

Полковникъ улыбнулся, пропустилъ струю табачнаго дыма сквозь усы, провелъ рукою по сѣдымъ волосамъ, посмотрѣлъ на насъ и задумался. Мы всѣ чрезвычайно любили и уважали Николая Ильича за его доброту, здравый смыслъ и снисходительность къ нашей братьѣ молодежи. Онъ былъ высокаго роста, плечистъ и дороденъ; его смуглое лицо, «одно изъ славныхъ русскихъ лицъ» *), прямодушный, умный взглядъ, кроткая улыбка, мужественный и звучный голосъ — все въ немъ нравилось и привлекало.

— Ну, слушайте-жъ, началъ онъ. — Дѣло было въ 13-мъ году, подъ Данцигомъ. Я служилъ тогда въ Е—мъ кирасирскомъ полку и, помнится, только-что былъ произведенъ въ корнеты. Веселое занятіе—сраженья, и походы—хорошая вещь, но въ осадномъ корпусѣ очень скучно было. Сидишь себѣ бывало цѣлый Божій день въ какомъ нибудь ложементѣ, подъ палаткой, на грязи или соломѣ, да играешь въ карты съ утра до вечера. Развѣ отъ скуки пойдешь посмотрѣть, какъ летаютъ бомбы или каленыя ядра. Сначала французы насъ тѣшили вылазками,

*) Лермонтовъ въ «Казначейшѣ».

да скоро притихли. Ѣздить на фуражировку тоже надоѣло; словомъ, тоска напала на насъ такая, что хоть вой. Мнѣ всего тогда пошелъ девятнадцатый годъ; малый былъ я здоровый, кровь съ молокомъ, думалъ потѣшиться и на счетъ француза и на счетъ того.... ну, понимаете.... а вышло-то вотъ что́. Отъ не́чего дѣлать пустился я играть. Какъ-то разъ послѣ страшнаго проигрыша мнѣ повезло, и къ утру (мы играли ночью) я былъ въ сильномъ выигрышѣ. Измученный, сонный, вышелъ я на свѣжій воздухъ и присѣлъ на гласисъ. Утро было прекрасное, тихое; длинныя линіи нашихъ укрѣпленій терялись въ туманѣ; я заглядѣлся, а потомъ и задремалъ, сидя. Осторожный кашель разбудилъ меня; я открылъ глаза и увидѣлъ передъ собою жида лѣтъ сорока, въ долгополомъ сѣромъ кафтанѣ, башмакахъ и черной ермолкѣ. Этотъ жидъ, по прозвищу Гиршель, то-и-дѣло таскался въ нашъ лагерь, напрашивался въ факторы, доставалъ намъ вина, съѣстныхъ припасовъ и прочихъ бездѣлокъ; росту былъ онъ небольшого, худенькій, рябой, рыжій,—безпрестанно моргалъ крошечными, тоже рыжими глазками, носъ имѣлъ кривой и длинный, и все покашливалъ.

Онъ началъ вертѣться передо мной и униженно кланяться.

— Ну, что́ тебѣ надобно? спросилъ я его наконецъ.

— А такъ-съ, пришелъ узнать-съ, что не могу ли ихъ благородію чѣмъ нибудь-съ....

— Ненуженъ ты мнѣ; ступай.

— Какъ прикажете-съ, какъ угодно-съ.... Я думалъ, что, можетъ быть-съ, чѣмъ нибудь-съ....

— Ты мнѣ надоѣлъ; ступай, говорятъ тебѣ.

— Извольте, извольте-съ. А позвольте ихъ благородіе поздравить съ выигрышемъ....

— А ты почему знаешь?

— Ужъ какъ мнѣ не знать-съ.... Большой выигрышъ.... большой.... У! какой большой....

Гиршель растопырилъ пальцы и покачалъ головой.

— Да чтó толку, сказалъ я съ досадой: — на какой дьяволъ здѣсь и деньги?

— О! не говорите, ваше благородіе; ай, ай, не говорите такое. Деньги — хорошая вещь; всегда нужны, все можно за деньги достать, ваше благородіе, все! все! Прикажите только фактору, онъ вамъ все достанетъ, ваше благородіе, все! все!

— Полно врать, жидъ.

— Ай! ай! повторилъ Гиршель, встряхивая пейсиками.—Ихъ благородіе мнѣ не вѣритъ.... ай.... ай.... ай.... Жидъ закрылъ глаза и медленно покачалъ головою направо и налѣво....—А я знаю, чтó г-ну офицеру угодно... знаю... ужъ я знаю!

Жидъ принялъ весьма плутовскій видъ....

— Въ самомъ дѣлѣ?

Жидъ взглянулъ боязливо, потомъ нагнулся ко мнѣ.

— Такая красавица, ваше благородіе, такая!... Гиршель опять закрылъ глаза и вытянулъ губы.—Ваше благородіе, прикажите.... увидите сами.... чтó теперь я буду говорить, вы будете слушать.... вы не будете вѣрить.... а лучше прикажите показать.... вотъ какъ, вотъ что!

Я молчалъ и глядѣлъ на жида.

— Ну, такъ хорошо; ну, вотъ хорошо; ну, вотъ я вамъ покажу.... Тутъ Гиршель засмѣялся и слегка потрепалъ меня по плечу, но тотчасъ же отскочилъ, какъ обожженный.

— А что-жъ, ваше благородіе, задаточекъ?

— Да ты обманешь меня, или покажешь мнѣ какое-нибудь чучело.

— Ай, вай, что́ вы такое говорите? проговорилъ жидъ съ необыкновеннымъ жаромъ и размахивая руками.—Какъ можно? Да вы....ваше благородіе, прикажите тогда мнѣ дать пять сотъ.... четыреста пятьдесятъ палокъ, прибавилъ онъ поспѣшно....—Да вы прикажите....

Въ это время одинъ изъ моихъ товарищей приподнялъ край палатки и назвалъ меня по имени. Я поспѣшно всталъ и бросилъ жиду червонецъ.

— Вецеромъ, вецеромъ, пробормоталъ онъ мнѣ вслѣдъ.

Признаюсь вамъ, господа, я дожидался вечера съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ. Въ этотъ самый день французы сдѣлали вылазку; нашъ полкъ ходилъ въ аттаку. Наступилъ вечеръ: мы всѣ усѣлись вокругъ огней.... солдаты заварили кашу.—Пошли толки. Я лежалъ на буркѣ, пилъ чай и слушалъ разсказы товарищей. Мнѣ предложили играть въ карты, — я отказался. Я былъ въ волненіи. Понемногу офицеры разошлись по палаткамъ; огни стали гаснуть; солдаты также разбрелись, или заснули тутъ же; все затихло. Я не вставалъ. Денщикъ мой сидѣлъ на корточкахъ передъ огнемъ и, какъ говорится, «удилъ рыбу».—Я прогналъ его. Скоро весь лагерь утихъ. Прошла рунда. Смѣнили часовыхъ. Я все лежалъ и ждалъ чего-то. Звѣзды выступили. Настала ночь. Долго глядѣлъ я на замиравшее пламя.... послѣдній огонекъ потухъ наконецъ. «Обманулъ меня проклятый жидъ», подумалъ я съ досадой и хотѣлъ-было приподняться....

— Ваше благородіе.... пролепеталъ надъ самымъ моимъ ухомъ трепетный голосъ.

Я оглянулся: Гиршель. Онъ былъ очень блѣденъ, заикался и пришепётывалъ.

— Пожалуйте-съ въ вашу палатку-съ.

Я всталъ и пошелъ за нимъ. Жидъ весь съежился и осторожно выступалъ по короткой, сырой травѣ. Я замѣ-

тилъ въ сторонѣ неподвижную, закутанную фигуру. Жидъ махнулъ ей рукой — она подошла къ нему. Онъ съ ней пошептался, обратился ко мнѣ, нѣсколько разъ кивнулъ головой, и мы всѣ трое вошли въ палатку. Смѣшно сказать: я задыхался.

— Вотъ ваше благородіе, прошепталъ съ усиліемъ жидъ: вотъ. Она немножко боится теперь, она боится; но я ей сказалъ, что г. офицеръ хорошій человѣкъ, прекрасный.... А ты не бойся, не бойся, продолжалъ онъ: — не бойся....

Закутанная фигура не шевелилась. Я самъ былъ въ страшномъ смущеніи и не зналъ, что́ сказать. Гиршель тоже сѣменилъ на мѣстѣ, какъ-то странно разводилъ руками....

— Однако, сказалъ, я ему: — выдь-ка ты вонъ....

Гиршель какъ-будто нехотя повиновался.

Я подошелъ къ закутанной фигурѣ и тихо снялъ съ ея головы темный капюшонъ. Въ Данцигѣ горѣло: при красноватомъ, порывистомъ и слабомъ отблескѣ далекого пожара увидѣлъ я блѣдное лицо молодой жидовки. Ея красота меня поразила. Я стоялъ передъ ней и смотрѣлъ на нее молча. Она не поднимала глазъ. Легкій шорохъ заставилъ меня оглянуться. Гиршель осторожно высовывалъ голову изъ-подъ края палатки. Я съ досадой махнулъ ему рукой.... онъ скрылся.

— Какъ тебя зовутъ? промолвилъ я наконецъ.

— Сара, отвѣчала она, и въ одно мгновенье сверкнули во мракѣ бѣлки ея большихъ и длинныхъ глазъ и маленькіе, ровные, блестящіе зубки.

Я схватилъ двѣ кожаныя подушки, бросилъ ихъ на землю и попросилъ ее сѣсть. Она скинула свой плащъ и сѣла. На ней былъ короткій, спереди раскрытый казакинъ съ серебряными круглыми рѣзными пуговицами и широ-

кими рукавами. Густая черная коса два раза обвивала ея небольшую головку; я сѣлъ подлѣ нее и взялъ ея смуглую, тонкую руку. Она немного противилась, но какъ-будто боялась глядѣть на меня и неровно дышала. Я любовался ея восточнымъ профилемъ—и робко пожималъ ея дрожащіе, холодные пальцы.

— Ты умѣешь по-русски?

— Умѣю.... немного.

— И любишь русскихъ?

— Да, люблю.

— Стало-быть, ты меня тоже любишь?

— И васъ люблю.

Я хотѣлъ-было обнять ее, но она проворно отодвинулась....

— Нѣтъ, нѣтъ пожалуйста, господинъ, пожалуйста.

— Ну такъ посмотри на меня по крайней мѣрѣ.

Она остановила на мнѣ свои черные, пронзительные глаза и тотчасъ же съ улыбкой отвернулась и покраснѣла.

Я съ жаромъ поцѣловалъ ея руку. Она посмотрѣла на меня изъ-подлобья и тихонько засмѣялась.

— Чему ты?

Она закрыла лицо рукавомъ и засмѣялась пуще прежняго.

Гиршель появился у входа палатки и погрозилъ ей. Она замолчала.

— Пошелъ вонъ! прошепталъ я ему сквозь зубы:—ты мнѣ надоѣлъ.

Гиршель не выходилъ.

Я досталъ изъ чемодана горсть червонцевъ, сунулъ ихъ ему въ руку и вытолкалъ его вонъ.

— Господинъ, дай и мнѣ.... проговорила она.

— Я ей кинулъ нѣсколько червонцевъ на колѣни; она подхватила ихъ проворно, какъ кошка.

— Ну, теперь я тебя поцѣлую.

— Нѣтъ, пожалуйста, пожалуйста, пролепетала она испуганнымъ и умоляющимъ голосомъ.

— Чего-жъ ты боишься?

— Боюсь.

— Да полно....

— Нѣтъ, пожалуйста.

Она робко посмотрѣла на меня, нагнула голову немножко на бокъ и сложила руки. Я оставилъ ее въ покоѣ.

— Если хочешь.... вотъ, сказала она, послѣ нѣкотораго молчанья, и поднесла свою руку къ моимъ губамъ.

Я не совсѣмъ охотно поцѣловалъ ее. Сара опять разсмѣялась.

Кровь меня душила. Я досадовалъ на себя и не зналъ что̀ дѣлать. Однако, подумалъ я, наконецъ, что̀ я за дуракъ!

Я опять оборотился къ ней.

— Сара, послушай, я влюбленъ въ тебя.

— Я знаю.

— Знаешь? И не сердишься? И сама меня любишь?

Сара покачала головой.

— Нѣтъ, отвѣчай мнѣ, какъ слѣдуетъ.

— А покажите-ка себя, сказала она.

Я нагнулся къ ней. Сара положила руки ко мнѣ на плечи, начала разглядывать мое лицо, хмурилась, улыбалась.... Я не выдержалъ и проворно поцѣловалъ ее въ щеку. Она вскочила и въ одинъ прыжокъ очутилась у входа палатки.

— Ну, какая же ты дикарка!

Она молчала и не трогалась съ мѣста.

— Подойди же ко мнѣ....

— Нѣтъ, господинъ, прощайте. До другого разу.

Гиршель опять выставилъ свою курчавую головку, сказалъ ей два слова; она нагнулась и ускользнула, какъ змѣя.

Я выбѣжалъ изъ палатки вслѣдъ за нею, но не увидѣлъ ни ея, ни Гиршеля.

Цѣлую ночь я не могъ заснуть.

На другое утро мы сидѣли въ палаткѣ нашего ротмистра; я игралъ, но безъ охоты. Вошелъ мой денщикъ.

— Спрашиваютъ васъ, ваше благородіе.

— Кто меня спрашиваетъ?

— Жидъ спрашиваетъ.

«Неужели Гиршель!» подумалъ я. — Я дождался конца таліи, всталъ и вышелъ. Дѣйствительно: я увидѣлъ Гиршеля.

— Чтó, спросилъ онъ меня съ пріятной улыбкой: — ваше благородіе, довольны вы?

— Ахъ ты!... (тутъ полковникъ оглянулся).... кажется; нѣтъ дамъ.... впрочемъ, все равно. Ахъ ты, мой любезный, отвѣчалъ я ему, да ты смѣешься надо мной что ли?

— А что-съ?

— Какъ что-съ? Еще ты спрашиваешь!

— Ай, ай, господинъ офицеръ, какой же вы, проговорилъ Гиршель съ укоризной, но не переставая улыбаться. — Дѣвица молодая, скромная.... Вы ее испугали, право, испугали.

— Хороша скромность! а деньги-то она зачѣмъ взяла?

— А какъ же-съ? Деньги даютъ-съ, такъ какъ же не брать-съ?

— Послушай, Гиршель, пусть она придетъ опять, я тебя не обижу.... только ты, пожалуйста, своей глупой

рожи не показывай у меня въ палаткѣ и оставь насъ въ покоѣ; слышишь?

У Гиршеля засверкали глазки.

— А что? нравится вамъ?

— Ну, да.

— Красавица! такой нѣтъ красавицы нигдѣ. А денегъ мнѣ теперь пожалуете?

— Возьми, только слушай: уговоръ лучше денегъ. Приведи ее да убирайся къ чорту. Я ее самъ провожу домой.

— А нельзя, нельзя, никакъ нельзя-съ, торопливо возразилъ жидъ. — Ай, ай, никакъ нельзя-съ. Я пожалуй буду ходить около палатки, ваше благородіе; я, я, ваше благородіе, отойду пожалуй немножко.... я ваше благородіе, готовъ вамъ служить, я пожалуй отойду.... чтожъ? я отойду.

— Ну, смотри же.... Да приведи ее, слышишь?

— А вѣдь красавица? господинъ офицеръ, а? ваше благородіе? красавица? а?

Гиршель нагибался и заглядывалъ мнѣ въ глаза.

— Хороша.

— Ну, такъ дайте же мнѣ еще червончикъ....

Я бросилъ ему червонецъ; мы разошлись.

День минулъ наконецъ. Настала ночь. Я долго сидѣлъ одинъ въ своей палаткѣ. На дворѣ было неясно. Въ городѣ пробило два часа. Я начиналъ уже ругать жида.... вдругъ вошла Сара, одна. Я вскочилъ, обнялъ ее.... прикоснулся губами до ея лица.... Оно было холодно, какъ ледъ. Я едва могъ различить ея черты.... Я усадилъ ее, сталъ передъ ней на колѣни, бралъ ея руки, касался ея стана.... Она молчала, не шевелилась и вдругъ громко, судорожно зарыдала. Я напрасно старался успокоить, уговорить ее.... Она плакала навзрыдъ.... Я ласкалъ ее,

утиралъ ея слезы; она по-прежнему не противилась, не отвѣчала на мои распросы и плакала, — плакала въ три ручья. Сердце во мнѣ перевернулось; я всталъ и вышелъ изъ палатки.

Гиршель точно изъ земли предъ мною вынырнулъ.

— Гиршель, сказалъ я ему: — вотъ тебѣ обѣщанныя деньги. Уведи Сару.

Жидъ тотчасъ бросился къ ней. Она перестала плакать и ухватилась за него.

— Прощай, Сара, сказалъ я ей.—Богъ съ тобой, прощай. Когда-нибудь увидимся, въ другое время.

Гиршель молчалъ и кланялся. Сара нагнулась, взяла мою руку, прижала ее къ губамъ, я отвернулся....

Дней пять или шесть, господа, я все думалъ о моей жидовкѣ. Гиршель не являлся, и никто не видалъ его въ лагерѣ. По ночамъ спалъ я довольно плохо: мнѣ все мерещились черные, влажные глаза, длинныя рѣсницы; мои губы не могли забыть прикосновенья щеки, гладкой и свѣжей, какъ кожица сливы. Послали меня со взводомъ на фуражировку въ отдаленную деревеньку. Пока мои солдаты шарили по домамъ, я остался на улицѣ и не слѣзалъ съ коня. Вдругъ кто-то схватилъ меня за ногу....

— Боже мой, Сара!

Она была блѣдна и взволнована.

— Господинъ офицеръ, господинъ.... помогите, спасите: солдаты насъ обижаютъ.... Господинъ офицеръ....

Она узнала меня и вспыхнула.

— А развѣ ты здѣсь живешь?

— Здѣсь.

— Гдѣ?

Сара указала мнѣ на маленькій, старенькій домикъ. Я далъ лошади шпоры и поскакалъ. На дворѣ домика

безобразная, растрепанная жидовка старалась вырвать изъ рукъ моего длинного вахмистра Силявки три курицы и утку. Онъ поднималъ свою добычу выше головы и смѣялся; курицы кудахтали, утка крякала.... Другіе два кирасира вьючили лошадей своихъ сѣномъ, соломой, мучными кулями. Въ самомъ домѣ слышались малороссійскія восклицанія и ругательства.... Я крикнулъ на своихъ и приказалъ имъ оставить жидовъ въ покоѣ, ничего не брать у нихъ. Солдаты повиновались; вахмистръ сѣлъ на свою гнѣдую кобылу, Прозерпину, или, какъ онъ называлъ, ее, «Прожерпылу» и выѣхалъ за мной на улицу.

— Ну, что́ сказалъ я Сарѣ:—довольна ты мной?

Она съ улыбкой посмотрѣла на меня.

— Гдѣ ты пропадала все это время?

Она опустила глаза.

— Я къ вамъ завтра приду.

— Вечеромъ?

— Нѣтъ, господинъ, утромъ.

— Смотри же, не обмани меня.

— Нѣтъ.... нѣтъ, не обману.

Я жадно глядѣлъ на нее. Днемъ она показалась мнѣ еще прекраснѣе. Я помню, меня въ особенности поразили янтарный, матовый цвѣтъ ея лица и синеватый отливъ ея черныхъ волосъ.... Я нагнулся съ лошади и крѣпко стиснулъ ея маленькую руку.

— Прощай, Сара.... смотри, приходи же.

— Приду.

Она пошла домой; я приказалъ вахмистру догнать меня съ командой — и поскакалъ.

На другой день я всталъ очень рано, одѣлся и вышелъ изъ палатки. Утро было чудесное; солнце только-что подымалось, и на каждой былинкѣ сверкалъ влажный багрянецъ. Я взошелъ на высокій брустверъ и сѣлъ на

краю амбразуры. Подо мной, толстая чугунная пушка выставила въ поле свое черное жерло. Я разсѣянно смотрѣлъ во всѣ стороны.... и вдругъ увидалъ, шагахъ во ста, скорченную фигуру въ сѣромъ кафтанѣ. Я узналъ Гиршеля. Онъ долго стоялъ неподвижно на одномъ мѣстѣ, потомъ вдругъ отбѣжалъ немного въ сторону, торопливо и боязливо оглянулся.... крикнулъ, присѣлъ, осторожно вытянулъ шею и опять началъ оглядываться и прислушиваться. Я очень ясно видѣлъ всѣ его движенья. Онъ запустилъ руку за пазуху, досталъ клочекъ бумажки, карандашъ и началъ писать или чертить что-то. Гиршель безпрестанно останавливался, вздрагивалъ, какъ заяцъ, внимательно разсматривалъ окрестность и какъ-будто срисовывалъ нашъ лагерь. Онъ не разъ пряталъ свою бумажку, щурилъ глаза, нюхалъ воздухъ и снова принимался за работу. Наконецъ, жидъ присѣлъ на траву, спялъ башмакъ, запихалъ туда бумажку; но не успѣлъ онъ еще выпрямиться, какъ вдругъ шагахъ въ десяти отъ него, изъ-за ската гласиса показалась усастая голова вахмистра Силявки и понемногу приподнялось отъ земли все длинное и неуклюжее его тѣло. Жидъ стоялъ къ нему спиной. Силявка проворно подошелъ къ нему и положилъ ему на плечо свою тяжелую лапу. Гиршеля скорчило. Онъ затрясся, какъ листъ, и испустилъ болѣзненный, заячій крикъ. Силявка грозно заговорилъ съ нимъ и схватилъ его зá воротъ. Я не могъ слышать ихъ разговора, но, по отчаяннымъ тѣлодвиженіямъ жида, по его умоляющему виду, началъ догадываться въ чемъ дѣло. Жидъ раза два бросался къ ногамъ вахмистра, запустилъ руку въ карманъ, вытащилъ разорванный клѣтчатый платокъ, развязалъ узелъ, досталъ червонецъ.... Силявка съ важностью принялъ подарокъ, но не переставалъ тащить жида за воротъ. Гиршель рванулся и бросился въ сторону: вах-

мистръ пустился за нимъ въ погоню. Жидъ бѣжалъ чрезвычайно проворно; его ноги, обутыя въ синіе чулки, мелькали дѣйствительно весьма быстро; но Силявка послѣ двухъ или трехъ «угонокъ» поймалъ присѣвшаго жида, поднялъ и понесъ его на рукахъ — прямо въ лагерь. Я всталъ и пошелъ къ нему на встрѣчу.

— А! ваше благородіе, закричалъ Силявка:—лазутчика несу вамъ, лазутчика!... Потъ градомъ катился съ дюжаго малоросса. — Да перестань же вертѣться, чортовъ жидъ! да ну же.... экой ты! не то придавлю, смотри!

Несчастный Гиршель слабо упирался локтями въ грудь Силявки, слабо болталъ ногами.... Глаза его судорожно закатывались....

— Что такое? спросилъ я Силявку.

— А вотъ что́, ваше благородіе; извольте-ка снять съ его правой ноги башмакъ,—мнѣ неловко. Онъ все еще держалъ жида на рукахъ.

Я снялъ башмакъ, досталъ тщательно сложенную бумажку, развернулъ ее и увидѣлъ подробный рисунокъ нашего лагеря. На поляхъ стояло множество замѣтокъ, писанныхъ мелкимъ почеркомъ на жидовскомъ языкѣ.

Между тѣмъ, Силявка поставилъ Гиршеля на ноги. Жидъ раскрылъ глаза, увидѣлъ меня и бросился передо мной на колѣни.

Я, молча, показалъ ему бумажку.

— Это что́?

— Это—такъ, господинъ офицеръ. Это я такъ. Такъ.... Голосъ его перервался.

— Ты лазутчикъ?

Онъ не понималъ меня, бормоталъ несвязныя слова, трепетно прикасался моихъ колѣнъ....

— Ты шпіонъ?

— Ай! крикнулъ онъ слабо и потрясъ головой.—Какъ

можно? Я—никогда; я совсѣмъ нѣтъ. Не можно; не есть возможно. Я готовъ. Я — сейчасъ. Я дамъ денегъ.... я заплачу, прошепталъ онъ и закрылъ глаза.

Ермолка сдвинулась у него на затылокъ; рыжіе, мокрые отъ холоднаго поту волосы повисли клочьями, губы посинѣли и судорожно кривились, брови болѣзненно сжались, щёки ввалились....

Солдаты насъ обступили. Я сперва хотѣлъ-было пугнуть порядкомъ Гиршеля да приказать Силявкѣ молчать, но теперь дѣло стало гласно и не могло миновать «свѣдѣнія начальства».

— Веди его къ генералу, сказалъ я вахмистру.

— Господинъ офицеръ, ваше благородіе! закричалъ отчаяннымъ голосомъ жидъ: — я не виноватъ; не виноватъ.... Прикажите выпустить меня, прикажите....

— А вотъ его превосходительство разберетъ, проговорилъ Силявка.—Пойдемъ.

— Ваше благородіе! закричалъ мнѣ жидъ вслѣдъ;— прикажите! помилуйте!

Крикъ его терзалъ меня. Я удвоилъ шаги.

Генералъ нашъ былъ человѣкъ нѣмецкаго происхожденія, честный и добрый, но строгій исполнитель правилъ службы. Я вошелъ въ небольшой, наскоро выстроенный его домикъ и въ немногихъ словахъ объяснилъ ему причину моего посѣщенія. Я зналъ всю строгость военныхъ постановленій, и потому не произнесъ даже слова «лазутчикъ», а постарался представить все дѣло ничтожнымъ и не стоющимъ вниманія. Но къ несчастію Гиршеля, генералъ исполненіе долга ставилъ выше состраданія.

— Вы, молодой человѣкъ, сказалъ онъ мнѣ:—суть неопытный. Вы въ воинскомъ дѣлѣ еще неопытны суть. Дѣло, о кóтóромъ (генералъ весьма любилъ слово: кóтóрый) вы мнѣ рапортовали, есть важное, весьма важное....

А гдѣ же этотъ человѣкъ, который взятъ былъ? тотъ еврей? гдѣ же тотъ?

Я вышелъ изъ палатки и приказалъ ввести жида.

Ввели жида. Несчастный едва стоялъ на ногахъ.

— Да, промолвилъ генералъ, обратясь ко мнѣ: — а гдѣ же планъ, который найденъ на семъ человѣкѣ?

Я вручилъ ему бумажку. Генералъ развернулъ ее, отодвинулся назадъ, прищурилъ глаза, нахмурилъ брови.

— Это уд-див-вит-тельно.... проговорилъ онъ съ разстановкой.—Кто его арестовалъ?

— Я, ваше превосходительство! рѣзко брякнулъ Силявка.

— А! хорошо! хорошо!... Ну, любезный мой, что̀ ты скажешь въ свое оправданье?

— Ва.... ва.... ваше превосходительство, пролепеталъ Гиршель:—я.... помилуйте.... ваше превосходительство.... не виноватъ.... спросите, ваше превосходительство, господина офицера.... Я факторъ, ваше превосходительство, честный факторъ.

— Его слѣдуетъ допросить, проговорилъ генералъ вполголоса, важно качнувъ головой. — Ну, какъ же ты это, братецъ?

— Не виноватъ, ваше превосходительство, не виноватъ.

— Однако же, это есть невѣроятно. Ты, какъ по-русски говорится, по-дѣломъ взятъ, то-есть, на самихъ дѣлахъ!

— Позвольте сказать, ваше превосходительство: я не виноватъ.

— Ты рисовалъ планъ? ты есть шпіонъ непріятельскій?

— Не я! крикнулъ внезапно Гиршель: — не я, ваше превосходительство.

Генералъ посмотрѣлъ на Силявку.

— Да вретъ же онъ, ваше превосходительство. Господинъ офицеръ самъ изъ его башмака грамоту досталъ.

Генералъ посмотрѣлъ на меня. Я принужденъ былъ кивнуть головой.

— Ты, любезный мой, есть непріятельскій лазутчикъ.... любезный мой....

— Не я.... не я.... шепталъ растерявшійся жидъ.

— Ты уже доставлялъ сему подобныя свѣдѣнія и прежде непріятелю? Признавайся....

— Какъ можно!

— Ты, любезный мой, меня не будешь обманывать. Ты лазутчикъ?

Жидъ закрылъ глаза, тряхнулъ головой и поднялъ полы своего кафтана.

— Повѣсить его, проговорилъ выразительно генералъ, послѣ нѣкотораго молчанія: — сообразно законовъ. Гдѣ господинъ Ѳеодоръ Шликельманъ?

Побѣжали за Шликельманомъ, генеральскимъ адъютантомъ. Гиршель позеленѣлъ, раскрылъ ротъ, выпучилъ глаза. Явился адъютантъ. Генералъ отдалъ ему надлежащія приказанія. Писарь показалъ на мигъ свое тощее, рябое лицо. Два, три офицера съ любопытствомъ заглянули въ комнату.

— Сжальтесь, ваше превосходительство, сказалъ я генералу по-нѣмецки, какъ умѣлъ—отпустите его....

— Вы, молодой человѣкъ, отвѣчалъ онъ мнѣ по русски: — я вамъ сказывалъ, неопытны, и посему прошу васъ молчать и меня болѣе не утруждать.

Гиршель съ крикомъ повалился въ ноги къ генералу.

— Ваше превосходительство, помилуйте, не буду впередъ, не буду, ваше превосходительство, жена у меня есть.... ваше превосходительство, дочь есть.... помилуйте....

— Чтó сдѣлать!

— Винóватъ, ваше превосходительство, точно *естемъ* винóватъ.... въ первый разъ, ваше превосходительство, въ первый разъ, повѣрьте!

— Другихъ бумагъ не доставлялъ?

— Въ первый разъ, ваше превосходительство.... жена... дѣти.... помилуйте....

— Но ты есть шпіонъ.

— Жена.... ваше превосходительство.... дѣти....

Генерала покоробило, но дѣлать было нечего.

— Сообразно законовъ повѣсить еврея, проговорилъ онъ протяжно и съ видомъ человѣка, принужденнаго, скрѣпя сердце, принести свои лучшія чувства въ жертву неумолимому долгу: — повѣсить! Ѳедоръ Карлычъ, прошу васъ о семъ происшествіи написать рапортъ, который....

Въ Гиршелѣ вдругъ произошла страшная перемѣна. Вмѣсто обыкновеннаго, жидовской натурѣ свойственнаго, тревожнаго испуга, на лицѣ его изобразилась страшная, предсмертная тоска. Онъ заметался, какъ пойманный звѣрокъ, разинулъ ротъ, глухо захрипѣлъ, даже запрыгалъ на мѣстѣ, судорожно размахивая локтями. Онъ былъ въ одномъ башмакѣ; другой позабыли надѣть ему на ногу.... кафтанъ его распахнулся.... ермолка свалилась....

Всѣ мы вздрогнули; генералъ замолчалъ.

— Ваше превосходительство, началъ я опять: — простите этого несчастнаго.

— Нельзя. Законъ повелѣваетъ, возразилъ генералъ отрывисто и не безъ волненья: — другимъ въ примѣръ.

— Ради Бога....

— Г-нъ корнетъ, извольте отправиться на свой постъ,

сказалъ генералъ и повелительно указалъ мнѣ рукою на дверь.

Я поклонился и вышелъ. Но такъ какъ у меня собственно пóста не было нигдѣ, то я и остановился въ недалекомъ разстояніи отъ генеральскаго домика.

Минуты черезъ двѣ явился Гиршель въ сопровожденіи Силявки и трехъ солдатъ. Бѣдный жидъ былъ въ оцѣпенѣніи и едва переступалъ ногами. Силявка прошелъ мимо меня въ лагерь и скоро вернулся съ веревкой въ рукахъ. На грубомъ, но не зломъ его лицѣ изображалось странное, ожесточенное состраданіе. При видѣ веревки, жидъ замахалъ руками, присѣлъ и зарыдалъ. Солдаты молча стояли около него и угрюмо смотрѣли въ землю. Я приблизился къ Гиршелю, заговорилъ съ нимъ; онъ рыдалъ, какъ ребенокъ, и даже не посмотрѣлъ на меня. Я махнулъ рукой, ушелъ къ себѣ, бросился на коверъ — и закрылъ глаза....

Вдругъ кто-то торопливо и шумно вбѣжалъ въ мою палатку. Я поднялъ голову — и увидѣлъ Сару; на ней лица не было. Она бросилась ко мнѣ и схватила меня за руки.

— Пойдемъ, пойдемъ, пойдемъ, твердила она задыхающимся голосомъ.

— Куда? зачѣмъ? останемся здѣсь.

— Къ отцу, къ отцу, скорѣе.... спаси его.... спаси!

— Къ какому отцу?...

— Къ моему отцу; его хотятъ вѣшать....

— Какъ! развѣ Гиршель....

— Мой отецъ.... я тебѣ все растолкую потомъ, при[illegible] она, отчаянно ломая руки: — только пойдемъ.... [illegible]....

[illegible] выбѣжали вонъ изъ палатки. Въ полѣ, на дорогѣ

къ одинокой березѣ виднѣлась группа солдатъ.... Сара молча указала на нее пальцемъ....

— Стой, сказалъ я вдругъ: — куда же мы бѣжимъ? Солдаты меня не послушаются.

Сара продолжала тащить меня за собой.... Признаюсь, у меня голова закружилась.

— Да послушай, Сара, сказалъ я ей: — что́ толку туда бѣжать? Лучше я пойду опять къ генералу; пойдемъ вмѣстѣ; авось мы упросимъ его.

Сара вдругъ остановилась и какъ безумная посмотрѣла на меня.

— Пойми меня, Сара, ради Бога. Я твоего отца помиловать не могу, а генералъ можетъ. Пойдемъ къ нему.

— Да его пока повѣсятъ, простонала она....

Я оглянулся. Писарь стоялъ невдалекѣ.

— Ивановъ, кликнулъ я ему: — сбѣгай пожалуйста туда къ нимъ: прикажи имъ подождать, скажи, что я пошелъ просить генерала.

— Слушаю-съ.

Ивановъ побѣжалъ.

Насъ къ генералу не пустили. Напрасно я просилъ, убѣждалъ, наконецъ даже бранился.... напрасно бѣдная Сара рвала волосы и бросалась на часовыхъ: насъ не пустили.

Сара дико посмотрѣла кругомъ, схватила обѣими руками себя за голову и побѣжала стремглавъ въ поле, къ отцу. Я за ней. На насъ глядѣли съ недоумѣніемъ....

Мы побѣжали къ солдатамъ. Они стали въ кружокъ и, представьте, господа! смѣялись, смѣялись надъ бѣднымъ Гиршелемъ. Я вспыхнулъ и крикнулъ на нихъ. Жидъ увидѣлъ насъ и кинулся на шею дочери. Сара судорожно схватилась за него.

Вѣднякъ вообразилъ, что его простили.... Онъ начиналъ уже благодарить меня.... я отвернулся.

— Ваше благородіе, закричалъ онъ и стиснулъ руки.— Я не прощенъ?

Я молчалъ.

— Нѣтъ?

— Нѣтъ.

— Ваше благородіе, забормоталъ онъ: — посмотрите, ваше благородіе, посмотрите.... вѣдь вотъ она, эта дѣвица—знаете—она дочь моя.

— Знаю, отвѣчалъ я, и опять отвернулся.

— Ваше благородіе, закричалъ онъ:—я не отходилъ отъ палатки! Я ни за что.... Онъ остановился и закрылъ на мгновенье глаза....—Я хотѣлъ вашихъ денежекъ, ваше благородіе, нужно сознаться, денежекъ.... но я ни за что,...

Я молчалъ. Гиршель былъ мнѣ гадокъ, да и она, его сообщница....

— Но теперь, если вы меня спасете, проговорилъ жидъ шопотомъ: — я прикажу — я.... понимаете?.... все.... я ужъ на все пойду....

Онъ дрожалъ, какъ листъ, и торопливо оглядывался. Сара молча и страстно обнимала его.

Къ намъ подошелъ адъютантъ.

— Г-нъ корнетъ, сказалъ онъ мнѣ:—его превосходительство приказалъ арестовать васъ. А вы.... Онъ молча указалъ солдатамъ на жида.... сейчасъ его....

Силявка подошелъ къ жиду.

— Ѳедоръ Карлычъ, сказалъ я адъютанту (съ нимъ пришло человѣкъ пять солдатъ): — прикажите, по крайней мѣрѣ, унести эту бѣдную дѣвушку....

— Разумѣется. Согласенъ-съ.

Несчастная едва дышала. Гиршель бормоталъ ей на ухо по-жидовски....

Солдаты съ трудомъ высвободили Сару изъ отцовскихъ объятій и бережно отнесли ее шаговъ на двадцать. Но вдругъ она вырвалась у нихъ изъ рукъ и бросилась къ Гиршелю.... Силявка остановилъ ее. Сара оттолкнула его, лицо ея покрылось легкой краской, глаза засверкали, она протянула руки.

— Такъ будьте же вы прокляты, закричала она по-нѣмецки: — прокляты, трижды прокляты, вы и весь ненавистный родъ вашъ, проклятіемъ Даѳана и Авирона, проклятіемъ бѣдности, безплодія и насильственной, позорной смерти! Пускай же земля раскроется подъ вашими ногами, безбожники, безжалостные, кровожадные псы....

Голова ея закинулась назадъ.... она упала на землю.... Ее подняли и унесли.

Солдаты взяли Гиршеля подъ руки. Я тогда понялъ, почему смѣялись они надъ жидомъ, когда я съ Сарой прибѣжалъ изъ лагеря. Онъ былъ дѣйствительно смѣшонъ, несмотря на весь ужасъ его положенія. Мучительная тоска разлуки съ жизнью, дочерью, семействомъ выражалась у несчастнаго жида такими странными, уродливыми тѣлодвиженьями, криками, прыжками, что мы всѣ улыбались невольно, хотя и жутко, страшно жутко было намъ. Вѣднякъ замиралъ отъ страху....

— Ой, ой, ой! кричалъ онъ:—ой.... стойте! я разскажу.... много разскажу. Господинъ унтеръ-вахмистръ, вы меня знаете. Я факторъ, честный факторъ. Не хватайте меня; постойте еще минутку, минуточку, маленькую минуточку постойте! Пустите меня: я бѣдный еврей. Сара.... гдѣ Сара? О, я знаю! она у г. квартиръ-поручика (Богъ знаетъ, почему онъ меня пожаловалъ въ такой небыва-

лый чинъ). Г-нъ квартиръ-поручикъ! Я не отхожу отъ палатки. (Солдаты взялись-было за Гиршеля.... онъ оглушительно взвизгнулъ и выскользнулъ у нихъ изъ рукъ). Ваше превосходительство, помилуйте несчастнаго отца семейства! Я дамъ десять червонцевъ, пятнадцать дамъ, ваше превосходительство!... (Его потащили къ березѣ).... — Пощадите! змилуйтесь! г. квартиръ-поручикъ! сіятельство ваше! г. оберъ-генералъ и главный шефъ!

На жида надѣли петлю.... я закрылъ глаза и бросился бѣжать.

Я просидѣлъ двѣ недѣли подъ арестомъ. Мнѣ говорили, что вдова несчастнаго Гиршеля приходила за платьемъ покойнаго. Генералъ велѣлъ ей выдать сто рублей. Сару я болѣе не видалъ. Я былъ раненъ; меня отправили въ госпиталь, и когда я выздоровѣлъ, Данцигъ уже сдался,— и я догналъ свой полкъ на берегахъ Рейна.

1846 г.

ПѢТУШКОВЪ.

I.

Въ 182.... году, въ городѣ О.... проживалъ поручикъ Иванъ Аѳанасьевичъ Пѣтушковъ. Онъ происходилъ отъ бѣдныхъ родителей, пяти лѣтъ остался круглымъ сиротой и попалъ на руки къ опекуну. Имущества у него, по милости опекуна, не оказалось никакого; онъ перебивался пополамъ съ грѣхомъ. Роста былъ онъ средняго, нѣсколько сутуловатъ; лицо имѣлъ худое и покрытое веснушками, впрочемъ довольно пріятное, волосы темно-русые, глаза сѣрые, взглядъ робкій; частыя морщины покрывали его низкій лобъ. Вся жизнь Пѣтушкова прошла чрезвычайно однообразно; пóдъ сорокъ лѣтъ онъ былъ еще молодъ и неопытенъ какъ ребенокъ. Знакомыхъ онъ дичился, а съ тѣми, на участь которыхъ могъ имѣть вліяніе, обходился весьма кротко....

За людьми, осужденными судьбою на жизнь однообразную и невеселую, часто водятся разныя привычки и потребности. Пѣтушковъ по утрамъ за чаемъ любилъ кушать свѣжую бѣлую булку. Безъ этого лакомства онъ жить не могъ. Вотъ, въ одно утро, слуга его, Онисимъ, подалъ ему на тарелкѣ съ синими цвѣточками, вмѣсто булки, три темно-рыжихъ сухаря. Пѣтушковъ тотчасъ же съ нѣкоторымъ негодованьемъ спросилъ слугу своего, чтó бы это такое значило?

— Булки всѣ поразобравшись, отвѣтилъ ему Онисимъ, природный петербуржецъ, странной игрою случая занесенный въ самую глушь южной Россіи.

— Быть не можетъ! воскликнулъ Иванъ Аѳанасьевичъ.

— Поразобравшись, повторилъ Онисимъ: — сегодня у предводителя завтракъ, такъ оно все туда, знаете, пошло.

Онисимъ повелъ рукой по воздуху и выставилъ правую ногу впередъ.

Иванъ Аѳанасьевичъ прошелся по комнатѣ, одѣлся и самъ отправился въ булочную. Это единственное въ городѣ О.... заведеніе было учреждено лѣтъ десять тому назадъ заѣзжимъ нѣмцемъ, въ скоромъ времени процвѣло, и теперь еще процвѣтало подъ начальствомъ его вдовы, толстой бабы.

Пѣтушковъ постучался у окошка. Толстая баба выставила въ форточку свое болѣзненно-пухлое и заспанное лицо.

— Булку пожалуйте, съ пріятностью сказалъ Пѣтушковъ.

— Вышли булки, пропищала толстая баба.

— У васъ нѣтъ булокъ?

— Нѣтути.

— Какъ же это? помилуйте. Я у васъ каждый день беру булки и плачу аккуратно.

Баба молча посмотрѣла на него.—Возьмите крендель, сказала она наконецъ зѣвая:—или паплюху.

— Не хочу, сказалъ Пѣтушковъ и даже обидѣлся.

— Какъ угодно, пробормотала баба и захлопнула форточку.

Ивана Аѳанасьевича разобрала сильная досада. Въ недоумѣньи отошелъ онъ на другую сторону улицы и предался весь, какъ дитя, своему неудовольствію.

— Господинъ!... раздался довольно пріятный женскій голосъ:—господинъ!

Иванъ Аѳанасьичъ поднялъ глаза. Изъ форточки булочной выглядывала дѣвушка лѣтъ семнадцати и держала въ рукѣ булку. Лицо она имѣла полное, круглое, щеки румяныя, глаза каріе, небольшіе, носъ нѣсколько вздернутый, русые волосы и великолѣпныя плечи. Ея черты выражали доброту, лѣнь и безпечность.

— Вотъ вамъ, сударь, булка, сказала она посмѣиваясь: — я-было взяла ее себѣ, да ужъ извольте, уступлю вамъ.

— Покорнѣйше благодарю. Позвольте-съ....

Пѣтушковъ началъ шарить у себя въ карманѣ.

— Не надо, не надо-съ. Кушайте себѣ на здоровье.

Она затворила форточку.

Пѣтушковъ пришелъ домой въ совершенно пріятномъ расположеніи духа.

— Вотъ ты не досталъ булки, сказалъ онъ своему Онисиму:—а я, вотъ, досталъ, видишь?...

Онисимъ горько усмѣхнулся.

Въ тотъ же день, вечеромъ, Иванъ Аѳанасьевичъ, раздѣваясь, спросилъ слугу своего:

— Скажи мнѣ, братецъ, пожалуйста, что́ тамъ у булочницы за дѣвка, а?

Онисимъ посмотрѣлъ въ сторону довольно мрачно и возразилъ:—А на что вамъ?

— Такъ, сказалъ Пѣтушковъ, собственноручно снимая сапоги.

— А вѣдь хороша! снисходительно замѣтилъ Онисимъ.

— Да.... недурна.... промолвилъ Иванъ Аѳанасьичъ, глядя тоже въ сторону.—А какъ ее зовутъ, знаешь?

— Василисой.

— И ты ее знаешь?

Онисимъ помолчалъ нѣсколько.

— Знаемъ-съ.

Пѣтушковъ разинулъ-было ротъ, но повернулся на другой бокъ и заснулъ. Онисимъ вышелъ въ переднюю, понюхалъ табаку и покрутилъ головой.

На другой день рано поутру Пѣтушковъ велѣлъ подать себѣ одѣться. Онисимъ принесъ ежедневный сюртукъ Ивана Аѳанасьича, сюртукъ старый, травяного цвѣта, съ огромными полинявшими эполетами. Пѣтушковъ долго, молча, поглядѣлъ на Онисима, потомъ приказалъ ему достать новый сюртукъ. Онисимъ не безъ удивленья повиновался. Пѣтушковъ одѣлся, тщательно натянувъ на руки замшевыя перчатки.

— Ты, братецъ, проговорилъ онъ съ нѣкоторымъ замѣшательствомъ:—не ходи сегодня въ булочную. Я самъ зайду.... мнѣ по дорогѣ.

— Слушаю-съ, отвѣтилъ Онисимъ такъ отрывисто, какъ-будто кто-то толкнулъ его сзади.

Пѣтушковъ отправился, дошелъ до булочной, постучался въ окошко. Толстая баба отворила форточку.

— Пожалуйте булку, медленно проговорилъ Иванъ Аѳанасьичъ.

Толстая баба выставила руку, обнаженную до самаго плеча, болѣе похожую на ляшку, чѣмъ на руку, и сунула ему горячій хлѣбъ прямо подъ носъ.

Иванъ Аѳанасьичъ постоялъ нѣкоторое время подъ окошкомъ, прошелъ по улицѣ раза два, взглянулъ на дворъ и наконецъ, устыдясь своего ребячества, вернулся домой съ булкой въ рукѣ. Цѣлый день ему было неловко, и даже вечеромъ онъ, противъ обыкновенія, не пустился въ разговоръ съ Онисимомъ.

На другое утро уже Онисимъ отправился за булкой.

II.

Прошло нѣсколько недѣль. Иванъ Аѳанасьичъ совершенно позабылъ о Василисѣ и по-прежнему дружелюбно бесѣдовалъ съ своимъ слугою. Въ одно прекрасное утро зашелъ къ нему господинъ Бублицынъ, развязный и очень любезный молодой человѣкъ. Правда, онъ иногда самъ не зналъ, чтó такое говорилъ, и весь былъ, какъ говорится, на бекрень, но все-таки слылъ за весьма пріятнаго собесѣдника. Онъ курилъ много, съ лихорадочной жадностью, поднимая брови, втягивая грудь, курилъ съ озабоченнымъ видомъ, или, лучше сказать, съ такимъ видомъ, что вотъ дайте ему только въ послѣдній разъ затянуться, онъ вамъ тотчасъ и скажетъ неожиданную новость; даже иногда мычалъ и махалъ рукой, торопливо досасывая чубукъ, какъ-будто внезапно вспомнилъ что-то необыкновенно забавное или важное, раскрывалъ ротъ, кольцеобразно выпускалъ дымъ и произносилъ слова самыя обыкновенныя, а иногда даже вовсе безмолвствовалъ. Поболтавши немного съ Иваномъ Аѳанасьичемъ о сосѣдяхъ, лошадяхъ, помѣщичьихъ дочкахъ. и прочихъ поучительныхъ предметахъ, г-нъ Бублицынъ вдругъ заморгалъ глазами, взбилъ себѣ хохолъ и съ лукавой улыбкой подошелъ къ необыкновенно тусклому зеркалу, единственному украшенію комнаты Ивана Аѳанасьича.

— А вѣдь надо правду сказать, промолвилъ онъ, поглаживая свои бурые бакенбарды: — у насъ здѣсь есть мѣщаночки такія, что куда твоя Венера мендинцейнская.... Напримѣръ, видали вы Василису булочницу?... Г-нъ Бублицынъ затянулся.

Пѣтушковъ вздрогнулъ.

— Впрочемъ, продолжалъ Бублицынъ, исчезая въ облакѣ дыма: — что я у васъ спрашиваю! вѣдь вы такой

человѣкъ, Иванъ Аѳанасьичъ! — Богъ знаетъ чѣмъ вы занимаетесь, Иванъ Аѳанасьичъ!

— Тѣмъ же, чѣмъ и вы, не безъ досады и на распѣвъ проговорилъ Пѣтушковъ.

— Ну, нѣтъ, Иванъ Аѳанасьичъ, нѣтъ.... Что вы это?

— Однако?

— Ну да ужъ что, Иванъ Аѳанасьичъ!

— Однако? однако?

Бублицынъ поставилъ трубку въ уголъ и началъ разсматривать свои не совсѣмъ красивые сапоги. Пѣтушковъ почувствовалъ смущеніе.

— Такъ-то, Иванъ Аѳанасьичъ, такъ-то, продолжалъ Бублицынъ, какъ бы щадя его.—А про Василису булочницу вамъ доложу: очень, о-чень хорошо.... о-чень.

Г-нъ Бублицынъ расширилъ ноздри и медленно погрузилъ руки въ карманы.

Странное дѣло! Иванъ Аѳанасьичъ почувствовалъ нѣчто въ родѣ ревности. Онъ началъ двигаться на стулѣ, некстати расхохотался, покраснѣлъ вдругъ, зѣвнулъ и зѣвая, скривилъ немного нижнюю челюсть. Бублицынъ выкурилъ еще три трубки и удалился. Иванъ Аѳанасьичъ подошелъ къ окну, вздохнулъ и велѣлъ подать себѣ напиться.

Онисимъ поставилъ стаканъ квасу на столъ, угрюмо взглянулъ на барина, прислонился къ двери и потупилъ голову.

— Что ты такъ задумался? спросилъ его баринъ ласково и не безъ страха.

— Что задумался? возразилъ Онисимъ: — что задумался.... Все о васъ.

— Обо мнѣ!

— Разумѣется, о васъ.

— А что́-жъ ты такое думаешь?

— А я вотъ что́ думаю. (Тутъ Онисимъ понюхалъ табаку.) Стыдно вамъ, сударь, стыдно.

— Что такое стыдно?

— Что́ такое стыдно.... Да вы посмотрите на г-на Бублицына, Иванъ Аѳанасьичъ.... Чѣмъ не молодецъ? помилуйте.

— Я тебя, братецъ, не понимаю.

— Не понимаете.... Нѣтъ, вы меня понимаете.

Онисимъ помолчалъ.

Г-нъ Бублицынъ—господинъ настоящій, какъ слѣдуетъ быть господиномъ. А вы-то что̀, Иванъ Аѳанасьичъ, вы-то что́? помилуйте.

— Ну, и я господинъ.

— Господинъ, господинъ.... возразилъ Онисимъ, приходя въ азартъ.—Какой вы господинъ? Вы, сударь, просто мокрая курица, Иванъ Аѳанасьичъ, помилуйте. Сидите себѣ сиднемъ цѣлый Божій день.... много этакъ высидите. Въ карты вы не играете, съ господами не водитесь, а что ужъ на счетъ того....

Онисимъ махнулъ рукой.

— Ну однакожъ.... ты ужъ, кажется, слишкомъ.... проговорилъ Иванъ Аѳанасьичъ, съ замѣшательствомъ хватаясь за чубукъ.

— Какое слишкомъ, Иванъ Аѳанасьичъ, какое слишкомъ! Вы сами посудите. Вѣдь вотъ опять насчетъ Василисы.... Ну, почему бы вамъ....

— Да ты что́ думаешь, Онисимъ, тоскливо перебилъ его Пѣтушковъ.

— Я знаю, что́ я думаю. Что-жъ? и съ Богомъ! Да гдѣ вамъ? Иванъ Аѳанасьичъ, помилуйте, судите сами.... Вѣдь вы....

Иванъ Аѳанасьичъ всталъ.

*

— Ну, ну, пожалуйста, тамъ ужъ ты молчи, сказалъ онъ проворно и какъ бы ища глазами Онисима.—Я вѣдь тоже, знаешь.... я.... что́ ужъ ты въ самомъ дѣлѣ? Дайка мнѣ лучше одѣться.

Онисимъ медленно стащилъ съ Ивана Аѳанасьича замасленный татарскій шлафрокъ, съ отеческой грустью поглядѣлъ на барина, покачалъ головой, напялилъ на него сюртукъ и принялся бить его по спинѣ вѣникомъ.

Пѣтушковъ вышелъ, и послѣ непродолжительнаго странствованія по кривымъ улицамъ города, очутился передъ булочной. Странная улыбочка играла на его губахъ.

Не успѣлъ онъ взглянуть раза два на слишкомъ извѣстное «заведеніе», какъ вдругъ калитка отворилась, и выбѣжала Василиса, съ жолтымъ платочкомъ на головѣ и въ душегрѣйкѣ, накинутой, по русскому обычаю, на плечи. Иванъ Аѳанасьичъ тотчасъ же нагналъ ее.

— Куда изволите идти, голубушка?

Василиса быстро взглянула на него, засмѣялась, отвернулась и закрыла себѣ губы рукой.

— Чай, за покупочкой? спросилъ Иванъ Аѳанасьичъ, сѣменя ножками.

— Какіе любопытные, возразила Василиса.

— Отчего же любопытный? сказалъ Пѣтушковъ, торопливо размахивая руками. — Я совсѣмъ, напротивъ.... Такъ, знаете ли,—прибавилъ онъ поспѣшно, какъ-будто эти три слова совершенно объяснили его мысль.

— А булочку мою скушали?

— Непремѣнно-съ, возразилъ Пѣтушковъ:—съ особеннымъ удовольствіемъ.

Василиса продолжала идти да посмѣиваться.

— Пріятная сегодня погода, продолжалъ Иванъ Аѳанасьичъ:—вы изволите часто гулять?

— Гуляемъ-съ.

— Ахъ, какъ бы мнѣ было желательно....

— Чего-съ?

Дѣвушки у насъ выговариваютъ слово «чего-съ» очень странно, какъ-то особенно рѣзко и быстро.... Куропатки такъ кричатъ по зарямъ.

— Погулять-съ, знаете-ли, съ вами.... за городомъ, что́ ли....

— Какъ можно?

— Отчего же не можно?

— Ахъ, какой вы, право!

— Но позвольте....

Тутъ поровнялся съ ними купчикъ-попрыгунчикъ съ козлиной бородкой и пальцами, растопыренными въ видѣ рогульки, чтобы рукава не сползали, въ долгополомъ синеватомъ кафтанѣ и тепломъ картузѣ, похожемъ на распухшій арбузъ. Пѣтушковъ, ради приличія, отсталъ немного отъ Василисы, но тотчасъ же нагналъ ее снова.

— Такъ какъ же? на счётъ прогулки-съ?

Василиса лукаво посмотрѣла на него и опять засмѣялась.

— Вы здѣшній?

— Здѣшній-съ.

Василиса провела рукой по волосамъ и пошла потише. Иванъ Аѳанасьичъ улыбнулся, и внутренно замирая отъ робости, нагнулся немного на бокъ и трепетной рукой обвилъ станъ красавицы.

Василиса вскрикнула.

— Полноте, безстыдники, на улицы.

— Ну, ну, ну, чего, забормоталъ Иванъ Аѳанасьичъ.

— Полноте, говорятъ вамъ, на улицы.... Не обиждайте.

— А.... а.... ахъ, какія же вы, проговорилъ Пѣтушковъ съ укоризной, а самъ покраснѣлъ до ушей.

Василиса остановилась.

— Ступайте-себѣ, господинъ, ступайте....

Пѣтушковъ повиновался. Онъ пришелъ домой, цѣлый часъ сидѣлъ неподвижно на стулѣ и даже трубки не курилъ. Наконецъ онъ досталъ листокъ сѣроватой бумаги, очинилъ перо и послѣ долгихъ соображеній написалъ слѣдующее письмо:

«Милостивая государыня
«Василиса Тимоѳѣевна!

«Будучи отъ природы человѣкъ необидчивый; какъ же «бы могъ я вамъ причинить непріятность. Если же я и «дѣйствительно передъ вами виноватъ, то именно скажу «вамъ: намеки г-на Бублицына меня къ тому способство«вали, чего я никакъ не ожидалъ.. А впрочемъ, покор«нѣйше прошу васъ на меня не гнѣваться. Я человѣкъ «чювствительный, и всякую ласку весьма чювствую и бла«годаренъ. Не гнѣвайтесь на меня, Василиса Тимоѳѣевна, «прошу васъ покорнѣйше. Впрочемъ, съ моимъ почте«ніемъ пребываю.

«Вашъ покорнѣйшій слуга.
«Иванъ Пѣтушковъ».

Онисимъ отнесъ это письмо по адресу.

III.

Прошло двѣ недѣли.... Онисимъ каждое утро, по обыкновенію, ходилъ въ булочную. Вотъ однажды Василиса выбѣжала къ нему на встрѣчу.

— Здравствуйте, Онисимъ Сергѣичъ.

Онисимъ принялъ мрачный видъ и сердито проговорилъ:—Здорово.

— Что-жъ это вы никогда къ намъ не зайдете, Онисимъ Сергѣичъ?

— Онисимъ угрюмо взглянулъ на нее.

— Чтó я зайду? чаемъ небось не напоишь.

— Напою, Онисимъ Сергѣичъ, напою. Только вы приходите. И съ ромомъ.

Онисимъ медленно улыбнулся.

— Что-жъ, пожалуй, коли такъ.

— Когда же, батюшка, когда?

— Когда.... Эхъ ты....

— Сегодня, вечеркомъ, угодно? заверните.

— Пожалуй, заверну, возразилъ Онисимъ и поплелся домой лѣнивымъ и развалистымъ шагомъ.

Въ тотъ же день, вечеромъ, въ маленькой комнаткѣ, подлѣ постели, покрытой полосатымъ пуховикомъ, за неуклюжимъ столикомъ сидѣлъ Онисимъ напротивъ Василисы. Тускложолтый, огромный самоваръ шипѣлъ и сипѣлъ на столѣ; горшокъ ерани торчалъ передъ окошкомъ; въ другомъ углу, подлѣ двери, бокомъ стоялъ безобразный сундукъ съ крошечнымъ висячимъ замкомъ; на сундукѣ лежала рыхлая груда разнаго стараго тряпья; на стѣнахъ чернѣли замасленныя картинки. Онисимъ и Василиса кушали чай молча, глядя въ лицо другъ другу, долго вертѣли въ рукахъ кусочки сахару, какъ бы нехотя прикусывали, жмурились, щурились и съ свистомъ втягивали сквозь зубы желтоватую горячую водицу. Наконецъ они опорожнили весь самоваръ, опрокинули кверху дномъ круглыя чашечки съ надписями, на одной: «за удовлетвореніе», а на другой: «невинно пронзила», крякнули, отерли потъ и начали помаленьку разговаривать.

— Чтó, Онисимъ Сергѣичъ, вашъ баринъ.... спросила Василиса и не договорила.

— Чтó баринъ.... возразилъ Онисимъ и подперся рукой. Извѣстно что. А вамъ на чтó?

— Такъ-съ, отвѣчала Василиса.

— А вѣдь онъ (тутъ Онисимъ осклабился):—вѣдь онъ вамъ, кажись, письмо писалъ?

— Писали-съ.

Онисимъ покачалъ головой съ необыкновенно самодовольнымъ видомъ.

— Вишь, вишь, проговорилъ онъ хрипло и не безъ улыбки:—ну, а чтó такое онъ писалъ вамъ?

— А разное написалъ. Что, дескать, я, сударыня Василиса Тимоѳѣевна, такъ; что вы не думайте; что вы, сударыня, не обиждайтесь; и много такого написалъ.... А чтó, прибавила она, помолчавъ немного:—онъ у васъ каковъ?

— Живетъ, равнодушно отвѣчалъ Онисимъ.

— Серчаетъ?

— Куда ему! Нѣтъ, не серчаетъ. А чтò, онъ вамъ нравится?

Василиса потупилась и засмѣялась въ рукавъ.

— Ну, проворчалъ Онисимъ.

— Да на чтó вамъ, Онисимъ Сергѣичъ?

— Да ну-же говорятъ.

— Что-жъ, проговорила наконецъ Василиса: — они.... баринъ. Разумѣется.... я.... да и они ужъ.... вы сами знаете....

— Какъ не знать? важно замѣтилъ Онисимъ.

— Вамъ вѣдь наконецъ извѣстно, Онисимъ Сергѣичъ....

Василиса видимо приходила въ волненіе.

— Вы скажите ему-то, вашему-то барину, что я, дескать, на него не сержусь, а что вотъ, молъ....

Она заикнулась.

— Понимаемъ-съ, возразилъ Онисимъ и медленно поднялся со стула.—Понимаемъ-съ. Спасибо за угощенье.

— Впередъ милости просимъ.

— Ну, хорошо, хорошо.

Онисимъ приблизился къ двери. Толстая баба вошла въ комнату.

— Здравствуйте, Онисимъ Сергѣичъ, сказала она на распѣвъ.

— Здравствуйте, Прасковья Ивановна, отвѣчалъ онъ также на распѣвъ.

Оба постояли немного другъ передъ другомъ.

— Ну, прощайте, Прасковья Ивановна, проговорилъ Онисимъ на распѣвъ.

— Ну, прощайте, Онисимъ Сергѣичъ, отвѣчала она также на распѣвъ.

Онисимъ пришелъ домой. Баринъ его лежалъ на постели и глядѣлъ въ потолокъ.

— Гдѣ ты былъ?

— Гдѣ былъ?... (За Онисимомъ водилась привычка съ укоризной повторять послѣднія слова всякого вопроса).— По вашему же дѣлу ходилъ.

— По какому дѣлу?

— А вы не знаете?... Къ Василисѣ ходилъ.

Пѣтушковъ замигалъ глазами и завертѣлся на постели.

— То-то вотъ и есть, замѣтилъ Онисимъ и хладнокровно понюхалъ табаку:—то-то вотъ и есть. Вы всегда такъ. Василиса вамъ кланяется.

— Неужто?

— Неужто? То-то же вотъ и есть. Неужто!... Велѣла, сказать, что, дескать, отчего его не видать? отчего, дескать, не ходитъ?

— Ну, а ты что́?

— Что́ я? Я ей сказалъ: глупа же ты, я ей сказалъ—

станутъ къ тебѣ такіе люди ходить! Нѣтъ, ты приди сама, я ей сказалъ.

— Ну, а она что́?

— Она что́?... Она.... ничего.

— То-есть, однако какъ же ничего?

— Извѣстно, ничего.

Пѣтушковъ помолчалъ немного.

— Ну, и придетъ?

Онисимъ покачалъ головой.

— Придетъ!... Вольно, сударь, прытки. Придетъ!... Нѣтъ, это ужъ вы того.

— Да вѣдь ты самъ говорилъ, что того....

— Мало ли чего!

Пѣтушковъ замолчалъ опять.

— Такъ какъ же однакожъ, братецъ?

— Какъ же?... Вамъ лучше знать: вы баринъ.

— Ну, нѣтъ, что́ ужъ тутъ....

Онисимъ самодовольно покачался взадъ и впередъ.

— Вы Прасковью Ивановну знаете? спросилъ онъ наконецъ.

— Нѣтъ. Какую Прасковью Ивановну?

— А булочницу?

— А да, булочницу. Видалъ; толстая такая.

— Важная женщина. Она той-то, вашей-то, родная тетка.

— Тетка?

— А вы не знали?

— Нѣтъ, не зналъ.

— Эхъ....

Онисимъ изъ уваженія къ барину не досказалъ своей мысли.

— Вотъ бы вамъ съ кѣмъ познакомиться.

— Что-жъ, я, пожалуй, не прочь.

Онисимъ одобрительно поглядѣлъ на Ивана Аѳанасьича.

— Но для чего собственно мнѣ съ ней знакомиться? спросилъ Пѣтушковъ.

— Эво-на! спокойно возразилъ Онисимъ.

Иванъ Аѳанасьичъ всталъ, походилъ по комнатѣ, остановился передъ окномъ и, не оборачивая головы, съ нѣкоторымъ замѣшательствомъ произнесъ:

— Онисимъ!

— Чего-съ?

— А не будетъ ли мнѣ нѣсколько, знаешь, неловко этакъ съ бабой, а?

— Что-жъ, какъ знаете.

— — Впрочемъ, я это только такъ. Товарищи могутъ замѣтить; все оно какъ-то.... Впрочемъ, я подумаю. Дайка мнѣ трубку.... Такъ что-жъ она, прибавилъ онъ послѣ небольшого молчанія: — Василиса-то говоритъ, что, дескать....

Но Онисимъ не желалъ продолжать разговоръ и принялъ обычный угрюмый видъ.

IV.

Знакомство Ивана Аѳанасьича съ Прасковьей Ивановной началось слѣдующимъ образомъ. Дней черезъ пять послѣ разговора съ Онисимомъ, Пѣтушковъ отправился вечеромъ въ булочную.—Ну, думалъ онъ, отпирая скрипучую калитку:—не знаю, что-то будетъ....

Онъ взошелъ на крыльцо, отворилъ дверь. Пребольшая хохлатая курица съ оглушительнымъ крикомъ бросилась ему прямо подъ ноги и долго потомъ въ волненіи бѣгала по двору. Изъ сосѣдней комнаты выглянуло изумленное лицо толстой бабы. Иванъ Аѳанасьичъ улыбнулся и закивалъ головой. Баба ему поклонилась. Крѣпко сти-

снувъ шляпу, Пѣтушковъ подошелъ къ ней. Прасковья Ивановна повидимому ожидала почетнаго посѣщенья: платье ея было застегнуто на всѣ крючки. Пѣтушковъ сѣлъ на стулъ; Прасковья Ивановна сѣла противъ него.

— Я къ вамъ, Прасковья Ивановна, болѣе насчетъ.... проговорилъ наконецъ Иванъ Аѳанасьичъ — и замолкъ. Судороги подергивали его губы.

— Милости просимъ, батюшка, отвѣчала Прасковья Ивановна на распѣвъ и съ поклономъ. — Всякому гостю рады.

Пѣтушковъ немного пріободрился.

— Я давно, знаете, желалъ имѣть удовольствіе съ вами познакомиться, Прасковья Ивановна.

— Много благодарны, Иванъ Аѳанасьичъ.

Настало молчанье. Прасковья Ивановна утирала себѣ лицо пестрымъ платкомъ; Иванъ Аѳанасьичъ съ большимъ вниманіемъ глядѣлъ куда-то въ бокъ. Обоимъ было довольно неловко. Впрочемъ, въ купеческомъ и мѣщанскомъ быту, гдѣ даже старинные пріятели не сходятся безъ особенныхъ угловатыхъ ужимокъ, нѣкоторая напряженность въ обращеніи гостей и хозяина не только не кажется никому странной, но, напротивъ, почитается совершенно приличной и необходимой, въ особенности при первомъ свиданьѣ. Прасковьѣ Ивановнѣ понравился Пѣтушковъ. Онъ держалъ себя чинно и добропорядочно, и при томъ все же былъ человѣкъ не безчиновный!

— Я, матушка, Прасковья Ивановна, очень люблю ваши булки, сказалъ онъ ей.

— Тэкъ-съ, тэкъ-съ.

— Очень хороши, знаете, очень даже.

— Кушайте, батюшка, на здоровье, кушайте. Съ нашимъ удовольствіемъ.

— Я и въ Москвѣ не ѣдалъ такихъ.

— Тэкъ-съ, тэкъ-съ.

Опять настало молчанье.

— А скажите, Прасковья Ивановна, началъ Иванъ Аѳанасьичъ:—это у васъ вѣдь, кажется, племянница живетъ?

— Родная племянница, батюшка.

— Что-жъ она какъ.... у васъ?...

— Сирота, такъ и держимъ-съ.

— И что-жъ она, работница?

— Ра-аботница, батюшка, ра-аботница. Такая работница, что и... и... и!.. Какже-съ, какже-съ.

Иванъ Аѳанасьичъ почелъ за приличное не распространяться болѣе насчетъ племянницы.

— Это у васъ въ клѣткѣ какая птица, Прасковья Ивановна.

— А Богъ ее знаетъ. Птица.

— Гм! Ну, а впрочемъ прощайте, Прасковья Ивановна.

— Просимъ прощенія вашему благородію. Въ другой разъ милости просимъ. Чайку откушать.

— Съ особеннымъ удовольствіемъ, Прасковья Ивановна.

Пѣтушковъ вышелъ. На крыльцѣ ему попалась Василиса. Она засмѣялась.

— Куда вы это ходить изволили, голубчикъ мой, сказалъ Пѣтушковъ не безъ удальства.

— Ну, полноте, полноте, балагуръ, шутникъ вы этакой.

— Хе, хе. А письмецо мое изволили получить?

Василиса спрятала нижнюю часть лица въ рукавъ и ничего не отвѣчала.

— И на меня уже не гнѣваетесь?

— Василиса! задребезжалъ голосъ тетки: — а Василиса!

Василиса вбѣжала въ домъ. Пѣтушковъ отправился восвояси. Но съ того дня онъ часто сталъ ходить къ булочницѣ, и недаромъ. Иванъ Аѳанасьичъ, говоря слогомъ возвышеннымъ, достигъ своей цѣли. Обыкновенно достиженіе цѣли охлаждаетъ людей, но Пѣтушковъ, напротивъ, съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе разгорался. Любовь — дѣло случайное, существуетъ сама по себѣ, какъ искусство, и не нуждается въ оправданьяхъ, какъ природа, сказалъ какой-то умный человѣкъ, который самъ никогда не любилъ, но отлично разсуждалъ о любви. Пѣтушковъ страстно привязался къ Василисѣ. Онъ былъ счастливъ вполнѣ. Его душа согрѣлась. Понемногу перетащилъ онъ весь свой скарбъ, по крайней мѣрѣ всѣ чубуки свои, къ Прасковьѣ Ивановнѣ, и по цѣлымъ днямъ сидѣлъ у ней въ задней комнатѣ. Прасковья Ивановна брала съ него за обѣдъ деньги и пила его чай, слѣдовательно не жаловалась на его присутствіе. Василиса привыкла къ нему, работала, пѣла, пряла при немъ, иногда молвила съ нимъ слова два; Пѣтушковъ поглядывалъ на нее, покуривалъ трубочку, покачивался на стулѣ, посмѣивался и въ свободные часы игралъ съ нею и съ Прасковьей Ивановной въ дурачки. Иванъ Аѳанасьичъ былъ счастливъ.... Но на землѣ нѣтъ ничего совершеннаго, и какъ ни малы требованья человѣка, судьба никогда вполнѣ не удовлетворитъ его, даже испортитъ дѣло, если можно.... Ложка дегтю попадетъ-таки въ бочку меду! Иванъ Аѳанасьичъ испыталъ это на себѣ. Во-первыхъ, со времени своего переселенія къ Василисѣ, Пѣтушковъ еще болѣе раззнакомился съ своими товарищами. Онъ видалъ ихъ только въ необходимыхъ случаяхъ, и тутъ, для избѣжанія намековъ и насмѣшекъ (что́ впрочемъ не всегда ему удавалось), принималъ отчаянно суровый и сосредоточенно запуганный видъ зайца, который бараба-

нитъ посреди фейерверка. Во-вторыхъ, Онисимъ не давалъ ему покою, потерялъ всякое къ нему уваженіе, ожесточенно преслѣдовалъ, стыдилъ его. Въ-третьихъ, наконецъ.... Увы! читайте далѣе, благосклонный читатель.

V.

Однажды Пѣтушковъ (которому, по вышеозначеннымъ причинамъ, внѣ дома Прасковьи Ивановны приходилось плохо) сидѣлъ въ задней, Василисиной комнатѣ и хлопоталъ надъ какимъ-то доморощеннымъ снадобьемъ, не то вареньемъ, не то настойкой. Хозяйки не было дома. Василиса сидѣла въ булочной и напѣвала пѣсенку.

Постучались въ форточку. Василиса встала, подошла къ окошку, слегка вскрикнула, засмѣялась и начала съ кѣмъ-то перешёптываться. Вернувшись на мѣсто, она вздохнула и принялась пѣть громче прежняго.

— Съ кѣмъ ты это разговаривала? спросилъ ее Пѣтушковъ.

Василиса продолжала «ломать калину».

— Василиса! слышишь? а Василиса?

— Чтó вамъ?

— Съ кѣмъ ты разговаривала?

— А́ вамъ на что?

— Да такъ.

Пѣтушковъ вышелъ изъ задней комнаты въ пестромъ архалукѣ, съ засученными рукавами и съ ливеромъ въ рукахъ.

— А съ хорошимъ пріятелемъ, отвѣчала Василиса.

— Съ какимъ хорошимъ пріятелемъ?

— А съ Петромъ Петровичемъ.

— Съ Петромъ Петровичемъ?... Съ какимъ Петромъ Петровичемъ?

— А онъ тоже вашъ братъ. Прозвище такое мудреное.

— Бублицынъ?

— Ну, да, да.... Петръ Петровичъ.

— И ты его знаешь?

— Еще бы! возразила Василиса, качнувъ головой.

Пѣтушковъ, молча, прошелся разъ десять по комнатѣ.

— Послушай, Василиса, сказалъ онъ наконецъ: — то-есть, ты кàкъ его знаешь?

— Кáкъ знаю?... Знаю.... Онъ баринъ такой хорошій.

— Какъ однакожъ хорошій? какъ хорошій? какъ хорошій?

Василиса посмотрѣла на Ивана Аѳанасьевича.

— Хорошій, проговорила она медленно и съ недоумѣніемъ.—Извѣстно какой.

Пѣтушковъ закусилъ губы и началъ опять ходить по комнатѣ.

— О чемъ же ты съ нимъ разговаривала? а?

Василиса улыбнулась и потупилась.

— Говори же, говори, говори, говорятъ тебѣ, говори!

— Какой вы сегодня сердитый, замѣтила Василиса.

Пѣтушковъ помолчалъ.

— Ну, нѣтъ, Василиса, началъ онъ наконецъ:—нѣтъ, я сердиться не буду.... Ну, скажи же мнѣ, о чемъ же вы говорили?

Василиса засмѣялась.

— Такой, право, шутникъ этотъ Петръ Петровичъ?

— А что?

— Ужъ такой!

Пѣтушковъ опять помолчалъ.

— Василиса, ты вѣдь любишь меня? спросилъ онъ ее.

— Ну, и вы туда же!

У бѣдного Пѣтушкова защемило на сердцѣ. Вошла Прасковья Ивановна. Сѣли обѣдать. Послѣ обѣда Прасковья Ивановна отправилась на палати. Самъ Иванъ Аѳанасьичъ прилегъ на печи, повертѣлся и заснулъ. Осторожный скрипъ разбудилъ его. Иванъ Аѳанасьичъ приподнялся, оперся на локоть, смотритъ: дверь отворена. Онъ вскочилъ — Василисы нѣтъ. Онъ на дворъ — и на дворѣ ея нѣту; нá улицу — глядь туда, сюда: Василисы не видать. Безъ шапки побѣжалъ онъ до самаго рынка: нѣтъ, не видать Василисы. Медленно вернулся онъ въ булочную, взлѣзъ на печь, повернулся лицомъ къ стѣнѣ. Тяжело ему стало. Бублицынъ.... Бублицынъ.... это имя такъ и звучало у него въ ушахъ.

— Чтó съ тобой, батюшка? спросила его сонливымъ голосомъ Прасковья Ивановна.—Чего охаешь?

— Ничего, матушка, такъ. Ничего. Давитъ что-то.

— Грибы, пролепетала Прасковья Ивановна: — все грибы.

О, Господи, помилуй насъ грѣшныхъ!

Часъ прошелъ, другой — Василисы все нѣтъ. Пѣтушковъ двадцать разъ порывался встать, и двадцать разъ съ тоской забивался подъ тулупъ.... Наконецъ однакожъ онъ слѣзъ съ печи и хотѣлъ-было домой пойти и на дворъ уже вышелъ, да вернулся. Прасковья Ивановна встала. Работникъ Лука, черный какъ жукъ, хотя и булочникъ, заложилъ хлѣбы въ печь. Пѣтушковъ опять вышелъ на крыльцо и задумался. Проживающій на дворѣ козелъ подобрался къ нему и слегка, дружелюбно толкнулъ его рогами. Пѣтушковъ посмотрѣлъ на него и Богъ знаетъ почему, сказалъ: «кысь, кысь». Вдругъ низенькая калитка тихо распахнулась и появилась Василиса. Иванъ Аѳанасьичъ отправился къ ней прямо навстрѣчу, взялъ ее за руку и довольно хладнокровно, но рѣшительно, сказалъ ей:

— Ступай за мной.

— Да позвольте, Иванъ Аѳанасьичъ.... я....

— Ступай за мной, повторилъ онъ.

Она повиновалась.

Пѣтушковъ привелъ ее къ себѣ на квартиру. Онисимъ, по обыкновенію, спалъ въ растяжку. Иванъ Аѳанасьичъ разбудилъ его, велѣлъ зажечь свѣчку. Василиса подошла къ окошку и молча сѣла. Пока Онисимъ возился съ огнемъ въ передней, Пѣтушковъ неподвижно стоялъ у другого окна и глядѣлъ на улицу. Вошелъ Онисимъ со свѣчкой въ рукахъ, началъ-было ворчать.... Иванъ Аѳанасьичъ быстро обернулся.

— Ступай вонъ, сказалъ онъ ему.

Онисимъ остановился посреди комнаты....

— Ступай вонъ сейчасъ, повторилъ Пѣтушковъ грозно.

Онисимъ посмотрѣлъ на барина и вышелъ.

Иванъ Аѳанасьичъ закричалъ ему вслѣдъ:

— Вонъ, совсѣмъ вонъ. Изъ дому. Придешь черезъ два часа.

Онисимъ убрался.

Пѣтушковъ дождался, пока стукнула калитка, и тотчасъ же подошелъ къ Василисѣ.

— Гдѣ ты была?

Василиса смѣшалась.

— Гдѣ ты была? говорятъ тебѣ, повторилъ онъ.

Василиса посмотрѣла кругомъ....

— Тебѣ я говорю.... Гдѣ ты была?

И Пѣтушковъ поднялъ было руку....

— Не бейте меня, Иванъ Аѳанасьичъ, не бейте.... съ испугомъ прошептала Василиса.

Пѣтушковъ отвернулся.

— Бить тебя.... Нѣтъ! я тебя бить не стану. Бить

тебя? Извини, извини, голубушка. Богъ съ тобой. Когда я думалъ, что ты меня любишь, когда я.... когда....

Иванъ Аѳанасьичъ умолкъ. Онъ задыхался.

— Слушай, Василиса, сказалъ онъ наконецъ: — я, ты знаешь, человѣкъ добрый; вѣдь ты знаешь, Василиса, знаешь?

— Знаю, проговорила она, запинаясь.

— Я никому зла не дѣлаю, никому, никому на свѣтѣ. И никого не обманываю. Зачѣмъ же ты меня обманываешь?

— Да я васъ не обманываю, Иванъ Аѳанасьичъ.

— Не обманываешь? Ну, хорошо. Ну, хорошо. Ну, говори же, гдѣ ты была?

— Я ходила къ Матренѣ.

— Врешь!

— Ей-Богу, къ Матренѣ. Вы спросите у ней, коли мнѣ не вѣрите.

— А Буб...ну, какъ его... чорта этого видѣла?

— Видѣла.

— Видѣла? Видѣла?—а! видѣла?

Пѣтушковъ поблѣднѣлъ.

— Такъ ты съ нимъ, поутру-то, у окошка сговаривалась.... а? а?

— Они меня просили придти.

— А ты и пошла.... Спасибо, матушка, спасибо, родная! — Пѣтушковъ поклонился Василисѣ въ поясъ.

— Да, Иванъ Аѳанасьичъ, вы, можетъ, думаете....

— Ужъ ты бы лучше не говорила! Да и я, дуракъ, хорошъ. Чего раскричался? Да ты, пожалуй, съ кѣмъ тамъ хочешь знайся. Мнѣ до тебя дѣла нѣтъ. Вотъ еще. Я тебя и знать-то не хочу.

Василиса встала.

— Воля ваша, Иванъ Аѳанасьичъ.

— Куда ты идешь?

— Да вѣдь вы сами....

— Я тебя не прогоняю, перебилъ ее Пѣтушковъ.

— Нѣтъ ужъ, Иванъ Аѳанасьичъ.... Что-жъ ужъ мнѣ у васъ оставаться?...

Пѣтушковъ далъ ей дойти до двери.

— Такъ ты уходишь, Василиса?

— Вы меня все обижаете....

— Я тебя обижаю! Бога ты не боишься, Василиса! Когда же я тебя обижалъ! Ну, нѣтъ, нѣтъ, скажи, когда?

— Да какъ-же? Вотъ и теперь чуть меня не побили.

— Василиса, грѣшно тебѣ. Право, грѣшно.

— И еще попрекали, что я, дескать, съ тобой знаться не хочу. Я, дескать, баринъ.

Иванъ Аѳанасьичъ началъ молча ломать себѣ руки. Василиса дошла до середины комнаты.

— Что-жъ? Богъ съ вами, Иванъ Аѳанасьичъ. Я сама по себѣ, а вы сами по себѣ....

— Полно, Василиса, полно, перебилъ ее Пѣтушковъ. — Ты лучше разсуди; посмотри на меня. Вѣдь я на себя не похожъ. Вѣдь я самъ не знаю, что́ говорю.... Хотя бы ты меня пожалѣла.

— Вы меня все обижаете, Иванъ Аѳанасьичъ....

— Эхъ Василиса! кто прошлое помянетъ, тому глазъ вонъ. Не правда ли? Вѣдь ты на меня не сердишься, не правда ли?

— Вы меня все обижаете, повторяла Василиса.

— Не буду, душа, не буду. Прости меня стараго человѣка. Я впередъ уже не буду никогда. Ну, простила меня, что ли?

— Богъ съ вами, Иванъ Аѳанасьичъ.

— Ну, засмѣйся, засмѣйся....

Василиса отвернулась.

— Засмѣялась, душа, засмѣялась! закричалъ Пѣтушковъ и запрыгалъ на мѣстѣ какъ ребенокъ....

VI.

На другой день Пѣтушковъ, по обыкновенію, отправился въ булочную. Все пошло по-прежнему. Но въ сердцѣ у него засѣла заноза. Онъ уже не такъ часто посмѣивался и иногда задумывался. Настало воскресенье. У Прасковьи Ивановны болѣла поясница; она не слѣзала съ палатей; черезъ силу сходила къ обѣднѣ. Послѣ обѣдни Пѣтушковъ позвалъ Василису въ заднюю комнатку. Она все утро жаловалась на скуку. Судя по выраженію лица Ивана Аѳанасьича, въ его головѣ вертѣлась мысль необыкновенная и для него самого неожиданная.

— Сядь-ка ты вотъ здѣсь, Василиса, сказалъ онъ ей, а я тутъ сяду. Мнѣ нужно съ тобой поговорить маленько.

Василиса сѣла.

— Скажи мнѣ, Василиса, ты писать умѣешь?

— Писать?

— Да, писать?

— Нѣтъ, не умѣю.

— А читать?

— И читать не умѣю.

— А кто-жъ тебѣ письмо-то мое прочиталъ?

— Дьячекъ.

Пѣтушковъ помолчалъ.

— А хотѣла бы ты знать грамотѣ?

— Да на что́ намъ грамотѣ знать, Иванъ Аѳанасьичъ?

— Какъ на что́? Книги можно читать.

— А въ книгахъ-то что́ стоитъ?

— Все хорошее.... Послушай, хочешь я тебѣ принесу книжку?

— Да вѣдь я читать не умѣю, Иванъ Аѳанасьичъ.

— Я буду тебѣ читать.

— Да вѣдь, чай, скучно?

— Какъ можно! скучно! Напротивъ, оно противъ скуки хорошо.

— Развѣ сказки читать будете?

— А вотъ увидишь—завтра.

Пѣтушковъ къ вечеру возвратился домой и началъ рыться у себя въ ящикахъ. Нашелъ онъ нѣсколько разрозненныхъ томовъ Библіотеки для Чтенія, штукъ пять сѣрыхъ московскихъ романовъ, ариѳметику Назарова, дѣтскую географію съ глобусомъ на заглавномъ листѣ, вторую часть исторіи Кайданова, два сонника, мѣсяцесловъ за 1819-й годъ, два нумера Галатеи, Наталью Долгорукую, Козлова, и первую часть Рославлева. Долго думалъ онъ, что́ бы выбрать? и наконецъ рѣшился взять поэму Козлова и Рославлева.

На другой день Пѣтушковъ поспѣшно одѣлся, сунулъ обѣ книжонки подъ лацканъ сюртука, пришелъ въ булочную и началъ читать ей романъ Загоскина. Василиса сидѣла неподвижно, сперва улыбалась, потомъ какъ-будто призадумалась.... потомъ нагнулась немного впередъ; глаза ея съежились, ротъ слегка раскрылся, руки упали на колѣни: она задремала. Пѣтушковъ читалъ скоро, невнятно и глухимъ голосомъ,—поднялъ глаза....

— Василиса ты спишь?

Она встрепенулась, потерла себѣ лицо и потянулась. Пѣтушкову досадно стало на нее и на себя....

— Скучно, лѣниво проговорила Василиса.

— Послушай, хочешь, я тебѣ стихи почитаю?

— Какъ?

— Стихи.... хорошіе стихи.

— Нѣтъ, ужъ будетъ, право.

Пѣтушковъ проворно досталъ поэму Козлова, вскочилъ, прошелся по комнатѣ, стремительно подбѣжалъ къ Василисѣ и принялся читать. Василиса закинула голову назадъ, растопырила руки, вглядѣлась въ лицо Пѣтушкова— и вдругъ залилась звонкимъ и рѣзкимъ хохотомъ.... такъ и покатилась.

Иванъ Аѳанасьичъ съ досадой швырнулъ книгу на полъ. Василиса продолжала хохотать.

— Ну, чему ты смѣешься, глупая?

Василиса заливалась пуще прежняго.

— Смѣйся, смѣйся, ворчалъ Пѣтушковъ сквозь зубы.— Василиса взялась за бока, заохала.

— Да чему ты, сумасшедшая?

Но Василиса только руками махала. Иванъ Аѳанасьичъ схватилъ фуражку и выбѣжалъ изъ дому. Быстро, неровными шагами шелъ онъ по городу, шелъ, шелъ и очутился у заставы. Вдоль улицы вдругъ застучали колеса, затопали лошади.... Кто-то кликнулъ его по имени. Онъ поднялъ голову и увидалъ просторную старинную линейку. Въ линейкѣ, лицомъ къ нему, сидѣлъ г. Бублицынъ между двумя дѣвицами, дочерями господина Тютюрёва. Обѣ дѣвицы были одѣты совершенно одинаково, какъ бы въ ознаменованіе ихъ неразрывной дружбы; обѣ улыбались задумчиво, но пріятно, и томно наклоняли головки на бокъ. На другой сторонѣ линейки виднѣлась широкая соломенная шляпа почтеннаго господина Тютюрёва, и отчасти представлялся взорамъ его полный и круглый затылокъ; рядомъ съ его соломенной шляпой возвышался чепецъ его супруги. Самое положеніе обоихъ родителей служило явнымъ доказательствомъ ихъ искренняго благоволенія и довѣренности къ молодому Бублицыну. И моло-

дой Бублицынъ видимо чувствовалъ и цѣнилъ ихъ лестную довѣренность. Конечно, онъ сидѣлъ непринужденно, непринужденно разговаривалъ и смѣялся; но въ самой развязности его обращенія замѣчалась нѣжная, трогательная почтительность. А Дѣвицы Тютюрёвы? Трудно выразить словами все, что̀ внимательный взоръ наблюдателя открывалъ въ чертахъ обѣихъ сестрицъ. Благонравіе и кротость, и скромная веселость, грустное пониманіе жизни, и непоколебимая вѣра въ самихъ себя, въ высокое и прекрасное призваніе человѣка на землѣ, приличное вниманіе къ юному собесѣднику, по дарованіямъ умственнымъ, можетъ быть, не вполнѣ имъ равному, но по сердечнымъ свойствамъ совершенно достойному снисхожденья.... вотъ какія качества и чувства изображались въ это время на лицахъ дѣвицъ Тютюрёвыхъ. Бублицынъ кликнулъ Ивана Аѳанасьича по имени, такъ, безъ всякой причины, отъ избытка внутренняго довольства; поклонился ему чрезвычайно дружелюбно и привѣтливо; сами дѣвицы Тютюрёвы поглядѣли на него ласково и кротко, какъ на человѣка, съ которымъ онѣ бы не прочь даже познакомиться.... Маленькой рысцей пробѣжали добрыя, сытыя, смирныя лошадки мимо Ивана Аѳанасьича; плавно покатилась линейка по широкой дорогѣ, разнося добродушный, дѣвическій смѣхъ; въ послѣдній разъ мелькнула шляпа г-на Тютюрёва; пристяжныя закинули головы на бокъ, щепотко запрыгали по короткой зеленой травкѣ.... кучеръ засвисталъ одобрительно и бережно; линейка исчезла за ракитами.

Долго простоялъ на мѣстѣ бѣдный Пѣтушковъ.

— Сирота я, сирота казанская, прошепталъ онъ наконецъ....

Оборванный мальчишка остановился передъ нимъ, робко посмотрѣлъ на него, протянулъ руку....

— Христа ради, баринъ хорошій.

Пѣтушковъ досталъ грошъ.

— На́ тебѣ на твое сиротство, проговорилъ онъ черезъ силу, и пошелъ опять въ булочную. — На порогѣ Василисиной комнатки остановился Иванъ Аѳанасьичъ.

— Вотъ, подумалъ онъ:—вотъ съ кѣмъ я знаюсь! Вотъ оно, мое семейство! вотъ оно!... И тутъ Бублицынъ, и тамъ Бублицынъ.

Василиса сидѣла къ нему спиной и, беззаботно попѣвая, разматывала нитки; платье на ней было ситцевое, полинялое; волосы она заплела кое-какъ.... Въ комнатѣ, невыносимо жаркой, пахло периной, старыми тряпками; кой-гдѣ по стѣнамъ проворно мчались рыжіе, щеголеватые прусаки; на дряхломъ комодѣ, съ дырочками вмѣсто замковъ, лежалъ, подлѣ разбитой банки, стоптанный женскій башмакъ.... На полу еще валялась поэма Козлова.... Пѣтушковъ покачалъ головой, скрестилъ руки и вышелъ. Онъ былъ обиженъ.

Дома онъ приказалъ подать себѣ одѣться. Онисимъ поплелся за сюртукомъ. Пѣтушкову весьма хотѣлось вызвать Онисима на разговоръ, но Онисимъ молчалъ угрюмо. Наконецъ Иванъ Аѳанасьичъ не вытерпѣлъ.

— Что-жъ ты меня не спрашиваешь, куда я иду?

— А на что мнѣ знать, куда вы идете.

— Какъ на что́? Ну, придетъ кто-нибудь за нужнымъ дѣломъ, спроситъ: гдѣ-молъ, дескать, Иванъ Аѳанасьичъ? А ты ему и скажешь: Иванъ Аѳанасьичъ туда-то пошелъ.

— За нужнымъ дѣломъ.... Да кто къ вамъ за нужнымъ дѣломъ-то ходитъ?

— Вотъ ты опять начинаешь грубить? Вѣдь вотъ опять?

Онисимъ отвернулся и принялся чистить сюртукъ.

— Право, Онисимъ, ты человѣкъ пренепріятный.

Онисимъ исподлобья поглядѣлъ на барина.

— И всегда ты такъ. Вотъ ужъ именно всегда.

Онисимъ улыбнулся.

— Да на что́ мнѣ у васъ спрашивать, Иванъ Аѳанасьичъ, куда вы идете? Какъ-будто я не знаю? Къ булочницѣ!

— А вотъ и вздоръ! вотъ и совралъ! Совсѣмъ не къ ней. Я къ булочницѣ больше ходить не намѣренъ.

Онисимъ прищурился и тряхнулъ вѣникомъ. Пѣтушковъ ожидалъ одобренья; но слуга его безмолвствовалъ.

— Негодится, продолжалъ строгимъ голосомъ Пѣтушковъ: — неприлично.... Ну, говори же ты, что́ ты думаешь?

— Что́ мнѣ думать? Ваша воля. Что̀ мнѣ думать?

Пѣтушковъ надѣлъ сюртукъ.—Не вѣритъ мнѣ, бестія, подумалъ онъ про себя.

Онъ вышелъ изъ дому, но ни къ кому не зашелъ. Походилъ по улицамъ. Обратилъ вниманіе на заходящее солнце. Наконецъ, часу въ девятомъ воротился домой. Онъ улыбался; онъ безпрестанно пожималъ плечами, какъ бы дивясь своей глупости. Вѣдь вотъ, думалъ онъ—что́ значитъ твердая воля....

На другой день Пѣтушковъ всталъ довольно поздно. Ночь онъ провелъ не совсѣмъ хорошо, до самаго вечера не выходилъ никуда и скучалъ страшно. Перечелъ Пѣтушковъ всѣ свои книжонки, вслухъ похвалилъ одну повѣсть въ Библіотекѣ для Чтенія. Ложась спать, велѣлъ Онисиму подать себѣ трубку. Онисимъ вручилъ ему предрянной чубучокъ, Пѣтушковъ началъ курить; чубучокъ захрипѣлъ, какъ запаленная лошадь.

— Что̀ за гадость! воскликнулъ Иванъ Аѳанасьичъ:— гдѣ же моя черешневая трубка?

— А въ булочной, спокойно возразилъ Онисимъ. Пѣтушковъ судорожно моргнулъ глазами.

— Что-жъ? прикажете сходить?

— Нѣтъ, не нужно; ты не ходи.... не нужно: не ходи, слышишь?

— Слушаю-съ.

Ночь прошла кое-какъ. Утромъ, Онисимъ, по обыкновенію, подалъ Пѣтушкову на тарелкѣ съ синими цвѣточками бѣлую, свѣжую булку. Иванъ Аѳанасьичъ посмотрѣлъ въ окно и спросилъ Онисима:

— Ты ходилъ въ булочную?

— Кому-жъ ходить, коли не мнѣ?

— А!

Пѣтушковъ углубился въ размышленіе.

— Скажи пожалуйста, ты тамъ видѣлъ кого-нибудь?

— Извѣстно, видѣлъ.

— Кого же ты тамъ видѣлъ, напримѣръ?

— Да извѣстно кого: Василису.

Иванъ Аѳанасьичъ умолкъ. Онисимъ убралъ со стола и уже вышелъ-было изъ комнаты....

— Онисимъ, слабо воскликнулъ Пѣтушковъ.

— Чего извольте?

— А.... обо мнѣ она не спрашивала?

— Извѣстно, не спрашивала.

Пѣтушковъ стиснулъ зубы.—Вотъ, подумалъ онъ:—вотъ она, любовь-то.... Онъ опустилъ голову. — А вѣдь смѣшонъ же я былъ, подумалъ онъ опять:—вздумалъ ей стихотворенья читать! Эка! Да вѣдь она дура! Да вѣдь ей, дурѣ, только бы на печи лежать да блины ѣсть! Да вѣдь она деревяшка, совершенная деревяшка; необразованная мѣщанка!

— Не пришла.... шепталъ онъ, два часа спустя, сидя на томъ же мѣстѣ:—не пришла! Каково? вѣдь она могла видѣть, что я ушелъ отъ нея разсерженный, вѣдь она могла же знать, что я обидѣлся! Вотъ тебѣ и любовь! И

не спросила даже, здоровъ ли я? Здоровъ ли, дескать, Иванъ Аѳанасьичъ? Вторыя сутки меня не видитъ—и ничего!... Даже можетъ быть опять изволила видѣться съ этимъ Буб.... Счастливчикъ! Тьфу, чортъ возьми, какой я дуракъ!

Пѣтушковъ всталъ, молча прошелся по комнатѣ, остановился, слегка наморщилъ брови и почесалъ у себя въ затылкѣ. Однако, сказалъ онъ вслухъ: — пойду-ка я къ ней. Надобно же посмотрѣть, что́ она тамъ-таки дѣлаетъ? Пристыдить ее надобно. Рѣшительно.... пойду. Онька! одѣваться!

— Ну, думалъ онъ, одѣваясь:—посмотримъ, что́-то будетъ? Она, пожалуй, чего добраго, на меня сердится. И въ самомъ дѣлѣ, человѣкъ ходилъ-ходилъ, ходилъ-ходилъ, да вдругъ, ни съ того, ни съ сего, взялъ да пересталъ ходить! А вотъ посмотримъ.

Иванъ Аѳанасьичъ вышелъ изъ дому и добрался до булочной. Онъ остановился у калитки: надобно-жъ оправиться и обтянуться.... Пѣтушковъ взялся обѣими руками за фалды да чуть не оторвалъ ихъ прочь совсѣмъ.... Судорожно покрутилъ онъ затянутой шеей, разстегнулъ верхній крючекъ воротника, вздохнулъ....

— Что-жъ вы стоите, закричала ему Прасковья Ивановна изъ окошка.—Войдите.

Пѣтушковъ вздрогнулъ и вошелъ. Прасковья Ивановна встрѣтила его на порогѣ.

— Что̀ это вы, батюшка, къ намъ вчера не пожаловали? Аль нездоровьице какое помѣшало?

— Да, у меня что́-то вчера голова болѣла....

— А вы бы къ височкамъ по огурчику приложили, мой батюшка. Какъ рукой бы сняло. А теперь не болитъ головка?

— Нѣтъ, не болитъ.

— Ну, и слава Тебѣ, Господи!

Иванъ Аѳанасьичъ отправился въ заднюю комнату. Василиса увидала его.

— А! здравствуйте, Иванъ Аѳанасьичъ.

— Здравствуйте Василиса Тимоѳеевна.

— Куда вы ливеръ дѣвали, Иванъ Аѳанасьичъ?

— Ливеръ? какой ливеръ?

— Ливеръ.... нашъ ливеръ. Вы его, должно быть, къ себѣ занесли. Вы вѣдь такой.... прости Господи!...

Пѣтушковъ принялъ важный и холодный видъ.

— Я прикажу своему человѣку посмотрѣть. Такъ какъ я вчера здѣсь не былъ, значительно проговорилъ онъ. ..

— Ахъ, да вѣдь точно, васъ вчера здѣсь не было.— Василиса присѣла на корточки и начала рыться въ сундукѣ.... Тетка! А тетка!

— Че-а-во?

— Ты, что̀-ль, взяла мою косынку?

— Какую косынку?

— А желтую.

— Желтую?

— Да, желтую, съ разводами.

— Нѣтъ, не брала.

Пѣтушковъ нагнулся къ Василисѣ.

— Послушай, Василиса, меня; послушай-ка, что̀ я тебѣ скажу. Теперь дѣло идетъ не о ливерахъ да о косынкахъ; этимъ вздоромъ можно и въ другое время заняться.

Василиса не тронулась съ мѣста и только подняла голову.

— Ты скажи мнѣ, по чистой совѣсти, любишь ли ты меня, или нѣтъ? Вотъ что̀ я желаю знать наконецъ!

— Ахъ, какой же вы, Иванъ Аѳанасьичъ.... Ну да, разумѣется.

— А коли любишь, какъ же это ты ко мнѣ вчера не

зашла? Некогда было? Ну, прислала бы узнать, что́, дескать, не боленъ ли я, что меня нѣту? А тебѣ и горюшка мало. Я хоть тамъ, пожалуй, умирай себѣ, ты и не пожалѣешь.

— Эхъ, Иванъ Аѳанасьичъ, не все-жъ про одно думать; работать надобно.

— Оно, конечно, возразилъ Пѣтушковъ:—а все-таки.... И надъ старшими смѣяться не слѣдуетъ.... Нехорошо. Притомъ не мѣшаетъ въ извѣстныхъ случаяхъ.... А гдѣ же моя трубка?

— Вотъ ваша трубка.

Пѣтушковъ началъ курить.

VII.

Нѣсколько дней протекло снова повидимому довольно мирно. Но гроза приближалась. Пѣтушковъ мучился, ревновалъ, не спускалъ глазъ съ Василисы, тревожно наблюдалъ за ней, надоѣдалъ ей страшно. Вотъ, однажды вечеромъ, Василиса одѣлась тщательнѣе обыкновеннаго и, улучивъ удобное мгновенье, отправилась куда-то въ гости. Наступила ночь: она не возвращалась. Пѣтушковъ на зарѣ пришелъ къ себѣ на квартиру и въ 8-мъ часу утра побѣжалъ въ булочную.... Василиса не приходила. Съ невыразимымъ замираньемъ сердца ожидалъ онъ ее до самаго обѣда.... за столъ сѣли безъ нея....

— Куда это она запропастилась? равнодушно проговорила Прасковья Ивановна....

— Вы ее балуете, вы ее просто совершенно избалуете! съ отчаяньемъ повторялъ Пѣтушковъ.

— И! батюшка! за дѣвкой не усмотришь! отвѣчала Прасковья Ивановна.—Богъ съ ней! Лишь бы свое дѣло дѣлала.... Отчего же человѣку и не погулять....

Морозъ подиралъ по кожѣ Ивана Аѳанасьича. Наконецъ къ вечеру явилась Василиса. Онъ только этого и ожидалъ. Торжественно поднялся Пѣтушковъ съ своего мѣста, сложилъ руки, грозно нахмурилъ брови.... Но Василиса смѣло взглянула ему въ глаза, нагло засмѣялась и, не давши ему выговорить слова, проворно вошла въ свою комнату и заперлась. Иванъ Аѳанасьичъ раскрылъ ротъ, съ изумленіемъ посмотрѣлъ на Прасковью Ивановну.... Прасковья Ивановна опустила глаза. Иванъ Аѳанасьичъ постоялъ немного, ощупью сыскалъ фуражку, надѣлъ ее криво на голову и вышелъ, не закрывши рта.

Онъ пришелъ домой, взялъ кожаную подушку и вмѣстѣ съ нею бросился на диванъ, лицомъ къ стѣнѣ. Онисимъ выглянулъ изъ передней, вошелъ въ комнату, прислонился къ двери, понюхалъ табаку, скрестилъ ноги.

— Аль нездоровы, Иванъ Аѳанасьичъ? спросилъ онъ Пѣтушкова.

Пѣтушковъ не отвѣчалъ.

— За дохтуромъ сходить прикажете? продолжалъ, погодя немного, Онисимъ.

— Я здоровъ.... Ступай, глухо проговорилъ Иванъ Аѳанасьичъ.

— Здоровы?... нѣтъ, вы нездоровы, Иванъ Аѳанасьичъ.... Какое это здоровье?

Пѣтушковъ помолчалъ.

— Вы посмотрите лучше на себя. Вѣдь вы такъ исхудали, что просто на себя не стали похожи. А все изъ-за чего? Какъ подумаешь, такъ, ей-Богу, умъ за разумъ заходитъ. А еще благородные!

Онисимъ помолчалъ.... Пѣтушковъ не шевелился.

— Развѣ такъ благородные поступаютъ? Ну, пошалили бы.... почему-жъ бы и не такъ.... пошалили бы, да и за

щеку. А то что́? Вотъ ужъ точно можно сказать: полюбится сатана пуще яснаго сокола̀.

Ивана Аѳанасьича только покоробило.

— Ну, право же такъ, Иванъ Аѳанасьичъ. Другой бы мнѣ сказалъ про васъ: вотъ что́, вотъ что́, вотъ какія дѣла.... Я бы ему сказалъ: дуракъ ты, поди прочь, за кого ты меня принимаешь? Чтобы я этому повѣрилъ? Я и теперь самъ вижу, да не вѣрю. Вѣдь ужъ хуже этого быть ничего не можетъ. Зелья, что ли, она какого дала вамъ? Вѣдь что́ въ ней? Коли такъ разсудить, совершенные пустяки, просто плюнуть стоитъ. И говорить-то она порядочно не умѣетъ.... Ну, просто, дѣвка какъ дѣвка! Еще хуже!

— Ступай, простоналъ Иванъ Аѳанасьичъ въ подушку.

— Нѣтъ, я не пойду, Иванъ Аѳанасьичъ. Кому-жъ говорить, коли не мнѣ? Что́, въ самомъ дѣлѣ? Вотъ вы теперь сокрушаетесь.... а изъ чего? Ну, изъ чего? помилуйте, скажите.

— Да ступай же, Онисимъ, опять простоналъ Пѣтушковъ.

Онисимъ, для приличія, помолчалъ немного.

— И вѣдь то сказать, началъ онъ опять:—она благодарности никакой не чувствуетъ. Другая бы не знала, какъ вамъ угодить; а она!... она и не думаетъ о васъ. Вѣдь это просто срамъ. Вѣдь что́ о васъ говорятъ, и пересказать нельзя. Меня даже стыдятъ. Ну, кабы я это прежде могъ знать, ужъ я-жъ бы ее....

— Да ступай же наконецъ, чортъ! закричалъ Пѣтушковъ, не трогаясь впрочемъ съ мѣста и не поднимая головы.

— Иванъ Аѳанасьичъ, помилуйте, продолжалъ неумолимый Онисимъ.—Я для вашего добра. Плюньте, Иванъ

Аѳанасьичъ, просто плюньте, послушайтесь меня. А нетò я бабку приведу: отговоритъ какъ-разъ. Сами потомъ смѣяться будете; скажете мнѣ: Онисимъ, а вѣдь удивительно, какъ это бываетъ иногда! Ну, сами посудите: вѣдь такихъ, какъ она, у насъ какъ собакъ.... только свисни....

Какъ бѣшеный вскочилъ Пѣтушковъ съ дивана.... но къ изумленію Онисима, уже поднявшаго обѣ руки въ уровень своихъ ланитъ, сѣлъ опять, словно кто ноги ему подкосилъ.... По блѣдному его лицу катились слезы, косичка волосъ торчала на темени, глаза глядѣли мутно.... искривленныя губы дрожали.... голова упала на грудь.

Онисимъ посмотрѣлъ на Пѣтушкова и тяжко бросился на колѣни.

— Батюшка, Иванъ Аѳанасьичъ, воскликнулъ онъ:— ваше благородіе! Извольте наказать меня, дурака! Я васъ обезпокоилъ, Иванъ Аѳанасьичъ.... Да какъ я смѣлъ! Извольте наказать меня, ваше благородіе.... Стóитъ вамъ плакать отъ моихъ глупыхъ рѣчей.... батюшка, Иванъ Аѳанасьичъ....

Но Пѣтушковъ даже не глядѣлъ на своего слугу, отвернулся и забился опять въ уголъ дивана.

Онисимъ поднялся, подошелъ къ барину, постоялъ надъ нимъ, раза два хватилъ себя за волосы.

— Не хотите ли, батюшка, раздѣться.... въ постель бы легли.... малины бы покушали.... не извольте печалиться.... Это только съ полу-горя, это все ничего.... все пойдетъ на ладъ, говорилъ онъ ему черезъ каждыя двѣ минуты....

Но Пѣтушковъ не поднимался съ дивана и только изрѣдка пожималъ плечами, подводилъ колѣни къ животу....

Онисимъ всю ночь не отходилъ отъ него. Къ утру Пѣтушковъ заснулъ, но спалъ недолго. Часовъ въ семь

всталъ онъ съ дивана, блѣдный, взъерошенный, усталый,—потребовалъ чаю.

Онисимъ подобострастно и проворно поставилъ самоваръ.

— Иванъ Аѳанасьичъ, заговорилъ онъ наконецъ робкимъ голосомъ:—вы на меня не изволите гнѣваться?

— За что́-жъ я буду гнѣваться на тебя, Онисимъ? отвѣчалъ бѣдный Пѣтушковъ. — Ты вчера былъ совершенно правъ, и я совершенно съ тобой во всемъ согласенъ.

— Я только изъ усердія, Иванъ Аѳанасьичъ....

— Я знаю, что изъ усердія.

Пѣтушковъ замолчалъ и опустилъ голову.

Онисимъ видѣлъ, что дѣло неладно.

— Иванъ Аѳанасьичъ, заговорилъ онъ вдругъ.

— Что́?

— Хотите, я Василису позову сюда.

Пѣтушковъ покраснѣлъ.

— Нѣтъ, Онисимъ, не хочу. (Да! какъ бы не такъ! придетъ она! подумалъ онъ про себя). — Надобно показать твердость. Это все вздоръ. Вчера я, того.... Это срамъ. Ты правъ. Надобно все это прекратить, какъ говорится, разомъ. Не правда ли?

— Сущую правду изволите говорить, Иванъ Аѳанасьичъ.

Пѣтушковъ опять погрузился въ думу. Онъ самъ себѣ дивился, словно не узнавалъ себя. Онъ сидѣлъ неподвижно и глядѣлъ на полъ. Мысли въ немъ волновались, словно дымъ или туманъ, а въ груди было пусто и тяжело въ одно время.

— Да что́-жъ это такое наконецъ? думалъ онъ иногда, и опять затихалъ. — Пустяки, баловство! говорилъ онъ вслухъ и поводилъ рукой по лицу, отряхался, и рука

его снова падала на колѣни, глаза опять останавливались на полу.

Онисимъ внимательно и печально глядѣлъ на своего господина.

Пѣтушковъ поднялъ голову.

— А скажи-ка мнѣ, Онисимъ, заговорилъ онъ:—правда ли, точно бываютъ такія приворотныя зелья?

— Бываютъ-съ, какже-съ, возразилъ Онисимъ и выставилъ ногу впередъ. — Вотъ хоть бы извольте знать унтера Круповатаго?... У него братъ отъ приворота пропалъ. И приворотили-то его къ бабѣ старой, къ поварихѣ, вотъ что́ извольте разсудить! Дали съѣсть простой кусокъ ржаного хлѣба, съ наговоромъ разумѣется. Вотъ и врѣзался Круповатовскій братъ по уши въ повариху, такъ и бѣгалъ всюду за поварихой, души въ ней не чаялъ, наглядѣться не могъ. Бывало, что́ она ему ни скомандуй, онъ тотчасъ и повинуется. Даже при другихъ, при чужихъ людяхъ она имъ щеголяла. Ну, и вогнала его наконецъ въ чахотку. Такъ и умеръ Круповатовскій братъ. А вѣдь повариха была, да еще и старая, престарая. (Онисимъ понюхалъ табаку). — Чтобъ имъ пусто было, всѣмъ этимъ дѣвкамъ и бабамъ!

— Она меня вовсе не любитъ, это наконецъ ясно, это наконецъ никакому сомнѣнію не подвержено, бормоталъ вполголоса Пѣтушковъ, дѣлая притомъ такія движенія головой и руками, какъ-будто объяснялъ совершенно постороннему человѣку совершенно постороннее дѣло.

— Да, продолжалъ Онисимъ: — бываютъ такія бабы.

— Бываютъ? уныло повторилъ Пѣтушковъ, не то́ спрашивая, не то́ недоумѣвая.

Онисимъ внимательно посмотрѣлъ на своего господина.

— Иванъ Аѳанасьичъ, началъ онъ — вы бы перекусили чего?

— Перекусилъ бы? повторилъ Пѣтушковъ.

— А тó, можетъ, трубки не угодно ли?

— Трубки? повторилъ Пѣтушковъ.

— Вотъ оно куда пошло, проворчалъ Онисимъ; зацѣпило, значитъ.

VIII.

Стукъ сапоговъ раздался въ передней — а тамъ послышался обычный сдержанный кашель, увѣдомляющій о прибытіи подчиненнаго лица. — Онисимъ вышелъ и тотчасъ же вернулся въ сопровожденіи крошечнаго гарнизоннаго солдата съ старушечьимъ лицомъ, въ изношенной до желтизны и заплатанной шинели, безъ брюкъ и безъ галстуха. Пѣтушковъ встрепенулся — а солдатъ вытянулся, пожелалъ ему «здравья», и вручилъ ему большой конвертъ, запечатанный казенною печатью. — Въ этомъ конвертѣ находилась записка отъ маіора, командовавшаго гарнизономъ: онъ требовалъ къ себѣ Пѣтушкова немедленно и безотлагательно.

Пѣтушковъ повертѣлъ записку въ рукахъ — и не могъ удержаться, чтобы не спросить посланца: «не извѣстно ли ему, зачѣмъ маіоръ его къ себѣ требуетъ?» — хотя очень хорошо понималъ всю безполезность своего вопроса.

— Не могимъ знать! усиленно, но чуть слышно, словно съ просонья, крикнулъ солдатъ.

— А другихъ господъ офицеровъ къ себѣ онъ не требуетъ? продолжалъ Пѣтушковъ.

— Не могимъ знать! вторично, тѣмъ же голосомъ, крикнулъ солдатъ.

— Ну хорошо, ступай, промолвилъ Пѣтушковъ.

Солдатъ сдѣлалъ налѣво кругомъ, при чемъ топнулъ ногой и хлопнулъ себя ладонью пониже спины (въ двадцатыхъ годахъ это было въ модѣ) — и удалился.

Пѣтушковъ молча переглянулся съ Онисимомъ, который вдругъ принялъ озабоченный видъ—и отправился къ маіору.

Маіоръ этотъ былъ человѣкъ лѣтъ шестидесяти, тучный и неуклюжій, съ отёкшимъ и краснымъ лицомъ, съ короткой шеей, съ постоянной дрожью въ пальцахъ, происходившей отъ излишняго употребленія водки. Онъ принадлежалъ къ числу такъ-называемыхъ «бурбоновъ», то-есть выслужившихся солдатъ, на тридцатомъ году выучился грамотѣ и говорилъ съ трудомъ, частью вслѣдствіе одышки, частью отъ неспособности уразумѣть собственную мысль. Темпераментъ его являлъ всѣ извѣстныя въ наукѣ видоизмѣненія: утромъ до водки, онъ былъ меланхоликомъ; въ серединѣ дня — холерикомъ, а къ вечеру — флегматикомъ, то-есть, онъ тогда только сопѣлъ и мычалъ, пока его не клали въ постель. Иванъ Аѳанасьичъ явился къ нему во время холерическаго періода. Онъ засталъ его сидящимъ на диванѣ въ шлафрокѣ на распашку и съ трубкою въ зубахъ. Толстый корноухій котъ помѣстился съ нимъ рядомъ.

— Ага! пожаловалъ! проворчалъ маіоръ, искоса вскинувъ на Пѣтушкова свои оловянные глазки и не трогаясь съ мѣста. — Ну-ка, садитесь; — ну-ка, я васъ хорошенько. — Я ужъ давно до вашего брата добирался.... да.

Пѣтушковъ опустился на стулъ.

— Потому, заговорилъ маіоръ съ неожиданнымъ порывомъ всего тѣла: — вѣдь вы офицеръ; такъ ужъ и вести себя надо, какъ приказано. — Коли бы вы были сол-

дать — я бы просто выпоролъ васъ — да и шабашъ; а то вы офицеръ. На что̀ это похоже? Срамиться — развѣ это хорошо?

— Позвольте узнать, къ чему ведутъ сіи намёки, началъ-было Пѣтушковъ....

— А у меня не разсуждать! Я это смерть не люблю. — Сказано: не люблю; ну и всё тутъ! Вонъ у васъ и крючки не по формѣ; что за срамъ! — Сидитъ день-деньской въ булочной; а ещё благородный! Юбка тамъ завелась — вотъ онъ и сидитъ. — Ну пусть бы её, юбку, къ чорту! — А то̀, говорятъ, самъ хлѣбы въ печь сажаетъ.—Мундиръ мараетъ.... да.

— Позвольте доложить, промолвилъ Пѣтушковъ, у котораго на̀ сердцѣ захолонуло — что это всё, сколько я могу сообразить, относится къ частной, такъ-сказать, жизни....

— Не разсуждать у меня, говорятъ! — Частная жизнь — ещё толкуетъ! — Коли бы по службѣ что̀ вышло, я бы васъ прямо на *гу*бвахту! — Аллё марширъ! — Потому — присяга. — На меня самого, можетъ, цѣлую березовую рощу извели: такъ ужъ я службу-то знаю; всѣ эти порядки мнѣ очинно извѣстны. А то надо понять: это я собственно на счётъ мундира. Мараешь мундиръ— да. Это я какъ отецъ... да. — Потому мнѣ это всё поручено. Я отвѣчать должо̀нъ. — А вы еще тутъ разсуждаете! крикнулъ со внезапной неистовостью маіоръ, и лицо его побагровѣло, и пѣна показалась на губахъ, а котъ поднялъ хвостъ и соскочилъ на полъ. — Да знаете ли вы.... Да знаете ли, что я могу.... всё могу? всё, все! — Да понимаете ли вы, съ кѣмъ вы говорите? — Начальство приказываетъ — а вы разсуждать! Начальство.... начальство!...

Тутъ маіоръ даже закашлялся и захрипѣлъ — а бѣдный Пѣтушковъ только выпрямливался и блѣднѣлъ, сидя на краюшкѣ стула.

— Чтобъ у меня.... продолжалъ маіоръ, повелительно взмахивая дрожащей рукою: — чтобы всё.... по стрункѣ у меня! Поведенцъ первый сортъ! — Безпорядковъ не потерплю! Знаться можешь съ кѣмъ угодно — я на это наплевать! Но коли ты благородный — ну, такъ ужъ и того... дѣйствуй! — Хлѣба въ печку у меня не сажать! Бабу мокроподолую тёткой не называть! Мундиръ не марать! Молчать! Не разсуждать!

Голосъ маіора прервался. Онъ перевелъ духъ и, обернувшись къ двери передней, закричалъ:—Фролка подлецъ! Селёдки!

Пѣтушковъ проворно поднялся и выскочилъ вонъ, чуть не сбивши съ ногъ бѣжавшаго ему на встрѣчу казачка, съ рѣзанной селедкой и крупнымъ графиномъ водки на желѣзномъ подносѣ.

«Молчать! не разсуждать!» раздавались вслѣдъ Пѣтушкову отрывистыя восклицанья раздраженнаго начальника.

IX.

Странное чувство овладѣло Иваномъ Аѳанасьичемъ, когда онъ вдругъ очутился на улицѣ.

— Да что̀ это я словно во снѣ хожу? думалъ онъ про себя: съ ума я сошелъ, что̀ ли? Вѣдь это, наконецъ, невѣроятно. Ну, чортъ возьми, разлюбила меня, ну, и я ее разлюбилъ, ну и.... Что̀-жъ тутъ необыкновеннаго?

Пѣтушковъ нахмурилъ брови.

— Надобно это кончить наконецъ, сказалъ онъ почти вслухъ: — пойду и объяснюсь рѣшительно въ послѣдній разъ, чтобъ ужъ и помину потомъ не было.

Пѣтушковъ скорыми шагами отправился въ булочную. Племянникъ работника Луки, маленькій мальчишка, другъ и наперсникъ проживавшаго на дворѣ козла, проворно вскочилъ въ калитку, лишь только завидѣлъ издали Ивана Аѳанасьича.

Прасковья Ивановна вышла на встрѣчу Пѣтушкову.

— Племянницы вашей нѣту дома? спросилъ Пѣтушковъ.

— Никакъ нѣтъ-съ.

Пѣтушковъ внутренно обрадовался отсутствію Василисы.

— Я пришелъ съ вами объясниться, Прасковья Ивановна.

— О чемъ это, батюшка!

— А вотъ о чемъ. Вы понимаете, что послѣ всего... произошедшаго.... послѣ подобнаго, такъ-сказать, поступка (Пѣтушковъ немного смѣшался).... словомъ сказать.... Но однако вы на меня, пожалуйста, не сердитесь.

— Такъ-съ.

— Напротивъ, войдите въ мое положеніе, Прасковья Ивановна.

— Такъ-съ.

— Вы женщина разсудительная, вы сами поймете, что.... что мнѣ уже больше нельзя къ вамъ ходить.

— Такъ-съ, протяжно повторила Прасковья Ивановна.

— Повѣрьте, я очень сожалѣю; признаюсь, мнѣ даже больно, истинно больно....

— Вамъ лучше знать-съ, спокойно возразила Прасковья Ивановна.—Въ вашей волѣ-съ. А вотъ, позвольте, я счетецъ вамъ подамъ-съ.

Пѣтушковъ никакъ не ожидалъ такого скораго согласія. Онъ вообще и не желалъ «согласія»; онъ хотѣлъ-было только напугать Прасковью Ивановну и въ особенности Василису. Ему становилось жутко.

— Я знаю, заговорилъ онъ: Василисѣ это нисколько не будетъ непріятно; напротивъ, я думаю, она будетъ рада.

— Прасковья Ивановна достала счеты и начала стучать костяшками.

— Съ другой стороны, продолжалъ все болѣе и болѣе взволнованный Пѣтушковъ: если-бъ, напримѣръ, Василиса объяснила мнѣ свое поведеніе.... можетъ быть.... я.... хотя конечно.... я не знаю, можетъ быть я бы увидалъ, что тутъ собственно нѣтъ никакой вины.

— За вами, батюшка, тридцать семь рублей сорокъ копѣекъ ассигнаціею, заговорила Прасковья Ивановна.— Вотъ, не угодно ли повѣрить?

Иванъ Аѳанасьичъ не отвѣчалъ ни слова.

— Восемнадцать обѣдовъ по семи гривенъ за каждый: двѣнадцать рублей шесть гривенъ.

— Итакъ, мы разстаемся съ вами, Прасковья Ивановна?

— Что-жъ, батюшка, дѣлать? Такіе ли бываютъ случаи? Двѣнадцать самоваровъ по гривенничку....

— Но скажите хоть вы мнѣ, Прасковья Ивановна, куда это ходила Василиса, и зачѣмъ это она....

— А я, батюшка, ея не разспрашивала.... Рубль двадцать копѣекъ серебряною монетой.

Иванъ Аѳанасьичъ задумался.

— Квасу и кислыхъ щей, продолжала Прасковья Ивановна, отдѣляя костяшки на счетахъ не указательнымъ, а третьимъ пальцемъ:—на полтину серебромъ. Къ чаю сахару и булокъ на полтину серебромъ. Четыре картуза табаку куплено по вашему приказанію: восемь гривенъ серебромъ. Портному Купріяну Аполлонову....

Иванъ Аѳанасьичъ вдругъ поднялъ голову, протянулъ руку и смѣшалъ кости.

— Что-жъ это вы, батюшка, дѣлаете! заговорила Прасковья Ивановна.—Али мнѣ не вѣрите?

— Прасковья Ивановна, возразилъ Пѣтушковъ, торопливо улыбаясь:—я раздумалъ. Я такъ, знаете, пошутилъ. Останемся-ка лучше пріятелями по старому! Чтó за пустяки! Какъ можно намъ съ вами разстаться, скажите пожалуйста?

Прасковья Ивановна опустила голову и не отвѣчала ему.

— Ну, повздорили — и кончено, продолжалъ Иванъ Аѳанасьичъ, похаживая по комнатѣ, потирая руки и какъ бы снова вступая въ прежнія права.— Аминь! а вотъ я лучше трубочку выкурю.

Прасковья Ивановна все не трогалась съ мѣста....

— Я вижу, вы на меня сердитесь, сказалъ Пѣтушковъ. — Я можетъ быть васъ обидѣлъ. Ну, что-жъ? простите великодушно.

— Какое, батюшка, обидѣлъ! Какая тутъ обида?... Только ужъ вы, батюшка, пожалуйста, прибавила Прасковья Ивановна, кланяясь:—не извольте больше къ намъ ходить.

— Какъ?!

— Не слѣдъ намъ, батюшка, съ вами знаться, ваше благородіе. Ужъ, пожалуйста, сдѣлайте милость....

Прасковья Ивановна продолжала кланяться.

— Отчего же? пробормоталъ изумленный Пѣтушковъ.

— Да ужъ такъ, батюшка. Окажите божескую милость.

— Да нѣтъ, Прасковья Ивановна, надобно объясниться..!.

— Василиса, батюшка, васъ проситъ. Говоритъ: «благодарна, очинно благодарна, и чувствую»; только ужъ впередъ, ваше благородіе, увольте.

Прасковья Ивановна чуть не въ ноги поклонилась Пѣтушкову.

— Василиса, вы говорите, меня просить не ходить?

— Именно такъ батюшка, ваше благородіе. Какъ вы сегодня изволили пожаловать, да какъ заговорили, что, дескать, не желаете больше посѣщать то-есть насъ, я такъ, батюшка, и обрадовалась, думаю: вотъ и славу Богу, вотъ какъ оно ладно пришлось. А то у меня у самой языкъ бы не повернулся.... Окажите милость, батюшка.

Пѣтушковъ покраснѣлъ и поблѣднѣлъ почти въ одно мгновенье. Прасковья Ивановна все продолжала кланяться....

— Очень хорошо, рѣзко воскликнулъ Иванъ Аѳанасьичъ. —Прощайте.

Онъ круто повернулся и надѣлъ фуражку.

— А счетецъ-то, батюшка....

— Пришлите.... мой деньщикъ вамъ заплатитъ.

Пѣтушковъ вышелъ твердой поступью изъ булочной и даже не оглянулся.

X.

Прошли двѣ недѣли. Сначала Пѣтушковъ храбрился чрезвычайно, выходилъ, посѣщалъ своихъ товарищей, исключая, разумѣется, Бублицына, но, несмотря на преувеличенныя похвалы Онисима, чуть не сошелъ наконецъ съ ума отъ тоски, ревности и скуки. Одни разговоры съ Онисимомъ о Василисѣ доставляли ему нѣкоторую отраду. Начиналъ разговоръ, «задиралъ» всегда Пѣтушковъ: Онисимъ неохотно отвѣчалъ ему.

— А вѣдь странное дѣло, говорилъ, напримѣръ, Иванъ Аѳанасьичъ, лежа на диванѣ, межъ тѣмъ какъ Онисимъ, по обыкновенію, стоялъ прислонившись къ двери, скрестивъ руки за спину:—какъ подумаешь: ну, что́ я нашелъ

въ этой дѣвушкѣ? Кажется, ничего необыкновеннаго въ ней нѣтъ. Правда, она добра. Этого нельзя у ней отнять.

— Какое—добра! съ неудовольствіемъ отвѣчалъ Онисимъ.

— Ну нѣтъ, Онисимъ, продолжалъ Пѣтушковъ:—надо правду говорить. Теперь оно дѣло прошлое; мнѣ теперь все равно, но что́ справедливо, то справедливо. Ты ея не знаешь. Она предобрѣйшая. Ни одного нищаго не пропуститъ такъ: хоть корку хлѣба, а дастъ. Ну, и нрава она веселаго—это тоже надобно сказать.

— Вотъ еще что́ выдумали! Гдѣ нашли веселый нравъ!

— Я тебѣ говорю.... ты ея не знаешь. И безсребренница тоже она.... это тоже. Не интересанка, нечего сказать. Ну, хоть бы я ей—ничего вѣдь не давалъ, ты самъ знаешь.

— Оттого-то она васъ и бросила.

— Нѣтъ, не оттого! со вздохомъ отвѣчалъ Пѣтушковъ.

— Да вы въ нее до сихъ поръ влюби*мши*, ядовито возражалъ Онисимъ.—Вы бы рады опять за прежнее.

— Вотъ ужъ это ты пустяки сказалъ. Нѣтъ, братъ, ты меня тоже, видно, не знаешь. Меня же прогнали, да я же пойду кланяться. Нѣтъ, извини. Нѣтъ, я тебѣ говорю, повѣрь мнѣ, это все теперь дѣло прошлое.

— Дай Богъ! дай Богъ!

— Но почему-жъ мнѣ теперь и не отдать ей справедливости наконецъ? Ну, что-жъ я скажу, что она собой нехороша,—ну, кто-жъ мнѣ повѣритъ?

— Вотъ нашли красавицу!

— Ну, найди мнѣ, — ну, назови кого-нибудь лучше ея....

— Ну, такъ пойдите къ ней опять!...

— Эка! Да я развѣ для того это говорю, что́ ли? Ты меня пойми....

— Охъ! понимаю я васъ, съ тяжёлымъ вздохомъ отвѣчалъ Онисимъ....

Прошла еще недѣля. Пѣтушковъ пересталъ даже разговаривать съ своимъ Онисимомъ, пересталъ выходить. Съ утра до вечера лежалъ онъ на диванѣ, закинувъ руки за голову. Сталъ онъ худѣть и блѣднѣть, ѣлъ неохотно и торопливо, трубки вовсе не курилъ. Онисимъ только головой покачивалъ, глядя на него.

— А вѣдь вамъ нехорошо, Иванъ Аѳанасьичъ, говорилъ онъ ему не разъ.

— Нѣтъ, ничего, возражалъ Пѣтушковъ.

— Наконецъ, въ одинъ прекрасный день (Онисима не было дома) Пѣтушковъ всталъ, пошарилъ у себя въ комодѣ, надѣлъ шинель, хотя солнце пекло порядкомъ, украдкой вышелъ на улицу и черезъ четверть часа опять вернулся.... Онъ что-то несъ подъ шинелью....

Онисима не было дома. Цѣлое утро онъ всё сидѣлъ у себя въ коморкѣ, разсуждалъ самъ съ собой, ворчалъ и ругался сквозь зубы и наконецъ отправился къ Василисѣ.

Онъ засталъ ее въ булочной. Прасковья Ивановна спала на печи, мѣрно и томно похрапывая.

— Ахъ, здравствуйте, Онисимъ Сергѣичъ, съ улыбкой проговорила Василиса:—что́ давно не видать?

— Здорово.

— Что́ вы такіе невеселые? Чайку не хотите ли?

— Не обо мнѣ теперь рѣчь, съ досадой возразилъ Онисимъ.

— А что́?

— Что́! Не понимаешь меня, что ли? Что́! Что̀ ты надѣлала съ моимъ бариномъ, вотъ что́ мнѣ скажи.

— Что́ такое я надѣлала?

— Что̀ такое ты надѣлала.... Поди-ка, посмотри на него. Вѣдь онъ того и гляди, что занеможетъ аль и совсѣмъ умретъ.

— Чѣмъ же я виновата, Онисимъ Сергѣичъ?

— Чѣмъ! Богъ тебя знаетъ. Вишь онъ въ тебѣ души не чаетъ. А ты съ нимъ какъ съ своимъ братомъ, прости Господи, обошлась. Не ходи, дескать: надоѣлъ. Вѣдь онъ хоть и неважный, а все же господинъ. Вѣдь онъ благородный.... Понимаешь ты это?

— Да онъ такой скучный, Онисимъ Сергѣичъ....

— Скучный! А тебѣ все веселыхъ нужно.

— Да и не то, что скучный: такой сердитый, ревнивый такой.

— Ахъ, ты, астраханская царевна Миликитриса! Вишь онъ обезпокоилъ тебя!

— Да вы сами, Онисимъ Сергѣичъ, помнится, на него сердились, зачѣмъ, дескать, знается, зачѣмъ все ходитъ?

— А что-жъ хвалить его надо было за это, что ли?

— Ну, такъ за что же вы теперь на меня осерчали? Вотъ и ходить пересталъ.

Онисимъ даже ногою топнулъ.

— Да что-жъ мнѣ съ нимъ дѣлать, коли онъ такой сумасшедшій, прибавилъ онъ, понизивъ голосъ.

— Такъ чѣмъ же я виновата? Чѣмъ же я помочь-то могу.

— А вотъ чѣмъ: пойдемъ-ка со мной къ нему.

— Сохрани Господи!

— Отчего же ты не пойдешь?

— Да зачѣмъ же я пойду къ нему? помилуйте.

— Зачѣмъ? А затѣмъ, что вотъ онъ говоритъ, что ты добрая; посмотрю я, какая ты добрая.

— Да какое же добро я могу ему сдѣлать?

— Ну, ужъ про это я знаю. Стало-быть плохо, коли я къ тебѣ пришелъ. Видно ужъ другого средств*ія* не придумалъ.

Онисимъ помолчалъ немного.

— Ну, пойдемъ, Василиса, пожалуйста, пойдемъ.

— Да Онисимъ Сергѣичъ, я не желаю съ ними опять знаться....

— Да и не нужно—кто тебѣ говоритъ? Такъ, слова два скажи: дескать, что изволите печалиться.... полноте.... Вотъ и все.

— Право, Онисимъ Сергѣичъ....

— Да что-жъ, мнѣ кланяться тебѣ, что ли? Ну, изволь—вотъ тебѣ и поклонъ.... нá тебѣ поклонъ.

— Да право же....

— Вѣдь экая! И честь-то её не беретъ!...

Василиса наконецъ согласилась, накинула платокъ на голову и ушла вмѣстѣ съ Онисимомъ.

— Постой-ка немного здѣсь, въ передней, сказалъ онъ ей, когда они пришли на квартиру Пѣтушкова. — А, я пойду барину доложу....

Онъ вошелъ къ Ивану Аѳанасьичу.

Пѣтушковъ стоялъ посреди комнаты, заложивъ обѣ руки въ карманы, преувеличенно растопыривъ ноги и слегка покачиваясь взадъ и впередъ. Лицо его пылало, глаза сіяли.

— Здравствуй, Онисимъ, дружелюбно залепеталъ онъ, очень плохо и вяло выговаривая согласныя буквы:—здравствуй, братецъ. А я, братъ безъ тебя.... хе, хе, хе.... Пѣтушковъ засмѣялся и клюнулъ носомъ впередъ.—Вотъ ужъ подлинно, хе, хе, хе.... Впрочемъ, прибавилъ онъ, стараясь принять важный видъ:—я ничего. Онъ поднялъ-было ногу, но чуть не упалъ и для контенансу проговорилъ басомъ:—Человѣкъ, дай трубку!

Онисимъ съ изумленіемъ посмотрѣлъ на своего барина, взглянулъ кругомъ.... На окнѣ стояла пустая, темнозеленая бутылка съ надписью: «Ромъ Ямайскій самый лучшій».

— Хватилъ, братъ, да и только, продолжалъ Пѣтушковъ. — Взялъ, да хватилъ. Хватилъ, да и все тутъ. А ты гдѣ былъ? разскажи.... нестыдись.... разскажи. Ты хорошо разсказываешь.

— Иванъ Аѳанасьичъ, помилуйте, завопилъ Онисимъ.

— Изволь. И это изволь. Милую, милую, и прощаю, возразилъ Пѣтушковъ, неопредѣленно помахивая рукой.— Всѣмъ прощаю, и тебѣ прощаю, и Василисѣ прощаю, и всѣмъ, всѣмъ прощаю. А я, братъ, хватилъ.... Хва-а-тилъ, братъ.... Кто это? внезапно вскрикнулъ онъ, указывая на дверь передней:—кто тамъ?

— Никого тамъ нѣтъ, торопливо отвѣтилъ Онисимъ.— Кому тамъ быть.... куда вы?

— Нѣтъ, нѣтъ, повторилъ Пѣтушковъ, порываясь изъ рукъ Онисима: — пусти, я видѣлъ, — ты не говори, — я тамъ видѣлъ, пусти.... Василиса! закричалъ онъ вдругъ.

Пѣтушковъ поблѣднѣлъ.

— Ну.... ну, что-жъ ты не входишь? заговорилъ онъ наконецъ.—Войди, Василиса, войди. Я очень тебѣ радъ, Василиса.

Василиса взглянула на Онисима—и вошла въ комнату. Пѣтушковъ приблизился къ ней.... Онъ дышалъ глубоко и рѣдко. Онисимъ наблюдалъ за нимъ. Василиса боязливо косилась на обоихъ.

— Садись, Василиса, заговорилъ опять Иванъ Аѳанасьичъ: спасибо тебѣ, что пришла. Извини, что я.... какъ бы это сказать?... этакъ въ неприличномъ видѣ. Я не могъ предвидѣть, никакъ не могъ, согласись сама. Ну, садись же, вотъ хоть здѣсь на диванѣ.... Такъ, кажется, я выражаюсь?

Василиса сѣла.

— Ну, здравствуй, продолжалъ Пѣтушковъ. — Ну, какъ поживаешь? что́ дѣлала хорошаго!

— Я слава Богу, Иванъ Аѳанасьичъ. Какъ вы?

— Я? какъ видишь! Убитъ. И кѣмъ убитъ? Тобой убитъ, Василиса. Но я на тебя не сержусь. Только я убитъ. Вотъ спроси хоть у этого. (Онъ указалъ на Онисима). Ты не гляди, что я пьянъ. Я точно пьянъ; только я убитъ. Оттого и пьянъ, что убитъ.

— Помилуй Богъ, Иванъ Аѳанасьичъ!

— Убитъ, Василиса, ужъ я тебѣ говорю. Ты мнѣ вѣрь. Я тебя никогда не обманывалъ. Ну, что̀ твоя тетка здорова?

— Здорова, Иванъ Аѳанасьичъ. Много благодарны.

Пѣтушковъ начиналъ сильно покачиваться.

— Да вы-то нездоровы сегодня, Иванъ Аѳанасьичъ. Вы бы легли.

— Нѣтъ, я здоровъ, Василиса. Нѣтъ, ты не говори, что я не здоровъ, а ты лучше скажи, что въ развратъ я вдался, нравственность потерялъ. Вотъ это будетъ справедливо. Противъ этого я спорить не буду.

Ивана Аѳанасьича качнуло назадъ. Онисимъ подскочилъ и поддержалъ своего барина.

— А кто виноватъ? Хочешь, я скажу тебѣ кто̀ виноватъ? Я виноватъ, я первый. Мнѣ бы что̀ слѣдовало сдѣлать? мнѣ бы слѣдовало тебѣ сказать: Василиса, я тебя люблю. Ну, хорошо. Ну, хочешь за меня замужъ? Хочешь? Правда, ты мѣщанка, положимъ; ну да это ничего. Это бываетъ. Вотъ и у меня, тамъ, былъ знакомый: тоже этакъ женился. Чухонку взялъ. Взялъ да и женился. А со мной тебѣ было бы хорошо. Я человѣкъ добрый, ей-Богу. Ты не гляди на то, что я пьянъ, а взгляни лучше на мое сердце. Вотъ спроси хоть у этого.... человѣка. Стало-быть, виноватъ-то выхожу я. А теперь я, разумѣется, убитъ.

Иванъ Аѳанасьичъ болѣе и болѣе нуждался въ подпорѣ Онисима.

— А все-таки тебѣ грѣхъ, большой грѣхъ. Я тебя любилъ, я тебя уважалъ, я.... да ужъ что! Я и теперь готовъ хоть сейчасъ подъ вѣнецъ. Хочешь? Ты только скажи, а ужъ тамъ мы сейчасъ. А только ты меня обидѣла кровно.... кровно. Хоть бы сама отказала, а то черезъ тетку, черезъ толстую эту бабищу. Вѣдь только у меня и было радости, что ты. Вѣдь я бездомный человѣкъ, вѣдь я сирота! Кому теперь приласкать меня? кто мнѣ доброе слово молвитъ? Вѣдь я кругомъ сирота. Голъ, какъ соколъ. Спроси хоть у эт....—Иванъ Аѳанасьичъ заплакалъ. — Василиса, послушай-ка, что я тебѣ скажу, продолжалъ онъ:—позволь мнѣ, этакъ, попрежнему ходить къ тебѣ. Не бойся.... я буду, того, смирнехонько. Ты ходи къ кому тамъ знаешь, я — ничего: этакъ, безъ возраженій, знаешь. Ну, соглашаешься? Хочешь, я на колѣнки стану?—(И Иванъ Аѳанасьичъ согнулъ-было колѣни, но Онисимъ подхватилъ его подъ мышки).—Пусти меня! Не твое дѣло! Тутъ идетъ рѣчь о счастьи цѣлой, понимаешь, жизни, а ты мѣшаешь....

Василиса не знала, что́ сказать....

— Не хочешь.... Ну, какъ хочешь! Богъ съ тобой. Въ такомъ случаѣ, прощай! Прощай, Василиса. Желаю тебѣ всякаго счастія и благополучія.... а я.... а я...

И Пѣтушковъ зарыдалъ въ три ручья. Онисимъ изъ всѣхъ силъ поддерживалъ его сзади.... сперва перекосилъ лицо, потомъ самъ заплакалъ.... И Василиса тоже плакала...

XI.

Лѣтъ черезъ десять можно было встрѣтить на улицахъ городка О.... человѣка худенькаго, съ красненькимъ но-

сикомъ, одѣтаго въ старый зеленый сюртучекъ съ плисовымъ засаленнымъ воротникомъ. Онъ занималъ небольшой чуланчикъ въ извѣстной намъ булочной. Прасковьи Ивановны уже не было на свѣтѣ. Хозяйствомъ завѣдывала ея племянница, Василиса, вмѣстѣ съ мужемъ своимъ, рыжеватымъ и подслѣповатымъ мѣщаниномъ Демофонтомъ. За человѣкомъ въ зеленомъ сюртучкѣ водилась одна слабость: любилъ выпить, впрочемъ велъ себя смирно. Читатели вѣроятно узнали въ немъ Ивана Аѳанасьича.

1847 г.

ДНЕВНИКЪ ЛИШНЯГО ЧЕЛОВѢКА

Сельцо Овечьи Воды. 20 марта 18... года.

Докторъ сейчасъ уѣхалъ отъ меня. Наконецъ, добился я толку! Какъ онъ ни хитрилъ, а не могъ не высказаться наконецъ. Да, я скоро, очень скоро умру. Рѣки вскроются, и я, съ послѣднимъ снѣгомъ, вѣроятно уплыву... куда? Богъ вѣсть! Тоже въ море. Ну, что-жъ! коли умирать, такъ умирать весной. Но не смѣшно ли начинать свой дневникъ, можетъ-быть, за двѣ недѣли до смерти? Чтó за бѣда? И чѣмъ четырнадцать дней менѣе четырнадцати лѣтъ, четырнадцати столѣтій? Передъ вѣчностью, говорятъ, все пустяки—да; но въ такомъ случаѣ и сама вѣчность—пустяки. Я, кажется, вдаюсь въ умозрѣніе: это плохой знакъ—ужъ не трушу ли я? — Лучше стану разсказывать что-нибудь. На дворѣ сыро, вѣтрено, — выходить мнѣ запрещено. Что же разсказывать? О своихъ болѣзняхъ порядочный человѣкъ не говоритъ; повѣсть, что ли, сочинить—не мое дѣло; разсужденія о предметахъ возвышенныхъ — мнѣ не подъ силу; описанія окружающаго меня быта—даже меня занять не могутъ; а ничего не дѣлать — скучно: читать — лѣнь. Э! разскажу-ка я самому себѣ всю свою жизнь. Превосходная мысль! Передъ смертью оно и прилично, и никому не обидно. Начинаю.

Родился я, лѣтъ тридцать тому назадъ, отъ довольно богатыхъ помѣщиковъ. Отецъ мой былъ страстный игрокъ; мать моя была дама съ характеромъ... очень добродѣтельная дама. Только я не знавалъ женщины, которой бы добродѣтель доставила меньше удовольствія. Она падала подъ бременемъ своихъ достоинствъ и мучила всѣхъ, начиная съ самой себя. Въ теченіе пятидесяти лѣтъ своей жизни она ни разу не отдохнула, не сложила рукъ; она вѣчно копошилась и возилась, какъ муравей — и безъ всякой пользы, чего нельзя сказать о муравьѣ. Неугомонный червь ее точилъ днемъ и ночью. Одинъ только разъ видѣлъ я ее совершенно спокойно, а именно: въ первый день послѣ ея смерти, въ гробу. Глядя на нее, мнѣ, право, показалось, что ея лицо выражало тихое изумленіе; съ полураскрытыхъ губъ, съ опавшихъ щекъ и кротко неподвижныхъ глазъ словно вѣяло словами: «какъ хорошо не шевелиться!» Да, хорошо, хорошо отдѣлаться наконецъ отъ томящаго сознанія жизни, отъ неотвязнаго и безпокойнаго чувства существованія! Но дѣло не въ томъ.

Росъ я дурно и не весело. Отецъ и мать оба меня любили; но отъ этого мнѣ не было легче. Отецъ не имѣлъ въ собственномъ домѣ никакой власти и никакого значенія, какъ человѣкъ, явно преданный постыдному и разорительному пороку; онъ сознавалъ свое паденіе и, не имѣя силы отстать отъ любимой страсти, старался, по крайней мѣрѣ, своимъ постоянно ласковымъ и скромнымъ видомъ, своимъ уклончивымъ смиреніемъ заслужить снисхожденіе своей примѣрной жены. Маменька моя, дѣйствительно, переносила свое несчастіе съ тѣмъ великолѣпнымъ и пышнымъ долготерпѣніемъ добродѣтели, въ которомъ такъ много самолюбивой гордости. Она никогда ни въ чемъ отца моего не упрекала, молча отдавала ему

свои послѣднія деньги и платила его долги; онъ превозносилъ ее въ глаза и заочно, но дома сидѣть не любилъ и ласкалъ меня украдкой, какъ бы самъ боясь заразить меня своимъ присутствіемъ. Но искаженныя черты его дышали тогда такой добротой, лихорадочная усмѣшка на его губахъ смѣнялась такой трогательной улыбкой, окруженные тонкими морщинами, каріе глаза свѣтились такою любовью, что я невольно прижимался моей щекой къ его щекѣ, сырой и теплой отъ слезъ. Я утиралъ моимъ платкомъ эти слезы, и онѣ снова текли, безъ усилія, словно вода изъ переполненнаго стакана. Я принимался плакать самъ, и онъ утѣшалъ меня, гладилъ меня рукой по спинѣ, цѣловалъ меня по всему лицу своими дрожащими губами. Даже вотъ и теперь, слишкомъ двадцать лѣтъ послѣ его смерти, когда я вспоминаю о бѣдномъ моемъ отцѣ, нѣмыя рыданія подступаютъ мнѣ подъ горло, и сердце бьется, бьется такъ горячо и горько, томится такимъ тоскливымъ сожалѣніемъ, какъ будто ему еще долго осталось биться и есть о чемъ сожалѣть!

Мать моя, напротивъ, обращалась со мной всегда одинаково, ласково, но холодно. Въ дѣтскихъ книгахъ часто встрѣчаются такія матери, нравоучительныя и справедливыя. Она меня любила, но я ея не любилъ. Да! я чуждался моей добродѣтельной матери и страстно любилъ моего порочнаго отца.

Но для сегодняшняго дня довольно. Начало есть, а ужъ о концѣ, какой бы онъ ни былъ, мнѣ нечего заботиться. Это дѣло моей болѣзни.

21 марта.

Сегодня удивительная погода. Тепло, ясно; солнце весело играетъ на таломъ снѣгѣ; все блеститъ, дымится, каплетъ; воробьи, какъ сумасшедшіе, кричатъ около от-

потѣвшихъ темныхъ заборовъ; влажный воздухъ сладко и страшно раздражаетъ мнѣ грудь. Весна, весна идетъ! Я сижу подъ окномъ и гляжу черезъ рѣчку въ поле. О, природа! природа! Я такъ тебя люблю, а изъ твоихъ нѣдръ вышелъ неспособнымъ даже къ жизни. Вонъ прыгаетъ самецъ-воробей съ растопыренными крыльями; онъ кричитъ и—каждый звукъ его голоса, каждое взъерошенное перышко на его маленькомъ тѣлѣ дышетъ здоровьемъ и силой...

Что-жъ изъ этого слѣдуетъ? Ничего. Онъ здоровъ и имѣетъ право кричать и ерошиться; а я боленъ и долженъ умереть—вотъ и все. Больше объ этомъ говорить не стóитъ. А слезливыя обращенія къ природѣ уморительно смѣшны. Возвратимся къ разсказу.

Росъ я, какъ уже сказано, очень дурно и не весело. Братьевъ и сестеръ у меня не было. Воспитывался я дома. Да и чѣмъ бы стала заниматься моя матушка, если-бъ меня отдали въ пансіонъ или въ казенное заведеніе? На то и дѣти, чтобъ родители не скучали. Жили мы большей частью въ деревнѣ, иногда пріѣзжали въ Москву. Были у меня гувернеры и учителя, какъ водится; особенно памятнымъ остался мнѣ одинъ худосочный и слезливый нѣмецъ, Рикманъ, необыкновенно печальное и судьбою пришибленное существо, безплодно сгаравшее томительной тоской по далекой родинѣ. Бывало, возлѣ печки, въ страшной духотѣ тѣсной передней, насквозь пропитанной кислымъ запахомъ стараго кваса, сидитъ небритый мой дядька, Василій, по прозвищу Гусыня, въ вѣковѣчномъ своемъ казакинѣ изъ синей дерюги,—сидитъ и играетъ въ свои-козыри съ кучеромъ Потапомъ, только-что обновившимъ бѣлый, какъ кипень, овчинный тулупъ и несокрушимые смазные сапоги — а Рикманъ за перегородкой поетъ:

Herz, mein Herz, warum so traurig?
Was bekümmert dich so sehr?
S'ist ja schön im fremden Lande—
Herz, mein Herz—was willst du mehr?

Послѣ смерти отца мы окончательно перебрались на житье въ Москву. Мнѣ было тогда двѣнадцать лѣтъ. Отецъ мой умеръ ночью отъ удара. Не забуду я этой ночи. Я спалъ крѣпко, какъ обыкновенно спятъ всѣ дѣти; но помню, мнѣ даже сквозь сонъ чудилось тяжелое и мѣрное храпѣнье. Вдругъ я чувствую: кто-то меня беретъ за плечо и толкаетъ. Открываю глаза: передо мной дядька. «Что такое?...»—«Ступайте, ступайте; Алексѣй Михайлычъ кончается»... Я, какъ сумасшедшій, изъ постели вонъ—въ спальню. Гляжу: отецъ лежитъ съ закинутой назадъ головой, весь красный и мучительно хрипитъ. Въ дверяхъ толпятся люди съ перепуганными лицами; въ передней кто-то сиплымъ голосомъ спрашиваетъ: «послали за докторомъ?» На дворѣ лошадь выводятъ изъ конюшни, ворота скрипятъ, сальная свѣчка горитъ въ комнатѣ на полу; маменька тутъ же убивается, не теряя, впрочемъ, ни приличія, ни сознанія собственнаго достоинства. Я бросился на грудь отцу, обнялъ его, залепеталъ: «папаша, папаша».... Онъ лежалъ неподвижно и какъ-то странно щурился. Я взглянулъ ему въ лицо—невыносимый ужасъ захватилъ мнѣ дыханіе; я запищалъ отъ страха, какъ грубо схваченная птичка—меня стащили и отвели. Еще наканунѣ онъ, словно предчувствуя свою близкую смерть, такъ горячо и такъ уныло ласкалъ меня. Привезли какого-то заспаннаго и шершаваго доктора, съ крѣпкимъ запахомъ зорной водки. Отецъ мой умеръ у него подъ ланцетомъ, и на другой же день я, совершенно поглупѣвшій отъ горя, стоялъ со свѣчкою въ рукахъ передъ столомъ, на которомъ лежалъ покойникъ, и безсмысленно слушалъ густой напѣвъ дьячка, изрѣдка преры-

ваемый слабымъ голосомъ священника; слезы то-и-дѣло струились у меня по щекамъ, по губамъ, по воротничку, по манишкѣ; я исходилъ слезами, я глядѣлъ неотступно, я внимательно глядѣлъ на неподвижное лицо отца, словно ждалъ отъ него чего-то; а матушка моя, между тѣмъ, медленно клала земные поклоны, медленно подымалась и, крестясь, сильно прижимала пальцы ко лбу, къ плечамъ и животу. Ни одной мысли у меня не было въ головѣ; я весь отяжелѣлъ, но чувствовалъ, что со мною совершается что-то страшное.... Смерть мнѣ тогда заглянула въ лицо и замѣтила меня.

Мы переѣхали въ Москву на житье послѣ смерти отца, по весьма простой причинѣ: все наше имѣніе было продано съ молотка за долги, — такъ-таки рѣшительно все, исключая одной деревушки, той самой, въ которой я теперь вотъ доживаю свое великолѣпное существованіе. Я, признаюсь, даромъ-что былъ тогда молодъ, а погрустилъ о продажѣ нашего гнѣзда; то-есть, по настоящему, я грустилъ только объ одномъ нашемъ садѣ. Съ этимъ садомъ связаны почти единственныя мои свѣтлыя воспоминанія; тамъ я въ одинъ тихій весенній вечеръ похоронилъ лучшаго своего друга, старую собаку съ куцымъ хвостомъ и кривыми лапками — Триксу; тамъ, бывало, спрятавшись въ высокую траву, я ѣлъ краденыя яблоки, красныя, сладкія новогородчины; тамъ, наконецъ, я въ первый разъ увидалъ между кустами спѣлой малины горничную Клавдію, которая, несмотря на свой курносый носъ и привычку смѣяться въ платокъ, возбудила во мнѣ такую нѣжную страсть, что я, въ присутствіи ея, едва дышалъ, замиралъ и безмолвствовалъ, а однажды, въ Свѣтлое Воскресеніе, когда дошла до нея очередь приложиться къ моей барской ручкѣ, чуть не бросился цѣловать ея стоптанные козловые башмаки. Боже мой! Не-

ужели-жъ этому всему двадцать лѣтъ? Кажется, давно ли ѣду я на моей рыженькой косматой лошадкѣ вдоль стараго плетня нашего сада и, приподнявшись на стременахъ, срываю двухцвѣтные листья тополей?—Пока человѣкъ живетъ, онъ не чувствуетъ своей собственной жизни: она какъ звукъ, становится ему внятною, спустя нѣсколько времени.

О, мой садъ, о, заросшія дорожки возлѣ мелкаго пруда! о, песчаное мѣстечко подъ дряхлой плотиной, гдѣ я ловилъ пескарей и гольцовъ! И вы, высокія березы, съ длинными висячими вѣтками, изъ-за которыхъ, съ проселочной дороги, бывало, неслась унылая пѣсенка мужика, неровно прерываемая толчками телѣги—я посылаю вамъ мое послѣднее прости!... Разставаясь съ жизнью, я къ вамъ однимъ простираю мои руки. Я бы хотѣлъ еще разъ надышаться горькой свѣжестью полыни, сладкимъ запахомъ сжатой гречихи на поляхъ моей родины; я бы хотѣлъ еще разъ услышать издали скромное тяканье надтреснутаго колокола въ приходской нашей церкви; еще разъ полежать въ прохладной тѣни подъ дубовымъ кустомъ на скатѣ знакомаго оврага; еще разъ проводить глазами подвижный слѣдъ вѣтра, темной струею бѣгущаго по золотистой травѣ нашего луга....

Эхъ, къ чему все это? Но я сегодня не могу продолжать. До завтра.

22 марта.

Сегодня опять холодно и пасмурно. Такая погода гораздо приличнѣе. Она подъ ладъ моей работѣ. Вчерашній день совершенно некстати возбудилъ во мнѣ множество ненужныхъ чувствъ и воспоминаній. Это болѣе не повторится. Чувствительныя изліянія—словно солодковый корень: сперва пососешь — какъ-будто недурно, а потомъ очень

скверно станетъ во рту. Стану просто и спокойно разсказывать мою жизнь.

Итакъ, мы переѣхали въ Москву....

Но мнѣ приходитъ въ голову: точно ли стóитъ разсказывать мою жизнь?

Нѣтъ, рѣшительно не стóитъ.... Жизнь моя ничѣмъ не отличалась отъ жизни множества другихъ людей. Родительскій домъ, университетъ, служеніе въ низменныхъ чинахъ, отставка, маленькій кружокъ знакомыхъ, чистенькая бѣдность, скромныя удовольствія, смиренныя занятія, умѣренныя желанія — скажите на милость, кому неизвѣстно все это? И потому я не стану разсказывать свою жизнь, тѣмъ болѣе, что пишу для собственнаго удовольствія; а коли мое прошедшее даже мнѣ самому не представляетъ ничего ни слишкомъ весёлаго, ни даже слишкомъ печальнаго, стало-быть, въ немъ точно нѣтъ ничего достойнаго вниманія. Лучше постараюсь изложить самому себѣ свой характеръ.

Чтó я за человѣкъ?... Мнѣ могутъ замѣтить, что и этого никто не спрашиваетъ—согласенъ. Но вѣдь я умираю, ей-Богу, умираю, а передъ смертью, право, кажется, простительно желаніе узнать, чтó, дескать, я былъ за птица?

Обдумавъ хорошенько этотъ важный вопросъ и не имѣя, впрочемъ, никакой нужды слишкомъ горько выражаться на свой собственный счетъ, какъ это дѣлаютъ люди, сильно увѣренные въ своихъ достоинствахъ, я долженъ сознаться въ одномъ: я былъ совершенно лишнимъ человѣкомъ на семъ свѣтѣ, или, пожалуй, совершенно лишней птицей. И это я намѣренъ доказать завтра, потому что я сегодня кашляю, какъ старая овца, и моя нянюшка, Терентьевна, не даетъ мнѣ покоя: «Лягте, дескать, батюшка вы мой, да напейтесь чайку».... Я знаю, зачѣмъ она ко мнѣ при-

стаетъ: ей самой хочется чаю. Что-жъ! пожалуй! Отчего не позволить бѣдной старухѣ извлечь напослѣдяхъ всю возможную пользу изъ своего барина?... Пока еще время не ушло.

23 марта.

Опять зима. Снѣгъ валитъ хлопьями.

Лишній, лишній.... Отличное это придумалъ я слово. Чѣмъ глубже я вникаю въ самого себя, чѣмъ внимательнѣе разсматриваю всю свою прошедшую жизнь, тѣмъ болѣе убѣждаюсь въ строгой истинѣ этого выраженья. Лишній—именно. Къ другимъ людямъ это слово не примѣняется.... Люди бываютъ злые, добрые, умные, глупые, пріятные и непріятные; но лишніе.... нѣтъ. То-есть, поймите меня: и безъ этихъ людей могла бы вселенная обойтись.... конечно; но безполезность—не главное ихъ качество, не отличительный ихъ признакъ, и вамъ, когда вы говорите о нихъ, слово «лишній» не первое приходитъ на языкъ. А я.... про меня ничего другого и сказать нельзя: лишній—да и только. Сверхштатный человѣкъ—вотъ и все. На мое появленіе природа очевидно не разсчитывала и вслѣдствіе этого обошлась со мной, какъ съ нежданнымъ и незваннымъ гостемъ. Недаромъ про меня сказалъ одинъ шутникъ, большой охотникъ до преферанса, что моя матушка мною обремизилась. Я говорю теперь о самомъ себѣ спокойно, безъ всякой желчи.... Дѣло прошлое! Во все продолженіе жизни я постоянно находилъ свое мѣсто занятымъ, можетъ-быть оттого, что искалъ это мѣсто не тамъ, гдѣ бы слѣдовало. Я былъ мнителенъ, застѣнчивъ, раздражителенъ, какъ всѣ больные; притомъ, вѣроятно, по причинѣ излишняго самолюбія или вообще вслѣдствіе неудачнаго устройства моей особы, между моими чувствами и мыслями—и выраженіемъ этихъ чувствъ и мыслей—нахо-

дилось какое-то безсмысленное, непонятное и непреоборимое препятствіе; и когда я рѣшался насильно побѣдить это препятствіе, сломить эту преграду—мои движенія, выраженіе моего лица, все мое существо принимало видъ мучительнаго напряженія: я не только казался — я дѣйствительно становился неестественнымъ и натянутымъ. Я самъ это чувствовалъ и спѣшилъ опять уйти въ себя. Тогда-то поднималась внутри меня страшная тревога. Я разбиралъ самого себя до послѣдней ниточки, сравнивалъ себя съ другими, припоминалъ малѣйшіе взгляды, улыбки, слова людей, передъ которыми хотѣлъ-было развернуться, толковалъ все въ дурную сторону, язвительно смѣялся надъ своимъ притязаніемъ «быть, какъ всѣ»,—и вдругъ, среди смѣха, печально опускался весь, впадалъ въ нелѣпое уныніе, а тамъ опять принимался за прежнее, — словомъ, вертѣлся, какъ бѣлка въ колесѣ. Цѣлые дни проходили въ этой мучительной, безплодной работѣ. Ну, теперь, скажите на милость, скажите сами, кому и на что́ такой человѣкъ нуженъ? Отчего это со мной происходило, какая причина этой кропотливой возни съ самимъ собою — кто знаетъ? кто скажетъ?

Помнится, однажды ѣхалъ я изъ Москвы въ дилижансѣ. Дорога была хороша, а ямщикъ къ четверкѣ рядомъ припрегъ еще пристяжную. Эта несчастная, пятая, вовсе безполезная лошадь, кое-какъ привязанная къ передку толстой, короткой веревкой, которая немилосердно рѣжетъ ей ляшку, третъ хвостъ, заставляетъ ее бѣжать самымъ неестественнымъ образомъ и придаетъ всему ея тѣлу видъ запятой, всегда возбуждаетъ мое глубокое сожалѣніе. Я замѣтилъ ямщику, что, кажется, можно было на сей разъ обойтись безъ пятой лошади.... Онъ помолчалъ, тряхнулъ затылкомъ, стегнулъ ее въ затяжку разъ десятокъ кнутомъ черезъ худую спину подъ раздутый животъ —

и не безъ усмѣшки промолвилъ: «Вѣдь вишь, въ самомъ дѣлѣ, приплелась! На кой чортъ?»

И я вотъ также приплелся.... Да, благо, станція не далеко.

Лишній.... Я обѣщался доказать справедливость моего мнѣнія и исполню свое обѣщаніе. Не считаю нужнымъ упоминать о тысячѣ мелочей, ежедневныхъ происшествій и случаевъ, которые, впрочемъ, въ глазахъ всякаго мыслящаго человѣка могли бы послужить неопровержимыми доказательствами въ мою пользу, то-есть въ пользу моего воззрѣнія; лучше начну прямо съ одного довольно важнаго случая, послѣ котораго, вѣроятно, уже не останется никакого сомнѣнія насчетъ точности слова: лишній. Повторяю: я не намѣренъ вдаваться въ подробности, но не могу пройти молчаніемъ одно довольно любопытное и замѣчательное обстоятельство, а именно: странное обращеніе со мной моихъ пріятелей (у меня тоже были пріятели) всякій разъ, когда я имъ попадался на встрѣчу или даже къ нимъ заходилъ. Имъ становилось словно неловко; они, идя мнѣ на встрѣчу, какъ-то не совсѣмъ естественно улыбались, глядѣли мнѣ ни въ глаза, ни на ноги, какъ иные это дѣлаютъ, а больше въ щеки, торопливо произносили: «а! здравствуй Чулкатуринъ!» (меня судьба одолжила такимъ прозваніемъ) или: «а, вотъ и Чулкатуринъ», тотчасъ отходили въ сторону и даже нѣкоторое время оставались потомъ неподвижными, словно силились что-то припомнить. Я все это замѣчалъ, потому что не лишенъ проницательности и дара наблюденія; я вообще не глупъ; мнѣ даже иногда въ голову приходятъ мысли довольно забавныя, не совсѣмъ обыкновенныя; но такъ какъ я человѣкъ лишній и съ замочкомъ внутри, то мнѣ и жутко высказать свою мысль, тѣмъ болѣе, что я напередъ знаю, что я ее прескверно выскажу. Мнѣ даже

иногда страннымъ кажется, какъ это люди говорятъ, и такъ просто, свободно.... Экая прыть, подумаешь. То-есть, признаться сказать, и у меня, несмотря на мой замочекъ, частенько чесался языкъ; но дѣйствительно произносилъ слова я только въ молодости, а въ болѣе зрѣлыя лѣта почти всякій разъ мнѣ удавалось переломить себя. Скажу, бывало, вполголоса: «а вотъ мы лучше немножко помолчимъ», и успокоюсь. На молчаніе-то мы всѣ горазды; особенно наши женщины этимъ взяли: иная возвышенная русская дѣвица такъ могущественно молчитъ, что даже въ подготовленномъ человѣкѣ подобное зрѣлище способно произвести легкую дрожь и холодный потъ. Но дѣло не въ томъ, и не мнѣ критиковать другихъ. Приступаю къ обѣщанному разсказу.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, благодаря стеченію весьма ничтожныхъ, но для меня очень важныхъ обстоятельствъ, пришлось мнѣ провести мѣсяцевъ шесть въ уѣздномъ городѣ О.... Городъ этотъ весь выстроенъ на косогорѣ, и очень неудобно выстроенъ. Жителей въ немъ считается около восьмисотъ, бѣдности необыкновенной, домишки совершенно ни на что не похожи, на главной улицѣ, подъ предлогомъ мостовой, изрѣдка бѣлѣютъ грозныя плиты неотесаннаго известняка, вслѣдствіе чего ее объѣзжаютъ даже телѣги; по самой серединѣ изумительно неопрятной площади возвышается крошечное желтоватое строеніе съ темными дырами, а въ дырахъ сидятъ люди въ большихъ картузахъ и притворяются, будто торгуютъ; тутъ же торчитъ необыкновенно высокій пестрый шестъ, а возлѣ шеста, для порядка, по приказу начальства, держится возъ желтаго сѣна и ходитъ одна казенная курица. Словомъ, въ городѣ О.... житье хоть куда. Въ первые дни моего пребыванія въ этомъ городѣ я чуть съ ума не сошелъ отъ скуки. Я долженъ сказать о себѣ,

что я хотя, конечно, и лишній человѣкъ, но не по собственной охотѣ; я самъ боленъ, а все больное терпѣть не могу.... Я и отъ счастья бы не прочь, я даже старался подойти къ нему справа и слѣва.... И потому неудивительно, что и я могу скучать, какъ всякій другой смертный. Я находился въ городѣ О.... по служебнымъ дѣламъ....

Терентьевна рѣшительно поклялась уморить меня. Вотъ образчикъ нашего разговора:

Терентьевна. — О-охъ, батюшка! что вы это все пишете? вамъ нездорово писать-то.

Я. — Да скучно, Терентьевна.

Она. — А вы напейтесь чайку да лягте. Богъ дастъ, вспотѣете, соснете маненько.

Я. — Да я не хочу спать.

Она. — Ахъ, батюшка! что́ вы это? Господь съ вами! Лягте-ка, лягте: оно лучше.

Я. — Я и безъ того умру, Терентьевна!

Она. — Сохрани Господь и помилуй.... Что-жъ, прикажете чайку?

Я. — Я недѣли не проживу, Терентьевна!

Она. — И-и, батюшки! что́ вы это?.... Такъ я пойду самоварчикъ поставлю.

О, дряхлое, желтое, беззубое существо! Неужели и для тебя я не человѣкъ!

24 марта. — Трескучій морозъ.

Въ самый день моего прибытія въ городъ О.... вышеупомянутыя служебныя дѣла заставили меня сходить къ нѣкоему Ожогину, Кириллѣ Матвѣевичу, одному изъ главныхъ чиновниковъ уѣзда; но познакомился я съ нимъ, или, какъ говорится, сблизился, спустя двѣ недѣли. Домъ его находился на главной улицѣ и отличался отъ всѣхъ

другихъ величиной, крашеной крышей и двумя львами на воротахъ, изъ той породы львовъ, необыкновенно похожихъ на неудавшихся собакъ, родина которымъ Москва. По однимъ уже этимъ львамъ можно было заключить, что Ожогинъ человѣкъ съ достаткомъ. И дѣйствительно: у него было душъ четыреста крестьянъ; онъ принималъ у себя все лучшее общество города О.... и слылъ хлѣбосоломъ. Къ нему ѣздилъ и городничій, на широкихъ рыжихъ дрожкахъ парой, необыкновенно крупный, словно изъ залежалаго матеріала скроенный человѣкъ; ѣздили прочіе чиновники: стряпчій, желтенькое и злобненькое существо; острякъ землемѣръ — нѣмецкаго происхожденія, съ татарскимъ лицомъ; офицеръ путей сообщенія — нѣжная душа, пѣвецъ, но сплетникъ; бывшій уѣздный предводитель — господинъ съ крашеными волосами, взбитой манишкой, панталонами въ обтяжку и тѣмъ благороднѣйшимъ выраженіемъ лица, которое такъ свойственно людямъ, побывавшимъ подъ судомъ; ѣздили также два помѣщика, друзья неразлучные, оба уже немолодые и даже потертые, изъ которыхъ младшій постоянно уничтожалъ старшаго, и зажималъ ему ротъ однимъ и тѣмъ же упрёкомъ. «Да полноте, Сергѣй Сергѣичъ! куда вамъ? Вѣдь вы слово: пробка—пишете съ буки... Да, господа, продолжалъ онъ со всѣмъ жаромъ убѣжденія, обращаясь къ присутствующимъ: — Сергѣй Сергѣичъ пишетъ не пробка, а бробка». И всѣ присутствующіе смѣялись, хотя, вѣроятно, ни одинъ изъ нихъ не отличался особеннымъ искусствомъ въ правописаніи; а несчастный Сергѣй Сергѣичъ умолкалъ и съ замирающей улыбкой преклонялъ голову. Но я забываю, что мое время разсчитано, и вдаюсь въ слишкомъ подробныя описанія. Итакъ, безъ дальнихъ околичностей: Ожогинъ былъ женатъ, у него была дочь, Елизавета Кириловна, и я въ эту дочь влюбился.

Самъ Ожогинъ былъ человѣкъ дюжинный, не дурной и не хорошій; жена его сбивалась на застарѣлаго цыпленка; но дочь ихъ вышла не въ своихъ родителей. Она была очень недурна собой, живого и кроткаго нрава. Ея сѣрые, свѣтлые глаза глядѣли добродушно и прямо изъ-подъ ребячески приподнятыхъ бровей; она почти постоянно улыбалась и смѣялась тоже довольно часто. Свѣжій голосъ ея звучалъ очень пріятно; двигалась она вольно, быстро—и весело краснѣла. Одѣвалась она не слишкомъ изящно; къ ней шли одни простыя платья. Я вообще не скоро знакомился, и если мнѣ съ кѣмъ-нибудь было съ перваго раза легко — что́, впрочемъ, почти никогда не случалось — это, признаюсь, сильно говорило въ пользу новаго знакомаго. Съ женщинами же я вовсе не умѣлъ обращаться и въ присутствіи ихъ либо хмурился и принималъ свирѣпый видъ, либо глупѣйшимъ образомъ скалилъ зубы и отъ замѣшательства вертѣлъ языкомъ во рту. Съ Елизаветой Кирилловной, напротивъ, я съ перваго же раза почувствовалъ себя дома. Вотъ какимъ образомъ это случилось. Прихожу я однажды передъ обѣдомъ къ Ожогину, спрашиваю: «дома?» говорятъ: «дома, одѣваются; пожалуйте въ залу». Я въ залу; смотрю, у окна стоитъ ко мнѣ спиной дѣвица въ бѣломъ платьѣ и держитъ въ рукахъ клѣтку. Меня, по обыкновенію, слегка покоробило; однако, я ничего, только кашлянулъ для приличія. Дѣвица быстро обернулась, такъ быстро, что локоны ея ударили ей въ лицо, увидѣла меня, поклонилась и съ улыбкой показала мнѣ ящичекъ, до половины наполненный зёрнами.—«Вы позволите»? Я, разумѣется, какъ водится въ такихъ случаяхъ, сперва наклонилъ голову и въ то же время быстро согнулъ и выпрямилъ колѣни (словно кто ударилъ меня сзади въ подколки, что́, какъ извѣстно, служитъ признакомъ отличнаго воспитанія и пріятной

развязности въ обхожденіи, а потомъ улыбнулся, поднялъ руку и раза два осторожно и мягко провелъ ею по воздуху. Дѣвица тотчасъ отвернулась отъ меня, вынула изъ клѣтки дощечку, начала сильно скрести по ней ножомъ и вдругъ, не перемѣняя положенія, произнесла слѣдующія слова: «Это папенькинъ снѣгирь.... Вы любите снѣгирей?»—«Я предпочитаю чижей», отвѣчалъ я не безъ нѣкотораго усилія.—«А я тоже люблю чижей; но посмотрите на него, какой онъ хорошенькій. Посмотрите, онъ не боится». (Меня удивляло то, что я не боялся). «Подойдите. Его зовутъ Попка». Я подошелъ, нагнулся. «Не правда ли, какой онъ милый?» Она обернулась ко мнѣ лицомъ; но мы такъ близко стояли другъ къ другу, что ей пришлось немного откинуть голову, чтобы взглянуть на меня своими свѣтлыми глазками. Я посмотрѣлъ на нее: все ея молодое, розовое лицо такъ дружелюбно улыбалось, что и я улыбнулся и чуть не засмѣялся отъ удовольствія. Дверь растворилась: вошелъ господинъ Ожогинъ. Я тотчасъ подошелъ къ нему, заговорилъ съ нимъ очень непринужденно, самъ не знаю какъ остался обѣдать, высидѣлъ весь вечеръ; а на другой день лакей Ожогина, длинноватый и подслѣповатый человѣкъ, уже улыбался мнѣ, какъ другу дома, стаскивая съ меня шинель.

Найти пріютъ, свить себѣ хотя временное гнѣздо, узнать отраду ежедневныхъ отношеній и привычекъ — этого счастія я, лишній, безъ семейныхъ воспоминаній человѣкъ, до тѣхъ поръ не испыталъ. Если-бъ во мнѣ хоть что-нибудь напоминало цвѣтокъ, и если-бъ это сравненіе не было такъ избито, я бы рѣшился сказать, что я съ того дня разцвѣлъ душою. Все во мнѣ и вокругъ меня такъ мгновенно перемѣнилось! Вся жизнь моя озарилась любовью, именно вся, до самыхъ мелочей, словно темная, заброшенная комната, въ которую внесли свѣчку.

*

Я ложился спать и вставалъ, одѣвался, завтракалъ, трубку курилъ—иначе, чѣмъ прежде; я даже на ходу подпрыгивалъ—право, словно крылья вдругъ выросли у меня за плечами. Я, помнится, ни минуты не находился въ неизвѣстности насчетъ чувства, внушеннаго мнѣ Елизаветой Кирилловной: я съ перваго дня влюбился въ нее страстно и съ перваго же дня зналъ, что влюбился. Въ теченіе трехъ недѣль я каждый день ее видѣлъ. Эти три недѣли были счастливѣйшимъ временемъ въ моей жизни; но воспоминаніе о нихъ мнѣ тягостно. Я не могу думать о нихъ однихъ: мнѣ невольно представляется то, что̀ послѣдовало за ними, и ядовитая горесть медлительно охва́титъ только-что разнѣжившееся сердце.

Когда человѣку очень хорошо, мозгъ его, какъ извѣстно, весьма мало дѣйствуетъ. Спокойное и радостное чувство, чувство удовлетворенія, проникаетъ все его существо́; онъ поглощенъ имъ; сознаніе личности въ немъ исчезаетъ—онъ блаженствуетъ, какъ говорятъ дурно воспитанные поэты. Но когда, наконецъ, минуетъ это «очарованіе», человѣку иногда становится досадно и жаль, что онъ, посреди счастія, такъ мало наблюдалъ за самимъ собою, что онъ размышленіемъ, воспоминаніемъ не удвоивалъ, не продолжалъ своихъ наслажденій.... какъ-будто «блаженствующему» человѣку есть когда, да и сто́итъ размышлять о своихъ чувствахъ! Счастливый человѣкъ—что́ муха на солнцѣ. Оттого-то и мнѣ, когда я вспоминаю объ этихъ трехъ недѣляхъ, почти невозможно удержать въ умѣ точное, опредѣленное впечатлѣніе, тѣмъ болѣе, что въ теченіе всего этого времени ничего особенно замѣчательнаго не произошло между нами.... Эти двадцать дней являются мнѣ чѣмъ-то теплымъ, молодымъ и пахучимъ, какой-то свѣтлой полосо́ю въ моей тусклой и сѣренькой жизни. Память моя становится вдругъ неумо-

лимо вѣрна и ясна только съ того мгновенія, когда на меня, говоря словами тѣхъ же дурно воспитанныхъ сочинителей, обрушились удары судьбы.

Да, эти три недѣли.... Впрочемъ, онѣ не то, чтобъ не оставили во мнѣ никакихъ образовъ. Иногда, когда мнѣ случается долго думать о томъ времени, иныя воспоминанія внезапно выплываютъ изъ мрака прошедшаго— вотъ какъ звѣзды неожиданно выступаютъ на вечернемъ небѣ на встрѣчу внимательно устремленнымъ глазамъ. Особенно памятной осталась мнѣ одна прогулка въ рощѣ за городомъ. Насъ было четверо: старуха Ожогина, Лиза, я и нѣкто Визьмёнковъ, мелкій чиновникъ города О.... бѣлокуренькій, добренькій и смирненькій человѣкъ. Мнѣ еще о немъ придется поговорить. Самъ г. Ожогинъ остался дома: у него отъ слишкомъ продолжительнаго сна голова разболѣлась. День былъ чудесный, теплый и тихій. Должно замѣтить, что увеселительные сады и общественныя гулянья не въ духѣ русскаго человѣка. Въ губернскихъ городахъ, въ такъ-называемыхъ публичныхъ садахъ, вы ни въ какое время года не встрѣтите живой души; развѣ какая-нибудь старуха, кряхтя, присядетъ на пропеченную солнцемъ зеленую скамейку, въ сосѣдствѣ больного деревца, да и то, коли по близости нѣтъ засаленной лавочки у подворотни. Но если въ сосѣдствѣ города находится жиденькая березовая рощица, купцы, а иногда чиновники, по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, охотно туда ѣздятъ съ самоварами, пирогами, арбузами, становятъ всю эту благодать на пыльную траву возлѣ самой дороги, садятся кругомъ и кушаютъ и чайничаютъ въ потѣ лица до самаго вечера. Именно такого рода рощица существовала тогда въ двухъ верстахъ отъ города О.... Мы пріѣхали туда послѣ обѣда, напились, какъ слѣдуетъ, чаю и потомъ всѣ четверо отправились похо-

дить по рощѣ. Бизьмёнковъ взялъ подъ руку старуху Ожогину, я—Лизу. День уже склонялся къ вечеру. Я находился тогда въ самомъ разгарѣ первой любви (не болѣе двухъ недѣль прошло со времени нашего знакомства), въ томъ состояніи страстнаго и внимательнаго обожанія, когда вся ваша душа невинно и невольно слѣдитъ за каждымъ движеніемъ любимаго существа, когда вы не можете насытиться его присутствіемъ, наслушаться его голоса, когда вы улыбаетесь и смотрите выздоровѣвшимъ ребенкомъ, и нѣсколько опытный человѣкъ на сто шаговъ съ перваго взгляда долженъ узнать, что́ съ вами происходитъ. Мнѣ до того дня еще ни разу не случалось держать Лизу подъ руку. Мы шли съ ней рядомъ, тихо выступая по зеленой травѣ. Легкій вѣтерокъ словно порхалъ вокругъ насъ между бѣлыми стволами березъ, изрѣдка бросая мнѣ въ лицо ленту ея шляпки. Я неотступно слѣдилъ за ея взоромъ, пока она, наконецъ, весело не обращалась ко мнѣ, и мы оба улыбались другъ другу. Птицы одобрительно чирикали надъ нами, голубое небо ласково сквозило сквозь мелкую листву. Голова моя кружилась отъ избытка удовольствія. Спѣшу замѣтить: Лиза нисколько не была въ меня влюблена. Я ей нравился; она вообще никого не дичилась, но не мнѣ было суждено возмутить ея дѣтское спокойствіе. Она шла подъ руку со мной, какъ бы съ братомъ. Ей было тогда семнадцать лѣтъ... И, между тѣмъ, въ тотъ самый вечеръ, при мнѣ, началось въ ней то внутреннее, тихое броженіе, которое предшествуетъ превращенію ребенка въ женщину.... Я былъ свидѣтелемъ этой перемѣны всего существа, этого невиннаго недоумѣнія, этой тревожной задумчивости; я первый подмѣтилъ эту внезапную мягкость взора, эту звенящую невѣрность голоса—и, о, глупецъ! о, лишній человѣкъ! въ

теченіе цѣлой недѣли я не устыдился предполагать, что я, *я* былъ причиной этой перемѣны.

Вотъ какимъ образомъ это случилось.

Мы гуляли довольно долго, до самаго вечера, и мало разговаривали. Я молчалъ, какъ всѣ неопытные любовники, а ей, вѣроятно, нечего было мнѣ сказать; но она словно о чемъ-то размышляла и какъ-то особенно покачивала головой, задумчиво кусая сорванный листъ. Иногда она принималась идти впередъ, такъ рѣшительно.... а потомъ вдругъ останавливалась, ждала меня и оглядывалась кругомъ съ приподнятыми бровями и разсѣянной усмѣшкой. Наканунѣ мы съ ней вмѣстѣ прочли «Кавказскаго Плѣнника». Съ какой жадностью она меня слушала, опершись лицомъ на обѣ руки и прислонясь грудью къ столу! Я-было заговорилъ о вчерашнемъ чтеніи: она покраснѣла, спросила меня, далъ ли я передъ отъѣздомъ снѣгирю конопляннаго сѣмени, громко запѣла какую-то пѣсенку и вдругъ замолчала. Роща съ одной стороны кончалась довольно высокимъ и крутымъ обрывомъ: внизу текла извилистая рѣчка, а за ней на необозримое пространство тянулись, то слегка вздымаясь, какъ волны, то широко растилаясь скатертью, безконечные луга, кой-гдѣ перерѣзанные оврагами. Мы съ Лизой первые вышли на край рощи; Бизьмёнковъ остался позади съ старухой. Мы вышли, остановились и оба невольно прищурили глаза: прямо противъ насъ, среди раскаленнаго тумана, садилось багровое, огромное солнце. Полнеба разгаралось и рдѣло; красные лучи били вскользь по лугамъ, бросая алый отблескъ даже на тѣнистую сторону овраговъ, ложились огнистымъ свинцомъ по рѣчкѣ, тамъ гдѣ она не пряталась подъ нависшіе кусты, и словно упирались въ грудь обрыву и рощѣ. Мы стояли, облитые горячимъ сіяніемъ. Я не въ состояніи передать всю страстную тор-

жественность этой картины. Говорятъ, одному слѣпому красный цвѣтъ представлялся трубнымъ звукомъ; не знаю, на сколько это сравненіе справедливо, но дѣйствительно было что-то призывное въ этомъ пылающемъ золотѣ вечерняго воздуха, въ багряномъ блескѣ неба и земли. Я вскрикнулъ отъ восторга и тотчасъ обратился къ Лизѣ. Она глядѣла прямо на солнце. Помнится, пожаръ зари отражался маленькими огненными пятнышками въ ея глазахъ. Она была поражена, глубоко тронута. Она ничего не отвѣчала на мое восклицаніе, долго не шевелилась, потупила голову.... Я протянулъ къ ней руку; она отвернулась отъ меня и вдругъ залилась слезами. Я глядѣлъ на нее съ тайнымъ, почти радостнымъ недоумѣніемъ.... Голосъ Бизьмёнкова раздался въ двухъ шагахъ отъ насъ. Лиза быстро отерла слезы и съ нерѣшительной улыбкой посмотрѣла на меня. Старуха вышла изъ рощи, опираясь на руку своего бѣлокураго вожатая; оба въ свою очередь полюбовались видомъ. Старуха спросила что-то у Лизы, и я, помню, невольно вздрогнулъ, когда ей въ отвѣтъ прозвучалъ, какъ надтреснувшее стекло, разбитый голосокъ ея дочери. Между тѣмъ солнце закатилось, заря начала гаснуть. Мы пошли назадъ. Я опять взялъ Лизу подъ руку. Въ рощѣ было еще свѣтло, и я могъ ясно различить ея черты. Она была смущена и не поднимала глазъ. Румянецъ, разлитый по всему ея лицу, не изчезалъ: словно она все еще стояла въ лучахъ заходящаго солнца.... Рука ея чуть касалась моей. Я долго не могъ начать рѣчи: такъ сильно билось во мнѣ сердце. Сквозь деревья вдали замелькала карета; кучеръ шагомъ ѣхалъ къ намъ на встрѣчу по рыхлому песку дороги.

— Лизавета Кирилловна, промолвилъ я, наконецъ: — отчего вы плакали?

— Не знаю, возразила она, послѣ небольшого молчанія, посмотрѣла на меня своими кроткими, еще влажными отъ слезъ глазами—взглядъ ихъ показался мнѣ измѣненнымъ— и опять умолкла.

— Вы, я вижу, любите природу.... продолжалъ я. — Я совсѣмъ не то хотѣлъ сказать, да и эту послѣднюю фразу языкъ мой едва пролепеталъ до конца. Она покачала головой. Я болѣе не могъ произнести слова.... я ждалъ чего-то.... не признанья—гдѣ! я ждалъ довѣрчиваго взгляда, вопроса.... Но Лиза глядѣла на землю и молчала. Я повторилъ еще разъ вполголоса: «отчего?» и не получилъ отвѣта. Ей, я это видѣлъ, становилось неловко, почти стыдно.

Спустя четверть часа, мы уже сидѣли въ каретѣ и подъѣзжали къ городу. Дружной рысью бѣжали лошади; мы быстро мчались сквозь темнѣющій, влажный воздухъ. Я вдругъ разговорился, безпрестанно обращался то къ Бизьмёнкову, то къ Ожогиной, не глядѣлъ на Лизу, но могъ замѣтить, что изъ угла кареты взоръ ея не разъ останавливался на мнѣ. Дома она встрепенулась, однако не захотѣла читать со мной и скоро отправилась спать. Переломъ, тотъ переломъ, о которомъ я говорилъ, въ ней совершился. Она перестала быть дѣвочкой, она тоже начала ждать.... какъ я.... чего-то. Она недолго ждала.

Но я въ ту же ночь вернулся къ себѣ на квартиру въ совершенномъ очарованіи. Смутное—не то предчувствіе, не то подозрѣніе, которое возникло было во мнѣ, изчезло: внезапную принужденность въ обхожденіи Лизы со мною я приписывалъ дѣвической стыдливости, робости... Развѣ я не читалъ тысячу разъ во многихъ сочиненіяхъ, что первое появленіе любви всегда волнуетъ и пугаетъ дѣ-

вицу? Я чувствовалъ себя весьма счастливымъ и уже строилъ въ умѣ различные планы....

Если-бъ кто-нибудь сказалъ мнѣ тогда на ухо: «врешь, любезный! тебѣ совсѣмъ не то предстоитъ, братецъ: тебѣ предстоитъ умереть одиноко, въ дрянномъ домишкѣ, подъ несносное ворчанье старой бабы, которая ждетъ не дождется твоей смерти, чтобы продать за безцѣнокъ твои сапоги»....

Да, по неволѣ скажешь съ однимъ русскимъ философомъ: «какъ знать чего не знаешь?»—До завтра.

25 марта. Бѣлый зимній день.

Я перечелъ то, что́ вчера написалъ, и чуть-чуть не изорвалъ всей тетради. Мнѣ кажется, я слишкомъ пространно и слишкомъ сладко разсказываю. Впрочемъ, такъ какъ остальныя мои воспоминанія о томъ времени не представляютъ ничего отраднаго, кромѣ той отрады особеннаго рода, которую Лермонтовъ имѣлъ въ виду, когда говорилъ, что весело и больно тревожить язвы старыхъ ранъ, то почему же и не побаловать себя? Но надобно и честь знать. И потому продолжаю безъ всякой сладости.

Въ теченіе цѣлой недѣли, послѣ прогулки за городомъ, положеніе мое въ сущности нисколько не улучшилось, хотя перемѣна въ Лизѣ становилась замѣтнѣе съ каждымъ днемъ. Я, какъ уже сказано, толковалъ эту перемѣну въ самую для меня выгодную сторону.... Несчастіе людей одинокихъ и робкихъ—отъ самолюбія робкихъ—состоитъ именно въ томъ, что они, имѣя глаза и даже растаращивъ ихъ, ничего не видятъ, или видятъ все въ ложномъ свѣтѣ, словно сквозь окрашенныя очки. Ихъ же собственныя мысли и наблюденія мѣшаютъ имъ на каждомъ шагу. Въ началѣ нашего знакомства, Лиза обращалась со мной

довѣрчиво и вольно, какъ ребенокъ; можетъ быть, даже, въ ея расположеніи ко мнѣ было нѣчто болѣе простой, дѣтской привязанности.... Но когда совершился въ ней тотъ странный, почти внезапный переломъ, она, послѣ небольшого недоумѣнія, почувствовала себя стѣсненной въ моемъ присутствіи; она невольно отворачивалась отъ меня и въ то же время грустила и задумывалась.... Она ждала.... чего? сама не знала.... а я.... я, какъ уже сказано, радовался этой перемѣнѣ.... Я, ей-Богу, чуть-чуть не замиралъ, какъ говорится, отъ восторга. Впрочемъ, я готовъ согласиться, что и другой на моемъ мѣстѣ могъ бы обмануться.... У кого нѣтъ самолюбія? Нечего и говорить, что это все мнѣ стало яснымъ только въ послѣдствіи времени, когда мнѣ пришлось опустить свои ошибленныя, и безъ того несильныя, крылья.

Недоразумѣніе, возникшее между мной и Лизой, продолжалось цѣлую недѣлю,—и въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго: мнѣ случалось быть свидѣтелемъ недоразумѣній, продолжавшихся годы за годами. Да и кто сказалъ, что одна истина дѣйствительна? Ложь такъ же живуча, какъ и истина, если не болѣе. Точно, помнится, во мнѣ даже въ теченіе этой недѣли изрѣдка шевелился червь.... но нашъ братъ, одинокій человѣкъ, опять-таки скажу, такъ же неспособенъ понять то, что́ въ немъ происходитъ, какъ и то, что́ совершается передъ его глазами. Да и притомъ: развѣ любовь—естественное чувство? Развѣ человѣку свойственно любить? Любовь — болѣзнь; а для болѣзни законъ не писанъ. Положимъ, у меня сердце иногда непріятно сжималось; да вѣдь все во мнѣ было перевернуто кверху дномъ. Какъ тутъ прикажете узнать, что ладно и что неладно, какая причина, какое значеніе каждаго отдѣльнаго ощущенія?

Но, какъ бы то ни было, всѣ эти недоразумѣнія,

предчувствія и надежды разрѣшились слѣдующимъ образомъ.

Однажды—дѣло было утромъ, часу въ двѣнадцатомъ—не успѣлъ я войти въ переднюю г. Ожогина, какъ незнакомый, звонкій голосъ раздался въ залѣ, дверь распахнулась, и, въ сопровожденіи хозяина, показался на порогѣ стройный и высокій мужчина лѣтъ двадцати-пяти, быстро накинулъ на себя военную шинель, лежавшую на прилавкѣ, ласково простился съ Кирилломъ Матвѣичемъ, проходя мимо меня, небрежно коснулся своей фуражки—и исчезъ, звеня шпорами.

— Кто это? спросилъ я Ожогина.

— Князь Н*, отвѣчалъ мнѣ тотъ, съ озабоченнымъ лицомъ: — изъ Петербурга присланъ: рекрутовъ принимать. Да гдѣ-жъ это люди? продолжалъ онъ съ досадой;—шинели ему никто не подалъ.

Мы вошли въ залу.

— Давно онъ пріѣхалъ? спросилъ я.

— Говорятъ, вчера вечеромъ. Я ему предложилъ комнату у себя, да онъ отказался. Впрочемъ, онъ, кажется, очень милый малый.

— Долго онъ у васъ пробылъ?

— Съ часъ. Онъ попросилъ меня представить его Олимпіадѣ Никитичнѣ.

— И вы представили его.

— Какъ же.

— А съ Лизаветой Кирилловной онъ....

— Онъ и съ ней познакомился—какъ же.

Я помолчалъ.

— На долго онъ сюда пріѣхалъ, вы не знаете?

— Да, я думаю, ему здѣсь недѣли двѣ придется пробыть слишкомъ.

И Кирилла Матвѣичъ побѣжалъ одѣваться.

Я прошелся нѣсколько разъ по залѣ. Не помню, чтобы пріѣздъ князя Н* произвелъ во мнѣ тогда же какое-нибудь особенное впечатлѣніе, кромѣ того непріязненнаго чувства, которое обыкновенно овладѣваетъ нами при появленіи новаго лица въ нашемъ домашнемъ кружку. Можетъ-быть, къ этому чувству примѣшивалось еще нѣчто въ родѣ зависти робкаго и темнаго москвича къ блестящему петербургскому офицеру. «Князь—думалъ я—столичная штучка: на насъ свысока смотрѣть будетъ».... Не болѣе минуты видѣлъ я его, но успѣлъ замѣтить, что онъ былъ хорошъ собой, ловокъ и развязенъ. Походивъ нѣкоторое время по залѣ, я наконецъ остановился передъ зеркаломъ, досталъ изъ кармана гребешокъ, придалъ моимъ волосамъ живописную небрежность и, какъ это иногда случается, внезапно углубился въ созерцаніе моего собственнаго лица. Помнится, мое вниманіе было заботливо сосредоточено на моемъ носѣ; мягковатыя и неопредѣленныя очертанія этого члена не доставляли мнѣ особеннаго удовольствія — какъ вдругъ, въ темной глубинѣ наклоненнаго стекла, отражавшаго почти всю комнату, отворилась дверь, и показалась стройная фигура Лизы. Не знаю, почему я не шевельнулся и удержалъ на лицѣ прежнее выраженіе. Лиза протянула голову, внимательно посмотрѣла на меня и, поднявъ брови, закусивъ губы и притаивъ дыханіе, какъ человѣкъ, который радъ, что его не замѣтили, осторожно подалась назадъ и тихонько потянула за собою дверь. Дверь слабо скрипнула, Лиза вздрогнула и замерла на мѣстѣ.... Я все не шевелился.... Она потянула за ручку опять и скрылась. Не было возможности сомнѣваться: выраженіе Лизина лица, при видѣ моей особы, это выраженіе, въ которомъ не замѣчалось ничего, кромѣ желанія благополучно убраться назадъ, избѣгнуть непріятнаго свиданія, быстрый отблескъ удоволь-

ствія, который я успѣлъ уловить въ ея глазахъ, когда ей показалось, что ей точно удалось ускользнуть незамѣченной — все это говорило слишкомъ ясно: эта дѣвушка меня не любитъ. Я долго, долго не могъ отвести взора отъ неподвижной, нѣмой двери, снова бѣлымъ пятномъ появившейся въ глубинѣ зеркала; хотѣлъ-было улыбнуться своей собственной вытянутой фигурѣ — опустилъ голову, вернулся домой и бросился на диванъ. Мнѣ было необыкновенно тяжело, такъ тяжело, что я не могъ плакать.... да и о чемъ было плакать?.... «Неужели? — твердилъ я безпрестанно, лежа, какъ убитый, на спинѣ, и сложивъ руки на груди — неужели?».... Какъ вамъ нравится это «неужели?»

26 марта. Оттепель.

Когда я, на другой день, послѣ долгихъ колебаній и внутренно замирая, вошелъ въ знакомую гостиную Ожогиныхъ, я уже былъ не тѣмъ человѣкомъ, какимъ они меня знали въ теченіе трехъ недѣль. Всѣ мои прежнія замашки, отъ которыхъ я было началъ отвыкать подъ вліяніемъ новаго для меня чувства, внезапно появились опять и завладѣли мною, какъ хозяева, вернувшіеся въ свой домъ. Люди, подобные мнѣ, вообще руководствуются не столько положительными фактами, сколько собственными впечатлѣніями: я, не далѣе какъ вчера мечтавшій о «восторгахъ взаимной любви», сегодня уже ни мало не сомнѣвался въ своемъ «несчастіи» и совершенно отчаявался, хотя я самъ не былъ въ состояніи сыскать какой-нибудь разумный предлогъ своему отчаянію? Не могъ же я ревновать къ князю Н*, и какія бы за нимъ ни водились достоинства, одного его появленія не было достаточно, чтобы разомъ искоренить то расположеніе Лизы ко мнѣ.... Да полно, существовало ли это расположеніе?

Я припоминалъ прошедшее. «А прогулка въ лѣсу?» спрашивалъ я самого себя. «А выраженіе ея лица въ зеркалѣ?» «Но — продолжалъ я — прогулка въ лѣсу, кажется.... Фу, ты Боже мой! что̀ я за ничтожное существо!» восклицалъ я вслухъ наконецъ. Вотъ какого рода недосказанныя, недодуманныя мысли, тысячу разъ возвращаясь, однообразнымъ вихремъ кружились въ головѣ моей. Повторяю, я вернулся къ Ожогинымъ тѣмъ же мнительнымъ, подозрительнымъ, натянутымъ человѣкомъ, какимъ былъ съ дѣтства....

Я засталъ все семейство въ гостиной; Бизьмёнковъ тутъ же сидѣлъ въ уголку. Всѣ казались въ духѣ: особенно Ожогинъ такъ и сіялъ, и съ перваго же слова сообщилъ мнѣ, что князь Н* пробылъ у нихъ вчера цѣлый вечеръ. Лиза спокойно привѣтствовала меня. «Ну — сказалъ я самъ себѣ — теперь я понимаю отчего вы въ духѣ». Признаюсь, вторичное посѣщеніе князя меня озадачило. Я этого не ожидалъ. Вообще, нашъ братъ ожидаетъ всего на свѣтѣ, кромѣ того, что̀ въ естественномъ порядкѣ вещей должно случиться. Я надулся и принялъ видъ оскорбленнаго, но великодушнаго человѣка; хотѣлъ наказать Лизу своею немилостью, изъ чего, впрочемъ, должно заключить, что я все-таки еще не совершенно отчаявался. Говорятъ, въ иныхъ случаяхъ, когда васъ дѣйствительно любятъ, даже полезно помучить обожаемое существо; но въ моемъ положеніи это было невыразимо глупо: Лиза самымъ невиннымъ образомъ не обратила на меня вниманія. Одна старуха Ожогина замѣтила мою торжественную молчаливость и заботливо освѣдомилась о моемъ здоровьѣ. Я, разумѣется, съ горькою улыбкой отвѣчалъ ей, что я, слава Богу, совершенно здоровъ. Ожогинъ продолжалъ распространяться на счетъ своего гостя; но, замѣтивъ, что я не-

охотно отвѣчалъ ему, онъ обращался болѣе къ Бизьмёнкову, который слушалъ его съ большимъ вниманіемъ, какъ вдругъ вошелъ человѣкъ и доложилъ о князѣ Н*. Хозяинъ вскочилъ и побѣжалъ ему на встрѣчу; Лиза, на которую я тотчасъ устремилъ орлиный взоръ, покраснѣла отъ удовольствія и зашевелилась на стулѣ. Князь вошелъ раздушенный, веселый, ласковый....

Такъ какъ я не сочиняю повѣсти для благосклоннаго читателя, а просто пишу для собственнаго удовольствія, то мнѣ, стало-быть, не для чего прибѣгать къ обычнымъ уловкамъ господъ литераторовъ. Скажу сейчасъ же, безъ дальняго отлагательства, что Лиза съ перваго же дня страстно влюбилась въ князя, и князь ее полюбилъ—отчасти отъ нечего дѣлать, отчасти отъ привычки кружить женщинамъ голову, но также оттого, что Лиза точно была очень милое существо. Въ томъ, что они полюбили другъ друга, не было ничего удивительнаго. Онъ, вѣроятно, никакъ не ожидалъ найти подобную жемчужину въ такой скверной раковинѣ (я говорю о богомерзкомъ городѣ О...), а она до тѣхъ поръ и во снѣ не видала ничего, хотя нѣсколько похожаго на этого блестящаго, умнаго, плѣнительнаго аристократа.

Послѣ первыхъ привѣтствій, Ожогинъ представилъ меня князю, который обошелся со мной очень вѣжливо. Онъ вообще былъ очень вѣжливъ со всѣми и, несмотря на несоразмѣрное разстояніе, находящееся между нимъ и нашимъ темнымъ уѣзднымъ кружкомъ, умѣлъ не только никого не стѣснять, но даже показать видъ, какъ-будто онъ былъ намъ равный и только случайнымъ образомъ жилъ въ С.-Петербургѣ.

Этотъ первый вечеръ.... О, этотъ первый вечеръ! Въ счастливые дни нашего дѣтства учители разсказывали намъ и поставляли въ примѣръ черту мужественнаго

терпѣнія того молодого лакедемонца, который, укравъ лисицу и спрятавъ ее подъ свою хламиду, ни разу ни пикнувъ, позволилъ ей съѣсть всѣ свои потроха и такимъ образомъ предпочелъ самую смерть позору.... Я не могу найти лучшаго сравненія для выраженія моихъ несказанныхъ страданій въ теченіе того вечера, когда я въ первый разъ увидѣлъ князя подлѣ Лизы. Моя постоянно напряженная улыбка, мучительная наблюдательность, мое глупое молчаніе, тоскливое и напрасное желаніе уйти, все это, вѣроятно, было весьма замѣчательно въ своемъ родѣ. Не одна лисица рылась въ моихъ внутренностяхъ: ревность, зависть, чувство своего ничтожества, безсильная злость меня терзали. Я не могъ не сознаться, что князь былъ дѣйствительно весьма любезный молодой человѣкъ.... Я пожиралъ его глазами; я, право, кажется, забывалъ мигать, глядя на него. Онъ разговаривалъ не съ одной Лизой, но, конечно, говорилъ только для нея одной. Я, должно-быть, сильно надоѣдалъ ему.... Онъ, вѣроятно, скоро догадался, что имѣлъ дѣло съ устраненнымъ любовникомъ, но, изъ сожалѣнія ко мнѣ, а также изъ глубокаго сознанія моей совершенной безопасности, обращался со мной необыкновенно мягко. Можете себѣ представить, какъ это меня оскорбляло! Въ теченіе вечера, я, помнится, попытался загладить свою вину; я (не смѣйтесь надо мной, кто бы вы ни были, кому попадутся эти строки на глаза, тѣмъ болѣе, что это было моей послѣдней мечтой).... я, ей-Богу, посреди моихъ разнообразныхъ терзаній, вдругъ вообразилъ, что Лиза хочетъ наказать меня за мою надменную холодность въ началѣ моего посѣщенія, что она сердится на меня, и только съ досады кокетничаетъ съ княземъ.... Я улучилъ время и съ смиренной, но ласковой улыбкой подойдя къ ней, пробормоталъ: «довольно, простите меня.... впрочемъ, я это

не оттого, чтобы я боялся»—и, вдругъ, не дожидаясь ея отвѣта, придалъ лицу своему необыкновенное живое и развязное выраженіе, криво усмѣхнулся, протянулъ руку надъ головой въ направленіи потолка (я, помнится, желалъ поправить шейный платокъ) и даже собирался повернуться на одной ножкѣ, какъ бы желая сказать: «все кончено, я въ духѣ, будемте всѣ въ духѣ», однако не повернулся, боясь упасть, по причинѣ какой-то неестественной окоченѣлости въ колѣняхъ.... Лиза рѣшительно не поняла меня, съ удивленіемъ посмотрѣла мнѣ въ лицо, торопливо улыбнулась, какъ бы желая поскорѣе отдѣлаться и снова подошла къ князю. Какъ я ни былъ слѣпъ и глухъ, но не могъ внутренно не сознаться, что она вовсе не сердилась и не досадовала на меня въ эту минуту: она просто и не думала обо мнѣ. Ударъ былъ рѣшительный: послѣднія мои надежды съ трескомъ рухнули, какъ ледяная глыба, прохваченная весеннимъ солнцемъ, внезапно разсыпается на мелкіе куски. Я былъ разбитъ на-голову съ перваго же натиска, и, какъ пруссаки подъ Іеной, въ одинъ день, разомъ все потерялъ. Нѣтъ, она не сердилась на меня!....

Увы, напротивъ! Ее самоё—я это видѣлъ—подмывало какъ волной. Словно молодое деревцо, уже до половины отставшее отъ берега, она съ жадностью наклонялась надъ потокомъ, готовая отдать ему навсегда и первый разцвѣтъ своей весны, и всю жизнь свою. Кому довелось быть свидѣтелемъ подобнаго увлеченія, тотъ пережилъ горькія минуты, если онъ самъ любилъ и не былъ любимымъ. Я вѣчно буду помнить это пожирающее вниманіе, эту нѣжную веселость, это невинное самозабвеніе, этотъ взглядъ еще дѣтскій и уже женскій, эту счастливую, словно разцвѣтающую улыбку, не покидавшую полураскрытыхъ губъ и зардѣвшихся щекъ.... Все, что́ Лиза

смутно предчувствовала во время нашей прогулки въ рощѣ, сбылось теперь — и она, отдаваясь вся любви, въ то же время вся утихала и свѣтлѣла, какъ молодое вино, которое перестаетъ бродить, потому что его время настало....

Я имѣлъ терпѣніе высидѣть этотъ первый вечеръ и послѣдующіе вечера.... всѣ до конца! Я ни на что не могъ надѣяться. Лиза и князь съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе привязывались другъ къ другу.... Но я рѣшительно потерялъ чувство собственнаго достоинства и не могъ оторваться отъ зрѣлища своего несчастія. Помнится, однажды, я попытался-было не пойти, съ утра далъ себѣ честное слово остаться дома — и въ восемь часовъ вечера (я обыкновенно выходилъ въ семь), какъ сумасшедшій, вскочилъ, надѣлъ шапку и, задыхаясь, прибѣжалъ въ гостиную Кирилла Матвѣича. Положеніе мое было необыкновенно нелѣпо: я упорно молчалъ, иногда по цѣлымъ днямъ не произносилъ звука. Я, какъ уже сказано, никогда не отличался краснорѣчіемъ; но теперь все, что было во мнѣ ума, словно улетучивалось въ присутствіи князя, и я оставался голъ, какъ соколъ. Притомъ я наединѣ до того заставлялъ работать мой несчастный мозгъ, медленно передумывая все замѣченное или подмѣченное мною въ теченіе вчерашняго дня, что, когда я возвращался къ Ожогинымъ, у меня едва доставало силы опять наблюдать. Меня щадили, какъ больного: я это видѣлъ. Я каждое утро принималъ новое, окончательное рѣшеніе, большею частью мучительно высиженное въ теченіе безсонной ночи: я тó собирался объясниться съ Лизой, дать ей дружескій совѣтъ.... но когда мнѣ случалось быть съ ней наединѣ, языкъ мой вдругъ переставалъ дѣйствовать, словно застывалъ, и мы оба съ тоской ожидали прибытія третьяго лица; тó хотѣлъ бѣжать, раз-

умѣется, навсегда, оставивъ моему предмету письмо, исполненное упрёковъ, и уже однажды началъ-было это письмо, но чувство справедливости во мнѣ еще не совсѣмъ исчезло: я понялъ, что не въ правѣ никого ни въ чемъ упрекать, и бросилъ въ огонь свою цидулу; тó я вдругъ великодушно приносилъ всего себя въ жертву, благословлялъ Лизу на счастливую любовь и изъ угла кротко и дружелюбно улыбался князю,—но жестокосердые любовники не только не благодарили меня за мою жертву, даже не замѣчали ея, и, повидимому, не нуждались ни въ моихъ благословеніяхъ, ни въ моихъ улыбкахъ.... Тогда я, съ досады, внезапно переходилъ въ совершенно противоположное настроеніе духа. Я давалъ себѣ слово, закутавшись плащемъ на подобіе испанца, изъ-за угла зарѣзать счастливаго соперника, и съ звѣрской радостью воображалъ себѣ отчаяніе Лизы.... Но, во-первыхъ, въ городѣ О.... подобныхъ угловъ было очень немного, а во-вторыхъ—бревенчатый заборъ, фонарь, будочникъ въ отдаленіи.... нѣтъ! у такого угла какъ-то приличнѣе торговать бубликами, чѣмъ проливать кровь человѣческую. Я долженъ признаться, что между прочими средствами къ избавленію, какъ я весьма неопредѣленно выражался, бесѣдуя съ самимъ собою, — я вздумалъ-было обратиться къ самому Ожогину.... направить вниманіе этого дворянина на опасное положеніе его дочери, на печальныя послѣдствія ея легкомыслія.... Я даже однажды заговорилъ съ нимъ объ этомъ щекотливомъ предметѣ, но такъ хитро и туманно повелъ рѣчь, что онъ слушалъ, слушалъ меня—и вдругъ, словно съ просонья, сильно и быстро потеръ ладонью по всему лицу, не щадя носа, фыркнулъ и отошелъ отъ меня въ сторону. Нечего и говорить, что я, принявъ это рѣшеніе, увѣрялъ себя, что дѣйствую изъ самыхъ безкорыстныхъ видовъ, желаю общаго блага, исполняю долгъ друга дома....

Но смѣю думать, что, если-бъ даже Кирилла Матвѣичъ не пресѣкъ моихъ изліяній, у меня все-таки недостало бы храбрости докончить свой монологъ. Я иногда принимался съ важностью древняго мудреца взвѣшивать достоинства князя; иногда утѣшалъ себя надеждою, что это только такъ, что Лиза опомнится, что ея любовь не настоящая любовь.... о, нѣтъ! Словомъ, я не знаю мысли, надъ которой не повозился бы я тогда. Одно только средство, признаюсь откровенно, никогда мнѣ не приходило въ голову, а именно: я ни разу не подумалъ лишить себя жизни. Отчего это мнѣ не пришло въ голову, не знаю.... Можетъ-быть, я уже тогда предчувствовалъ, что мнѣ и безъ того жить недолго.

Понятно, что при такихъ невыгодныхъ данныхъ, поведеніе мое, обхожденіе съ людьми, болѣе чѣмъ когда-нибудь отличалось неестественностію и напряженіемъ. Даже старуха Ожогина—это тупорожденное существо — начинала дичиться меня и, бывало, не знала съ какой стороны ко мнѣ подойти. Бизьмёнковъ, всегда вѣжливый и готовый къ услугамъ, избѣгалъ меня. Мнѣ уже тогда казалось, что я въ немъ имѣлъ собрата, что и онъ любилъ Лизу. Но онъ никогда не отвѣчалъ на мои намеки и вообще неохотно со мной разговаривалъ. Князь обращался съ нимъ весьма дружелюбно; князь, можно-сказать, уважалъ его. Ни Бизьмёнковъ, ни я — мы не мѣшали князю и Лизѣ; но онъ не чуждался ихъ, какъ я, не глядѣлъ ни волкомъ, ни жертвой — и охотно присоединялся къ нимъ, когда они этого желали. Правда, онъ въ этихъ случаяхъ не отличался особенно шутливостью; но въ его веселости и прежде было что-то тихое.

Такимъ образомъ прошло около двухъ недѣль. Князь не только былъ собой хорошъ и уменъ: онъ игралъ на фортепьяно, пѣлъ, довольно порядочно рисовалъ, умѣлъ

разсказывать. Его анекдоты, почерпнутые изъ высшихъ круговъ столичной жизни, всегда производили сильное впечатлѣніе на слушателей, тѣмъ болѣе сильное, что онъ какъ-будто не придавалъ имъ особеннаго значенія....

Слѣдствіемъ этой, если хотите, простой уловки князя было то, что онъ въ теченіе своего непродолжительнаго пребыванія въ городѣ О.... рѣшительно очаровалъ все тамошнее общество. Очаровать нашего брата степняка всегда очень легко человѣку изъ высшаго круга. Частыя посѣщенія князя у Ожогиныхъ (онъ проводилъ у нихъ вечера), конечно, возбуждали зависть другихъ господъ дворянъ и чиновниковъ; но князь, какъ человѣкъ свѣтскій и умный, не обошелъ ни одного изъ нихъ, побывалъ у всѣхъ, всѣмъ барынямъ и барышнямъ сказалъ хотя по одному ласковому слову, позволялъ кормить себя вычурно-тяжелыми кушаньями и поить дрянными винами съ великолѣпными названіями, словомъ, велъ себя отлично, осторожно и ловко. Князь Н* вообще былъ человѣкъ веселаго нрава, общежительный, любезный по наклонности, да тутъ еще, кстати, по разсчету: какъ же ему было не успѣть совершенно и во всемъ?

Со времени его пріѣзда всѣ въ домѣ находили, что время летѣло съ быстротой необыкновенной; все шло прекрасно; старикъ Ожогинъ, хотя и притворялся, что ничего не замѣчаетъ, но, вѣроятно, тайкомъ потиралъ себѣ руки при мысли имѣть такого зятя; самъ князь велъ все дѣло очень тихо и пристойно, какъ вдругъ одно неожиданное происшествіе....

До завтра. Сегодня я усталъ. Эти воспоминанія раздражаютъ меня даже на краю гроба. Терентьевна сегодня нашла, что мой носикъ уже завострился; а это, говорятъ, плохой знакъ.

27 марта. Оттепель продолжается.

Дѣла находились въ вышеизложенномъ положеніи, князь и Лиза любили другъ друга, старики Ожогины ждали, что-то будетъ; Бизьмёнковъ тутъ же присутствовалъ—о немъ нечего было сказать другого; я бился, какъ рыба о ледъ, и наблюдалъ, что́ было мочи; — помнится, я въ то время поставилъ себѣ задачей, по крайней мѣрѣ, не дать Лизѣ погибнуть въ сѣтяхъ обольстителя и вслѣдствіе этого началъ обращать особенное вниманіе на горничныхъ и на роковое «заднее» крыльцо—хотя я, съ другой стороны, иногда по цѣлымъ ночамъ мечталъ о томъ, съ какимъ трогательнымъ великодушіемъ я со временемъ протяну руку обманутой жертвѣ и скажу ей: «коварный измѣнилъ тебѣ; но я твой вѣрный другъ.... забудемъ прошедшее и будемъ счастливы!» — какъ вдругъ по всему городу распространилась радостная вѣсть: уѣздный предводитель намѣренъ былъ дать большой балъ въ честь почетнаго посѣтителя, въ особенномъ своемъ имѣніи Горностаевкѣ, Губняковѣ тожъ. Всѣ чины и власти города О.... получили приглашеніе, начиная съ городничаго и кончая аптекаремъ, необыкновенно чирымъ нѣмцемъ съ жестокими притязаніями на умѣнье говорить чисто по-русски, вслѣдствіе чего онъ безпрестанно и вовсе не кстати употреблялъ сильныя выраженія, какъ, напр.: «я, чертъ меня завзѣмъ побери, сиводнэ маладецъ завзѣмъ».... Поднялись, какъ водится, страшныя приготовленія. Одинъ косметикъ-лавочникъ продалъ шестнадцать темносинихъ банокъ помады съ надписью: «a la jesminъ», съ еромъ на концѣ. Барышни сооружали себѣ тугія платья съ мучительнымъ перехватомъ и мысомъ на желудкѣ; матушки воздвигали на своихъ собственныхъ головахъ какія-то грозныя украшенія подъ предлогомъ чепцовъ; захлопотав-

шіеся отцы лежали, какъ говорится, безъ заднихъ ногъ.... Желанный день насталъ наконецъ. Я былъ въ числѣ приглашенныхъ. Отъ города до Горностаевки считалось девять верстъ. Кирилла Матвѣичъ предложилъ мнѣ мѣсто въ своей каретѣ; но я отказался.... Такъ, наказанныя дѣти, желая хорошенько отомстить своимъ родителямъ, за столомъ отказываются отъ любимыхъ кушаній. Притомъ я чувствовалъ, что мое присутствіе стѣснило бы Лизу. Бизьмёнковъ замѣнилъ меня. Князь поѣхалъ въ своей коляскѣ, я—на дрянныхъ дрожкахъ, нанятыхъ мною за большія деньги для этого торжественнаго случая. Я не стану описывать этотъ балъ. Все въ немъ было, какъ водится: музыканты съ необыкновенно-фальшивыми трубами на хорахъ, ошеломленные помѣщики съ застарѣлыми семействами, лиловое мороженное, слизистый оршадъ, люди въ стоптанныхъ сапогахъ и вязанныхъ бумажныхъ перчаткахъ, провинціальные львы съ судорожно-искаженными лицами и т. д., и т. д.... И весь этотъ маленькій міръ вертѣлся вокругъ своего солнца — вокругъ князя. Потерянный въ толпѣ, не замѣченный даже сорока-восьмилѣтними дѣвицами съ красными прыщами на лбу и голубыми цвѣтами на темени, я безпрестанно глядѣлъ то на князя, то на Лизу. Она была очень мило одѣта и очень хороша собой въ тотъ вечеръ. Они только два раза танцовали другъ съ другомъ (правда, онъ съ ней танцовалъ мазурку!), но, по крайней мѣрѣ, *мнѣ* казалось, что между ними существовало какое-то тайное, непрерывное сообщеніе. Онъ, и не глядя на нее, не говоря съ ней, все какъ-будто обращался къ ней, и къ ней одной; онъ былъ хорошъ и блестящъ и милъ съ другими—для ней одной. Она видимо сознавала себя царицей бала—и любимой: ея лицо въ одно и то же время сіяло дѣтской радостью, невинной гордостью, и внезапно

озарялось другимъ, болѣе глубокимъ чувствомъ. Отъ ней вѣяло счастіемъ. Я все это замѣчалъ.... Не въ первый разъ мнѣ приходилось наблюдать за ними.... Сперва это меня сильно огорчило, потомъ какъ-будто тронуло, а наконецъ взбѣсило. Я внезапно почувствовалъ себя необыкновенно злымъ и, помнится, необыкновенно обрадовался этому новому ощущенію и даже возымѣлъ нѣкоторое къ себѣ уваженіе. «Покажемъ имъ, что мы еще не погибли», сказалъ я самому себѣ. Когда загремѣли первые призывные звуки мазурки, я спокойно оглянулся, холодно и развязно подошелъ къ одной длиннолицей барышнѣ съ краснымъ и глянцовитымъ носомъ, неловко раскрытымъ, словно растегнутымъ ртомъ и жилистой шеей, напоминавшей ручку контрабаса, — подошелъ къ ней и, сухо щелкнувъ каблуками, пригласилъ ее. На ней было розовое, словно недавно и еще не совсѣмъ выцвѣтшее, платье; надъ головой у ней дрожала какая-то полинявшая, унылая муха на претолстой мѣдной пружинѣ, и вообще эта дѣвица была, если можно такъ выразиться, вся насквозь наспиртована какой-то кислой скукой и застарѣлой неудачей. Съ самаго начала вечера она не тронулась съ мѣста: никто не думалъ пригласить ее. Одинъ шестнадцати-лѣтній бѣлокурый юноша хотѣлъ-было, за неимѣніемъ другой дамы, обратиться къ этой дѣвицѣ и уже сдѣлалъ шагъ въ направленіи къ ней, да подумалъ, поглядѣлъ и проворно спрятался въ толпу. Можете себѣ представить, съ какимъ радостнымъ изумленіемъ она согласилась на мое предложеніе! Я торжественно повелъ ее черезъ всю залу, отыскалъ два стула и сѣлъ съ ней въ кругу мазурки; въ десятыхъ парахъ, почти напротивъ князя, которому, разумѣется, предоставили первое мѣсто. Князь, какъ уже сказано, танцовалъ съ Лизой. Ни меня, ни моей дамы не безпокоили приглашеніями; стало-быть,

времени для разговора у насъ было достаточно. Правду сказать, моя дама не отличалась способностью произносить слова въ связной рѣчи: она употребляла свой ротъ болѣе для исполненія какой-то странной и дотолѣ мною невиданной улыбки внизъ; при чемъ глаза она поднимала вверхъ, словно невидимая сила растягивала ей лицо; но я и не нуждался въ ея краснорѣчіи. Благо, я чувствовалъ себя злымъ, и моя дама не внушала мнѣ робости. Я пустился критиковать все и всѣхъ на свѣтѣ, особенно напирая на столичныхъ молодчиковъ и петербургскихъ мирлифлеровъ, и до того наконецъ расходился, что моя дама понемногу перестала улыбаться и вмѣсто того, чтобъ поднимать глаза кверху, начала вдругъ—отъ изумленія, должно-быть—коситься, и притомъ такъ странно, словно она въ первый разъ замѣтила, что у ней есть носъ на лицѣ; а мой сосѣдъ, одинъ изъ тѣхъ львовъ, о которыхъ говорено было выше, не разъ окинулъ меня взоромъ, даже обратился ко мнѣ съ выраженіемъ актера на сценѣ, просыпающагося въ незнакомой сторонѣ, какъ бы желая сказать: «и ты туда же»? Впрочемъ, распѣвая, какъ говорится, соловьемъ, я все продолжалъ наблюдать за княземъ и Лизой. Ихъ безпрестанно приглашали; но я менѣе страдалъ, когда они оба танцовали; и даже тогда, когда они сидѣли рядомъ и, разговаривая другъ съ другомъ, улыбались той кроткой улыбкой, которая не хочетъ сойти съ лица счастливыхъ любовниковъ, даже тогда я не столько томился; но когда Лиза порхала по залѣ съ какимъ-нибудь ухарскимъ фертомъ, а князь, съ ея голубымъ газовымъ шарфомъ на колѣняхъ, словно любуясь своей побѣдой, задумчиво слѣдилъ за ней глазами, — тогда, о, тогда я испытывалъ невыносимыя мученія и съ досады отпускалъ такія злостныя замѣчанія, что зрачки моей дамы съ обѣихъ сторонъ совер-

шенно упирались въ носъ! Между тѣмъ, мазурка склонялась къ концу.... Начали дѣлать фигуру, называемую la confidente. Въ этой фигурѣ дама садится на серединѣ круга, выбираетъ другую даму въ довѣренныя и шепчетъ ей на ухо имя господина, съ которымъ она желаетъ танцовать; кавалеръ подводитъ ей по одиночкѣ танцоровъ, а довѣренная дама имъ отказываетъ, пока наконецъ появится заранѣе назначенный счастливчикъ. Лиза сѣла въ середину круга и выбрала хозяйскую дочь, дѣвицу изъ числа тѣхъ, о которыхъ говорятъ, что онѣ «Богъ съ ними». Князь пустился отыскивать избранника. Напрасно представивъ около десяти молодыхъ людей (хозяйская дочь отказала имъ всѣмъ съ пріятнѣйшей улыбкой), онъ, наконецъ, обратился ко мнѣ. Нѣчто необыкновенное произошло во мнѣ въ это мгновеніе: я словно мигнулъ всѣмъ тѣломъ и хотѣлъ-было отказаться, однако всталъ и пошелъ. Князь подвелъ меня къ Лизѣ.... Она даже не посмотрѣла на меня; хозяйская дочь отрицательно покачала головой, князь обернулся ко мнѣ и, вѣроятно, возбужденный гусинымъ выраженіемъ моего лица, глубоко мнѣ поклонился. Этотъ насмѣшливый поклонъ, этотъ отказъ, переданный мнѣ торжествующимъ соперникомъ, его небрежная улыбка, равнодушное невниманіе Лизы, — все это меня взорвало.... Я пододвинулся къ князю и и съ бѣшенствомъ прошепталъ: «Вы, кажется, изволите смѣяться надо мной»?

Князь поглядѣлъ на меня съ презрительнымъ удивленіемъ, снова взялъ меня за руку и, показывая видъ, что провожаетъ меня до моего мѣста, холодно отвѣтилъ мнѣ: «я?»

— Да, вы! продолжалъ я шопотомъ, повинуясь, однако, ему, то-есть идя за нимъ къ своему мѣсту: — вы, но

я не намѣренъ позволять какому-нибудь пустому петербургскому выскочкѣ....

Князь усмѣхнулся спокойно, почти снисходительно, стиснулъ мнѣ руку, прошепталъ: «Я васъ понимаю; но здѣсь не мѣсто: мы поговоримъ», вернулся отъ меня, подошелъ къ Бизьмёнкову и подвелъ его къ Лизѣ. Блѣдненькій чиновничекъ оказался избранникомъ. Лиза встала ему на встрѣчу.

Садясь возлѣ своей дамы съ унылой мухой на головѣ, я чувствовалъ себя почти героемъ. Сердце во мнѣ билось сильно, грудь благородно поднималась подъ накрахмаленной манишкой, я дышалъ глубоко и скоро — и вдругъ такъ великолѣпно посмотрѣлъ на сосѣдняго льва, что тотъ невольно дрыгнулъ обращенной ко мнѣ ножкой. Отдѣлавъ этого человѣка, я обвелъ глазами весь кругъ танцующихъ.... Мнѣ показалось, что два-три господина не безъ недоумѣнія глядѣли на меня; но вообще нашъ разговоръ съ княземъ не былъ замѣченъ.... Соперникъ мой уже сидѣлъ на своемъ стулѣ, совершенно спокойный и съ прежней улыбкой на лицѣ. Бизьмёнковъ довелъ Лизу до ея мѣста. Она дружелюбно ему поклонилась и тотчасъ обратилась къ князю, какъ мнѣ показалось, съ нѣкоторой тревогой; но онъ засмѣялся ей въ отвѣтъ, граціозно махнулъ рукой и, должно быть, сказалъ ей что-то очень пріятное, потому что она очень зардѣлась отъ удовольствія, опустила глаза и потомъ съ ласковымъ упрекомъ устремила ихъ опять на него.

Геройское расположеніе, внезапно развившееся во мнѣ, не изчезло до конца мазурки; но я болѣе уже не острилъ и не «критиканствовалъ», а только изрѣдка мрачно и строго взглядывалъ на свою даму, которая видимо начинала бояться меня и уже совершенно заикалась и безпрерывно моргала, когда я ее отвелъ подъ природное укрѣ-

пленіе ея матери, очень толстой женщины съ рыжимъ токомъ на головѣ. Вручивъ запуганную дѣвицу по принадлежности, я отошелъ къ окну, скрестивъ руки и началъ ждать, что то будетъ. Я ждалъ довольно долго. Князь все время былъ окруженъ хозяиномъ, именно окруженъ, какъ Англія окружена моремъ, не говоря уже о прочихъ членахъ семейства уѣзднаго предводителя и остальныхъ гостяхъ; да и притомъ онъ не могъ, не возбудить всеобщаго изумленія, подойти къ такому незначительному человѣку, какъ я, заговорить съ нимъ. Эта моя незначительность, помнится, даже радовала меня тогда. «Шалишь!« думалъ я, глядя какъ онъ вѣжливо обращался то къ одному, то къ другому почетному лицу, добивавшемуся чести быть имъ замѣченнымъ, хотя на «мигъ», какъ говорятъ поэты; — «шалишь, голубчикъ.... подойдешь ко мнѣ ужо́—вѣдь я тебя оскорбилъ». Наконецъ князь, какъ-то ловко отдѣлавшись отъ толпы своихъ обожателей, прошелъ мимо меня, взглянулъ — не то на окно, не то на мои волосы, отвернулся-было и вдругъ остановился, словно что-то вспомнилъ.

— Ахъ да! сказалъ онъ, обращаясь ко мнѣ съ улыбкой:—кстати у меня есть до васъ дѣльцо.

Два помѣщика, изъ самыхъ неотвязчивыхъ, упорно слѣдившіе за княземъ, вѣроятно, подумали, что «дѣльцо» служебное, и почтительно отступили назадъ. Князь взялъ меня подъ руку и отвелъ въ сторону. Сердце у меня стучало въ груди.

— Вы, кажется, началъ онъ, растянувъ слово *вы* и глядя мнѣ въ подбородокъ съ презрительнымъ выраженіемъ, которое, страннымъ образомъ, какъ нельзя лучше шло къ его свѣжему и красивому лицу:—вы мнѣ сказали дерзость?

— Я сказалъ, что́ думалъ, возразилъ я, возвысивъ голосъ.

— Тссъ.... тише, замѣтилъ онъ;—порядочные люди не кричатъ. Вамъ, можетъ-быть, угодно драться со мной?

— Это ваше дѣло, отвѣчалъ я, выпрямившись.

— Я буду принужденъ вызвать васъ, заговорилъ онъ небрежно:—если вы не откажетесь отъ вашихъ выраженій....

— Я ни отъ чего не намѣренъ отказываться, возразилъ я съ гордостью.

— Въ самомъ дѣлѣ? замѣтилъ онъ не безъ насмѣшливой улыбки. — Въ такомъ случаѣ, продолжалъ онъ, помолчавъ:— я буду имѣть честь прислать къ вамъ завтра своего секунданта.

— Очень хорошо-съ, проговорилъ я голосомъ, какъ можно болѣе равнодушнымъ.

Князь слегка поклонился.

— Я не могу запретить вамъ находить меня пустымъ человѣкомъ, прибавилъ онъ, надменно прищуривъ глаза:— но князья Н* не могутъ быть выскочками. До свиданія господинъ.... господинъ Штукатуринъ.

Онъ быстро обернулся ко мнѣ спиной и снова подошелъ къ хозяину, уже начинавшему волноваться.

Господинъ Штукатуринъ!... Меня зовутъ Чулкатуринымъ.... Я ничего не нашелся сказать ему въ отвѣтъ на это послѣднее оскорбленіе и только съ бѣшенствомъ посмотрѣлъ ему въ слѣдъ. — «До завтра», прошепталъ я, стиснувъ зубы, и тотчасъ отыскалъ одного мнѣ знакомаго офицера, уланскаго ротмистра Колобердяева, отчаяннаго гуляку и славнаго малаго, разсказалъ ему въ немногихъ словахъ мою ссору съ княземъ и попросилъ его быть моимъ секундантомъ. Онъ, разумѣется, немедленно согласился, и я отправился домой.

Я не могъ заснуть всю ночь отъ волненія, не отъ трусости. Я не трусъ. Я даже весьма мало думалъ о предстоящей мнѣ возможности лишиться жизни, этого, какъ увѣряютъ нѣмцы, высшаго блага на землѣ. Я думалъ объ одной Лизѣ, о моихъ погибшихъ надеждахъ, о томъ, что мнѣ слѣдовало сдѣлать. «Долженъ ли я постараться убить князя?» спрашивалъ я самого себя и, разумѣется, хотѣлъ убить его не изъ мести, а изъ желанія добра Лизѣ. «Но она не перенесетъ этого удара», продолжалъ я. «Нѣтъ, ужъ пусть лучше онъ меня убьетъ!» Признаюсь, мнѣ тоже пріятно было думать, что я, темный уѣздный человѣкъ, принудилъ такую важную особу драться со мной.

Утро застало меня въ этихъ размышленіяхъ; а вслѣдъ за утромъ появился Колобердяевъ.

— Ну, спросилъ онъ меня, со стукомъ входя въ мою спальню:—гдѣ же княжескій секундантъ?

— Да помилуйте, отвѣчалъ я съ досадой,—теперь всего семь часовъ утра; князь еще, чай, спитъ теперь.

— Въ такомъ случаѣ, возразилъ неугомонный ротмистръ: прикажите мнѣ дать чаю. У меня со вчерашняго вечера голова болитъ.... Я и не раздѣвался. Впрочемъ, прибавилъ онъ, зѣвнувъ:—я вообще рѣдко раздѣваюсь.

Ему дали чаю. Онъ выпилъ шесть стакановъ съ ромомъ, выкурилъ четыре трубки, разсказалъ мнѣ, что онъ наканунѣ за безцѣнокъ купилъ лошадь, отъ которой кучера отказались, и что намѣренъ ее выѣздить, подвязавъ ей переднюю ногу, — и заснулъ, не раздѣваясь, на диванѣ, съ трубкой во рту. Я всталъ и привелъ въ порядокъ свои бумаги. Одну пригласительную записку Лизы, единственную записку, полученную мною отъ нея, я положилъ-было себѣ на грудь, но подумалъ и бросилъ ее въ ящикъ. Колобердяевъ слабо похрапывалъ, свѣсивъ голову съ кожаной подушки.... Я, помнится, долго разсма-

тривалъ его взъерошенное, удалое, беззаботное и доброе лицо. Въ десять часовъ мой слуга доложилъ о пріѣздѣ Бизьмёнкова. Князь его выбралъ въ секунданты.

Мы вдвоемъ разбудили разоспавшагося ротмистра. Онъ приподнялся, поглядѣлъ на насъ осоловѣлыми глазами, хриплымъ голосомъ попросилъ водки; оправился, и раскланявшись съ Бизьмёнковымъ, вышелъ съ нимъ въ другую комнату для совѣщанія. Совѣщаніе господъ секундантовъ продолжалось недолго. Четверть часа спустя, они оба вошли ко мнѣ въ спальню; Колобердяевъ объявилъ мнѣ что «мы будемъ драться сегодня же въ три часа, на пистолетахъ». Я, молча, наклонилъ голову въ знакъ согласія. Бизьмёнковъ тотчасъ же простился съ нами и уѣхалъ. Онъ былъ нѣсколько блѣденъ и внутренно взволнованъ, какъ человѣкъ, не привыкшій къ подобнаго рода продѣлкамъ, но, впрочемъ, очень вѣжливъ и холоденъ. Мнѣ было какъ-будто совѣстно передъ нимъ, и я не смѣлъ взглянуть ему въ глаза. Колобердяевъ началъ опять разсказывать о своей лошади. Этотъ разговоръ былъ мнѣ очень по нутру. Я боялся, какъ бы онъ не упомянулъ о Лизѣ. Но мой добрый ротмистръ не былъ сплетникомъ, да и сверхъ того презиралъ всѣхъ женщинъ, называя ихъ, Богъ знаетъ почему, салатомъ. Въ два часа мы закусили, а въ три уже находились на мѣстѣ дѣйствія— въ той самой березовой рощѣ, гдѣ я нѣкогда гулялъ съ Лизой, въ двухъ шагахъ отъ того обрыва.

Мы пріѣхали первые. Но князь съ Бизьмёнковымъ недолго заставили ждать себя. Князь былъ, безъ преувеличенія, свѣжъ, какъ розанъ: каріе глаза его чрезвычайно привѣтно глядѣли изъ-подъ козырька его фуражки. Онъ курилъ соломенную сигарку и, увидѣвъ Колобердяева, ласково пожалъ ему руку. Даже мнѣ онъ очень мило поклонился. Я, напротивъ, самъ чувствовалъ себя блѣд-

нымъ, и руки мои, къ страшной моей досадѣ, слегка дрожали.... горло сохло.... Я никогда еще до тѣхъ поръ не дрался на дуэли. «О, Боже!» думалъ я, «лишь бы этотъ насмѣшливый господинъ не принялъ моего волненія за робость!» Я внутренно посылалъ свои нервы ко всѣмъ чертямъ; но, взглянувъ, наконецъ, прямо въ лицо князю и уловивъ на губахъ его почти незамѣтную усмѣшку, вдругъ опять разозлился и тотчасъ успокоился. Между тѣмъ секунданты наши устроили барьеръ, отмѣрили шаги, зарядили пистолеты. Колобердяевъ больше дѣйствовалъ; Бизьмёнковъ больше наблюдалъ за нимъ. День былъ великолѣпный—не хуже дня незабвенной прогулки. Густая синева неба по-прежнему сквозила сквозь раззолоченную зелень листьевъ. Ихъ лепетъ, казалось, дразнилъ меня. Князь продолжалъ курить свою сигарку, прислонясь плечомъ къ стволу молодой липы....

— Извольте стать, господа: готово, произнесъ наконецъ Колобердяевъ, вручая намъ пистолеты.

Князь отошелъ нѣсколько шаговъ, остановился и, повернувъ голову назадъ, черезъ плечо спросилъ меня: «А вы все не отказываетесь отъ своихъ словъ?» Я хотѣлъ отвѣчать ему; но голосъ измѣнилъ мнѣ, и я удовольствовался презрительнымъ движеніемъ руки. Князь усмѣхнулся опять и сталъ на свое мѣсто. Мы начали сходиться. Я поднялъ пистолетъ, прицѣлился-было въ грудь моего врага — въ это мгновеніе онъ точно былъ моимъ врагомъ — но вдругъ поднялъ дуло, словно кто толкнулъ меня подъ локоть, и выстрѣлилъ. Князь пошатнулся, поднесъ лѣвую руку къ лѣвому виску — струйка крови потекла по его щекѣ изъ-подъ бѣлой замшевой перчатки. Бизьмёнковъ бросился къ нему.

— Ничего, сказалъ онъ, снимая простреленную фуражку: коли въ голову и не упалъ, значитъ, царапина.

Онъ спокойно досталъ изъ кармана батистовый платокъ и приложилъ его къ смоченнымъ кровью кудрямъ. Я глядѣлъ на него, словно остолбенѣлый, и не двигался съ мѣста.

— Извольте идти къ барьеру! строго замѣтилъ мнѣ Колобердяевъ.

Я повиновался.

— Поединокъ продолжается? прибавилъ онъ, обратясь къ Визьмёнкову.

Визьмёнковъ ничего не отвѣчалъ ему; но князь, не отнимая платка отъ раны и не давая себѣ даже удовольствія помучить меня у барьера, съ улыбкой возразилъ: «поединокъ конченъ», и выстрѣлилъ на воздухъ. Я чуть-было не заплакалъ отъ досады и бѣшенства. Этотъ человѣкъ своимъ великодушіемъ окончательно втопталъ меня въ грязь, зарѣзалъ меня. Я хотѣлъ-было противиться, хотѣлъ-было потребовать, чтобы онъ выстрѣлилъ въ меня; но онъ подошелъ ко мнѣ и протянулъ мнѣ руку.

— Вѣдь все позабыто межъ нами, не правда ли? промолвилъ онъ ласковымъ голосомъ.

Я взглянулъ на его поблѣднѣвшее лицо, на этотъ окровавленный платокъ и, совершенно потерявшись, пристыженный и уничтоженный, стиснулъ ему руку....

— Господа! прибавилъ онъ, обращаясь къ секундантамъ, я надѣюсь, что́ все останется втайнѣ?

— Разумѣется! воскликнулъ Колобердяевъ:—но, князь, позвольте....

И онъ самъ повязалъ ему голову.

Князь, уходя, еще разъ поклонился мнѣ; но Визьмёнковъ даже не взглянулъ на меня. Убитый, — нравственно убитый — возвратился я съ Колобердяевымъ домой.

— Да что съ вами? спрашивалъ меня ротмистръ. Успокойтесь: рана неопасная. Онъ завтра же можетъ

танцовать, коли хочетъ. Или вамъ жаль, что вы его не убили? Въ такомъ случаѣ напрасно: онъ славный малый.

— Зачѣмъ онъ пощадилъ меня! пробормоталъ я наконецъ.

— Вотъ тебѣ на! спокойно возразилъ ротмистръ.... Охъ ужъ эти мнѣ сочинители!

Я не знаю, почему ему вздумалось назвать меня сочинителемъ.

Я рѣшительно отказываюсь отъ описанія моихъ терзаній въ теченіе вечера, послѣдовавшаго за этимъ несчастнымъ поединкомъ. Мое самолюбіе страдало неизъяснимо. Не совѣсть меня мучила: сознаніе моей глупости меня уничтожало. Я, я самъ нанесъ себѣ послѣдній, окончательный ударъ!» твердилъ я, ходя большими шагами по комнатѣ. — «Князь, раненый мною и простившій меня.... да, Лиза теперь его. Теперь уже ничего ее не можетъ спасти, удержать на краю пропасти». Я очень хорошо зналъ, что нашъ поединокъ не могъ остаться втайнѣ, несмотря на слова князя; во всякомъ случаѣ, для Лизы онъ не могъ остаться тайной. «Князь не такъ глупъ», — шепталъ я съ бѣшенствомъ, — «чтобы не воспользоваться».... А между тѣмъ я ошибался: о поединкѣ и о настоящей его причинѣ узналъ весь городъ, на другой же день, конечно; но проболтался не князь, — напротивъ; когда онъ, съ повязанной головой и съ напередъ сочиненнымъ предлогомъ, явился передъ Лизой, она уже все знала.... Визьмёнковъ ли выдалъ меня, другими ли путями дошло до ней это извѣстіе, не могу сказать. Да и наконецъ, развѣ въ небольшомъ городѣ возможно что-нибудь скрыть? Можете себѣ представить, какъ Лиза его приняла, какъ все семейство Ожогиныхъ его приняло! Что же до меня касается, то я внезапно сталъ предметомъ общаго негодованія, омерзѣнія,

извергомъ, сумасброднымъ ревнивцемъ и людоѣдомъ. Мои не многіе знакомые отъ меня отказались, какъ отъ прокаженнаго. Городскія власти немедленно обратились къ князю съ предложеніемъ примѣрно и строго наказать меня; однѣ настоятельныя и неотступныя просьбы самого князя отвратили бѣдствіе, грозившее моей головѣ. Этому человѣку суждено было всячески меня уничтожить. Онъ своимъ великодушіемъ прихлопнулъ меня, какъ гробовою крышей. Нечего и говорить, что домъ Ожогиныхъ тотчасъ же закрылся для меня. Кирилла Матвѣичъ возвратилъ мнѣ даже простой карандашъ, позабытый у него мною. По-настоящему, ему-то именно и не слѣдовало на меня сердиться. Моя, какъ выражались въ городѣ, «сумасбродная» ревность опредѣлила, уяснила, такъ-сказать, отношенія князя къ Лизѣ. На него и сами старики Ожогины и прочіе обыватели стали глядѣть почти какъ на жениха. Въ сущности, это ему не совсѣмъ должно было быть пріятно; но Лиза ему очень нравилась; притомъ онъ еще тогда не достигъ своихъ цѣлей.... Со всею ловкостью умнаго и свѣтскаго человѣка приспособился онъ къ новому своему положенію, тотчасъ вошелъ, какъ говорится, въ духъ своей новой роли....

Но я!... Я на свой счетъ, на счетъ своей будущности, махнулъ тогда рукой. Когда страданія доходятъ до того, что заставляютъ всю нашу внутренность трещать и кряхтѣть, какъ перегруженную телѣгу, имъ бы слѣдовало перестать быть смѣшными.... но нѣтъ! смѣхъ не только сопровождаетъ слезы до конца, до истощенія, до невозможности проливать ихъ болѣе—гдѣ! онъ еще звенитъ и раздается тамъ, гдѣ языкъ нѣмѣетъ и замираетъ сама жалоба.... И потому, во-первыхъ, такъ какъ я не намѣренъ даже самому себѣ казаться смѣшнымъ, а во-вторыхъ, такъ какъ я усталъ ужасно, то и откладываю про-

долженіе и, если Богъ дастъ, окончаніе своего разсказа до слѣдующаго дня....

29 марта. Легкій морозъ; вчера была оттепель.

Вчера я не былъ въ силахъ продолжать мой дневникъ: я, какъ Поприщинъ, большею частью лежалъ на постели и бесѣдовалъ съ Терентьевной. Вотъ еще женщина! Шестьдесятъ лѣтъ тому назадъ она потеряла своего перваго жениха отъ чумы, всѣхъ дѣтей своихъ пережила, сама непростительно стара, пьетъ чай сколько душѣ угодно, сыта, одѣта тепло; а о чемъ, вы думаете, она вчера цѣлый день мнѣ говорила? Другой, уже вовсе ощипанной, старухѣ я велѣлъ дать на жилетъ (она носитъ нагрудники въ видѣ жилета) воротникъ ветхой ливреи, до половины съѣденный молью.... такъ вотъ отчего не ей? «А, кажется, я няня ваша.... О-охъ, батюшка вы мой, грѣшно вамъ.... А ужъ я-то васъ, кажись, на что холила!».... и т. д. Безжалостная старуха совершенно заѣздила меня своими упреками.... Но возвратимся къ разсказу.

Итакъ, я страдалъ, какъ собака, которой заднюю часть тѣла переѣхали колесомъ. Я только тогда, только послѣ изгнанія моего изъ дома Ожогиныхъ, окончательно узналъ, сколько удовольствія можетъ человѣкъ почерпнуть изъ созерцанія своего собственнаго несчастія. О, люди! точно жалкій родъ!.... Ну, однако, въ сторону философическія замѣчанія.... Я проводилъ дни въ совершенномъ одиночествѣ и только самыми окольными и даже низменными путями могъ узнавать, что происходило въ семействѣ Ожогиныхъ, что дѣлалъ князь: мой слуга познакомился съ двоюродной теткой жены его кучера. Это знакомство доставило мнѣ нѣкоторое облегченіе, и мой слуга скоро, по моимъ намекамъ и подарочкамъ, могъ догадаться, о

чемъ слѣдовало ему разговаривать съ своимъ бариномъ, когда онъ стаскивалъ съ него сапоги по вечерамъ. Иногда мнѣ случалось встрѣтить на улицѣ кого-нибудь изъ семейства Ожогиныхъ, Бизьмёнкова, князя.... Съ княземъ и Бизьмёнковымъ я раскланивался, но не вступалъ въ разговоръ. Лизу я видѣлъ всего три раза: разъ съ ея маменькой, въ модномъ магазинѣ, разъ въ открытой коляскѣ, съ отцомъ, матерью и княземъ, разъ въ церкви. Разумѣется, я не дерзалъ подойти къ ней и глядѣлъ на нее только издали. Въ магазинѣ она была очень озабочена, но весела.... Она заказывала себѣ что-то и хлопотливо примѣряла ленты. Матушка глядѣла на нее, скрестивъ на желудкѣ руки, приподнявъ носъ и улыбаясь той глупой и преданной улыбкой, которая позволительна однѣмъ любящимъ матерямъ. Въ коляскѣ съ княземъ Лиза была.... Я никогда не забуду этой встрѣчи! Старики Ожогины сидѣли на заднихъ мѣстахъ коляски, князь съ Лизой впереди. Она была блѣднѣе обыкновеннаго; на щёкахъ ея чуть виднѣлись двѣ розовыя полоски. Она была до половины обращена къ князю; опираясь на свою выпрямленную правую руку (въ лѣвой она держала зонтикъ) и томно склонивъ головку, она глядѣла прямо ему въ лицо своими выразительными глазами. Въ это мгновеніе она отдавалась ему вся, безвозвратно довѣрялась ему. Я не успѣлъ хорошенько замѣтить его лица—коляска слишкомъ быстро промчалась мимо—но мнѣ показалось, что и онъ былъ глубоко тронутъ.

Въ третій разъ я ее видѣлъ въ церкви. Не болѣе десяти дней прошло съ того дня, когда я встрѣтилъ ее въ коляскѣ съ княземъ, не болѣе трехъ недѣль со дня моей дуэли. Дѣло, по которому князь прибылъ въ О..., уже было окончено; но онъ все еще медлилъ своимъ отъѣздомъ: онъ отозвался въ Петербургъ больнымъ. Въ городѣ

каждый день ожидали формальнаго предложенія съ его стороны Кириллѣ Матвѣичу. Я самъ ждалъ только этого послѣдняго удара, чтобы удалиться навсегда. Мнѣ городъ О.... опротивѣлъ. Я не могъ сидѣть дома и съ утра до вечера таскался по окрестностямъ. Въ одинъ сѣрый, ненастный день, возвращаясь съ прогулки, прерванной дождемъ, зашелъ я въ церковь. Вечернее служеніе только-что начиналось, народу было очень немного; я оглянулся и вдругъ возлѣ одного окна увидѣлъ знакомый профиль. Я его сперва не узналъ: это блѣдное лицо, этотъ погасшій взоръ, эти впалыя щеки—неужели это та же Лиза, которую я видѣлъ двѣ недѣли тому назадъ! Завернутая въ плащъ, безъ шляпы на головѣ, освѣщенная съ боку холоднымъ лучомъ, падавшимъ изъ широкаго бѣлаго окна, она неподвижно глядѣла на иконостасъ и, казалось, силилась молиться, силилась [illegible] изъ какого-то унылаго оцѣпенѣнія. Краснощекій, толстый казачекъ, съ желтыми патронами на груди, стоялъ за нею, сложа руки на спину, и съ сонливымъ недоумѣніемъ посматривалъ на свою барышню. Я вздрогнулъ весь, хотѣлъ-было подойти къ ней, но остановился. Мучительное предчувствіе стѣснило мнѣ грудь. До самаго конца вечерни Лиза не шевельнулась. Народъ весь вышелъ, дьячокъ сталъ подметать церковь, она все не трогалась съ мѣста. Казачекъ подошелъ къ ней, сказалъ ей что-то, коснулся ея платья; она оглянулась, провела рукой по лицу и ушла. Я издали проводилъ ее до дому и вернулся къ себѣ.

«Она погибла!» воскликнулъ я, входя въ свою комнату.

Какъ честный человѣкъ, я до сихъ поръ не знаю, какого рода были мои ощущенія тогда: я, помнится, скрестивъ руки, бросился на диванъ и уставилъ глаза на полъ; но, я не знаю, я посреди своей тоски какъ-будто

былъ чѣмъ-то доволенъ.... Я бы ни за что въ этомъ не сознался, если-бъ я не писалъ для самого себя.... Меня, точно, терзали мучительныя, страшныя предчувствія.... и кто знаетъ, я, можетъ-быть, былъ бы весьма озадаченъ, если-бъ онѣ не сбылись. «Таково сердце человѣческое!» воскликнулъ бы теперь выразительнымъ голосомъ какой-нибудь русскій учитель среднихъ лѣтъ, поднявъ кверху жирный указательный палецъ, украшенный перстнемъ изъ корналинки; но что намъ за дѣло до мнѣнія русскаго учителя съ выразительнымъ голосомъ и корналинкой на пальцѣ?

Какъ бы то ни было, мои предчувствія оказались справедливыми. Внезапно по городу разнеслась вѣсть, что князь уѣхалъ будто вслѣдствіе полученнаго приказа изъ Петербурга; что онъ уѣхалъ, не сдѣлавши никакого предложенія ни Кирилу Матвѣичу, ни супругѣ его, и что Лизѣ остается до конца дней своихъ оплакивать его вѣроломство. Отъѣздъ князя былъ совершенно неожиданный, потому что еще наканунѣ кучеръ его, по увѣреніямъ моего слуги, нисколько не подозрѣвалъ намѣренія своего барина. Новость эта меня бросила въ жаръ; я тотчасъ одѣлся и побѣжалъ-было къ Ожогинымъ, но, обдумавши дѣло, почелъ приличнымъ подождать до слѣдующаго дня. Впрочемъ, я ничего не потерялъ, оставшись дома. Въ тотъ же вечеръ забѣжалъ ко мнѣ нѣкто Пандопипопуло, проѣзжій грекъ, случайнымъ образомъ застрявшій въ городѣ О..., сплетникъ первой величины, больше всѣхъ другихъ закипѣвшій негодованіемъ противъ меня за мою дуэль съ княземъ. Онъ не далъ даже времени слугѣ моему доложить о себѣ, такъ и ворвался въ мою комнату, крѣпко стиснулъ мою руку, тысячу разъ извинялся передо мной, назвалъ меня образцомъ великодушія и смѣлости, расписалъ князя самыми черными красками, не поща-

дилъ стариковъ Ожогиныхъ, которыхъ, по его мнѣнію, судьба наказала подѣломъ; мимоходомъ задѣлъ и Лизу и убѣжалъ, поцѣловавши меня въ плечо. Между прочимъ я узналъ отъ него, что князь, en vrai grand seigneur, наканунѣ отъѣзда, на деликатный намекъ Кириллы Матвѣевича холодно отвѣчалъ, что не намѣренъ никого обманывать и не думаетъ жениться, всталъ, раскланялся и былъ таковъ....

На другой день я отправился къ Ожогинымъ. Подслѣповатый лакей, при моемъ появленіи, вскочилъ съ прилавка съ быстротою молніи, я велѣлъ доложить о себѣ; лакей побѣжалъ и тотчасъ вернулся: пожалуйте, дескать, приказали просить. Я вошелъ въ кабинетъ Кириллы Матвѣича.... До завтра.

30 марта. Морозъ.

Итакъ, я вошелъ въ кабинетъ Кириллы Матвѣича. Я бы дорого заплатилъ тому, кто бы могъ показать мнѣ теперь мое собственное лицо въ ту минуту, когда этотъ почтенный чиновникъ, торопливо запахнувъ свой бухарскій халатъ, подошелъ ко мнѣ съ протянутыми руками. Отъ меня, должно быть, такъ и вѣяло скромнымъ торжествомъ, снисходительнымъ участіемъ и безпредѣльнымъ великодушіемъ.... Я чувствовалъ себя чѣмъ-то въ родѣ Сципіона Африканскаго. Ожогинъ былъ видимо смущенъ и опечаленъ, избѣгалъ моего взора, сѣменилъ на мѣстѣ. Я также замѣтилъ, что онъ говорилъ какъ-то неестественно-громко и вообще выражался весьма неопредѣленно; — неопредѣленно, но съ жаромъ попросилъ у меня извиненія, неопредѣленно упомянулъ объ уѣхавшемъ гостѣ, присовокупилъ нѣсколько общихъ и неопредѣленныхъ замѣчаній объ обманчивости и непостоянствѣ земныхъ благъ и вдругъ, почувствовавъ у себя на глазахъ слезу, поспѣшилъ по-

нюхать табаку, вѣроятно для того, чтобы обмануть меня на счетъ причины, заставившей его прослезиться.... Онъ употреблялъ русскій зеленый табакъ, а извѣстно, что это растеніе даже старцевъ заставляетъ проливать слезы, сквозь которыя человѣческій глазъ глядитъ тупо и безсмысленно въ теченіе нѣсколькихъ мгновеній. Я, разумѣется, обошелся весьма бережно съ старикомъ, спросилъ о здоровьѣ его супруги и дочери, и тотчасъ искусно направилъ разговоръ на любопытный вопросъ о плодо-перемѣнномъ хозяйствѣ. Я былъ одѣтъ по обыкновенному; но исполнявшее меня чувство мягкаго приличія и кроткой снисходительности доставляло мнѣ ощущеніе праздничное и свѣжее, словно на мнѣ былъ бѣлый жилетъ и бѣлый галстухъ. Одно меня волновало: мысль о свиданіи съ Лизой.... Ожогинъ, наконецъ, самъ предложилъ повести меня къ своей женѣ. Эта добрая, но глупая женщина, увидавъ меня, сперва сконфузилась страшно; но мозгъ ея не былъ способенъ сохранить долго одно и то же впечатлѣніе, и потому она скоро успокоилась. Наконецъ я увидалъ Лизу.... Она вошла въ комнату....

Я ожидалъ, что найду въ ней пристыженную, раскаявающуюся грѣшницу, и уже напередъ придалъ лицу своему самое ласковое, одобряющее выраженіе.... Къ чему лгать? я дѣйствительно любилъ ее и жаждалъ счастія простить ее, протянуть ей руку; но, къ несказанному моему удивленію, она, въ отвѣтъ на мой значительный поклонъ, холодно разсмѣялась, небрежно замѣтила: «а? это вы?» и тотчасъ отвернулась отъ меня. Правда, смѣхъ ея мнѣ показался принужденнымъ и во всякомъ случаѣ плохо шелъ къ ея страшно похудѣвшему лицу.... но все-таки я не ожидалъ такого пріема.... Я съ изумленіемъ смотрѣлъ на нее.... какая перемѣна произошла въ ней! Между прежнимъ ребенкомъ и этой женщиной не было ничего

общаго. Она какъ-будто выросла, выпрямилась; всѣ черты ея лица, особенно губы, словно опредѣлились.... взглядъ сталъ глубже, тверже и темнѣе. Я высидѣлъ у Ожогиныхъ до обѣда; она вставала, выходила изъ комнаты и возвращалась, спокойно отвѣчала на вопросы и съ намѣреніемъ не обращала на меня вниманія. Она, я это видѣлъ, она хотѣла дать мнѣ почувствовать, что я не стóю даже ея гнѣва, хотя чуть-чуть не убилъ ея любовника. Я наконецъ потерялъ терпѣніе: ядовитый намекъ сорвался съ губъ моихъ.... Она вздрогнула, быстро взглянула на меня, встала и, подойдя къ окну промолвила слегка дрожащимъ голосомъ: «вы все можете говорить, чтó вамъ угодно, но знайте, что я этого человѣка люблю и всегда любить буду и нисколько не считаю его виноватымъ предо мною, напротивъ».... Голосъ ея зазвенѣлъ, она остановилась.... хотѣла-было переломить себя, но не могла, залилась слезáми и вышла вонъ изъ комнаты.... Старики Ожогины смутились.... я пожалъ имъ обоимъ руки, вздохнулъ, вознесъ взоры горѣ и удалился.

Я слишкомъ слабъ, времени у меня остается слишкомъ мало, я не въ состояніи съ прежнею подробностью описывать тотъ новый рядъ мучительныхъ соображеній, твердыхъ намѣреній и прочихъ плодовъ такъ-называемой внутренней борьбы, которые возникли во мнѣ послѣ возобновленія моего знакомства съ Ожогиными. Я не сомнѣвался въ томъ, что Лиза все еще любитъ и долго будетъ любить князя.... но какъ человѣкъ присмиренный обстоятельствами и самъ присмирившійся, я даже и не мечталъ о ея любви: я желалъ только ея дружбы, желалъ добиться ея довѣренности, ея уваженія, которое, по увѣренію опытныхъ людей, почитается надежнѣйшей опорой счастія въ бракѣ.... Къ сожалѣнію, я упускалъ изъ виду одно довольно важное обстоятельство, а именно то, что

Лиза со дня дуэли меня возненавидѣла. Я узналъ это слишкомъ поздно. Я началъ по-прежнему посѣщать домъ Ожогиныхъ. Кирилла Матвѣичъ, болѣе чѣмъ когда-нибудь, ласкалъ и холилъ меня. Я даже имѣю причины думать, что онъ въ то время съ удовольствіемъ отдалъ бы свою дочь за меня, хотя и не завидный былъ я женихъ: общественное мнѣніе преслѣдовала его и Лизу, а меня, напротивъ, превозносило до небесъ. Обращеніе Лизы со мной не измѣнялось: она бо́льшею частію молчала, повиновалась, когда ее просили кушать, не показывала никакихъ внѣшнихъ знаковъ горя, но, со всѣмъ тѣмъ, таяла, какъ свѣчка. Кириллѣ Матвѣичу надобно отдать эту справедливость: онъ щадилъ ее всячески; старуха Ожогина только хохлилась, глядя на свое бѣдное дитятко. Одного человѣка Лиза не чуждалась, хотя и съ нимъ не много говорила, а именно Бизьмёнкова. Старики Ожогины круто, даже грубо, обращались съ нимъ: они не могли простить ему его секунданства; но онъ продолжалъ ходить къ нимъ, будто не замѣчая ихъ немилости. Со мной онъ былъ очень холоденъ и, — странное дѣло!—я словно его боялся. Это продолжалось около двухъ недѣль. Наконецъ я, послѣ одной безсонной ночи, рѣшился объясниться съ Лизой, разоблачить передъ ней мое сердце, сказать ей, что, несмотря на прошедшее, несмотря на всевозможные толки и сплетни, я почту себя слишкомъ счастливымъ, если она удостоитъ меня своей руки, возвратитъ мнѣ свое довѣріе. Я, право, не шутя воображалъ, что оказываю, какъ выражаются хрестоматіи, несказанный примѣръ великодушія, и что она отъ одного изумленія согласится. Во всякомъ случаѣ, я хотѣлъ объясниться съ ней и выйти наконецъ изъ неизвѣстности.

За домомъ Ожогиныхъ находился довольно большой

садъ, оканчивавшійся липовой рощицей, заброшенной и заросшей. По срединѣ этой рощи возвышалась старинная бесѣдка въ китайскомъ вкусѣ; бревенчатый заборъ отдѣлялъ садъ отъ глухого проулка. Лиза иногда по цѣлымъ часамъ гуляла одна въ этомъ саду. Кирилла Матвѣичъ это зналъ и запретилъ ее безпокоить, слѣдить за ней: пусть, дескать, горе въ ней умается. Когда ея не находили въ домѣ, стòило только позвонить передъ обѣдомъ въ колокольчикъ на крыльцѣ, и она тотчасъ появлялась, съ тѣмъ же упорнымъ молчаніемъ на губахъ и во взглядѣ, съ какимъ-нибудь измятымъ листкомъ въ рукѣ. Вотъ, однажды, замѣтивъ, что ея не было въ домѣ, я показалъ видъ, что собираюсь уйти, простился съ Кирилломъ Матвѣичемъ, надѣлъ шляпу и вышелъ изъ передней на дворъ, а со двора на улицу, но тотчасъ же, съ необыкновенной быстротою шмыгнулъ назадъ въ ворота и мимо кухни пробрался въ садъ. Къ счастію, никто меня не замѣтилъ. Не думая долго, я скорыми шагами вошелъ въ рощу. Передо мной, на тропинкѣ, стояла Лиза. Сердце во мнѣ забилось сильно. Я остановился, вздохнулъ глубокó и уже хотѣлъ-было подойти къ ней, какъ вдругъ она, не оборачиваясь, подняла руку и стала прислушиваться.... Изъ-за деревьевъ, въ направленіи проулка, ясно раздались два удара, словно кто стучалъ въ заборъ. Лиза хлопнула въ ладоши, послышался слабый скрипъ калитки, и изъ чащи вышелъ Бизьмёнковъ. Я проворно спрятался за дерево. Лиза молча обратилась къ нему.... Онъ молча взялъ ее подъ руку, и оба тихо пошли по дорожкѣ. Я съ изумленіемъ глядѣлъ за ними. Они остановились, посмотрѣли кругомъ, исчезли было за кустами, появились снова и вошли наконецъ въ бесѣдку. Эта бесѣдка была круглое, крошечное строеньице, съ одной дверью и однимъ маленькимъ окномъ; по срединѣ виднѣлся старый столъ

на одной ножкѣ, поросшій мелкимъ зеленымъ мохомъ; два дощатыхъ полинялыхъ диванчика стояли по бокамъ, въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ сырыхъ и потемнѣвшихъ стѣнъ. Здѣсь въ необыкновенно жаркіе дни, и то разъ въ годъ, и то въ прежнія времена, пивали чай. Дверь не затворялась вовсе, рама давно вывалилась изъ окна и зацѣпившись однимъ угломъ, висѣла печально, какъ перешибленное птичье крыло. Я подкрался къ бесѣдкѣ и осторожно взглянулъ сквозь скважину окна. Лиза сидѣла на одномъ изъ диванчиковъ, потупивъ голову: ея правая рука лежала у ней на колѣняхъ, лѣвую держалъ Бизьмёнковъ въ обѣихъ своихъ рукахъ. Онъ съ участіемъ глядѣлъ на нее.

— Какъ вы себя сегодня чувствуете? спросилъ онъ ее вполголоса.

— Все также возразила она:—ни хуже, ни лучше.— Пустота, страшная пустота! прибавила она, уныло поднявъ глаза.

Бизьмёнковъ ничего не отвѣчалъ ей.

— Какъ вы думаете, продолжала она:—напишетъ мнѣ онъ еще разъ?

— Не думаю, Лизавета Кирилловна!

Она молчала.

— И въ самомъ дѣлѣ, о чемъ ему писать? Онъ сказалъ мнѣ все въ первомъ своемъ письмѣ. Я не могла быть его женой; но я была счастлива.... недолго.... я была счастлива.

Бизьмёнковъ потупился.

— Ахъ, продолжала она съ живостью: — если-бъ вы знали, какъ этотъ Чулкатуринъ мнѣ противенъ.... Мнѣ все кажется, что я вижу на рукахъ этого человѣка.... его кровь. (Меня покоробило за моей скважиной). Впрочемъ, прибавила она задумчиво: — кто знаетъ, можетъ-

быть, безъ этого поединка.... Ахъ, когда я увидѣла его раненаго, я тотчасъ же почувствовала, что я вся была его.

— Чулкатуринъ васъ любитъ, замѣтилъ Бизьмёнковъ.

— Такъ что́ мнѣ въ томъ! развѣ мнѣ нужна чья-нибудь любовь!... — Она остановилась и медленно прибавила: кромѣ вашей. Да, мой другъ, ваша любовь мнѣ необходима: безъ васъ я бы погибла. Вы помогли мнѣ перенести страшныя минуты....

Она умолкла.... Бизьмёнковъ началъ съ отеческой нѣжностью гладить ее по рукѣ.

— Что́ дѣлать, что́ дѣлать, Лизавета Кирилловна! повторилъ онъ нѣсколько разъ сряду.

— Да и теперь, промолвила она глухо: — я бы, кажется, умерла безъ васъ. Вы одни меня поддерживаете; притомъ, вы мнѣ его напоминаете.... Вѣдь вы все знали. Помните, какъ онъ былъ хорошъ въ тотъ день.... Но извините меня: вамъ должно-быть тяжело....

— Говорите, говорите! Что́ вы! Богъ съ вами! прервалъ ее Бизьмёнковъ.

Она стиснула ему руку.

— Вы очень добры, Визьмёнковъ, продолжала она:— вы добры, какъ ангелъ. Что́ дѣлать! я чувствую, что я до гроба его любить буду. Я простила ему, я благодарна ему. Дай Богъ ему счастья! дай Богъ ему жену по сердцу!—И глаза ея наполнились слезами. — Лишь бы онъ не позабылъ меня, лишь бы онъ хоть изрѣдка вспоминалъ о своей Лизѣ. Выйдемте, прибавила она послѣ небольшого молчанія.

Бизьмёнковъ поднесъ ея руку къ своимъ губамъ.

— Я знаю, заговорила она съ жаромъ:—всѣ меня теперь обвиняютъ, всѣ бросаютъ въ меня каменьями. Пусть! Я бы все-таки не промѣняла своего несчастія на ихъ

счастіе.... нѣтъ! нѣтъ!... Онъ не долго меня любилъ, но онъ любилъ меня! Онъ никогда меня не обманывалъ: онъ не говорилъ мнѣ, что я буду его женой; я сама никогда не думала объ этомъ. Одинъ бѣдный папаша надѣялся. И теперь я еще не совсѣмъ несчастна: мнѣ остается воспоминаніе, и, какъ бы ни были страшны послѣдствія.... Мнѣ душно здѣсь.... здѣсь я въ послѣдній разъ съ нимъ видѣлась.... Пойдемте на воздухъ.

Они встали. Я едва успѣлъ отскочить въ сторону и спрятаться за толстую липу. Они вышли изъ бесѣдки и, сколько я могъ судить по шуму шаговъ, ушли въ рощу. Не знаю, сколько я времени простоялъ, не двигаясь съ мѣста, погруженный въ какое-то безсмысленное недоумѣніе, какъ вдругъ снова послышались шаги. Я встрепенулся и осторожно выглянулъ изъ моей засады. Визьмёнковъ и Лиза возвращались по той же дорожкѣ. Оба были очень взволнованы, особенно Визьмёнковъ. Онъ, казалось, плакалъ. Лиза остановилась, поглядѣла на него и явственно произнесла слѣдующія слова: «Я согласна, Визьмёнковъ. Я бы не согласилась, если-бъ вы только хотѣли спасти меня, вывести меня изъ страшнаго положенія; но вы меня любите, вы все знаете—и любите меня: я никогда не найду болѣе надежнаго, вѣрнаго друга. Я буду вашей женой».

Визьмёнковъ поцѣловалъ ей руку; она печально ему улыбнулась и пошла домой. Визьмёнковъ бросился въ чащу, а я отправился восвояси. Такъ какъ Визьмёнковъ, вѣроятно, сказалъ Лизѣ именно то, что̀ я намѣренъ былъ ей сказать, и такъ какъ она отвѣчала ему именно то, что̀ я бы желалъ услышать отъ нея, то мнѣ нечего было болѣе безпокоиться. Черезъ двѣ недѣли она вышла за него замужъ. Старики Ожогины рады были всякому жениху.

Ну, скажите теперь, не лишній ли я человѣкъ? Не разъигралъ ли я во всей этой исторіи роль лишняго человѣка? Роль князя.... о ней нечего и говорить; роль Визьмёнкова также понятна.... Но я? я-то къ чему тутъ примѣшался?... что за глупое, пятое колесо въ телѣгѣ!... Ахъ, горько, горько мнѣ!... Да вотъ какъ бурлаки говорятъ: «еще разикъ, еще разъ»—еще денекъ, другой, и мнѣ уже ни горько не будетъ, ни сладко.

31 марта.

Плохо. Я пишу эти строки въ постели. Со вчерашняго вечера погода вдругъ перемѣнилась. Сегодня жарко, почти лѣтній день. Все таетъ, валится, течетъ. Въ воздухѣ пахнетъ разрытой землей: тяжелый, сильный, душный запахъ. Паръ поднимается отвсюду. Солнце такъ и бьетъ, такъ и разитъ. Плохо мнѣ. Я чувствую, что разлагаюсь.

Я хотѣлъ написать свой дневникъ, и вмѣсто того, что́ я сдѣлалъ? разсказалъ одинъ случай изъ моей жизни. Я разболтался, уснувшія воспоминанія пробудились и увлекли меня. Я писалъ не торопясь, подробно, словно мнѣ еще предстояли годы; а теперь вотъ и некогда продолжать. Смерть, смерть идетъ. Мнѣ уже слышится ея грозное crescendo.... Пора.... Пора!...

Да и что́ за бѣда! Не все ли равно, что́ бы я ни разсказалъ? Въ виду смерти исчезаютъ послѣднія земныя суетности. Я чувствую, что утихаю; я становлюсь проще, яснѣе. Поздно я хватился за умъ!... Странное дѣло! я утихаю—точно, и, вмѣстѣ съ тѣмъ.... жутко мнѣ. Да, мнѣ жутко. До половины наклоненный надъ безмолвной, зіяющей бездной, я содрогаюсь, отворачиваюсь, съ жаднымъ вниманіемъ осматриваю все кругомъ. Всякій предметъ мнѣ вдвойнѣ дорогъ. Я не нагляжусь на мою бѣд-

ную, невеселую комнату, прощаюсь съ каждымъ пятнышкомъ на моихъ стѣнахъ! Насыщайтесь въ послѣдній разъ, глаза мои! Жизнь удаляется; она ровно и тихо бѣжитъ отъ меня прочь, какъ берегъ отъ взоровъ мореходца. Старое, желтое лицо моей няни, повязанное темнымъ платкомъ, шипящій самоваръ на столѣ, горшокъ герани передъ окномъ, и ты, мой бѣдный песъ Трезоръ, перо, которымъ я пишу эти строки, собственная рука моя, я вижу васъ теперь.... вотъ вы, вотъ.... Неужели же.... можетъ быть, сегодня.... я никогда болѣе не увижу васъ? Тяжело живому существу разставаться съ жизнью! Что ты ластишься ко мнѣ, бѣдная собака? что̀ прислоняешься грудью къ постели, судорожно поджимая свой куцый хвостъ и не сводя съ меня своихъ добрыхъ, грустныхъ глазъ? Или тебѣ жаль меня? или ты уже чуешь, что хозяина твоего скоро не станетъ? Ахъ, если-бъ я могъ также пройти мыслью по всѣмъ предметамъ моей комнаты! Я знаю, что эти воспоминанія невеселы и незначительны, да другихъ у меня нѣтъ. Пустота, страшная пустота! какъ говорила Лиза.

О, Боже мой, Боже мой! Я вотъ умираю.... Сердце, способное и готовое любить, скоро перестанетъ биться.... И неужели же оно затихнетъ навсегда, не извѣдавъ ни разу счастія, не расширясь ни разу подъ сладостнымъ бременемъ радости? Увы! это невозможно, невозможно, я знаю.... Если-бъ, по крайней мѣрѣ, теперь, передъ смертью — вѣдь смерть все-таки святое дѣло, вѣдь она возвышаетъ всякое существо — если-бъ какой-нибудь милый, грустный, дружескій голосъ пропѣлъ надо мною прощальную пѣснь о собственномъ моемъ горѣ, я бы, можетъ быть, помирился съ нимъ. Но умереть глупо, глупо....

Я, кажется, начинаю бредить.

Прощай жизнь, прощай мой садъ, и вы, мои липы!

Когда придетъ лѣто, смотрите, не забудьте сверху донизу покрыться цвѣтами.... и пусть хорошо будетъ людямъ лежать въ вашей пахучей тѣни, на свѣжей травѣ, подъ лепечущій говоръ вашихъ листьевъ, слегка возмущенныхъ вѣтромъ. Прощайте, прощайте! Прощай все и навсегда.

Прощай, Лиза! Я написалъ эти два слова—и чуть-чуть не засмѣялся. Это восклицаніе мнѣ кажется книжнымъ. Я какъ-будто сочиняю чувствительную повѣсть и оканчиваю отчаянное письмо.....

Завтра 1 апрѣля. Неужели я умру завтра? Это было бы какъ-то даже неприлично. А впрочемъ, оно ко мнѣ идетъ....

Ужъ какъ же докторъ лотошилъ сегодня!...

1 апрѣля.

Кончено.... Жизнь кончена. Я точно умру сегодня. На дворѣ жарко.... почти душно.... или уже грудь моя отказывается дышать? Моя маленькая комедія разыграна. Занавѣсъ падаетъ.

Уничтожаясь, я перестаю быть лишнимъ....

Ахъ, какъ это солнце ярко! Эти могучіе лучи дышатъ вѣчностью....

Прощай, Терентьевна!... Сегодня поутру она, сидя у окна, всплакнула.... можетъ-быть, обо мнѣ.... а, можетъ-быть, и о томъ, что ей самой скоро придется умереть. Я взялъ съ нея слово не «пришибить» Трезора.

Мнѣ тяжело писать.... бросаю перо.... Пора! смерть уже приближается съ возрастающимъ громомъ, какъ карета ночью по мостовой: она здѣсь, она порхаетъ вокругъ меня, какъ то легкое дуновеніе, отъ котораго поднялись дыбомъ волосы у пророка....

Я умираю.... Живите, живые.

*

И пусть у гробового входа
Младая будетъ жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вѣчною сіять!

Примѣчаніе издателя.—Подъ этой послѣдней строкой находится профиль головы съ большимъ хохломъ и усами, съ глазомъ en face и лучеобразными рѣсницами; а подъ головой кто-то написалъ слѣдующія слова:

Сѣю рукопись читалъ
И Содѣржаніе Оной Нѣ Одобрилъ
Пѣтръ Зудотѣшинъ
М М М М
Милостивый Государь
Пѣтръ Зудотѣшинъ
Милостивый Государь мой.

Но такъ какъ почеркъ этихъ строкъ нисколько не походилъ на почеркъ, которымъ написана остальная часть тетради, то издатель и почитаетъ себя вправѣ заключить, что вышеупомянутыя строки прибавлены были впослѣдствіи другимъ лицомъ, тѣмъ болѣе, что до свѣдѣнія его (издателя) дошло, что г-нъ Чулкатуринъ дѣйствительно умеръ въ ночь съ 1 на 2 апрѣля 18.. года, въ родовомъ своемъ помѣстьѣ—Овечьи воды.

1850 г.

ТРИ ВСТРѢЧИ

Passa que' colli e vieni allegramente;
Non ti curar di tanta compania—
Vieni, pensando a me segretamente—
Ch'io t'accompagna per tutta la via *).

I.

Никуда я, бывало, не ѣздилъ такъ часто на охоту, въ теченіе лѣта, какъ въ село Глинное, лежащее въ двадцати верстахъ отъ моей деревни. Около этого села находятся самыя, можетъ-быть, лучшія мѣста для дичи въ цѣломъ нашемъ уѣздѣ. Выходивъ всѣ окрестные кусты и поля, я непремѣнно къ концу дня заворачивалъ въ сосѣднее, почти единственное въ околоткѣ болото и уже оттуда возвращался къ радушному моему хозяину, глинскому старостѣ, у котораго я постоянно останавливался. Отъ болота до Глиннаго не болѣе двухъ верстъ; дорога идетъ все лощиной, и только на половинѣ пути приходится перебраться черезъ небольшой холмъ. На вершинѣ этого холма лежитъ усадьба, состоящая изъ одного необитаемаго господскаго домика и сада. Мнѣ почти всегда случалось проходить мимо нея въ самый разгаръ вечер-

*) «Перейди черезъ эти холмы и приди весело ко мнѣ; не заботься о слишкомъ большомъ обществѣ. Приди одинъ и во все время дороги думай обо мнѣ, такъ чтобъ я была твоимъ товарищемъ на всемъ пути».

ней зари и, помнится, всякій разъ этотъ домъ, со своими наглухо заколоченными окнами, представлялся мнѣ слѣпымъ старикомъ, вышедшимъ погрѣться на солнцѣ. Сидитъ онъ, сердечный, близъ дороги; солнечный блескъ давно смѣнился для него вѣчной мглою; но онъ чувствуетъ его по крайней мѣрѣ на приподнятомъ и вытянутомъ лицѣ, на согрѣтыхъ щекахъ. Казалось, давно никто не жилъ въ самомъ домѣ; но въ крошечномъ флигелькѣ, на дворѣ, помѣщался дряхлый вольно-отпущенный человѣкъ, высокій, сутуловатый и сѣдой, съ выразительными и неподвижными чертами лица. Онъ, бывало, все посиживалъ на лавочкѣ предъ единственнымъ окошкомъ флигеля, съ горестной задумчивостью поглядывая вдаль, а увидавъ меня, приподнимался немного и кланялся съ той медлительной важностью, которой отличаются старые дворовые, принадлежащіе къ поколѣнію не отцовъ нашихъ, а дѣдовъ. Я заговаривалъ съ нимъ, но онъ не былъ словоохотливъ: я только узналъ отъ него, что усадьба, въ которой онъ жилъ, принадлежала внучкѣ его стараго барина, вдовѣ, у которой была младшая сестра; что обѣ онѣ живутъ въ городахъ да за моремъ, а домой и не показываются; что ему самому поскорѣй хочется дожить свой вѣкъ, потому что «жуешь, жуешь хлѣбъ, инда и тоска возьметъ: такъ давно жуешь». Старика этого звали Лукьянычемъ.

Однажды я какъ-то долго замѣшкался въ полѣ; дичи попалось порядочно, да и день вышелъ такой для охоты хорошій—съ самаго утра тихій, сѣрый, словно весь проникнутый вечеромъ. Я забрелъ далеко, и уже нетолько совершенно стемнѣло, но луна взошла, а ночь, какъ говорится, давно *стала* на небѣ, когда я достигъ знакомой усадьбы. Мнѣ пришлось идти вдоль сада.... Кругомъ была такая тишина....

Я перешелъ черезъ широкую дорогу, осторожно пробрался сквозь запыленную крапиву и прислонился къ низкому плетню. Неподвижно лежалъ передо мною небольшой садъ, весь озаренный и какъ бы успокоенный серебристыми лучами луны, — весь благовонный и влажный; разбитый по старинному, онъ состоялъ изъ одной продолговатой поляны. Прямыя дорожки сходились на самой ея серединѣ въ круглую клумбу, густо заросшую астрами; высокія липы окружали ее ровной каймой. Въ одномъ только мѣстѣ прерывалась эта кайма сажени на двѣ, и сквозь отверстіе виднѣлась часть низенькаго дома съ двумя, къ удивленію моему, освѣщенными окнами. Молодыя яблони кое-гдѣ возвышались надъ поляной; сквозь ихъ жидкія вѣтви кротко синѣло ночное небо, лился дремотный свѣтъ луны; передъ каждой яблоней лежала на бѣлѣющей травѣ ея слабая, пестрая тѣнь. Съ одной стороны сада, липы смутно зеленѣли, облитыя неподвижнымъ, блѣдноярким свѣтомъ; съ другой, онѣ стояли всѣ черныя и непрозрачныя; странный, сдержанный шорохъ возникалъ по временамъ въ ихъ сплошной листвѣ; онѣ какъ-будто звали на пропадавшія подъ ними дорожки, какъ-будто манили подъ свою глухую сѣнь. Все небо было испещрено звѣздами; таинственно струилось съ вышины ихъ голубое, мягкое мерцанье; онѣ, казалось, съ тихимъ вниманіемъ глядѣли на далекую землю. Малыя, тонкія облака, изрѣдка налетая на луну, превращали на мгновеніе ея спокойное сіяніе въ неясный, но свѣтлый туманъ.... Все дремало. Воздухъ, весь теплый, весь пахучій, даже не колыхался; онъ только изрѣдка дрожалъ, какъ дрожитъ вода, возмущенная паденіемъ вѣтки.... Какая-то жажда чувствовалась въ немъ, какое-то млѣніе.... Я нагнулся черезъ плетень: передо мной красный полевой макъ поднималъ изъ заглохшей

травы свой прямой стебелекъ; большая круглая капля ночной росы блестѣла темнымъ блескомъ на днѣ раскрытаго цвѣтка. Все дремало, все нѣжилось вокругъ; все какъ-будто глядѣло вверхъ, вытянувшись, не шевелясь и выжидая.... Чего ждала эта теплая, эта не заснувшая ночь?

Звука ждала она; живого голоса ждала эта чуткая тишина—но все молчало. Соловьи давно перестали пѣть.... а внезапное гудѣніе мимолетнаго жука, легкое чмоканье мелкой рыбы въ сажалкѣ за липами на концѣ сада, сонливый свистъ встрепенувшейся птички, далекій крикъ въ полѣ,—до того далекій, что ухо не могло различить, человѣкъ ли то прокричалъ, или звѣрь, или птица,—короткій быстрый топотъ по дорогѣ: всѣ эти слабые звуки, эти шелесты только усугубляли тишину.... Сердце во мнѣ томилось неизъяснимымъ чувствомъ, похожимъ не то на ожиданье, не то на воспоминаніе счастія, я не смѣлъ шевельнуться, я стоялъ неподвижно предъ этимъ неподвижнымъ садомъ, облитымъ и луннымъ свѣтомъ и росой, и, не знаю самъ почему, неотступно глядѣлъ на тѣ два окна, тускло краснѣвшія въ мягкой полутѣни, какъ вдругъ раздался въ домѣ аккордъ, — раздался и прокатился волною.... Раздражительно-звонкій воздухъ отгрянулъ эхомъ.... я невольно вздрогнулъ.

Вслѣдъ за аккордомъ раздался женскій голосъ.... Я жадно сталъ вслушиваться — и.... могу ли выразить мое изумленіе?.... два года тому назадъ въ Италіи, въ Сорренто, слышалъ я ту же самую пѣсню, тотъ же самый голосъ.... Да, да....

Vieni pensando a me segretamente....

Это они, я узналъ ихъ, это тѣ звуки.... Вотъ какъ это было. Я возвращался домой, послѣ долгой прогулки на

берегу моря. Я быстро шелъ по улицѣ; уже давно настала ночь, — великолѣпная ночь, южная, не тихая и грустно задумчивая, какъ у насъ, нѣтъ! вся свѣтлая, роскошная и прекрасная, какъ счастливая женщина въ цвѣтѣ лѣтъ: луна свѣтила невѣроятно ярко; большія лучистыя звѣзды такъ и шевелились на темно-синемъ небѣ; рѣзко отдѣлялись черныя тѣни отъ освѣщенной до желтизны земли. Съ обѣихъ сторонъ улицы тянулись каменныя ограды садовъ; апельсинныя деревья поднимали надъ ними свои кривыя вѣтки, золотые шары тяжелыхъ плодовъ то чуть виднѣлись, спрятанные между перепутанными листьями, то ярко рдѣли, пышно выставившись на луну. На многихъ деревьяхъ нѣжно бѣлѣли цвѣты; воздухъ весь былъ напоенъ благовоніемъ томительно-сильнымъ, острымъ и почти тяжолымъ, хотя невыразимо сладкимъ. Я шелъ и, признаться, успѣвъ уже привыкнуть ко всѣмъ этимъ чудесамъ, думалъ только о томъ, какъ бы поскорѣй добраться до моей гостинницы, какъ вдругъ изъ одного небольшого павильона, надстроеннаго надъ самой стѣной ограды, вдоль которой я спѣшилъ, раздался женскій голосъ. Онъ пѣлъ какую-то пѣсню, мнѣ незнакомую, и въ звукахъ его было что-то дотого призывное, онъ дотого казался самъ проникнутъ страстнымъ и радостнымъ ожиданьемъ, выраженнымъ словами пѣсни, что я тотчасъ невольно остановился и поднялъ голову. Въ павильонѣ было два окна; но въ обоихъ жалузи были спущены, и сквозь узкія ихъ трещинки едва струился матовый свѣтъ. Повторивъ два раза — vieni, vieni, голосъ замеръ; послышался легкій звонъ струнъ, какъ бы отъ гитары, упавшей на коверъ, платье зашелестило, полъ слегка скрипнулъ. Полоски свѣта въ одномъ окнѣ изчезли.... кто-то изнутри подошелъ и прислонился къ нему. Я сдѣлалъ два шага назадъ. Вдругъ жалузи стукнуло и рас-

пахнулось; стройная женщина, вся въ бѣломъ, быстро выставила изъ окна свою прелестную голову и, протянувъ ко мнѣ руки, проговорила: «Sei tu?» Я потерялся, не зналъ что́ сказать, но въ то же мгновеніе незнакомка съ легкимъ крикомъ откинулась назадъ, жалузи захлопнулось, и огонь въ павильонѣ еще болѣе померкъ, какъ-будто вынесенный въ другую комнату. Я остался неподвиженъ и долго не могъ опомниться. Лицо женщины, такъ внезапно появившейся передо мною, было поразительно прекрасно. Оно слишкомъ быстро мелькнуло передъ моими глазами для того, чтобы я могъ тотчасъ же запомнить каждую отдѣльную черту; но общее впечатлѣніе было несказанно сильно и глубоко.... Я тогда же почувствовалъ, что этого лица я ввѣкъ не забуду. Мѣсяцъ ударялъ прямо въ стѣну павильона, въ то окно, откуда она мнѣ показалась, и, Боже мой! какъ великолѣпно блеснули въ его сіяніи ея большіе темные глаза! какой тяжолой волной упали ея полу-распущенные черные волосы на приподнятое круглое плечо! Сколько было стыдливой нѣги въ мягкомъ склоненіи ея стана, сколько ласки въ ея голосѣ, когда она окликнула меня – въ этомъ торопливомъ, но все еще звонкомъ шопотѣ! Простоявъ довольно долго на одномъ и томъ же мѣстѣ, я, наконецъ, отошелъ немного въ сторону, въ тѣнь противоположной ограды, и сталъ оттуда съ какимъ-то глупымъ недоумѣніемъ и ожиданіемъ поглядывать на павильонъ. Я слушалъ.... слушалъ съ напряженнымъ вниманіемъ.... Мнѣ то́ будто чудилось чье-то тихое дыханіе за потемнѣвшимъ окномъ, то́ слышался какой-то шорохъ и тихій смѣхъ. Наконецъ раздались въ отдаленіи шаги.... они приблизились; мужчина такого же почти роста, какъ я, показался на концѣ улицы, быстро подошелъ къ калиткѣ подлѣ самаго павильона, которой я прежде не замѣтилъ, стукнулъ, не огляды-

ваясь, два раза желѣзнымъ ея кольцомъ, подождалъ, стукнулъ опять и запѣлъ вполголоса: «Ecco ridente».... Калитка отворилась.... онъ безъ шуму скользнулъ въ нее. Я встрепенулся, покачалъ головой, разставилъ руки и, сурово надвинувъ шляпу на брови, съ неудовольствіемъ отправился домой. На другой день я совершенно напрасно и въ самый жаръ проходилъ часа два по улицѣ мимо павильона и въ тотъ же вечеръ уѣхалъ изъ Сорренто, не посѣтивъ даже Тассова дома.

Пусть же теперь вообразятъ читатели то изумленіе, которое внезапно овладѣло мной, когда я въ степи, въ одной изъ самыхъ глухихъ сторонъ Россіи, услыхалъ тотъ же самый голосъ, ту же пѣсню.... Какъ и тогда, теперь была ночь; какъ и тогда, голосъ раздался вдругъ изъ освѣщенной незнакомой комнатки; какъ и тогда, я былъ одинъ. Сердце во мнѣ сильно билось. «Не сонъ ли это?» думалъ я. И вотъ раздалось снова послѣднее: Vieni.... Неужели растворится окно? неужели въ немъ покажется женщина? Окно растворилось. Въ окнѣ показалась женщина. Я ее тотчасъ узналъ, хотя между нами было шаговъ пятьдесятъ разстоянія, хотя легкое облачко заволакивало луну. Это была она, моя соррентская незнакомка. Но она не протянула впередъ по-прежнему свои обнаженныя руки: она тихо ихъ скрестила и, опершись ими на окно, стала молча и неподвижно глядѣть куда-то въ садъ. Да, это была она, это были ея незабвенныя черты, ея глаза, которымъ я не видалъ подобныхъ. Широкое бѣлое платье облекало и теперь ея члены. Она казалась нѣсколько полнѣе, чѣмъ въ Сорренто. Все въ ней дышало увѣренностью и отдыхомъ любви, торжествомъ красоты, успокоенной счастіемъ. Она долго не шевелилась, потомъ оглянулась назадъ въ комнату и, внезапно выпрямившись, три раза громкимъ и звенящимъ голосомъ

воскликнула: «addio!» Далеко, далеко разнеслись прекрасные звуки, и долго дрожали они, слабѣя и замирая надъ липами сада и въ полѣ за мною, и повсюду. Все вокругъ меня на нѣсколько мгновеній наполнилось голосомъ этой женщины, все звенѣло ей въ отвѣтъ,—звенѣло ею. Она закрыла окно, и черезъ нѣсколько мгновеній огонь погасъ въ домѣ.

Какъ только я пришелъ въ себя — а это, признаюсь, случилось нескоро — я тотчасъ отправился вдоль сада къ усадьбѣ, подошелъ къ запертымъ воротамъ и посмотрѣлъ черезъ заборъ. На дворѣ не замѣчалось ничего необыкновеннаго; въ одномъ углу подъ навѣсомъ стояла коляска. Передняя ея половина, вся забрызганная сухой грязью, рѣзко бѣлѣла при лунѣ. Ставни въ домѣ были закрыты по-прежнему. Я забылъ сказать, что я передъ тѣмъ днемъ около недѣли не заѣзжалъ въ Глинное. Болѣе получаса расхаживалъ я въ недоумѣніи передъ заборомъ, такъ что обратилъ на себя наконецъ вниманіе старой дворовой собаки, которая, однако, не стала на меня лаять, а только необыкновенно иронически посмотрѣла на меня изъ подворотни своими прищуренными и подслѣповатыми глазками. Я понялъ ея намекъ и удалился. Но не успѣлъ я отойти полверсты, какъ вдругъ услышалъ за собою конскій топотъ.... черезъ нѣсколько мгновеній всадникъ, на вороной лошади, крупной рысью промчался мимо и, быстро повернувшись ко мнѣ лицомъ, при чемъ я только могъ замѣтить орлиный носъ и прекрасные усы подъ надвинутой фуражкой, съѣхалъ съ дороги направо и тотчасъ же исчезъ за лѣсомъ. «Такъ вотъ онъ», — подумалъ я, и сердце во мнѣ какъ-то странно шевельнулось. Мнѣ показалось, что я узналъ его; его фигура дѣйствительно напоминала фигуру мужчины, вошедшаго при мнѣ въ калитку сада въ Сорренто. Черезъ полчаса я уже былъ

въ Глинномъ у моего хозяина, разбудилъ его и тотчасъ же началъ его распрашивать о томъ, кто такой пріѣхалъ въ сосѣднюю усадьбу. Онъ мнѣ съ усиліемъ отвѣчалъ, что пріѣхали помѣщицы.

— Да какія помѣщицы? возразилъ я съ нетерпѣніемъ.

— Извѣстно какія — барыни, отвѣчалъ онъ очень вяло.

— Да какія барыни?

— Извѣстно, какія бываютъ барыни.

— Русскія?

— А что какія же? извѣстно, русскія.

— Не иностранки?

— Ась?

— Давно ли онѣ пріѣхали?

— А извѣстно, недавно.

— Да надолго ли онѣ пріѣхали?

— А это неизвѣстно.

— Богаты онѣ?

— А это намъ неизвѣстно. Можетъ, и богаты.

— Съ ними никакого барина не пріѣзжало?

— Барина?

— Да, барина.

Староста вздохнулъ.

— О, охъ Господи! проговорилъ онъ зѣвая.... Н-нѣтъ, барина.... нѣтъ.... барина, кажись нѣтъ. Неизвѣстно! прибавилъ онъ вдругъ.

— А какіе тутъ еще сосѣди живутъ?

— Какіе, извѣстно какіе—всякіе.

— Всякіе? А какъ ихъ зовутъ.

— Кого, помѣщицъ-то? аль сосѣдей?

— Помѣщицъ.

Староста опять вздохнулъ.

— Какъ ихъ зовутъ? пробормоталъ онъ. — А Богъ

ихъ знаетъ, какъ ихъ зовутъ! Старшую-то кажись, Анной Ѳедоровной, а другую-то.... Нѣтъ, ту не знаю какъ зовутъ.

— Ну, фамилья ихъ какая, по крайней мѣрѣ?

— Фамилья?

— Да, фамилья, прозвище.

— Прозвище.... Да. А ей-Богу же не знаю.

— Онѣ молодыя?

— Ну, нѣтъ. Этого нѣтъ..

— А какъ?

— Да младшей-то лѣтъ сорокъ слишкомъ будетъ.

— Ты все врешь.

Староста помолчалъ.

— Что-жъ—вамъ лучше знать. А намъ неизвѣстно.

— Ну, зарядилъ одно слово! воскликнулъ я съ досадой.

Зная по опыту, что изъ русскаго человѣка, когда онъ примется отвѣчать такимъ образомъ, нѣтъ никакой возможности извлечь что-нибудь толковое (притомъ же мой хозяинъ только-что было завалился спать и передъ каждымъ отвѣтомъ слегка покачивался впередъ, съ младенческимъ изумленіемъ расширяя глаза и съ трудомъ расклеивая губы, смазанныя медомъ перваго сладкаго сна),— я махнулъ рукой и, отказавшись отъ ужина, пошелъ въ сарай.

Я долго не могъ заснуть. «Кто она такая?» — безпрестанно спрашивалъ я самого себя.—«Русская? Если русская, отчего она говоритъ по-итальянски?... Староста толкуетъ, что она немолодая.... Да онъ вретъ.... И кто этотъ счастливецъ?... Рѣшительно ничего понять нельзя.... Но какое странное приключеніе! Возможно ли этакъ два раза сряду.... Однако, я узнаю непремѣнно, кто она и зачѣмъ сюда пріѣхала».... Волнуемый такими безпоря-

дочными, отрывчатыми мыслями, я заснулъ поздно и видѣлъ странные сны.... То мнѣ казалось, что я брожу гдѣ-то въ пустынѣ, въ самый жаръ полудня — и вдругъ, я вижу, передо мной по раскаленному желтому песку, бѣжитъ большое пятно тѣни.... я поднимаю голову — она, моя красавица, мчится по воздуху, вся бѣлая, съ длинными бѣлыми крыльями, и манитъ меня къ себѣ. Я бросаюсь вслѣдъ за нею; но она плыветъ легко и быстро, а я не могу подняться отъ земли и напрасно простираю жадныя руки.... «Addio!» говоритъ она мнѣ, улетая. — Зачѣмъ нѣтъ у тебя крыльевъ.... «Addio».... И вотъ со всѣхъ сторонъ раздается: Addio! каждая песчинка кричитъ и пищитъ мнѣ: Addio.... нестерпимой, острой трелью звенитъ это i.... Я отмахиваюсь отъ него, какъ отъ комара—я ищу ее глазами.... а ужъ она стала облачкомъ и тихо поднимается къ солнцу; солнце дрожитъ, колышется, смѣется, простираетъ къ ней на встрѣчу золотыя длинныя нити, и вотъ ужъ опутали ее эти нити и таетъ она въ нихъ, а я кричу во все горло, какъ изступленный: «это не солнце, это не солнце, это итальянскій паукъ; кто ему далъ паспортъ въ Россію? я его выведу на свѣжую воду: я видѣлъ, какъ онъ крадетъ апельсины въ чужихъ садахъ».... То мнѣ чудилось, что я иду по узкой, горной тропинкѣ.... Я спѣшу: мнѣ надо дойти поскорѣй куда-то, меня ждетъ какое-то неслыханное счастье; вдругъ громадная скала воздвигается передо мною. Я ищу прохода: иду направо, иду налѣво—нѣтъ прохода! И вотъ за скалой внезапно раздается голосъ: Passa, passa, quei colli.... Онъ зоветъ меня, этотъ голосъ; онъ повторяетъ свой грустный призывъ. Я мечусь въ тоскѣ, ищу хотя малѣйшей расѣлины.... увы! отвѣсная стѣна, гранитъ повсюду.... Passa quei colli, жалобно повторяетъ голосъ. Сердце во мнѣ ноетъ, я бросаюсь грудью на

гладкій камень, я въ изступленіи царапаю его ногтями.... Темный проходъ открывается вдругъ передъ мною.... Замирая отъ радости, устремляюсь я впередъ.... «Шалишь!» кричитъ мнѣ кто-то:—«не пройдешь».... Я гляжу: Лукьянычъ стоитъ передо мною и грозитъ и машетъ руками.... Я торопливо роюсь въ карманахъ: хочу подкупить его; но въ карманахъ ничего нѣтъ.... «Лукьянычъ»,—говорю я ему: — «Лукьянычъ, пропусти меня, я тебя послѣ награжу». — «Вы ошибаетесь, синьоръ», отвѣчаетъ мнѣ Лукьянычъ, и лицо его принимаетъ странное выраженіе: — «я не дворовый человѣкъ; узнайте во мнѣ Донъ Кихота Ламанчскаго, извѣстнаго странствующаго рыцаря; цѣлую жизнь отыскивалъ я свою Дульцинею— и не могъ найти ее, и не потерплю, чтобы вы нашли свою».... Passa quei colli.... раздается опять почти рыдающій голосъ. — «Посторонитесь, синьоръ!»— восклицаю я съ яростью и готовъ уже ринуться.... но длинное копье рыцаря поражаетъ меня въ самое сердце.... я падаю замертво, я лежу на спинѣ.... я не могу пошевелиться.... и вотъ вижу — она входитъ съ лампадой въ рукѣ, красиво подымаетъ ее выше головы, озирается во мракѣ и, осторожно подкравшись, наклоняется надо мною.... «Такъ вотъ онъ, этотъ шутъ!» говоритъ она съ презрительнымъ смѣхомъ. — «Это онъ-то хотѣлъ узнать, кто я», и жгучее масло ея лампады капаетъ мнѣ прямо на раненное сердце.... «Психея!» восклицаю я съ усиліемъ и просыпаюсь....

Всю ночь я спалъ плохо и до свѣта былъ уже на ногахъ. Наскоро одѣвшись и вооружившись, отправился я прямо къ усадьбѣ. Нетерпѣніе мое было такъ велико, что заря только-что разгаралась, когда я подошелъ къ знакомымъ воротамъ. Кругомъ пѣли жаворонки, галки покрикивали на березахъ; но въ домѣ все еще спало утрен-

нимъ, мертвеннымъ сномъ. Собака даже храпѣла за заборомъ. Съ тоской ожиданія, раздраженнаго почти до злобы, похаживалъ я по росистой травѣ и безпрестанно поглядывалъ на низенькій и неказистый домикъ, заключавшій въ стѣнахъ своихъ то загадочное существо.... Вдругъ калитка слабо визгнула, отворилась, и появился на порогѣ Лукьянычъ, въ какомъ-то полосатомъ казакинѣ. Его взъерошенное, вытянутое лицо показалось мнѣ еще угрюмѣе, чѣмъ когда-либо. Не безъ изумленья посмотрѣвъ на меня, онъ уже-было хотѣлъ опять затворить калитку.

— Любезный, любезный! воскликнулъ я торопливо.

— Что̀ вамъ надо въ такую раннюю пору? возразилъ онъ медленно и глухо.

— Скажи пожалуйста, къ вамъ, говорятъ, ваша барыня пріѣхала?

Лукьянычъ помолчалъ.

— Пріѣхала....

— Одна?

— Съ сестрой.

— Не было у нихъ вчера гостей?

— Не было.

И онъ потянулъ къ себѣ калитку.

— Постой, постой, любезный.... Сдѣлай одолженіе....

Лукьянычъ кашлянулъ и поёжился отъ холода.

— Да что̀ вамъ такое надо?

— Скажи пожалуйста, сколько твоей барынѣ лѣтъ?

Лукьянычъ подозрительно взглянулъ на меня.

— Сколько барынѣ лѣтъ? Не знаю. Лѣтъ за сорокъ будетъ.

— За сорокъ! А сестрѣ ея сколько будетъ?

— А той подъ сорокъ.

— Неужто! И хороша она собой?

— Кто, сестра-то?

— Да, сестра.

Лукьянычъ усмѣхнулся.

— Не знаю, какъ кому покажется. По моему, нехороша.

— А что?

— Такъ, неказиста больно. Мозглявата маленько.

— Вотъ какъ! и кромѣ ихъ никто къ вамъ не пріѣхалъ?

— Никто. Кому пріѣзжать!

— Да это быть не можетъ!... Я....

— Э, баринъ! съ вами, знать, всего не переговоришь, возразилъ старикъ съ досадой.—Вишь, холодъ какой! Прощенья просимъ.

— Постой, постой.... вотъ тебѣ...—И я протянулъ ему напередъ приготовленный четвертакъ, но рука моя толкнулась въ быстро захлопнутую калитку. Серебряная монета упала на землю, прокатилась и легла у моихъ ногъ.

«А, старый плутъ»,—подумалъ я:—«Донъ Кихотъ Ламанчскій! тебѣ видно приказали молчать.... Да погоди, меня ты не проведешь...»

Я далъ себѣ слово, во что́ бы то ни было, добиться толка. Около получаса ходилъ я взадъ и впередъ, не зная, на что̀ рѣшиться. Наконецъ я положилъ сперва разузнать въ деревнѣ, кто именно пріѣхалъ въ усадьбу и чья она, потомъ опять-таки вернуться и, какъ говорится, не отстать, пока не разъяснится дѣло. — Выйдетъ же незнакомка изъ дома, увижу же я ее наконецъ днемъ, вблизи, какъ живую женщину, не какъ видѣнье. До деревни было съ версту, и я тотчасъ отправился туда, легко и бодро выступая: странная отвага кипѣла и разыгрывалась въ крови моей; крѣпительная свѣжесть утра раздражала

меня послѣ безпокойной ночи. — Въ деревнѣ я отъ двухъ отправлявшихся на работу мужиковъ узналъ все, чтó могъ только узнать отъ нихъ; а именно: я узналъ, что ту усадьбу вмѣстѣ съ деревней, въ которую я зашелъ, звали Михайловскимъ, что она принадлежала вдовѣ майоршѣ Аннѣ Ѳедоровнѣ Шлыковой, что у ней была сестра, незамужняя дѣвица Пелагея Ѳедоровна Бадаева, что обѣ онѣ въ лѣтахъ, богаты, дома почти не живутъ, все въ разъѣздахъ, никого при себѣ, кромѣ двухъ дворовыхъ дѣвушекъ и повара, не держатъ, что Анна Ѳедоровна на дняхъ вернулась изъ Москвы съ одной только своей сестрой.... Это послѣднее обстоятельство меня сильно смутило: нельзя-жъ было предполагать, что и мужику приказано было молчать о моей незнакомкѣ. Допустить же, что Анна Ѳедоровна Шлыкова, вдова сорока-пяти лѣтъ, и та молодая, прелестная женщина, видѣнная мною вчера, одно и то же лицо — было совершенно невозможно. Пелагея Ѳедоровна, по описаніямъ, также не отличалась красотою, да и сверхъ того при одной мысли, что женщину, видѣнную мною въ Сорренто, могли звать Пелагеей, да еще Бадаевой, я пожималъ плечами и злобно смѣялся. И однако-жъ, я ее видѣлъ вчера, въ этомъ домѣ.... видѣлъ, своими глазами видѣлъ, думалъ я. Раздосадованный, взбѣшенный, но еще болѣе непреклонный въ своемъ намѣреніи, я было хотѣлъ тотчасъ же вернуться къ усадьбѣ.... но взглянулъ на часы: еще шести часовъ не было. Я рѣшился подождать. Въ усадьбѣ, вѣроятно, всѣ еще спали.... а съ теперешнихъ поръ бродить около дома значило бы только напрасно возбуждать подозрѣніе; притомъ передо мной разстилались кусты, за ними виднѣлся осиновый лѣсъ.... Я долженъ отдать себѣ ту справедливость, что, несмотря на волновавшія меня мысли, благородная страсть къ охотѣ не совсѣмъ еще за-

*

молкла во мнѣ; «авось, подумалъ я — наткнусь на выводокъ, — время и пройдетъ». Я вошелъ въ кусты. Но, правду сказать, ходилъ я весьма небрежно и уже вовсе несообразно съ правилами искусства: не слѣдилъ постоянно глазами за собакой, не фыркалъ надъ густымъ кустомъ, въ надеждѣ, что оттуда съ громомъ и трескомъ вылетитъ краснобровый чернышъ, и безпрестанно взглядывалъ на часы, чтó уже совсѣмъ никуда не годится. Вотъ наконецъ наступилъ девятый часъ. «Пора!» воскликнулъ я вслухъ и уже повернулъ-было назадъ къ усадьбѣ, какъ вдругъ огромный чернышъ дѣйствительно затрепыхался изъ густой травы, въ двухъ шагахъ отъ меня; я выстрѣлилъ по великолѣпной птицѣ, ранилъ ее въ подкрылокъ; она чуть не свалилась, но справилась, потянула, дробя крыльями и ныряя, къ лѣсу, попыталась-было подняться выше первыхъ осинокъ опушки, но ослабѣла и кубаремъ покатилась въ чащу. Бросить такую добычу было бы совершенно непростительно; я проворно пустился вслѣдъ за нею, вошелъ въ лѣсъ, сдѣлалъ знакъ Діанкѣ, и черезъ нѣсколько мгновеній услышалъ безсильное клохтанье и хлопанье: то бился несчастный чернышъ подъ лапами чуткой собаки. Я поднялъ его, положилъ въ ягдташъ, оглянулся — и, какъ пригвожденный, остался на мѣстѣ....

Лѣсъ, въ который я вошелъ, былъ очень частъ и глухъ, такъ что я съ трудомъ добрался до мѣста, гдѣ упала птица; но въ недальнемъ разстояніи отъ меня извивалась телѣжная дорога, и по этой дорогѣ ѣхали верхомъ, шагомъ и рядомъ, моя красавица и тотъ мужчина, который обогналъ меня наканунѣ; я его узналъ по усамъ. Они ѣхали тихо, молча, держа другъ друга за руку; ихъ лошади чуть выступали, лѣниво покачиваясь съ боку на бокъ и красиво вытянувъ длинныя шеи.

Опомнившись отъ перваго испуга.... именно испуга: другого названія я не могу дать чувству, внезапно меня охватившему.... я такъ и впился въ нее глазами. Какъ она была хороша! какъ очаровательно несся мнѣ на встрѣчу, среди изумрудной зелени, ея стройный образъ! Мягкія тѣни, нѣжные отблески тихо скользили по ней — по ея длинному, сѣрому платью, по тонкой, слегка наклоненной шеѣ, по блѣдно-розовому лицу, по лоснистымъ чернымъ волосамъ, пышно выбѣгавшимъ изъ-подъ низенькой шляпы. Но какъ передать то выраженіе полнаго, страстнаго, до безмолвія страстнаго блаженства, которымъ дышали ея черты! Голова ея какъ-будто склонилась подъ его бременемъ; золотыя, влажныя искорки просвѣчивались въ ея темныхъ глазахъ, до половины закрытыхъ рѣсницами; они никуда не глядѣли, эти счастливые глаза, и тонкія брови опустились надъ ними. Неопредѣленная, младенческая улыбка—улыбка глубокой радости блуждала на ея губахъ; казалось, избытокъ счастья утомлялъ и какъ бы надломлялъ ее слегка, вотъ какъ распустившійся цвѣтокъ иногда надламываетъ свой стебель; обѣ руки ея безсильно лежали: одна—въ рукѣ ѣхавшаго съ ней мужчины, другая—на холкѣ лошади. Я успѣлъ разсмотрѣть ее—но и его тожъ.... Это былъ красивый, статный мужчина, съ нерусскимъ лицомъ. Онъ глядѣлъ на нее смѣло и весело и, сколько я могъ замѣтить, не безъ тайной гордости любовался ею. Онъ любовался ею, злодѣй, и былъ очень собой доволенъ и недовольно тронутъ, недовольно умиленъ, именно умиленъ.... Да и въ самомъ дѣлѣ, какой человѣкъ заслуживаетъ такую преданность, какая сама прекрасная душа достойна доставить другой душѣ такое счастье.... Признаться сказать, завидовалъ я ему!... Между тѣмъ оба они поровнялись со мною.... собака моя вдругъ выскочила на дорогу и залаяла. Не-

знакомка вздрогнула, быстро оглянулась и, увидавъ меня, сильно ударила хлыстомъ по шеѣ лошади. Лошадь фыркнула, взвилась на дыбы, вынесла разомъ впередъ обѣ ноги и помчалась галопомъ.... Мужчина тотчасъ же пришпорилъ своего вороного коня, и когда я черезъ нѣсколько мгновеній вышелъ по дорогѣ на опушку, они уже оба скакали въ золотистой дали, черезъ поле, красиво и мѣрно колыхаясь на сѣдлахъ.... и скакали не въ направленіи усадьбы....

Я глядѣлъ.... Они скоро исчезли за холмомъ, въ послѣдній разъ ярко озарившись солнцемъ на темной чертѣ небосклона. Я постоялъ, постоялъ, тихими шагами вернулся въ лѣсъ и сѣлъ, закрывъ глаза рукою, на дорожкѣ.— Я замѣтилъ, что при встрѣчѣ съ незнакомыми стóитъ только закрыть глаза — и черты ихъ тотчасъ же возникнутъ передъ вами; всякій можетъ повѣрить справедливость моего замѣчанія на улицѣ. Чѣмъ знакомѣе лица, тѣмъ труднѣе являются онѣ, тѣмъ неяснѣе ихъ впечатлѣніе; ихъ помнишь, а не видишь.... а своего собственнаго лица никакъ и не представишь.... Малѣйшая отдѣльная черта извѣстна, а цѣлаго образа не составляется. И такъ, я сѣлъ, закрылъ глаза — и тотчасъ увидалъ и незнакомку, и ея товарища, и лошадей ихъ, и все.... особенно рѣзко и отчетливо стояло передо мною улыбающееся лицо мужчины. Я сталъ вглядываться въ него.... оно смѣшалось и растаяло въ какой-то багровой мглѣ, а вслѣдъ за нимъ и ея образъ тоже понесся прочь и утонулъ и уже болѣе не хотѣлъ возвратиться. — Я приподнялся. «Ну, что-жъ! — подумалъ я—по крайней мѣрѣ я ихъ видѣлъ, ясно видѣлъ обоихъ.... Остается узнать ихъ имена». Стараться узнать ихъ имена! Какое неумѣстное, мелкое любопытство! Но, клянусь, не любопытство во мнѣ разгоралось: мнѣ, право, просто казалось

невозможнымъ не добиться, наконецъ, кто-жъ они по крайней мѣрѣ такіе, послѣ того, какъ случай такъ странно и такъ упорно сводилъ меня съ ними. Впрочемъ, нетерпѣливаго, прежняго недоумѣнія во мнѣ уже не было: оно смѣнилось какимъ-то смутнымъ, печальнымъ чувствомъ, котораго я немного стыдился.... Я завидовалъ....

Я не спѣшилъ назадъ къ усадьбѣ. Мнѣ, признаться, становилось совѣстно допытываться чужой тайны. Притомъ, появленье любящей четы днемъ, при солнечномъ свѣтѣ, хотя все-таки неожиданное и, повторяю, странное—не то, чтобы успокоило, а какъ-то расхолодило меня. Я уже не находилъ во всемъ этомъ происшествіи ничего сверхъестественнаго, чудеснаго.... ничего похожаго на несбыточный сонъ....

Я началъ опять охотиться, съ бо́льшимъ вниманіемъ, чѣмъ прежде; но все-таки настоящихъ восторговъ не было. Выводокъ мнѣ попался и задержалъ меня часа полтора.... Молодые тетеревята долго не откликивались на мой свистъ,—вѣроятно, оттого, что я свистѣлъ не довольно «объективно».—Солнце взошло уже очень высоко (часы показывали двѣнадцать), когда я направилъ шаги свои къ усадьбѣ. Я шелъ не торопясь. Вотъ глянулъ наконецъ съ холма низенькій домикъ.... сердце во мнѣ опять задрожало. Я приблизился.... и не безъ тайнаго удовольствія увидѣлъ Лукьяныча. Онъ по прежнему неподвижно сидѣлъ на лавочкѣ передъ флигелемъ. Ворота были заперты.... и ставни тоже.

— Здравствуй, дядя! крикнулъ я еще издали. — Аль погрѣться вышелъ?

Лукьянычъ повернулъ ко мнѣ свое худое лицо и молча приподнялъ фуражку.

Я подошелъ къ нему.

— Здравствуй, дядя, здравствуй, повторилъ я, желая

его задобрить.—Что-жъ ты, прибавилъ я, нечаянно увидѣвъ на землѣ мой новенькій четвертакъ: — не видалъ, что ли, его?

И я указалъ ему на серебряный кружокъ, до половины высунувшійся изъ-подъ короткой травки.

— Нѣтъ, видѣлъ.

— Такъ что-жъ ты его не поднялъ?

Да такъ: не мои деньги, такъ и не поднялъ.

— Экой ты братецъ! возразилъ я не безъ замѣшательства, и, поднявъ четвертакъ, протянулъ ему его опять;— возьми, возьми на чай.

— Много благодарны, отвѣчалъ мнѣ Лукьянычъ, спокойно улыбнувшись. — Не нужно; поживемъ и такъ.— Много благодарны.

— Да я тебѣ готовъ съ удовольствіемъ дать еще больше! возразилъ я съ смущеніемъ.

— За что̀ же? Не извольте безпокоиться—много благодарны за расположенье, а хлѣба съ насъ и въ краюхѣ будетъ. И той, пожалуй, не доѣшь — какой часъ выдетъ.

И онъ всталъ и протянулъ руку къ калиткѣ.

— Постой, постой, старикъ! заговорилъ я почти съ отчаяніемъ: — какой ты, право, сегодня, неразговорчивый.... Скажи мнѣ, по крайней мѣрѣ, твоя барыня — встала она что ли?

— Онѣ встали.

— И.... дома она?

— Нѣтъ, ихъ дома нѣтъ-съ.

— Въ гости выѣхала, что ли?

— Никакъ нѣтъ-съ: въ Москву уѣхала.

— Какъ въ Москву! Да она сегодня поутру здѣсь была?

— Здѣсь.

— И ночевала здѣсь!

— Здѣсь ночевали-съ.

— И недавно сюда пріѣхала?

— Недавно.

— Такъ какъ же, братецъ?

— А вотъ этакъ съ часъ будетъ времени, изволили обратно отправиться въ Москву.

— Въ Москву!

Я съ остолбенѣніемъ глядѣлъ на Лукьяныча: этого, признаюсь, я не ожидалъ....

И Лукьянычъ глядѣлъ на меня.... Старчески лукавая улыбка стягивала его сухія губы и чуть свѣтилась въ печальныхъ глазахъ.

— И съ сестрой уѣхала? проговорилъ я, наконецъ.

— Съ сестрицей.

— Такъ что никого теперь въ домѣ нѣтъ?

— Никого....

«Этотъ старикъ меня обманываетъ—сверкнуло у меня въ головѣ.—Не даромъ онъ такъ лукаво ухмыляется».— Послушай, Лукьянычъ, проговорилъ я вслухъ: хочешь ты мнѣ сдѣлать одно одолженіе?...

— Чтó такое вамъ угодно? медленно проговорилъ онъ, видимо начиная тяготиться моими распросами.

— Въ домѣ, ты говоришь, никого нѣтъ; можешь ты показать мнѣ его? Я бы очень былъ тебѣ благодаренъ.

— То-есть, вы хотите комнаты посмотрѣть?

— Да, комнаты.

Лукьянычъ помолчалъ.

— Извольте, произнесъ онъ, наконецъ.—Пожалуйте....

И онъ, нагнувшись, шагнулъ черезъ порогъ калитки. Я отправился вслѣдъ за нимъ. Перейдя черезъ небольшой дворикъ, мы взобрались на шаткія ступеньки крыльца. Старикъ толкнулъ дверь; въ ней и замка не было:

веревочка съ узломъ торчала изъ ключевой скважины.... Мы вошли въ домъ. Онъ весь состоялъ изъ пяти-шести низенькихъ комнатъ, и сколько я могъ различить при слабомъ свѣтѣ, скупо струившемся сквозь трещины ставень, мебель въ этихъ комнатахъ была весьма простая и дряхлая. Въ одной изъ нихъ (именно въ той, которая выходила въ садъ) стояло маленькое и старенькое фортепьяно.... я поднялъ его погнутую крышку и ударилъ по клавишамъ: кислый, шипящій звукъ раздался и болѣзненно замеръ, какъ бы жалуясь на мою дерзость. Ни по чемъ нельзя было замѣтить, что изъ этого дома недавно выѣхали люди; въ немъ и пахло чѣмъ-то мертвеннымъ и душнымъ—нежилымъ; развѣ кое-гдѣ валявшаяся бумажка своей бѣлизной давала знать, что попала сюда недавно. Я поднялъ одну такую бумажку; она оказалась клочкомъ письма; на одной сторонѣ бойкимъ женскимъ почеркомъ были начертаны слова «se taire?» на другой я разобралъ слово: «bonheur».... На кругломъ столикѣ подлѣ окна стоялъ букетъ полузавядшихъ цвѣтовъ въ стаканѣ и лежала зелененькая, смятая ленточка.... я взялъ эту ленточку на память. — Лукьянычъ отворилъ узкую дверь, заклеенную обоями.

— Вотъ, сказалъ онъ, протянувъ руку: — это вотъ спальня, а тамъ за нею еще дѣвичья, а то другихъ покоевъ нѣтъ....

Мы пошли назадъ по корридору.—А тамъ что за комната? спросилъ я, указавъ на широкую, бѣлую дверь съ замкомъ.

— Это? отвѣчалъ мнѣ Лукьянычъ глухимъ голосомъ.— Это такъ.

— Какъ такъ.

— Да такъ.... Кладовая.... И онъ пошелъ-было въ переднюю.

— Кладовая? Нельзя ли ее посмотрѣть?....

— Да что́ вамъ за охота, баринъ, право! возразилъ Лукьянычъ съ неудовольствіемъ. — Что́ вамъ смотрѣть? Сундуки, посуда старая.... кладовая, и больше ничего....

— Все-таки покажи мнѣ ее, пожалуйста, старикъ, сказалъ я, хоть внутренно стыдился своей неприличной настойчивости.—Я, вотъ видишь ли, я желалъ бы.... я хочу у себя въ деревнѣ точно такой домъ....

Мнѣ стало совѣстно: я не могъ докончить начатой рѣчи.

Лукьянычъ стоялъ, наклонивъ на грудь сѣдую голову, и какъ-то странно посматривалъ на меня изъ-подлобья.

— Покажи, проговорилъ я.

— Ну, извольте, возразилъ онъ наконецъ, досталъ ключъ и неохотно отперъ дверь.

Я заглянулъ въ кладовую. Въ ней дѣйствительно не было ничего замѣчательнаго. На стѣнахъ висѣли старые портреты, съ мрачными, почти черными лицами и злыми глазами. На полу валялся всякій хламъ.

— Ну, насмотрѣлись? угрюмо спросилъ меня Лукьянычъ.

— Да; спасибо! торопливо возразилъ я.

Онъ захлопнулъ дверь. Я вышелъ въ переднюю, а изъ передней на дворъ.

Лукьянычъ проводилъ меня, пробормоталъ: «прощенья просимъ-съ»! и пошелъ въ свой флигелекъ.

— А какая это у васъ госпожа вчера гостила? крикнулъ я ему вслѣдъ: — я ее сегодня встрѣтилъ въ рощѣ!

Я надѣялся озадачить его моимъ внезапнымъ вопросомъ, вызвать необдуманный отвѣтъ. Но старикъ только глухо засмѣялся и, уходя къ себѣ, хлопнулъ дверью.

Я отправился назадъ въ Глинное. Мнѣ было неловко, какъ пристыженному мальчику.

«Нѣтъ — сказалъ я самому себѣ — видно, мнѣ не добиться разрѣшенія этой загадки. Богъ съ ней! Не стану больше думать обо всемъ этомъ».

Черезъ часъ я уже ѣхалъ домой, разсерженный и раздраженный.

Прошла недѣля. Какъ ни старался я отгонять отъ себя прочь воспоминаніе о незнакомкѣ, о ея спутникѣ, о моихъ встрѣчахъ съ ними,—оно то-и-дѣло возвращалось и приставало ко мнѣ со всей докучной настойчивостью послѣ-обѣденной мухи.... Лукьянычъ, съ своими таинственными взглядами и сдержанными рѣчами, съ своей холодно-печальной улыбкой, тоже безпрестанно приходилъ мнѣ на память. Самый домъ, когда я вспоминалъ о немъ, самый тотъ домъ, казалось, хитро и тупо поглядывалъ на меня сквозь свои полузакрытыя ставни и какъ-будто поддразнивалъ меня, какъ-будто говорилъ мнѣ: а все же ты ничего не узнаешь! Я наконецъ не выдержалъ и въ одинъ прекрасный день поѣхалъ въ Глинное, а изъ Глиннаго отправился пѣшкомъ.... куда? читатель легко догадается.

Я долженъ сознаться, что, подходя къ таинственной усадьбѣ, я чувствовалъ довольно сильное волненье. Въ наружности дома не произошло никакой перемѣны: тѣ же закрытыя окна, тотъ же унылый и осиротѣлый видъ; только на лавочкѣ, передъ флигелемъ, вмѣсто старика Лукьяныча, сидѣлъ какой-то молодой дворовый парень лѣтъ двадцати, въ длинномъ нанковомъ кафтанѣ и красной рубахѣ. Онъ сидѣлъ, положивъ на ладонь кудрявую голову, и дремалъ, изрѣдка покачиваясь и вздрагивая.

— Здравствуй братъ! промолвилъ я громко.

Онъ тотчасъ вскочилъ и выпучилъ на меня свои оторопѣлые глаза.

— Здравствуй, братъ! повторилъ я:—а гдѣ старикъ?

— Какой старикъ? медленно проговорилъ малый.

— Лукьянычъ.

— А, Лукьянычъ!— Онъ глянулъ въ сторону.— Вамъ Лукьяныча надо?

— Да, Лукьяныча. Чтó онъ, дома?

— Н-нѣтъ, произнесъ малый съ разстановкой; — онъ того.... какъ бы вамъ.... того.... сказать....

— Нездоровъ онъ, что ли?

— Нѣтъ.

— Такъ чтó же?

— Да его совсѣмъ нѣтъ.

— Какъ нѣтъ?

— Такъ. Съ нимъ такое.... недоброе приключилось.

— Онъ умеръ? спросилъ я съ изумленіемъ.

— Удавился.

— Удавился, съ испугомъ воскликнулъ я и всплеснулъ руками.

Мы оба молча посмотрѣли въ глаза другъ другу.

— Давно ли? проговорилъ я наконецъ.

— Да вотъ пятый день сегодня. Вчера его хоронили.

— Да отчего онъ это удавился?

— Господь его знаетъ. Человѣкъ онъ былъ вольный, на жалованьѣ; нужды ни въ чемъ не зналъ, господа его какъ родного ласкали. Вѣдь у насъ господа — дай Богъ имъ здоровья! Просто ума не приложишь, чтó съ нимъ такое подѣялось. Знать, лукавый попуталъ.

— Да какъ это онъ сдѣлалъ.

— Да такъ. Взялъ да удавился.

— И ничего прежде въ немъ не замѣчали?

— Какъ вамъ сказать.... Особеннаго этакаго, чтобы.... ничего. Онъ всегда скучный такой былъ, сумнительный человѣкъ. Закряхтитъ, закряхтитъ, бывало. Скучно, дескать, мнѣ. Ну да вѣдь ужъ лѣта его какія были. Въ

послѣднее время онъ точно что-то задумываться началъ. Придетъ, бывало, къ намъ, на деревню; я-то ему племянникомъ довожусь.—«Что́, братъ, Вася, скажетъ—приди-ка, братъ, переночуй-ка у меня!»—А что́, дяденька?—«Да такъ, страшно что-то; скучно одному». Ну, и пойдешь къ нему. Бывало выдетъ на дворъ, посмотритъ, посмотритъ этакъ на домъ, закачаетъ, закачаетъ головой, да какъ вздохнетъ.... Передъ самой той ночью, какъ ему, то-есть жизнь покончить, онъ тоже пришелъ къ намъ, позвалъ меня. Ну, я и пошелъ. Вотъ пришли мы къ нему во флигелекъ, посидѣлъ онъ маленько на лавочкѣ, всталъ, да и вышелъ. Я жду, что, молъ, долго онъ не идетъ, вышелъ на дворъ, крикнулъ: «дяденька! а дядя?» Не откликаётся дяденька. Я думаю, куда, молъ, онъ это пошелъ, не въ домъ ли? да и пошелъ въ домъ. Ужъ смеркаться начинало. Вотъ прохожу я мимо кладовой, слышу, скребетъ тамъ что-то за дверью; я взялъ да дверь и отворилъ; глядь, а онъ тамъ сидитъ, прикорнулъ подъ окномъ. «Что̀, молъ, говорю, дяденька, вы тутъ дѣлаете?» А онъ какъ обернется, да какъ гикнетъ на меня, а глаза-то у него такіе быстрые, быстрые, такъ и горятъ какъ у кота. «Что тебѣ? Развѣ не видишь — брѣюсь?» И голосъ такой хриплый. У меня вдругъ волосы такъ дыбомъ и поднялись, и самъ не знаю отчего, такъ мнѣ страшно стало... знать о ту пору бѣсы-то его ужъ обступили. «Въ потьмахъ-то», говорю я, а у самого такъ колѣни и дрожатъ. — «Ну, говоритъ, хорошо, ступай». Я пошелъ, и онъ изъ кладовой вышелъ и дверь на замокъ заперъ. Вотъ пришли мы опять во флигелекъ, страхъ съ меня тотчасъ и соскочилъ. «Что, молъ, говорю я, дяденька, ты въ кладовой дѣлалъ.» Онъ такъ и всполохнулся.— «А ты молчи, говоритъ, молчи!» да и полѣзъ на лежанку. «Ну — думаю я — лучше не

стану я съ нимъ заговаривать: вишь, онъ сегодня чт
того, нездоровъ, должно быть». Вотъ я взялъ, да и л
тоже на лежанку. А ночникъ горитъ въ углу. Вотъ л
я, и такъ, знаете, дремлется мнѣ... вдругъ слышу, де
тихонько скрыпъ.... да и отворилась.... такъ немноз
А дяденька-то къ двери спиной лежалъ, да и на
онъ всегда, вы, можетъ, припомните, тугъ бывалъ. А т
какъ вскочитъ вдругъ.... «Кто меня зоветъ, а? кто?
мной пришелъ, за мной!» да безъ шапки на дворъ...
подумалъ: «что съ нимъ это?» да грѣшный человѣ
тутъ же и заснулъ. На другое утро просыпаюсь.... н
Лукьяныча. Вышелъ изъ комнатки, сталъ его кликать
нѣту нигдѣ. Спрашиваю у сторожа: — «не видалъ, мо
не выходилъ дяденька?» — Нѣтъ, говоритъ, не видал
«Что, братъ—говорю — нѣтъ его что-то».... «Ой!» I
такъ оба и струхнули. «Пойдемъ—говорю—Ѳедосѣи
пойдемъ—говорю—посмотримъ, нѣтъ ли его въ дом
«Пойдемъ, говоритъ—Василій Тимофѣичъ», а самъ бі
какъ глина. Пошли мы въ домъ.... сталъ я проход
мимо кладовой, да какъ глянулъ, а замокъ-то виситъ
пробоѣ открытый, я толкъ въ дверь, а дверь-то изнут
заперта.... Ѳедосѣичъ тотчасъ обѣжалъ кругомъ, посм
трѣлъ въ окно. «Василій Тимофѣичъ! кричитъ — но
висятъ, ноги».... Я къ окну. А ноги-то это его, Лукь
нычевы ноги. Такъ посреди комнаты и повѣсился.... Н
послали за судомъ.... Сняли его съ веревки: двѣнадцат
узлами завязана была веревка.

— Ну что́ же судъ?

— Да что судъ? Ничего. Подумали, подумали, как
можетъ быть причина? Нѣтъ никакой причины. Такъ
рѣшили, что, должно полагать, не въ своемъ былъ ум
У него-жъ въ послѣднее время голова болѣла, часто во
головой жаловался....

Я еще около получаса потолковалъ съ малымъ и ушелъ наконецъ въ совершенномъ смущеніи. Признаюсь, я не могъ безъ тайнаго, суевѣрнаго страха смотрѣть на этотъ дряхлый домъ.... Черезъ мѣсяцъ я уѣхалъ изъ деревни; и понемногу всѣ эти ужасы, эти таинственныя встрѣчи вышли у меня изъ головы.

II.

Прошло три года. Большую часть этого времени я провелъ въ Петербургѣ да за границей, и если когда я и заѣзжалъ къ себѣ въ деревню, то не болѣе какъ на нѣсколько дней, такъ что мнѣ ни разу не пришлось побывать ни въ Глинномъ, ни въ Михайловскомъ. Ни красавицу мою я не видалъ нигдѣ, ни того мужчину. Однажды, на исходѣ третьяго года, въ Москвѣ мнѣ случилось встрѣтиться съ г-жею Шлыковой и ея сестрицей, Пелагеей Бадаевой—съ той самой Пелагеей, которую я, грѣшный человѣкъ, до тѣхъ поръ считалъ вымышленнымъ лицомъ—на вечерѣ у одной моей знакомой. Обѣ дамы были уже не молодыхъ лѣтъ и довольно пріятной наружности; разговоръ ихъ отличался умомъ и веселостью: онѣ много путешествовали и путешествовали съ пользой; въ обращеніи ихъ замѣчалась непринужденная веселость. Но между моей незнакомкой и ими не было рѣшительно ничего общаго. Меня представили имъ. Мы съ г-жею Шлыковой разговорились (сестрицу ее занималъ какой-то заѣзжій геологъ). Я объявилъ ей, что имѣю удовольствіе быть ея сосѣдомъ по ....му уѣзду.

— А! у меня тамъ точно есть небольшое имѣнье, замѣтила она:—возлѣ Глиннаго.

— Какже, какже, возразилъ я:—я знаю ваше Михайловское. Вы тамъ бываете?

— Я?—рѣдко.

— Три года тому назадъ были?

— Постойте! кажется, была. Да, была, точно.

— Съ сестрицей вашей или однѣ?

Она взглянула на меня.

— Съ сестрой. Мы тамъ съ недѣлю провели. По дѣламъ, знаете. Впрочемъ, мы никого не видали.

— Гм.... Тамъ, кажется, сосѣдей очень мало.

— Да, мало. Я же до нихъ не охотница.

— Скажите, началъ я:—вѣдь у васъ тамъ, кажется, въ томъ же году случилось несчастье. Лукьянычъ....

Глаза г-жи Шлыковой тотчасъ наполнились слезами.

— А вы его знали? промолвила она съ живостью. — Такое несчастье! Такой былъ прекрасный, добрый старикъ.... и представьте, вѣдь безъ всякой причины....

— Да, да, пробормоталъ я: такое несчастье.

Сестра г-жи Шлыковой подошла къ намъ. Ей, вѣроятно, ужъ начинали надоѣдать ученыя разсужденія геолога о формаціи береговъ Волги.

— Вообрази, Pauline, начала моя собесѣдница: m-r зналъ Лукьяныча.

— Въ самомъ дѣлѣ? Бѣдный старикъ!

— Я не разъ охотился около Михайловскаго въ то время, когда вы тамъ были, три года тому назадъ, замѣтилъ я.

— Я? возразила Пелагея съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ.

— Ну да, конечно! поспѣшно подхватила ея сестрица:—развѣ ты не помнишь?

И она пристально поглядѣла ей въ глаза.

— Ахъ, да, да.... точно! отвѣчала вдругъ Пелагея.

«Эхе-хе—подумалъ я—наврядъ ты была въ Михайловскомъ, голубушка».

— Не споете ли намъ что-нибудь, Пелагея Ѳедоровна,

заговорилъ внезапно одинъ высокій молодой человѣкъ, съ бѣлокурымъ кокомъ и мутно-сладкими глазками.

— Я, право, не знаю, проговорила дѣвица Бадаева.

— А вы поете? воскликнулъ я съ живостью и быстро поднялся съ мѣста: — ради Бога.... Ахъ, ради Бога, спойте намъ что-нибудь.

— Но что́ мнѣ спѣть вамъ?

— Не знаете ли вы, началъ я, всячески стараясь придать себѣ видъ равнодушный и развязный: — одну итальянскую пѣсенку.... она такъ начинается: passa que' colli?

— Знаю, отвѣчала Пелагея совершенно невинно. — Что-жъ, ее вамъ спѣть? Извольте.

И она сѣла за фортепіано. Я, какъ Гамлетъ, вперилъ взоры свои въ г-жу Шлыкову. Мнѣ показалось, что при первомъ звукѣ она слегка вздрогнула; впрочемъ, она спокойно досидѣла до конца. Дѣвица Бадаева пѣла недурно. Пѣсенка кончилась — раздались обычныя рукоплесканія. Стали просить ее спѣть еще что-нибудь; но обѣ сестры перемигнулись и черезъ нѣсколько минутъ уѣхали. Когда онѣ выходили изъ комнаты, мнѣ послышалось слово: importun.

«Подѣломъ!» подумалъ я—и уже больше съ ними не встрѣчался.

Прошелъ еще годъ. Я переѣхалъ на жительство въ Петербургъ. Настала зима; начались маскарады. Однажды, выходя въ одиннадцатомъ часу вечера изъ одного пріятельскаго дома, я почувствовалъ себя въ такомъ мрачномъ расположеніи духа, что рѣшился отправиться въ маскарадъ въ Дворянское Собраніе. Долго бродилъ я вдоль колоннъ и мимо зеркалъ съ скромно-фатальнымъ выраженіемъ на лицѣ, — съ тѣмъ выраженіемъ, которое, сколько я могъ замѣтить, въ подобныхъ случаяхъ появ-

ляется у самыхъ порядочныхъ людей — почему, од
Господь вѣдаетъ; долго бродилъ я, изрѣдка отшучива
отъ пискливыхъ домино съ подозрительными кружев
и несвѣжими перчатками, и еще рѣже заговаривая с
съ ними; долго предавалъ я свои уши завываны
трубъ и визгу скрипокъ; наконецъ, наскучавшись в
воль и добившись головной боли, хотѣлъ я уже ѣх
домой.... и.... и остался. Я увидалъ женщину въ ч
номъ домино, прислонившуюся къ колоннѣ,—увидалъ
остановился, подошелъ къ ней — и.... повѣрятъ ли м
мои читатели?... тотчасъ узналъ въ ней мою незнаком
Почему узналъ я ее: по взгляду ли, который она раз
янно бросила на меня сквозь продолговатыя отверс
маски, по дивному ли очертанію ея плечъ и рукъ,
особенной ли женственной величавости всего ея обра
или наконецъ по какому-то тайному голосу, котор
внезапно заговорилъ во мнѣ, — не могу сказать....
только я узналъ ее. Съ дрожью на сердцѣ прошелт
нѣсколько разъ мимо нея. Она не шевелилась; въ ея по
было что-то до того безнадежно-горестное, что, гля
на нее, я невольно вспоминалъ два стиха испанскаго р
манса:

Я печальная картина,
Прислоненная къ стѣнѣ *).

Я зашелъ за колонну, о которую она опиралась,
наклонивъ голову къ самому ея уху, тихо произнесъ:

— Passa que' colli....

Она вся затрепетала и быстро обернулась ко мн
Глаза наши такъ близко встрѣтились, что я могъ з
мѣтить, какъ испугъ расширилъ ея зрачки. Съ нед

*) Soy un cuadro de tristeza,
Arrimado a la pared.

*

умѣніемъ, слабо протянувъ одну руку, смотрѣла она на меня.

— 6 мая 184* года, въ Сорренто, въ десять часовъ вечера, въ улицѣ della Croce, проговорилъ я медленнымъ голосомъ, не спуская съ нея глазъ: — потомъ, въ Россіи, въ ....й губерніи, въ сельцѣ Михайловскомъ, 22 іюля 184* года....

Я сказалъ все это по-французски. Она подалась немного назадъ, окинула меня съ ногъ до головы изумленнымъ взоромъ и, прошептавъ: «venez», проворно пошла вонъ изъ залы. Я отправился вслѣдъ за ней.

Мы шли молча. Я не въ силахъ передать, что́ я чувствовалъ, идя съ ней рядомъ. Прекрасное сновидѣніе, которое бы вдругъ стало дѣйствительностью.... статуя Галатеи, сходящая живой женщиной съ своего пьедестала въ глазахъ замирающаго Пигмаліона.... Я не вѣрилъ себѣ, я едва могъ дышать.

Мы прошли нѣсколько комнатъ.... Наконецъ, въ одной изъ нихъ она остановилась передъ небольшимъ диваномъ у окна и сѣла. Я сѣлъ подлѣ нея.

Она медленно обернула ко мнѣ свою голову и внимательно посмотрѣла на меня.

— Вы.... вы отъ *него*? проговорила она.

Голосъ ея былъ слабъ и невѣренъ....

Ея вопросъ меня нѣсколько смутилъ.

— Нѣтъ.... не отъ него, отвѣчалъ я, запинаясь.

— Вы его знаете?

— Знаю, возразилъ я, съ таинственной важностью. Мнѣ хотѣлось поддержать свою роль.—Знаю.

Она недовѣрчиво посмотрѣла на меня, хотѣла что-то сказать и потупилась.

— Вы его ждали въ Сорренто́, продолжалъ я: — вы

видѣлись съ нимъ въ Михайловскомъ, вы ѣздили съ нимъ верхомъ....

— Ка́къ вы могли.... начала-было она.

— Ужъ я знаю.... я все знаю....

— Ваше лицо мнѣ какъ-будто знакомо, продолжала она:—но нѣтъ....

— Нѣтъ, я вамъ незнакомъ.

— Такъ что́ же вы хотите?

— Да ужъ я знаю, твердилъ я.

Я очень хорошо понималъ, что мнѣ слѣдовало воспользоваться отличнымъ началомъ, идти далѣе, что мои повторенія: «я все знаю, ужъ я знаю», становились смѣшными—но мое волненіе было такъ велико, эта неожиданная встрѣча до того меня смутила, я такъ потерялся, что рѣшительно не умѣлъ сказать ничего другого. Притомъ же я дѣйствительно больше ничего и не зналъ. Я чувствовалъ, что я глупѣю, чувствовалъ, что я изъ таинственнаго всевѣдущаго, существа, какимъ я сперва ей долженъ былъ показаться, быстро превращаюсь въ какого-то ухмыляющагося дурачка.... но дѣлать было нечего.

— Да, я все знаю, пробормоталъ я еще разъ.

Она взглянула на меня, проворно встала и хотѣла удалиться.

Но это было бы слишкомъ жестоко. Я ее схватилъ за руку.

— Ради Бога, началъ я;—сядьте, выслушайте меня....

Она подумала и сѣла.

— Я вамъ сейчасъ говорилъ, продолжалъ я съ жаромъ:—что я все знаю—это вздоръ. Я ничего не знаю, рѣшительно ничего; я не знаю, ни кто вы, ни кто онъ, и если я могъ васъ удивить тѣмъ, что́ я сказалъ вамъ сейчасъ у колонны, то припишите это одному случаю, странному, непонятному случаю, который, какъ-будто на

смѣхъ, два раза и почти одинаковымъ образомъ сталкивалъ меня съ вами, дѣлалъ меня невольнымъ свидѣтелемъ того, что́, можетъ быть, вы бы желали сохранить въ тайнѣ....

И я тутъ же, нисколько не обинуясь и безъ малѣйшей утайки, разсказалъ ей все: встрѣчи мои съ ней въ Сорренто, въ Россіи, мои тщетные разспросы въ Михайловскомъ, даже разговоръ мой въ Москвѣ съ Шлыковой и ея сестрой.

— Теперь вы все знаете, продолжалъ я, окончивъ свой разсказъ.—Я не стану описывать вамъ, какое глубокое, какое потрясающее впечатлѣніе вы произвели на меня: видѣть васъ и не быть очарованнымъ вами—невозможно. Съ другой стороны, мнѣ тоже не для чего говорить вамъ, какого рода это было впечатлѣніе. Вспомните, при какихъ условіяхъ я оба раза видѣлъ васъ.... Повѣрьте, я не охотникъ предаваться безумнымъ надеждамъ, но поймите также и то неизъяснимое волненіе, которое овладѣло мною сегодня, и извините меня, извините неловкую хитрость, къ которой я рѣшился прибѣгнуть, чтобъ обратить ваше вниманіе, хотя на мгновеніе....

Она выслушала мои сбивчивыя объясненія, не поднимая головы.

— Что̀ же вы хотите отъ меня? сказала она наконецъ.

— Я?... Я ничего не хочу.... Я и такъ уже счастливъ.... Я слишкомъ уважаю чужія тайны.

— Будто? Однако, вы до сихъ поръ, кажется.... Впрочемъ, продолжала она;—я не хочу упрекать васъ. Всякій на вашемъ мѣстѣ сдѣлалъ бы то же. Притомъ случай дѣйствительно такъ настойчиво сближалъ насъ.... это какъ-будто даетъ вамъ нѣкоторое право на мою откровенность. Слушайте: я не принадлежу къ числу тѣхъ женщинъ,

непонятыхъ и несчастныхъ, которыя ѣздятъ по маскарадамъ для того, чтобы болтать съ первымъ встрѣчнымъ о своихъ страданіяхъ, которымъ нужны сердца, исполненныя сочувствія.... Мнѣ ничьего сочувствія не нужно; мое собственное сердце умерло, и я пріѣхала сюда для того только, чтобы окончательно похоронить его.

Она поднесла платокъ къ своимъ губамъ.

— Я надѣюсь, продолжала она съ нѣкоторымъ усиліемъ,—что вы не принимаете моихъ словъ за обыкновенныя маскарадныя изліянія. Вы должны понять, что мнѣ не до того....

И точно, въ ея голосѣ было что-то страшное, при всей вкрадчивой мягкости его звуковъ.

— Я русская, сказала она по-русски — до тѣхъ поръ она выражалась на французскомъ языкѣ:—хотя мало жила въ Россіи.... Имя вамъ мое знать не нужно. Анна Ѳедоровна моя старинная пріятельница; я точно ѣздила въ Михайловское подъ именемъ ея сестры.... Тогда мнѣ нельзя было съ нимъ видѣться явно.... И безъ того начинали ходить слухи.... тогда еще существовали препятствія — онъ не былъ свободенъ.... Эти препятствія исчезли.... но тотъ, чье имя должно было сдѣлаться моимъ, тотъ, съ которымъ вы меня видѣли, меня бросилъ.

Она сдѣлала движеніе рукой и помолчала....

— Вы точно его не знаете? не встрѣчались съ нимъ?

— Ни разу.

— Онъ почти все это время провелъ за границей. Впрочемъ, онъ теперь здѣсь.... Вотъ и вся моя исторія, прибавила она:—вы видите, въ ней нѣтъ ничего таинственнаго, ничего особеннаго.

— А Сорренто? робко прервалъ я.

— Я съ нимъ познакомилась въ Сорренто, медленно возразила она и задумалась.

Мы оба умолкли. Странное смущеніе овладѣло мною. Я сидѣлъ подлѣ нея, подлѣ той женщины, чей образъ такъ часто носился въ мечтахъ моихъ, такъ мучительно волновалъ и раздражалъ меня, — я сидѣлъ подлѣ нея и чувствовалъ холодъ и тяжесть на сердцѣ. Я зналъ, что ничего не выйдетъ изъ этой встрѣчи, что между ею и мною была бездна, что мы, разставшись, разойдемся навсегда. Протянувъ голову и уронивъ обѣ руки на колѣни, сидѣла она равнодушно и небрежно. Знаю я эту небрежность неизлечимаго горя, знаю равнодушіе безвозвратнаго несчастья! Маски четами проходили мимо насъ: звуки «однообразнаго и безумнаго» вальса то глухо отдавались въ отдаленьи, то приносились рѣзкими взрывами; тяжело и печально волновала меня веселая бальная музыка. «Неужели — думалъ я — эта женщина та самая, которая явилась мнѣ нѣкогда въ окнѣ того далекаго деревенскаго домика во всемъ блескѣ торжествующей красоты?».... И между тѣмъ время, казалось, не коснулось ея. Нижняя часть ея лица, не скрытая кружевами маски, была почти младенчески нѣжна; но отъ нея вѣяло холодомъ, какъ отъ статуи.... Возвратилась Галатея на свой пьедесталъ, и уже не сойти съ него болѣе.

Вдругъ она выпрямилась, заглянула въ другую комнату и встала.

— Дайте мнѣ руку, сказала она мнѣ—пойдемте скорѣй, скорѣй.

Мы вернулись въ залу. Она шла такъ быстро, что я едва за ней поспѣвалъ. У одной колонны она остановилась

— Подождемте здѣсь, прошептала она.

— Вы кого-нибудь ищете, началъ-было я....

Но она не обращала на меня вниманія: пристальный

въ толпу. Томно и грозно глядѣли изъ-
ıта ея черные большіе глаза.
направленіи ея взора и все понялъ.
уемому рядомъ колоннъ и стѣной, шелъ
котораго я встрѣтилъ съ нею въ лѣ-
тчасъ; онъ почти не измѣнился. Так-
) русый усъ, такой же спокойной и
остью свѣтились его каріе глаза. Онъ
слегка наклонивъ свой тонкій станъ,
енщинѣ въ домино, которую велъ
ıись съ нами, онъ внезапно поднялъ
ерва на меня, потомъ на ту, съ
вроятно узналъ ее, узналъ ея гла-
ego слегка дрогнули,—онъ прищу-
но нестерпимо дерзкая усмѣшка
Онъ нагнулся къ своей спутницѣ,
а слова, та тотчасъ оглянулась,
ропливо окинули насъ обоихъ, и
озила она ему своей маленькой
поднялъ одно плечо, она кокет-
...
незнакомкѣ. Она посмотрѣла
здругъ, выдернувъ у меня руку,
ыло устремился вслѣдъ за ней,
на меня взглянула, что я глу-
ıся на мѣстѣ. Я понялъ, что
рубо и глупо.
ратецъ, говорилъ я, четверть
къ пріятелей—живому адресъ-
го это за высокій, красивый

остранецъ, довольно загадоч-

ное существо, очень рѣдко появляющееся на нашемъ горизонтѣ. А что?

— Такъ!...

Я вернулся домой. Съ тѣхъ поръ я уже нигдѣ не встрѣчалъ моей незнакомки. Зная имя человѣка, котораго она любила, я бы, вѣроятно, могъ добиться, наконецъ, кто она была такая, но я самъ не желалъ этого. Я сказалъ выше, что эта женщина появилась мнѣ какъ сновидѣніе— и какъ сновидѣніе прошла она мимо и исчезла навсегда.

1851 г.

МУМУ.

Въ одной изъ отдаленныхъ улицъ Москвы, въ сѣромъ домѣ съ бѣлыми колоннами, антресолью и покривившимся балкономъ жила нѣкогда барыня, вдова, окруженная многочисленною дворней. Сыновья ея служили въ Петербургѣ, дочери вышли замужъ; она выѣзжала рѣдко и уединенно доживала послѣдніе годы своей скупой и скучающей старости. День ея, нерадостный и ненастный, давно прошелъ; но и вечеръ ея былъ чернѣе ночи.

Изъ числа всей ея челяди самымъ замѣчательнымъ лицомъ былъ дворникъ Герасимъ, мужчина двѣнадцати вершковъ роста, сложенный богатыремъ и глухо-нѣмой отъ рожденья. Барыня взяла его изъ деревни, гдѣ онъ жилъ одинъ въ небольшой избушкѣ, отдѣльно отъ братьевъ и считался едва ли не самымъ исправнымъ тягловымъ мужикомъ. Одаренный необычайной силой, онъ работалъ за четверыхъ—дѣло спорилось въ его рукахъ, и весело было смотрѣть на него, когда онъ либо пахалъ и, налегая огромными ладонями на соху, казалось, одинъ, безъ помощи лошаденки, взрѣзывалъ упругую грудь земли, либо о Петровъ день такъ сокрушительно дѣйствовалъ косой, что хоть бы молодой березовый лѣсокъ смахивать съ корней долой, либо проворно и безостановочно молотилъ трехъ-аршиннымъ цѣпомъ, и какъ рычагъ опускались и поднимались продолговатыя и твердыя мышцы его плечей.

Постоянное безмолвіе придавало торжественную важность его неистомной работѣ. Славный онъ былъ мужикъ, и не будь его несчастье, всякая дѣвка охотно пошла бы за него замужъ.... Но вотъ Герасима привезли въ Москву, купили ему сапоги, сшили кафтанъ на лѣто, на зиму тулупъ, дали ему въ руки метлу и лопату, и опредѣлили его дворникомъ.

Крѣпко не полюбилось ему сначала его новое житье. Съ дѣтства привыкъ онъ къ полевымъ работамъ, къ деревенскому быту. Отчужденный несчастьемъ своимъ отъ сообщества людей, онъ выросъ нѣмой и могучій, какъ дерево ростетъ на плодородной землѣ.... Переселенный въ городъ, онъ не понималъ, что́ съ нимъ такое дѣется,— скучалъ и недоумѣвалъ, какъ недоумѣваетъ молодой, здоровый быкъ, котораго только-что взяли съ нивы, гдѣ сочная трава росла ему по брюхо, — взяли, поставили на вагонъ желѣзной дороги—и вотъ, обдавая его тучное тѣло то дымомъ съ искрами, то волнистымъ паромъ, мчатъ его теперь, мчатъ со стукомъ и визгомъ, а куда мчатъ — Богъ вѣсть! Занятія Герасима по новой его должности казались ему шуткой послѣ тяжкихъ крестьянскихъ работъ; въ полчаса все у него было готово, и онъ опять то останавливался посреди двора и глядѣлъ, разинувъ ротъ, на всѣхъ проходящихъ, какъ бы желая добиться отъ нихъ рѣшенія загадочнаго своего положенія, то вдругъ уходилъ куда-нибудь въ уголокъ и, далеко швырнувъ метлу и лопату, бросался на землю лицомъ и цѣлые часы лежалъ на груди неподвижно, какъ пойманный звѣрь. Но ко всему привыкаетъ человѣкъ, и Герасимъ привыкъ наконецъ къ городскому житью. Дѣла у него было немного, вся обязанность его состояла въ томъ, чтобы дворъ содержать въ чистотѣ, два раза въ день привезти бочку съ водой, натаскать и наколоть дровъ для кухни и дома, да

чужихъ не пускать и по ночамъ караулить. И надо сказать, усердно исполнялъ онъ свою обязанность: на дворѣ у него никогда ни щепокъ не валялось, ни сору; застрянетъ ли въ грязную пору гдѣ-нибудь съ бочкой отданная подъ его начальство разбитая кляча-водовозка, онъ только двинетъ плечомъ—и не только телѣгу, самоё лошадь спихнетъ съ мѣста; дрова ли примется онъ колоть, топоръ такъ и звенитъ у него какъ стекло, и летятъ во всѣ стороны осколки и полѣнья; а что насчетъ чужихъ, такъ послѣ того, какъ онъ однажды ночью, поймавъ двухъ воровъ, стукнулъ ихъ другъ о дружку лбами, да такъ стукнулъ, что хоть въ полицію ихъ потомъ не води, всѣ въ околоткѣ очень стали уважать его; даже днемъ проходившіе, вовсе уже не мошенники, а просто незнакомые люди, при видѣ грознаго дворника, отмахивались и кричали на него, какъ-будто онъ могъ слышать ихъ крики. Со всей остальной челядью Герасимъ находился въ отношеніяхъ не то, чтобы пріятельскихъ — они его побаивались — а короткихъ: онъ считалъ ихъ за своихъ. Они съ нимъ объяснялись знаками, и онъ ихъ понималъ, въ точности исполнялъ всѣ приказанія, но права свои тоже зналъ, и уже никто не смѣлъ садиться на его мѣсто на застолицѣ. Вообще Герасимъ былъ нрава строгаго и серьезнаго, любилъ во всемъ порядокъ; даже пѣтухи при немъ не смѣли драться — а то бѣда! увидитъ, тотчасъ схватитъ за ноги, повертитъ разъ десять на воздухѣ колесомъ и броситъ врозь. На дворѣ у барыни водились тоже гуси; но гусь, извѣстно, птица важная и разсудительная; Герасимъ чувствовалъ къ нимъ уваженіе, ходилъ за ними и кормилъ ихъ; онъ самъ смахивалъ на степеннаго гусака. Ему отвели надъ кухней каморку; онъ устроилъ ее себѣ самъ, по своему вкусу, соорудилъ въ ней кровать изъ дубовыхъ досокъ на четырехъ чурбанахъ, —

истинно богатырскую кровать; сто пудовъ можно было положить на нее—не погнулась бы; подъ кроватью находился дюжій сундукъ; въ уголку стоялъ столикъ такого же крѣпкаго свойства, а возлѣ столика—стулъ на трехъ ножкахъ, да такой прочный и приземистый, что самъ Герасимъ, бывало, подниметъ его, уронитъ и ухмыльнется. Каморка запиралась на замокъ, напоминавшій своимъ видомъ калачъ, только черный; ключъ отъ этого замка Герасимъ всегда носилъ съ собой на поясѣ. Онъ не любилъ, чтобы къ нему ходили.

Такъ прошелъ годъ, по окончаніи котораго съ Герасимомъ случилось небольшое происшествіе.

Старая барыня, у которой онъ жилъ въ дворникахъ, во всемъ слѣдовала древнимъ обычаямъ и прислугу держала многочисленную; въ домѣ у ней находились не только прачки, швеи, столяры, портные и портнихи, былъ даже одинъ шорникъ, онъ же считался ветеринарнымъ врачемъ и лекаремъ для людей, былъ домашній лекарь для госпожи, былъ наконецъ башмачникъ, по имени Капитонъ Климовъ, пьяница горькій. Климовъ почиталъ себя существомъ обиженнымъ и неоцѣненнымъ по достоинству, человѣкомъ образованнымъ и столичнымъ, которому не въ Москвѣ бы жить, безъ дѣла, въ какомъ-то захолустьѣ, и если пилъ, какъ онъ самъ выражался съ разстановкой и стуча себя въ грудь, то пилъ уже именно съ горя. Вотъ зашла однажды о немъ рѣчь у барыни съ ея главнымъ дворецкимъ, Гаврилой, человѣкомъ, которому, судя по однимъ его жолтымъ глазкамъ и утиному носу, сама судьба, казалось, опредѣлила быть начальствующимъ лицомъ. Барыня сожалѣла объ испорченной нравственности Капитона, котораго наканунѣ только-что отыскали гдѣ-то на улицѣ.

— А что́ Гаврила, заговорила вдругъ она: — не же-

нить ли намъ его, какъ ты думаешь? Можетъ, онъ остепенится.

— Отчего же не женить-съ? Можно-съ, отвѣчалъ Гаврила:—и очень даже будетъ хорошо-съ.

— Да; только кто за него пойдетъ?

— Конечно-съ. А, впрочемъ, какъ вамъ будетъ угодно-съ. Все же онъ, такъ-сказать, на что-нибудь можетъ быть потребенъ; изъ десятка его не выкинешь.

— Кажется, ему Татьяна нравится?

Гаврила хотѣлъ-было что-то возразить, да сжалъ губы.

— Да!... пусть посватаетъ Татьяну, рѣшила барыня, съ удовольствіемъ понюхивая табачокъ:—слышишь?

— Слушаю-съ, произнесъ Гаврила и удалился.

Возвратясь въ свою комнату (она находилась во флигелѣ и была почти вся загромождена кованными сундуками), Гаврила сперва выслалъ вонъ свою жену, а потомъ подсѣлъ къ окну и задумался. Неожиданное распоряженіе барыни его видимо озадачило. Наконецъ онъ всталъ и велѣлъ кликнуть Капитона. Капитонъ явился.... Но прежде чѣмъ мы передадимъ читателямъ ихъ разговоръ, считаемъ нелишнимъ разсказать въ немногихъ словахъ, кто эта была Татьяна, на которой приходилось Капитону жениться, и почему повелѣніе барыни смутило дворецкаго.

Татьяна, состоявшая, какъ мы сказали выше, въ должности прачки (впрочемъ, ей, какъ искусной и ученой прачкѣ, поручалось одно тонкое бѣлье), была женщина лѣтъ двадцати-осьми, маленькая, худая, бѣлокурая, съ родинками на лѣвой щекѣ. Родинки на лѣвой щекѣ почитаются на Руси худой примѣтой—предвѣщаніемъ несчастной жизни ... Татьяна не могла похвалиться своей участью. Съ ранней молодости ее держали въ черномъ тѣлѣ; работала она за двоихъ, а ласки никакой никогда не видала; одѣвали ее плохо, жалованье она получала

самое маленькое; родни у ней все равно что не было: одинъ какой-то старый ключникъ, оставленный за негодностью въ деревнѣ, доводился ей дядей, да другіе дядья у ней въ мужикахъ состояли,—вотъ и все. Когда-то она слыла красавицей, но красота съ нея очень скоро соскочила. Нрава она была весьма смирнаго, или лучше сказать, запуганнаго, къ самой себѣ она чувствовала полное равнодушіе, другихъ боялась смертельно; думала только о томъ, какъ бы работу къ сроку кончить, никогда ни съ кѣмъ не говорила и трепетала при одномъ имени барыни, хотя та ее почти въ глаза не знала. Когда Герасима привезли изъ деревни, она чуть не обмерла отъ ужаса при видѣ его громадной фигуры, всячески старалась не встрѣчаться съ нимъ, даже жмурилась, бывало, когда ей случалось пробѣгать мимо него, спѣша изъ дома въ прачешную. Герасимъ сперва не обращалъ на нее особеннаго вниманія, потомъ сталъ посмѣиваться, когда она ему попадалась, потомъ и заглядываться на нее началъ, наконецъ и вовсе глазъ съ нея не спускалъ. Полюбилась она ему; кроткимъ ли выраженіемъ лица, робостью ли движеній — Богъ его знаетъ! Вотъ однажды пробиралась она по двору, осторожно поднимая на растопыренныхъ пальцахъ накрахмаленную барынину кофту... кто-то вдругъ сильно схватилъ ее за локоть; она обернулась и такъ и вскрикнула: за ней стоялъ Герасимъ. Глупо смѣясь и ласково мыча, протягивалъ онъ ей пряничнаго пѣтушка, съ сусальнымъ золотомъ на хвостѣ и крыльяхъ. Она-было хотѣла отказаться, но онъ насильно впихнулъ его ей прямо въ руку, покачалъ головой, пошелъ прочь и, обернувшись, еще разъ промычалъ ей что-то очень дружелюбное. Съ того дня онъ ужъ ей не давалъ покоя, куда, бывало, она ни пойдетъ, онъ ужъ тутъ-какъ-тутъ, идетъ ей на встрѣчу, улыбается, мычитъ, ма-

хаетъ руками, ленту вдругъ вытащитъ изъ-за пазухи и всучитъ ей, метлой передъ ней пыль разчиститъ. Бѣдная дѣвка просто не знала, какъ ей быть и что́ дѣлать. Скоро весь домъ узналъ о продѣлкахъ нѣмого дворника; насмѣшки, прибауточки, колкія словечки посыпались на Татьяну. Надъ Герасимомъ, однако, глумиться не всѣ рѣшались: онъ шутокъ не любилъ; да и ее при немъ оставляли въ покоѣ. Рада не рада, а попала дѣвка подъ его покровительство. Какъ всѣ глухонѣмые онъ очень былъ догадливъ и очень хорошо понималъ, когда надъ нимъ или надъ ней смѣялись. Однажды за обѣдомъ, кастелянша, начальница Татьяны, принялась ее, какъ говорится, шпынять и до того ее довела, что та, бѣдная, не знала куда глаза дѣть и чуть не плакала съ досады. Герасимъ вдругъ приподнялся, протянулъ свою огромную ручищу, наложилъ ее на голову кастелянши и съ такой угрюмой свирѣпостью посмотрѣлъ ей въ лицо, что та такъ и пригнулась къ столу. Всѣ умолкли. Герасимъ снова взялся за ложку и продолжалъ хлебать щи. «Вишь, глухой чортъ, лѣшій!» пробормотали всѣ вполголоса, а кастелянша встала да ушла въ дѣвичью. А то, въ другой разъ, замѣтивъ, что Капитонъ, тотъ самый Капитонъ, о которомъ сейчасъ шла рѣчь, какъ-то слишкомъ любезно раскалякался съ Татьяной, Герасимъ подозвалъ его къ себѣ пальцемъ, отвелъ въ каретный сарай, да ухвативъ за конецъ стоявшее въ углу дышло, слегка, но многозначительно погрозилъ ему имъ. Съ тѣхъ поръ ужъ никто не заговаривалъ съ Татьяной. И все это ему сходило съ рукъ. Правда, кастелянша, какъ только прибѣжала въ дѣвичью, тотчасъ упала въ обморокъ и вообще такъ искусно дѣйствовала, что въ тотъ же день довела до свѣдѣнія барыни грубый поступокъ Герасима; но причудливая старуха только разсмѣялась, нѣсколько разъ, къ крайнему оскорбленію кастелян-

ши, заставила ее повторить, какъ дескать, онъ принагнулъ тебя своей тяжелой ручкой, и на другой день выслала Герасиму цѣлковый. Она его жаловала, какъ вѣрнаго и сильнаго сторожа. Герасимъ порядкомъ ея побаивался, но все-таки надѣялся на ея милость и собирался уже отправиться къ ней съ просьбой, не позволитъ ли она ему жениться на Татьянѣ. Онъ только ждалъ новаго кафтана, обѣщаннаго ему дворецкимъ, чтобъ въ приличномъ видѣ явиться передъ барыней, какъ вдругъ этой самой барынѣ пришла въ голову мысль выдать Татьяну за Капитона.

Читатель теперь легко самъ пойметъ причину смущенія, овладѣвшаго дворецкимъ Гаврилой послѣ разговора съ госпожой. «Госпожа—думалъ онъ, посиживая у окна—конечно, жалуетъ Герасима (Гаврилѣ хорошо это было извѣстно, и оттого онъ самъ ему потакалъ), все же онъ существо безсловесное; не доложить же госпожѣ, что вотъ Герасимъ, молъ, за Татьяной ухаживаетъ. Да и наконецъ оно и справедливо, какой онъ мужъ? А съ другой стороны, стóитъ этому, прости Господи, лѣшему узнать, что Татьяну выдаютъ за Капитона, вѣдь онъ все въ домѣ переломаетъ, ей-ей. Вѣдь съ нимъ не столкуешь; вѣдь его, чорта этакого, согрѣшилъ я грѣшный, никакимъ способомъ не уломаешь.... право!»....

Появленіе Капитона прервало нить Гаврилиныхъ размышленій. Легкомысленный башмачникъ вошелъ, закинулъ руки назадъ и, развязно прислонясь къ выдающемуся углу стѣны подлѣ двери, поставилъ правую ножку крестообразно передъ лѣвой и встряхнулъ головой. «Вотъ, молъ, я. Чего вамъ потребно?»

Гаврила посмотрѣлъ на Капитона и застучалъ пальцами по косяку окна. Капитонъ только прищурилъ немного свои оловянные глазки, но не опустилъ ихъ, даже усмѣх-

нулся слегка и провелъ рукой по своимъ бѣловатымъ волосамъ, которые такъ и ерошились во всѣ стороны. «Ну, да, я-молъ, я. Чего глядишь?»

— Хорошъ, проговорилъ Гаврила и помолчалъ.—Хорошъ, нечего сказать!

— Капитонъ только плечиками передернулъ. «А ты небось лучше?» подумалъ онъ про себя.

— Ну, посмотри на себя, ну, посмотри, продолжалъ съ укоризной Гаврила:—ну, на кого ты похожъ?

Капитонъ окинулъ спокойнымъ взоромъ свой истасканный и оборванный сюртукъ, свои заплатанные панталоны, съ особеннымъ вниманіемъ осмотрѣлъ онъ свои дырявые сапоги, особенно тотъ, о носокъ котораго такъ щеголевато опиралась его правая ножка, и снова уставился на дворецкаго.

— А что́-съ?

— Что́-съ? повторилъ Гаврила.—Что́-съ? Еще ты говоришь: что-съ? На чорта ты похожъ, согрѣшилъ я грѣшный, вотъ на кого ты похожъ.

Капитонъ проворно замигалъ глазками.

«Ругайтесь, молъ, ругайтесь, Гаврила Андреичъ», подумалъ онъ опять про себя.

— Вѣдь вотъ ты опять пьянъ былъ, началъ Гаврила:—вѣдь опять? А? ну, отвѣчай же.

— По слабости здоровья спиртнымъ напиткамъ подвергался дѣйствительно, возразилъ Капитонъ.

— По слабости здоровья!... Мало тебя наказываютъ—вотъ что́; а въ Питерѣ еще былъ въ ученьѣ.... Многому ты выучился въ ученьѣ! Только хлѣбъ даромъ ѣшь.

— Въ этомъ случаѣ, Гаврила Андреичъ, одинъ мнѣ судья: Самъ Господь Богъ, и больше никого. Тотъ одинъ знаетъ, каковъ я человѣкъ на семъ свѣтѣ суть и точно ли даромъ хлѣбъ ѣмъ. А что́ касается въ соображеніи до

пьянства—то и въ этомъ случаѣ виноватъ не я, а болѣе одинъ товарищъ; самъ же меня онъ сманулъ, да и сполитиковалъ, ушелъ, то-есть, а я....

— А ты остался, гусь, на улицѣ. Ахъ, ты забубенный человѣкъ! Ну, да дѣло не въ томъ, продолжалъ дворецкій — а вотъ что́. Барынѣ.... тутъ онъ помолчалъ: барынѣ угодно, чтобъ ты женился. Слышишь? Онѣ полагаютъ, что ты остепенишся, женившись. Понимаешь?

— Какъ не понимать-съ.

— Ну, да. По моему, лучше бы тебя хорошенько въ руки взять. Ну, да это ужъ ихъ дѣло. Что-жъ? ты согласенъ?

Капитонъ осклабился.

— Женитьба дѣло хорошее для человѣка, Гаврила Андреичъ; и я, съ своей стороны, съ очень моимъ пріятнымъ удовольствіемъ.

— Ну, да, возразилъ Гаврила и подумалъ про себя:— «нѐчего сказать, аккуратно говоритъ человѣкъ».—Только вотъ что́, продолжалъ онъ вслухъ: — невѣсту-то тебѣ пріискали неладную.

— А какую, позвольте полюбопытствовать?...

— Татьяну.

— Татьяну?

И Капитонъ вытаращилъ глаза и отдѣлился отъ стѣны.

— Ну чего-жъ ты всполохнулся?... Развѣ она тебѣ не по нраву?

— Какое не по нраву, Гаврила Андреичъ! дѣвка она ничего, работница, смирная дѣвка.... Да вѣдь вы сами знаете, Гаврила Андреичъ, вѣдь тотъ-то, лѣшій, кикимора-то степная, вѣдь онъ за ней....

— Знаю, братъ, все знаю, съ досадой прервалъ его дворецкій: — да вѣдь....

— Да помилуйте, Гаврила Андреичъ! вѣдь онъ меня

такъ муху какую-нибудь при-
а, вѣдь вы изволите сами по-
рука; вѣдь у него, просто,
Вѣдь онъ глухой, бьетъ и
ловно во снѣ кулачищами-то
никакой возможности; по-
, Гаврила Андреичъ, онъ
къ пятка. Вѣдь это какой-
дреичъ, — хуже идола....
перь отъ него страдать
перь все ни почемъ: об-
обмаслился какъ коло-
однако человѣкъ, а не
тожный горшокъ.

...

ъ продолжалъ башмач-
поди! Горемыка я, го-
ба-то моя, подумаешь!
резъ нѣмца хозяина;
отъ своего же брата,
го дослужился....
ворилъ Гаврила. —

е побоевъ я боюсь,
цинъ въ стѣнахъ,
и все я въ числѣ
дится....
ребилъ его Га-

икнулъ ему въ

лся.

Краснорѣчіе не покидало его даже въ крайнихъ случаяхъ.

Дворецкій нѣсколько разъ прошелся по комнатѣ.

— Ну, позовите теперь Татьяну, промолвилъ онъ наконецъ.

Черезъ нѣсколько мгновеній Татьяна вошла чуть слышно и остановилась у порога.

— Что́ прикажете, Гаврила Андреичъ? проговорила она тихимъ голосомъ.

Дворецкій пристально посмотрѣлъ на нее.

— Ну, промолвилъ онъ: — Танюша, хочешь замужъ идти? барыня тебѣ жениха сыскала.

— Слушаю, Гаврила Андреичъ. А кого онѣ мнѣ въ женихи назначаютъ? прибавила она съ нерѣшительностью.

— Капитона, башмачника.

— Слушаю-съ.

— Онъ легкомысленный человѣкъ — это точно. Но госпожа въ этомъ случаѣ на тебя надѣется.

— Слушаю-съ.

— Одна бѣда.... вѣдь этотъ глухарь-то, Гараська, онъ вѣдь за тобой ухаживаетъ. И чѣмъ ты этого медвѣдя къ себѣ приворожила? А вѣдь онъ убьетъ тебя, пожалуй, медвѣдь этакой....

— Убьетъ, Гаврила Андреичъ, безпремѣнно убьетъ.

— Убьетъ.... Ну, это мы увидимъ. Какъ это ты говоришь: убьетъ? Развѣ онъ имѣетъ право тебя убивать, посуди сама.

— А не знаю, Гаврила Андреичъ, имѣетъ ли, нѣтъ ли.

— Экая! вѣдь ты ему этакъ ничего не обѣщала....

— Чего изволите-съ!

Дворецкій помолчалъ и подумалъ:

— «Безотвѣтная ты душа!» — Ну, хорошо, приба-

вилъ онъ: — мы еще поговоримъ съ тобой, а теперь ступай, Танюша; я вижу, ты точно смиренница.

Татьяна повернулась, оперлась легонько о притолку и ушла.

«А, можетъ быть, барыня-то завтра и забудетъ объ этой свадьбѣ — подумалъ дворецкій — я-то изъ чего растревожился! Озорника-то мы этого скрутимъ, коли что́ — въ полицію знать дадимъ»..... — Устинья Ѳедоровна! крикнулъ онъ громкимъ голосомъ своей женѣ: — поставьте-ка самоварчикъ, моя почтенная....

Татьяна почти весь тотъ день не выходила изъ прачешной. Сперва она всплакнула, потомъ утерла слезы и принялась по-прежнему за работу. Капитонъ до самой поздней ночи просидѣлъ въ заведеніи съ какимъ-то пріятелемъ мрачнаго вида и подробно ему разсказалъ, какъ онъ въ Питерѣ проживалъ у одного барина, который всѣмъ бы взялъ, да за порядками былъ наблюдателенъ и притомъ одной ошибкой маленечко произволялся: хмѣлемъ гораздо забиралъ, а что́ до женскаго пола, просто во всѣ качества доходилъ.... Мрачный товарищъ только поддакивалъ; но когда Капитонъ объявилъ наконецъ, что онъ, по одному случаю, долженъ завтра же руку на себя наложить, мрачный товарищъ замѣтилъ, что пора спать. И они разошлись грубо и молча.

Между тѣмъ ожиданія дворецкаго не сбылись. Барыню такъ заняла мысль о Капитоновой свадьбѣ, что она даже ночью только объ этомъ разговаривала съ одной изъ своихъ компаньонокъ, которая держалась у ней въ домѣ единственно на случай безсонницы и какъ ночной извощикъ спала днемъ. Когда Гаврила вошелъ къ ней послѣ чаю съ докладомъ, первымъ ея вопросомъ было: а что́ наша свадьба, идетъ? Онъ, разумѣется, отвѣчалъ, что идетъ какъ нельзя лучше, и что Капитонъ сегодня же

къ ней явится съ поклономъ. Барынѣ что-то нездоровилось; она недолго занималась дѣлами. Дворецкій возвратился къ себѣ въ комнату и созвалъ совѣтъ. Дѣло точно требовало особеннаго обсужденія. Татьяна не прекословила, конечно; но Капитонъ объявлялъ во всеуслышаніе, что у него одна голова, а не двѣ и не три.... Герасимъ сурово и быстро на всѣхъ поглядывалъ, не отходилъ отъ дѣвичьяго крыльца и, казалось, догадывался, что затѣвается что-то для него недоброе. Собравшіеся (въ числѣ ихъ присутствовалъ старый буфетчикъ, по прозвищу дядя Хвостъ, къ которому всѣ съ почтеньемъ обращались за совѣтомъ, хотя только и слышали отъ него, что —вотъ оно какъ, да! да, да, да!)—начали съ того, что на всякій случай для безопасности заперли Капитона въ чуланчикъ съ водоочистительной машиной и принялись думать крѣпкую думу. Конечно, легко было прибѣгнуть къ силѣ; но Боже сохрани! выдетъ шумъ, барыня обезпокоится—бѣда! Какъ быть? Думали, думали, и выдумали наконецъ. Неоднократно было замѣчено, что Герасимъ терпѣть не могъ пьяницъ.... Сидя за воротами, онъ всякій разъ, бывало, съ негодованіемъ отворачивался, когда мимо его невѣрными шагами и съ козырькомъ фуражки на ухѣ проходилъ какой-нибудь нагрузившійся человѣкъ. Рѣшили научить Татьяну, чтобы она притворилась хмѣльной и прошла бы пошатываясь и покачиваясь мимо Герасима. Бѣдная дѣвка долго не соглашалась, но ее уговорили; притомъ она сама видѣла, что иначе она не отдѣлается отъ своего обожателя. Она пошла. Капитона выпустили изъ чуланчика: дѣло все-таки до него касалось. Герасимъ сидѣлъ на тумбочкѣ у воротъ и тыкалъ лопатой въ землю.... Изъ-за всѣхъ угловъ, изъ-подъ шторъ за окнами глядѣли на него....

Хитрость удалась какъ нельзя лучше. Увидѣвъ Татья-

ну, онъ сперва, по обыкновенію, съ ласковымъ мычаньемъ закивалъ головой; потомъ вглядѣлся, уронилъ лопату, вскочилъ, подошелъ къ ней, придвинулъ свое лицо къ самому ея лицу.... Она отъ страха еще болѣе зашаталась и закрыла глаза. .. Онъ схватилъ ее за руку, помчалъ черезъ весь дворъ, и войдя съ нею въ комнату, гдѣ засѣдалъ совѣтъ, толкнулъ ее прямо къ Капитону. Татьяна такъ и обмерла.... Герасимъ постоялъ, поглядѣлъ на нее, махнулъ рукой, усмѣхнулся и пошелъ, тяжело ступая, въ свою каморку. Цѣлыя сутки не выходилъ онъ оттуда. Форейторъ Антипка сказывалъ потомъ, что онъ сквозь щелку видѣлъ, какъ Герасимъ, сидя на кровати, приложивъ къ щекѣ руку, тихо, мѣрно и только изрѣдка мыча—пѣлъ, т. е., покачивался, закрывалъ глаза и встряхивалъ головой, какъ ямщики или бурлаки, когда они затягиваютъ свои заунывныя пѣсни. Антипкѣ стало жутко, и онъ отошелъ отъ щели. Когда же, на другой день, Герасимъ вышелъ изъ каморки, въ немъ особенной перемѣны нельзя было замѣтить. Онъ только сталъ какъбудто поугрюмѣе, а на Татьяну и на Капитона не обращалъ ни малѣйшаго вниманія. Въ тотъ же вечеръ они оба съ гусями подъ мышкой отправились къ барынѣ, и черезъ недѣлю женились. Въ самый день свадьбы Герасимъ не измѣнилъ своего поведенія ни въ чемъ; только съ рѣки онъ пріѣхалъ безъ воды: онъ какъ-то на дорогѣ разбилъ бочку; а на ночь въ конюшнѣ онъ такъ усердно чистилъ и теръ свою лошадь, что та шаталась какъ былинка на вѣтру и переваливалась съ ноги на ногу подъ его желѣзными кулаками.

Все это происходило весною. Прошелъ еще годъ, въ теченіе котораго Капитонъ окончательно спился съ кругу, и какъ человѣкъ рѣшительно никуда негодный, былъ отправленъ съ обозомъ въ дальнюю деревню, вмѣстѣ съ

своею женой. Въ день отъѣзда онъ сперва очень храбрился и увѣрялъ, что куда его ни пошли, хоть туда, гдѣ бабы рубахи моютъ да вальки на небо кладутъ, онъ все не пропадетъ; но потомъ упалъ духомъ, сталъ жаловаться, что его везутъ къ необразованнымъ людямъ, и такъ ослабѣлъ наконецъ, что даже собственную шапку на себя надѣть не могъ; какая-то сострадательная душа надвинула ее ему на лобъ, поправила козырекъ и сверху ее прихлопнула. Когда же все было готово, и мужики уже держали возжи въ рукахъ и ждали только слова: «съ Богомъ!» Герасимъ вышелъ изъ своей каморки, приблизился къ Татьянѣ и подарилъ ей на память красный, бумажный платокъ, купленный имъ для нея же съ годъ тому назадъ. Татьяна, съ великимъ равнодушіемъ переносившая до того мгновенія всѣ превратности своей жизни, тутъ, однако, не вытерпѣла, прослезилась и, садясь въ телѣгу по-христіански три раза поцѣловалась съ Герасимомъ. Онъ хотѣлъ проводить ее до заставы и пошелъ сперва рядомъ съ ея телѣгой, но вдругъ остановился на Крымскомъ броду, махнулъ рукой и отправился вдоль рѣки.

Дѣло было къ вечеру. Онъ шелъ тихо и глядѣлъ на воду. Вдругъ ему показалось, что что-то барахтается въ тинѣ у самаго берега. Онъ нагнулся и увидѣлъ небольшого щенка, бѣлаго съ черными пятнами, который, несмотря на всѣ свои старанія, никакъ не могъ вылѣзть изъ воды, бился, скользилъ и дрожалъ всѣмъ своимъ мокренькимъ и худенькимъ тѣломъ. Герасимъ поглядѣлъ на несчастную собаченку, подхватилъ ее одной рукой, сунулъ ее къ себѣ въ пазуху и пустился большими шагами домой. Онъ вошелъ въ свою каморку, уложилъ спасеннаго щенка на кровати, прикрылъ его своимъ тяжёлымъ армякомъ, сбѣгалъ сперва въ конюшню

за соломой, потомъ въ кухню за чашечкой молока. Осторожно откинувъ армякъ и разостлавъ солому, поставилъ онъ молоко на кровать. Бѣдной собаченкѣ было всего недѣли три, глаза у ней прорѣзались недавно; одинъ глазъ даже казался немножко больше другого; она еще не умѣла пить изъ чашки и только дрожала и щурилась. Герасимъ взялъ ее легонько двумя пальцами за голову и принагнулъ ея мордочку къ молоку. Собачка вдругъ начала пить съ жадностью, фыркая, трясясь и захлебываясь. Герасимъ глядѣлъ, глядѣлъ, да какъ засмѣется вдругъ.... Всю ночь онъ возился съ ней, укладывалъ ее, обтиралъ и заснулъ наконецъ самъ возлѣ нея какимъ-то радостнымъ и тихимъ сномъ.

Ни одна мать такъ не ухаживаетъ за своимъ ребенкомъ, какъ ухаживалъ Герасимъ за своей питомицей. (Собака оказалась сучкой). Первое время она была очень слаба, тщедушна и собой некрасива, но понемногу справилась и выровнялась, а мѣсяцевъ черезъ восемь, благодаря неусыпнымъ попеченіямъ своего спасителя, превратилась въ очень ладную собачку испанской породы, съ длинными ушами, пушистымъ хвостомъ въ видѣ трубы и большими выразительными глазами. Она страстно привязалась къ Герасиму и не отставала отъ него ни на шагъ, все ходила за нимъ, повиливая хвостикомъ. Онъ и кличку ей далъ—нѣмые знаютъ, что мычанье ихъ обращаетъ на себя вниманіе другихъ — онъ назвалъ ее Муму. Всѣ люди въ домѣ ее полюбили и тоже кликали Мумуней. Она была чрезвычайно умна, ко всѣмъ ласкалась, но любила одного Герасима. Герасимъ самъ ее любилъ безъ памяти.... и ему было непріятно, когда другіе ее гладили: боялся онъ что ли за нее, ревновалъ ли онъ къ ней — Богъ вѣсть! Она его будила по утрамъ, дергая его за полу, приводила къ нему за поводъ ста-

рую водовозку, съ которой жила въ большой дружбѣ, съ важностью на лицѣ отправлялась вмѣстѣ съ нимъ на рѣку, караулила его метлы и лопаты, никого не подпускала къ его каморкѣ. Онъ нарочно для нея прорѣзалъ отверстіе въ своей двери, а она какъ-будто чувствовала, что только въ Герасимовой каморкѣ она была полная хозяйка, и потому, войдя въ нее, тотчасъ, съ довольнымъ видомъ вскакивала на кровать. Ночью она не спала вовсе, но не лаяла безъ разбору, какъ иная глупая дворняшка, которая, сидя на заднихъ лапахъ и поднявъ морду и зажмуривъ глаза, лаетъ просто отъ скуки, такъ, на звѣзды и обыкновенно три раза сряду — нѣтъ! тонкій голосокъ Муму никогда не раздавался даромъ: либо чужой близко подходитъ къ забору, либо гдѣ-нибудь поднимался подозрительный шумъ или шорохъ.... Словомъ, она сторожила отлично. Правда, былъ еще кромѣ ея на дворѣ старый песъ, желтаго цвѣта, съ бурыми крапинами, по имени Волчокъ, но того никогда, даже ночью, не спускали съ цѣпи, да и онъ самъ, по дряхлости своей, вовсе не требовалъ свободы — лежалъ себѣ свернувшись въ своей конурѣ и лишь изрѣдка издавалъ сиплый, почти беззвучный лай, который тотчасъ же прекращалъ, какъ бы самъ чувствуя всю его безполезность. Въ господскій домъ Муму не ходила и, когда Герасимъ носилъ въ комнаты дрова, всегда оставалась назади и нетерпѣливо его выжидала у крыльца, навостривъ уши и поворачивая голову то направо, то вдругъ налѣво, при малѣйшемъ стукѣ за дверями....

Такъ прошелъ еще годъ. Герасимъ продолжалъ свои дворническія занятія и очень былъ доволенъ своей судьбой, какъ вдругъ произошло одно неожиданное обстоятельство.... А именно: въ одинъ прекрасный лѣтній день, барыня съ своими приживалками расхаживала по гости-

ной. Она была въ духѣ, смѣялась и шутила; приживалки смѣялись и шутили тоже, но особенной радости онѣ не чувствовали: въ домѣ не очень-то любили, когда на барыню находилъ веселый часъ, потому что, во-первыхъ, она тогда требовала отъ всѣхъ немедленнаго и полнаго сочувствія и сердилась, если у кого-нибудь лицо не сіяло удовольствіемъ, а во-вторыхъ, эти вспышки у ней продолжались недолго и обыкновенно замѣнялись мрачнымъ и кислымъ расположеніемъ духа. Въ тотъ день она какъ-то счастливо встала; на картахъ ей вышло четыре валета: исполненіе желаній (она всегда гадала по утрамъ), — и чай ей показался особенно вкуснымъ, за что горничная получила на словахъ похвалу и деньгами тривенникъ. Съ сладкой улыбкой на сморщенныхъ губахъ гуляла барыня по гостиной и подошла къ окну. Передъ окномъ былъ разбитъ палисадникъ, и на самой средней клумбѣ, подъ розовымъ кусточкомъ, лежала Муму и тщательно грызла кость. Барыня увидала ее.

— Боже мой! воскликнула она вдругъ: — что это за собака?

Приживалка, къ которой обратилась барыня, заметалась, бѣдненькая, съ тѣмъ тоскливымъ безпокойствомъ, которое обыкновенно овладѣваетъ подвластнымъ человѣкомъ, когда онъ еще не знаетъ хорошенько, какъ ему понять восклицаніе начальника.

— Н.... н....е знаю-съ, пробормотала она:—кажется, нѣмого.

— Боже мой! прервала ее барыня:—да она премиленькая собачка! велите ее привести. Давно она у него? Какъже я это ея не видала до сихъ поръ?... Велите ее привести.

Приживалка тотчасъ порхнула въ переднюю.

— Человѣкъ, человѣкъ! закричала она:—приведите поскорѣй Муму! Она въ палисадникѣ.

— А ее Муму зовутъ, промолвила барыня: — очень хорошее имя.

— Ахъ, очень-съ! возразила приживалка. — Скорѣй, Степанъ!

Степанъ, дюжій парень, состоявшій въ должности лакея, бросился сломя голову въ палисадникъ и хотѣлъ-было схватить Муму, но та ловко вывернулась изъ-подъ его пальцевъ и, поднявъ хвостъ, пустилась во всѣ лопатки къ Герасиму, который въ то время у кухни выколачивалъ и вытряхивалъ бочку, перевертывая ее въ рукахъ какъ дѣтскій барабанъ. Степанъ побѣжалъ за ней вслѣдъ, началъ ловить ее у самыхъ ногъ ея хозяина; но проворная собачка не давалась чужому въ руки, прыгала и увертывалась. Герасимъ смотрѣлъ съ усмѣшкой на всю эту возню; наконецъ, Степанъ съ досадой приподнялся и поспѣшно растолковалъ ему знаками, что барыня, молъ, требуетъ твою собачку къ себѣ. Герасимъ немного изумился, однако подозвалъ Муму, поднялъ ее съ земли и передалъ Степану. Степанъ принесъ ее въ гостиную и поставилъ на паркетъ. Барыня начала ее ласковымъ голосомъ подзывать къ себѣ. Муму, отъ роду еще не бывавшая въ такихъ великолѣпныхъ покояхъ, очень испугалась и бросилась-было къ двери, но, оттолкнутая услужливымъ Степаномъ, задрожала и прижалась къ стѣнѣ.

— Муму, Муму, подойди же ко мнѣ, подойди къ барынѣ, говорила госпожа;—подойди, глупенькая.... не бойся....

— Подойди, подойди, Муму, къ барынѣ, твердили приживалки:—подойди.

лась кругомъ и не трогалась

поѣсть, сказала барыня.—
ге идетъ. Чего боится?
изнесла робкимъ и умиль-
алокъ.
молокомъ, поставилъ пе-
понюхала молока и все
.
ила барыня, подходя къ
ть ее, но Муму судо-
а зубы.—Барыня про-

Муму слабо визгнула,
барыня отошла и на-
ки ее испугало.
живалки: —не уку-
уму въ жизнь свою
ъ!
змѣнившимся голо-
акая она злая!
лась она въ свой
сь и пошли-было
о посмотрѣла на
васъ не зову», и

и на Степана;
корѣй за дверь,
лчаса въ домѣ
ая барыня си-
учи.
да разстроить

До самаго вечера барыня была не въ духѣ, ни съ кѣмъ не разговаривала, не играла въ карты и ночь дурно провела. Вздумала, что о-де-колонъ ей подали не тотъ, который обыкновенно подавали, что подушка у ней пахнетъ мыломъ, и заставила кастелянтшу все бѣлье перенюхать,— словомъ, волновалась и «горячилась» очень. На другое утро она велѣла позвать Гаврилу часомъ ранѣе обыкновеннаго.

— Скажи, пожалуйста, начала она, какъ только тотъ, не безъ нѣкотораго внутренняго лепетанія, переступилъ порогъ ея кабинета:—что́ это за собака у насъ на дворѣ всю ночь лаяла? мнѣ спать не дала!

— Собака-съ.... какая-съ.... можетъ быть, нѣмого собака-съ, произнесъ онъ не совсѣмъ твердымъ голосомъ.

— Не знаю, нѣмого ли, другого ли кого, только спать мнѣ не дала. Да я и удивляюсь, на что такая пропасть собакъ! Желаю знать. Вѣдь есть у насъ дворная собака?

— Какже-съ, есть-съ. Волчокъ-съ.

— Ну чего еще, на что́ намъ еще собака? Только одни безпорядки заводить. Старшаго нѣтъ въ домѣ—вотъ что́. И на что нѣмому собака? Кто ему позволилъ собакъ у меня на дворѣ держать? Вчера я подошла къ окну, а она въ палисадникѣ лежитъ, какую-то мерзость притащила, грызетъ,—а у меня тамъ розы посажены....

Барыня помолчала.

— Чтобъ ея сегодня же здѣсь не было.... слышишь?

— Слушаю-съ.

— Сегодня же. А теперь ступай. Къ докладу я тебя потомъ позову.

Гаврила вышелъ.

Проходя черезъ гостиную, дворецкій для порядка переставилъ колокольчикъ съ одного стола на другой, въ ти-

:алъ въ залѣ свой утиный носъ и вы-
›. Въ передней на коникѣ спалъ Сте-
ı убитаго воина на батальной картинѣ,
ь обнаженныя ноги изъ-подъ сюртука,
ѣсто одѣяла. Дворецкій растолкалъ его
ілъ ему какое-то приказаніе, на ко-
ѣчалъ полу-зѣвкомъ, полу-хохотомъ.
а Степанъ вскочилъ, натянулъ на
ги, вышелъ и остановился у крыльца.
нутъ, какъ появился Герасимъ съ
ровъ за спиной, въ сопровожденіи
Барыня свою спальню и кабинетъ
вать даже лѣтомъ). Герасимъ сталъ
толкнулъ ее плечомъ и ввалился
ей. Муму, по обыкновенію, оста-
Тогда Степанъ, улучивъ удобное
ісился на нее, какъ коршунъ на
ке грудью въ землѣ, сгребъ въ
же картуза, выбѣжалъ съ нею на
попавшагося извощика и поска-
Тамъ онъ скоро отыскалъ по-
ıилъ ее за полтинникъ, съ тѣмъ
:йней мѣрѣ недѣлю продержалъ
ъ вернулся; но не доѣзжая до
и, обойдя дворъ кругомъ, съ
заборъ перескочилъ на дворъ;
:я идти, какъ-бы не встрѣтить

:тво было напрасно: Герасима
Выйдя изъ дому, онъ тотчасъ
е помнилъ, чтобъ она когда-
возвращенія, сталъ повсюду
ю своему.... бросился въ свою

каморку, на сѣновалъ, выскочилъ на улицу,—туда-сюда.... Пропала! Онъ обратился къ людямъ, съ самыми отчаянными знаками спрашивалъ о ней, показывая на поларшина отъ земли, рисовалъ ее руками.... Иные точно не знали, куда дѣвалась Муму, и только головами качали, другіе знали и посмѣивались ему въ отвѣтъ, а дворецкій принялъ чрезвычайно важный видъ и началъ кричать на кучеровъ. Тогда Герасимъ побѣжалъ со двора долой.

Уже смеркалось, какъ онъ вернулся. По его истомленному виду, по невѣрной походкѣ, по запыленной одеждѣ его, можно было предполагать, что онъ успѣлъ обѣжать полъ-Москвы. Онъ остановился противъ барскихъ оконъ, окинулъ взоромъ крыльцо, на которомъ столпилось человѣкъ семь дворовыхъ, отвернулся и промычалъ еще разъ: «Муму!»—Муму не отозвалась. Онъ пошелъ прочь. Всѣ посмотрѣли ему вслѣдъ, но никто не улыбнулся, не сказалъ слова.... а любопытный форейторъ Антипка разсказывалъ на другое утро въ кухнѣ, что нѣмой-де всю ночь охалъ.

Весь слѣдующій день Герасимъ не показывался, такъ что вмѣсто его за водой долженъ былъ съѣздить кучеръ Потапъ, чѣмъ кучеръ Потапъ очень остался недоволенъ. Барыня спросила Гаврилу, исполнено ли ея приказаніе. Гаврила отвѣчалъ, что исполнено. На другое утро Герасимъ вышелъ изъ своей каморки на работу. Къ обѣду онъ пришелъ, поѣлъ и ушелъ опять, никому не поклонившись. Его лицо, и безъ того безжизненное, какъ у всѣхъ глухонѣмыхъ, теперь словно окаменѣло. Послѣ обѣда онъ опять уходилъ со двора, но не надолго, вернулся и тотчасъ отправился на сѣновалъ. Настала ночь, лунная, ясная. Тяжело вздыхая и безпрестанно поворачиваясь, лежалъ Герасимъ и вдругъ почувствовалъ, какъ-будто его дергаютъ за полу; онъ весь затрепеталъ, однако не поднялъ голо-

вы, даже зажмурился; но вотъ опять его дернули, сильнѣе прежняго; онъ вскочилъ.... передъ нимъ съ обрывкомъ на шеѣ, вертѣлась Муму. Протяжный крикъ радости вырвался изъ его безмолвной груди; онъ схватилъ Муму, стиснулъ ее въ своихъ объятьяхъ; она въ одно мгновенье облизала ему носъ, глаза, усы и бороду.... Онъ постоялъ, подумалъ, осторожно слѣзъ съ сѣнника, оглянулся и удостовѣрившись, что никто его не увидитъ, благополучно пробрался въ свою каморку. Герасимъ уже прежде догадался, что собака пропала не сама собой, что ее должно быть свели по приказанію барыни; люди-то ему объяснили знаками, какъ его Муму на нее окрысилась — и онъ рѣшился принять свои мѣры. Сперва онъ накормилъ Муму хлѣбушкомъ, обласкалъ ее, уложилъ, потомъ началъ соображать, да всю ночь напролетъ и соображалъ, какъ-бы получше ее спрятать. Наконецъ онъ придумалъ весь день оставлять ее въ каморкѣ и только изрѣдка къ ней навѣдываться, а ночью выводить. Отверстіе къ двери онъ плотно заткнулъ старымъ своимъ армякомъ и чуть-свѣтъ былъ уже на дворѣ, какъ ни въ чемъ не бывало, сохраняя даже (невинная хитрость!) прежнюю унылость на лицѣ. Бѣдному глухому въ голову не могло придти, что Муму себя визгомъ своимъ выдастъ: дѣйствительно, всѣ въ домѣ скоро узнали, что собака нѣмого воротилась и сидитъ у него взаперти, но, изъ сожалѣнія къ нему и къ ней, а отчасти, можетъ быть, и изъ страха передъ нимъ, не давали ему понять, что провѣдали его тайну. Дворецкій одинъ почесалъ у себя въ затылкѣ, да махнулъ рукой. «Ну, молъ, Богъ съ нимъ! Авось до барыни не дойдетъ!» За то никогда такъ нѣмой не усердствовалъ, какъ въ тотъ день: вычистилъ и выскребъ весь дворъ, выпололъ всѣ травки до единой, собственноручно повыдергалъ всѣ колышки въ заборѣ палисадника, чтобы удостовѣриться,

довольно ли они крѣпки, и самъ же ихъ потомъ вколотилъ,—словомъ, возился и хлопоталъ такъ, что даже барыня обратила вниманіе на его радѣніе. Въ теченіе дня Герасимъ раза два украдкой ходилъ къ своей затворницѣ; когда же наступила ночь, онъ легъ спать вмѣстѣ съ ней въ каморкѣ, а не на сѣновалѣ, и только во второмъ часу вышелъ погулять съ ней на чистомъ воздухѣ. Походивъ съ ней довольно долго по двору, онъ уже-было собирался вернуться, какъ вдругъ за заборомъ, со стороны переулка, раздался шорохъ. Муму навострила уши, зарычала, подошла къ забору, понюхала и залилась громкимъ и пронзительнымъ лаемъ. Какой-то пьяный человѣкъ вздумалъ тамъ угнѣздиться на ночь. Въ это самое время барыня только-что засыпала послѣ продолжительнаго «нервическаго волненія»: эти волненія у ней всегда случались послѣ слишкомъ сытнаго ужина. Внезапный лай ее разбудилъ: сердце у ней забилось и замерло. «Дѣвки, дѣвки! простонала она. — Дѣвки!» Перепуганныя дѣвки вскочили къ ней въ спальню. «Охъ, охъ, умираю!» проговорила она, тоскливо разводя руками.— «Опять, опять эта собака!... Охъ, пошлите за докторомъ. Они меня убить хотятъ.... Собака, опять собака! Охъ!» И она закинула голову назадъ, чтó должно было означать обморокъ. Бросились за докторомъ, т. е. за домашнимъ лекаремъ Харитономъ. Этотъ лекарь, котораго все искусство состояло въ томъ, что онъ носилъ сапоги съ мягкими подошвами, умѣлъ деликатно браться за пульсъ, спалъ четырнадцать часовъ въ сутки, а остальное время все вздыхалъ да безпрестанно подчивалъ барыню лавровишневыми каплями,—этотъ лекарь тотчасъ прибѣжалъ, покурилъ жеными перьями и, когда барыня открыла глаза, немедленно поднесъ ей на серебряномъ подносикѣ рюмку съ завѣтными каплями. Барыня приняла ихъ, но

ливымъ голосомъ стала опять жаловаться
аврилу, на свою участь, на то, что ее,
женщину, всѣ бросили, что никто о ней
то всѣ хотятъ ея смерти. Между тѣмъ
продолжала лаять, а Герасимъ напрасно
ь ее отъ забора. «Вотъ.... вотъ....
етала барыня и снова подкатила глаза
ь шепнулъ дѣвкѣ, та бросилась въ пе-
а Степана, тотъ побѣжалъ будить Гав-
ряча велѣлъ поднять весь домъ.
лся, увидалъ замелькавшіе огни и тѣни
явъ сердцемъ бѣду, схватилъ Муму
алъ въ каморку и заперся. Черезъ нѣ-
ять человѣкъ ломились въ его дверь,
сопротивленіе засова, остановились.
въ страшныхъ попыхахъ, приказалъ
ся тутъ до утра и караулить, а самъ
дѣвичью и черезъ старшую компань-
овну, съ которой вмѣстѣ кралъ и
ъ и прочую бакалею, велѣлъ доло-
бака, къ несчастью, опять откуда-то
автра же ея въ живыхъ не будетъ,
ала милость не гнѣвалась и успо-
оятно, не такъ-то бы скоро успо-
торопяхъ, вмѣсто двѣнадцати ка-
сорокъ: сила лавро-вишенья и по-
тверть часа барыня уже почивала
расимъ лежалъ, весь блѣдный, на
сжималъ пасть Муму.
барыня проснулась довольно позд-
я пробужденія, для того, чтобы
льному натиску на Герасимово
лся выдержать сильную грозу.

Но грозы не приключилось. Лежа въ постели, барыня велѣла позвать къ себѣ старшую приживалку.

— Любовь Любимовна, начала она тихимъ и слабымъ голосомъ; она иногда любила прикинуться загнанной и сиротливой страдалицей; нечего и говорить, что всѣмъ людямъ въ домѣ становилось тогда очень неловко:—Любовь Любимовна, вы видите, каково мое положеніе; подите, душа моя, къ Гаврилѣ Андреичу, поговорите съ нимъ: неужели для него какая-нибудь собачонка дороже спокойствія, самой жизни его барыни? Я бы не желала этому вѣрить, прибавила она, съ выраженіемъ глубокаго чувства:—подите, душа моя, будьте такъ добры, подите къ Гаврилѣ Андреичу.

Любовь Любимовна отправилась въ Гаврилину комнату. Неизвѣстно о чемъ происходилъ у нихъ разговоръ; но спустя нѣкоторое время цѣлая толпа людей подвигалась черезъ дворъ въ направленіи каморки Герасима: впереди выступалъ Гаврила, придерживая рукою картузъ, хотя вѣтру не было; около него шли лакеи и повара; изъ окна глядѣлъ дядя Хвостъ и распоряжался, т.-е. только такъ руками разводилъ; позади всѣхъ прыгали и кривлялись мальчишки, изъ которыхъ половина набѣжала чужихъ. На узкой лѣстницѣ, ведущей къ каморкѣ, сидѣлъ одинъ караульщикъ; у двери стояло два другихъ, съ палками. Стали взбираться по лѣстницѣ, заняли ее во всю длину. Гаврила подошелъ къ двери, стукнулъ въ нее кулакомъ, крикнулъ:

— Отвори!

Послышался сдавленный лай; но отвѣта не было.

— Говорятъ, отвори! повторилъ онъ.

— Да, Гаврила Андреичъ, замѣтилъ снизу Степанъ:— вѣдь онъ глухой—не слышитъ.

Всѣ засмѣялись.

— Какъ же быть? возразилъ сверху Гаврила.

— А у него тамъ дыра въ двери, отвѣчалъ Степанъ:— такъ вы палкой-то пошевелите.

Гаврила нагнулся.

— Онъ ее армякомъ какимъ-то заткнулъ, дыру-то.

— А вы армякъ пропихните внутрь.

Тутъ опять раздался глухой лай.

— Вишь, вишь, сама сказывается, замѣтили въ толпѣ и опять разсмѣялись.

Гаврила почесалъ у себя за ухомъ.

— Нѣтъ, братъ, продолжалъ онъ наконецъ:—армякъ-то ты пропихивай самъ, коли хочешь.

— А что́-жъ, извольте!

И Степанъ вскарабкался наверхъ, взялъ палку, просунулъ внутрь армякъ и началъ болтать въ отверстіи палкой, приговаривая: «выходи, выходи!» Онъ еще болталъ палкой какъ вдругъ дверь каморки быстро распахнулась—вся челядь тотчасъ кубаремъ скатилась съ лѣстницы, Гаврила прежде всѣхъ. Дядя Хвостъ заперъ окно.

— Ну, ну, ну, ну, кричалъ Гаврила со двора:—смотри у меня, смотри!

Герасимъ неподвижно стоялъ на порогѣ. Толпа собралась у подножія лѣстницы. Герасимъ глядѣлъ на всѣхъ этихъ людишекъ въ нѣмецкихъ кафтанахъ съ верху, слегка уперши руки въ бока; въ своей красной, крестьянской рубашкѣ, онъ казался какимъ-то великаномъ передъ ними. Гаврила сдѣлалъ шагъ впередъ.

— Смотри, братъ, промолвилъ онъ:—у меня не озорничай.

И онъ началъ ему объяснять знаками, что барыня, молъ, непремѣнно требуетъ твоей собаки: подавай, молъ, ее сейчасъ, а то бѣда тебѣ будетъ.

Герасимъ посмотрѣлъ на него, указалъ на собаку,

сдѣлалъ знакъ рукою у своей шеи, какъ бы затягивая петлю, и съ вопросительнымъ лицомъ взглянулъ на дворецкаго.

— Да, да, возразилъ тотъ, кивая головой: — да, непремѣнно.

Герасимъ опустилъ глаза, потомъ вдругъ встряхнулся, опять указалъ на Муму, которая все время стояла возлѣ него, невинно помахивая хвостомъ и съ любопытствомъ поводя ушами, повторилъ знакъ удушенія надъ своей шеей и значительно ударилъ себя въ грудь, какъ бы объявляя, что онъ самъ беретъ на себя уничтожить Муму.

— Да ты обманешь, замахалъ ему въ отвѣтъ Гаврила.

Герасимъ поглядѣлъ на него, презрительно усмѣхнулся, опять ударилъ себя въ грудь и захлопнулъ дверь.

Всѣ молча переглянулись.

— Что́-жъ это такое значитъ? началъ Гаврила.— Онъ заперся?

— Оставьте его, Гаврила Андреичъ, промолвилъ Степанъ:—онъ сдѣлаетъ, коли обѣщалъ. Ужъ онъ такой.... Ужъ коли онъ обѣщаетъ, это навѣрное. Онъ на это не то, что нашъ братъ. Что́ правда, то правда. Да.

— Да, повторили всѣ и тряхнули головами. — Это такъ. Да.

Дядя Хвостъ отворилъ окно и тоже сказалъ: «да».

— Ну, пожалуй, посмотримъ, возразилъ Гаврила: — а караулъ все-таки не снимать. Эй ты, Ерошка! прибавилъ онъ, обращаясь къ какому-то бѣдному человѣку, въ желтомъ нанковомъ казакинѣ, который считался садовникомъ; — что̀ тебѣ дѣлать! возьми палку да сиди тутъ, и чуть что́, тотчасъ ко мнѣ бѣги!

Ерошка взялъ палку и сѣлъ на послѣднюю ступеньку лѣстницы. Толпа разошлась, исключая немногихъ любо-

пытныхъ и мальчишекъ, а Гаврила вернулся домой и черезъ Любовь Любимовну велѣлъ доложить барынѣ, что все исполнено, а самъ на всякій случай послалъ форейтора къ хожалому. Барыня завязала въ носовомъ платкѣ узелокъ, налила на него о-де-колону, понюхала, потерла себѣ виски, накушалась чаю и, будучи еще подъ вліяніемъ лавровишневыхъ капель, заснула опять.

Спустя часъ послѣ всей этой тревоги, дверь каморки растворилась и показался Герасимъ. На немъ былъ праздничный кафтанъ; онъ велъ Муму на веревочкѣ. Ерошка посторонился и далъ ему пройти. Герасимъ направился къ воротамъ. Всѣ бывшіе на дворѣ мальчишки проводили его глазами, молча. Онъ даже не обернулся; шапку надѣлъ только на улицѣ. Гаврила послалъ вслѣдъ за нимъ того же Ерошку въ качествѣ наблюдателя. Ерошка, увидавъ издали, что онъ вошелъ въ трактиръ вмѣстѣ съ собакой, сталъ дожидаться его выхода.

Въ трактирѣ знали Герасима и понимали его знаки. Онъ спросилъ себѣ щей съ мясомъ и сѣлъ, опершись руками на столъ. Муму стояла подлѣ его стула, спокойно поглядывая на него своими умными глазками. Шерсть на ней такъ и лоснилась: видно была, что ее недавно вычесали. Принесли Герасиму щей. Онъ накрошилъ туда хлѣба, мелко изрубилъ мясо и поставилъ тарелку на полъ. Муму принялась ѣсть съ обычной своей вѣжливостью, едва прикасаясь мордочкой до кушанья. Герасимъ долго глядѣлъ на нее; двѣ тяжёлыя слезы выкатились вдругъ изъ его глазъ: одна упала на крутой лобикъ собачки, другая—во щи. Онъ заслонилъ лицо своей рукой. Муму съѣла полтарелки и отошла, облизываясь. Герасимъ всталъ, заплатилъ за щи и вышелъ вонъ, сопровождаемый нѣсколько недоумѣвающимъ взглядомъ полового. Ерошка, увидавъ Герасима, вскочилъ за уголъ

и пропустивъ его мимо, опять отправился въ слѣдъ за нимъ.

Герасимъ шелъ не торопясь и не спускалъ Муму съ веревочки. Дойдя до угла улицы, онъ остановился, какъ-бы въ раздумьѣ, и вдругъ быстрыми шагами отправился прямо къ Крымскому-Броду. На дорогѣ онъ зашелъ на дворъ дома, къ которому пристраивался флигель, и вынесъ оттуда два кирпича подъ мышкой. Отъ Крымскаго-Брода онъ повернулъ по берегу, дошелъ до одного мѣста, гдѣ стояли двѣ лодочки съ веслами, привязанными къ колышкамъ (онъ уже замѣтилъ ихъ прежде), и вскочилъ въ одну изъ нихъ, вмѣстѣ съ Муму. Хромой старичишко вышелъ изъ-за шалаша, поставленнаго въ углу огорода, и закричалъ на него. Но Герасимъ только закивалъ головой и такъ сильно принялся грести, хотя и противъ теченья рѣки, что въ одно мгновенье умчался саженей на сто. Старикъ постоялъ, постоялъ, почесалъ себѣ спину сперва лѣвой, потомъ правой рукой и вернулся, хромая, въ шалашъ.

А Герасимъ все гребъ да гребъ. Вотъ уже Москва осталась назади. Вотъ уже потянулись по берегамъ луга, огороды, поля, рощи, показались избы. Повѣяло деревней. Онъ бросилъ весла, приникъ головой къ Муму, которая сидѣла передъ нимъ на сухой перекладинкѣ — дно было залито водой — и остался неподвижнымъ, скрестивъ могучія руки у ней на спинѣ, между тѣмъ какъ лодку волной помаленьку относило назадъ къ городу. Наконецъ Герасимъ выпрямился, поспѣшно, съ какимъ-то болѣзненнымъ озлобленіемъ на лицѣ, окуталъ веревкой взятые имъ кирпичи, придѣлалъ петю, надѣлъ ее на шею Муму, поднялъ ее надъ рѣкой, въ послѣдній разъ посмотрѣлъ на нее.... Она довѣрчиво и безъ страха поглядывала на него и слегка махала хвостикомъ. Онъ

отвернулся, зажмурился и разжалъ руки.... Герасимъ ничего не слыхалъ, ни быстраго визга падающей Муму, ни тяжкаго всплеска воды; для него самый шумный день былъ безмолвенъ и беззвученъ, какъ ни одна самая тихая ночь не беззвучна для насъ, и когда онъ снова раскрылъ глаза, по прежнему спѣшили по рѣкѣ, какъ-бы гоняясь другъ за дружкой, маленькія волны, по прежнему поплескивали онѣ о бока лодки, и только далеко назади къ берегу разбѣгались какіе-то широкіе круги.

Ерошка, какъ только Герасимъ скрылся у него изъ виду, вернулся домой и донесъ, что́ видѣлъ.

— Ну, да, замѣтилъ Степанъ:—онъ ее утопитъ. Ужъ можно быть спокойнымъ. Коли онъ что́ обѣщалъ....

Въ теченіе дня никто не видалъ Герасима. Онъ дома не обѣдалъ. Насталъ вечеръ; собрались къ ужину всѣ, кромѣ его.

— Экой чудной этотъ Герасимъ! пропищала толстая прачка:—можно ли этакъ изъ-за собаки проклажаться!... Право!

— Да Герасимъ былъ здѣсь, воскликнулъ вдругъ Степанъ, загребая себѣ ложкой каши.

— Какъ? когда?

— Да вотъ часа два тому назадъ. Какъ же. Я съ нимъ въ воротахъ повстрѣчался; онъ ужъ опять отсюда шелъ, со двора выходилъ. Я-было хотѣлъ спросить его насчетъ собаки-то, да онъ, видно, не въ духѣ былъ. Ну и толкнулъ меня; должно быть, онъ такъ только отсторонить меня хотѣлъ: дескать, не приставай,—да такого необыкновеннаго леща мнѣ въ становую жилу поднесъ, важно такъ, что ой-ой-ой!—И Степанъ съ невольной усмѣшкой пожался и потеръ себѣ затылокъ.—Да, прибавилъ онъ:—рука у него, благодатная рука, нечего сказать.

Всѣ посмѣялись надъ Степаномъ и, послѣ ужина, разошлись спать.

А, между тѣмъ, въ ту самую пору, по Т....у шоссе, усердно и безостановочно шагалъ какой-то великанъ, съ мѣшкомъ за плечами и съ длинной палкой въ рукахъ. Это былъ Герасимъ. Онъ спѣшилъ безъ оглядки, спѣшилъ домой, къ себѣ въ деревню, на родину. Утопивъ бѣдную Муму, онъ прибѣжалъ въ свою коморку, проворно уложилъ кой-какіе пожитки въ старую попону, связалъ ее узломъ, взвалилъ на плечо, да и былъ таковъ. Дорогу онъ хорошо замѣтилъ еще тогда, когда его везли въ Москву; деревня, изъ которой барыня его взяла, лежала всего въ двадцати-пяти верстахъ отъ шоссе. Онъ шелъ по немъ съ какой-то несокрушимой отвагой, съ отчаянной и вмѣстѣ радостной рѣшимостью. Онъ шелъ; широко распахнулась его грудь; глаза жадно и прямо устремились впередъ. Онъ торопился, какъ-будто мать-старушка ждала его на родинѣ, какъ-будто она звала его къ себѣ послѣ долгаго странствованія на чужой сторонѣ, въ чужихъ людяхъ.... Только-что наступившая лѣтняя ночь была тиха и тепла; съ одной стороны, тамъ, гдѣ солнце закатилось, край неба еще бѣлѣлъ и слабо румянился послѣднимъ отблескомъ исчезавшаго дня,—съ другой стороны уже вздымался синій, сѣдой сумракъ. Ночь шла оттуда. Перепела сотнями гремѣли кругомъ, въ запуски перекликивались коростели.... Герасимъ не могъ ихъ слышать, не могъ онъ слышать также чуткаго ночного шушуканья деревьевъ, мимо которыхъ его проносили сильныя его ноги, но онъ чувствовалъ знакомый запахъ поспѣвающей ржи, которымъ такъ и вѣяло съ темныхъ полей, чувствовалъ, какъ вѣтеръ, летѣвшій къ нему на встрѣчу—вѣтеръ съ родины—ласково ударялъ въ его лицо, игралъ въ его волосахъ и бородѣ; видѣлъ передъ

собой бѣлѣющую дорогу, — дорогу домой, прямую какъ стрѣла; видѣлъ въ небѣ несчетныя звѣзды, свѣтившія его путь, и какъ левъ выступалъ сильно и бодро, такъ что когда восходящее солнце озарило своими влажнокрасными лучами только-что расходившагося молодца, между Москвой и имъ легло уже тридцать-пять верстъ....

Черезъ два дня онъ уже былъ дома, въ своей избенкѣ, къ великому изумленію солдатки, которую туда поселили. Помолясь передъ образами, тотчасъ же отправился онъ къ старостѣ. Староста сначала-было удивился; но сѣнокосъ только-что начинался: Герасиму, какъ отличному работнику, тутъ же дали косу въ руки,—и пошелъ косить онъ по старинному, косить такъ, что мужиковъ только пробирало, глядя на его размахи да загребы....

А въ Москвѣ, на другой день послѣ побѣга Герасима, хватились его. Пошли въ его каморку, обшарили ее, сказали Гаврилѣ. Тотъ пришелъ, посмотрѣлъ, пожалъ плечами и рѣшилъ, что нѣмой либо бѣжалъ, либо утопъ вмѣстѣ съ своей глупой собакой. Дали знать полиціи, доложили барынѣ. Барыня разгнѣвалась, расплакалась, велѣла отыскать его, во что́ бы то ни стало, увѣряла, что она никогда не приказывала уничтожить собаку, и наконецъ такой дала нагоняй Гаврилѣ, что тотъ цѣлый день только потряхивалъ головой да приговаривалъ: «Ну!» пока дядя Хвостъ его не урезонилъ, сказавъ ему: «Ну-у!» Наконецъ пришло извѣстіе изъ деревни о прибытіи туда Герасима. Барыня нѣсколько успокоилась; сперва-было отдала приказаніе немедленно выгребовать его назадъ въ Москву, потомъ, однако объявила, что такой неблагодарный человѣкъ ей вовсе не нуженъ. Впрочемъ, она скоро сама послѣ того умерла; а наслѣдникамъ ея было не до Герасима: они и остальныхъ-то матушкиныхъ людей распустили по оброку.

И живетъ до сихъ поръ Герасимъ бобылемъ въ своей одинокой избѣ; здоровъ и могучъ по прежнему и работаетъ за четырехъ попрежнему и по прежнему важенъ и степененъ. Но сосѣди замѣтили, что, со времени своего возвращенія изъ Москвы, онъ совсѣмъ пересталъ водиться съ женщинами, даже не глядитъ на нихъ, и ни одной собаки у себя не держитъ. «Впрочемъ—толкуютъ мужики—его же счастье, что ему не надобеть бабья; а собака — на чтó ему собака! къ нему на дворъ вора óселомъ не затащишь!» Такова ходитъ молва о богатырской силѣ нѣмого.

1852 г.

ПОСТОЯЛЫЙ ДВОРЪ.

На большой Б....й дорогѣ, въ одинаковомъ почти разстояніи отъ двухъ уѣздныхъ городовъ, чрезъ которые она проходитъ, еще недавно стоялъ обширный постоялый дворъ, очень хорошо извѣстный троечнымъ извощикамъ, обознымъ мужикамъ, купеческимъ прикащикамъ, мѣщанамъ-торговцамъ и вообще всѣмъ многочисленнымъ и разнороднымъ проѣзжимъ, которые во всякое время года накатываютъ наши дороги. Бывало, всѣ заворачивали на тотъ дворъ; развѣ только какая-нибудь помѣщичья карета, запряженная шестерикомъ доморощенныхъ лошадей, торжественно проплывала мимо, чтó не мѣшало однако ни кучеру, ни лакею на запяткахъ съ какимъ-то особеннымъ чувствомъ и вниманіемъ посмотрѣть на слишкомъ имъ знакомое крылечко; или какой-нибудь голякъ въ дрянной телѣжкѣ и съ тремя пятаками въ мошнѣ за пазухой, поровнявшись съ богатымъ дворомъ, понукалъ свою усталую лошаденку, поспѣшая на ночлегъ въ лежавшіе подъ большакомъ выселки, къ мужичку хозяину, у котораго, кромѣ сѣна и хлѣба, не найдешь ничего, да за то лишней копѣйки не заплатишь. Кромѣ своего выгоднаго мѣстоположенія, постоялый дворъ, о которомъ мы начали рѣчь, бралъ многимъ: отличной водой въ двухъ глубокихъ колодцахъ со скрипучими колесами и желѣзными бадьями на цѣпяхъ; просторнымъ дворомъ съ сплошными те-

совыми навѣсами на толстыхъ столбахъ; обильнымъ запасомъ хорошаго овса въ подвалѣ; теплой избой съ огромнѣйшей русской печью, въ которой на подобіе богатырскихъ плечей прилегали длинные борова, и наконецъ двумя довольно чистыми комнатками, съ краснолиловыми, снизу нѣсколько оборванными бумажками на стѣнахъ, деревяннымъ крашеннымъ диваномъ, такими же стульями и двумя горшками гераніума на окнахъ, которые, впрочемъ, никогда не обтирались и тускнѣли многолѣтней пылью. Другія еще удобства представлялъ этотъ постоялый дворъ: — кузница была отъ него близко, тутъ же почти находилась мельница; наконецъ и поѣсть въ немъ можно было хорошо, по милости толстой и румяной бабы стряпухи, которая кушанья варила вкусно и жирно и не скупилась на припасы; до ближайшаго кабака считалось всего съ полверсты; хозяинъ держалъ табакъ нюхательный, хотя и смѣшанный съ золой, однако чрезвычайно забористый и пріятно разъѣдающій носъ—словомъ, много было причинъ, почему въ томъ дворѣ не переводились всякого рода постояльцы. Полюбился онъ проѣзжимъ—вотъ главное; безъ этого, извѣстно, никакое дѣло въ ходъ не пойдетъ; а полюбился онъ болѣе потому, какъ толковали въ околоткѣ, что самъ хозяинъ былъ очень счастливъ и во всѣхъ своихъ предпріятіяхъ удачливъ, хоть онъ и мало заслуживалъ свое счастье, да видно, кому повезетъ—такъ ужъ повезетъ.

Хозяинъ этотъ былъ мѣщанинъ, звали его Наумомъ Ивановымъ. Роста онъ былъ средняго, толстъ, сутуловатъ и плечистъ; голову имѣлъ большую, круглую, волосы волнистые и уже сѣдые, хотя ему на видъ не было болѣе сорока лѣтъ; лицо полное и свѣжее, низкій, но бѣлый и ровный лобъ и маленькіе, свѣтлые, голубые глаза, которыми онъ очень странно глядѣлъ:—изъ-подлобья и въ

то же время нагло, что́ довольно рѣдко встрѣчается. Голову онъ всегда держалъ понуро и съ трудомъ ее поворачивалъ, можетъ быть оттого, что шея у него была очень коротка; ходилъ бѣгло и не взмахивалъ, а разводилъ на ходу сжатыми руками. Когда онъ улыбался, а улыбался онъ часто, но безъ смѣха, словно про себя, его крупныя губы непріятно раздвигались и выказывали рядъ сплошныхъ и блестящихъ зубовъ. Говорилъ онъ отрывисто и съ какимъ-то угрюмымъ звукомъ въ голосѣ. Бороду онъ брилъ, но не ходилъ по-нѣмецки. Одежда его состояла изъ длиннаго, весьма поношеннаго кафтана, широкихъ шароваръ и башмаковъ на босу ногу. Онъ часто отлучался изъ дому по своимъ дѣламъ, а у него ихъ было много—онъ барышничалъ лошадьми, нанималъ землю, держалъ огороды, скупалъ сады и вообще занимался разными торговыми оборотами — но отлучки его никогда долго не продолжались; какъ коршунъ, съ которымъ онъ особенно, по выраженію глазъ своихъ, имѣлъ много сходнаго, возвращался онъ въ свое гнѣздо. Онъ умѣлъ держать это гнѣздо въ порядкѣ; всюду поспѣвалъ, все выслушивалъ и приказывалъ, выдавалъ, отпускалъ и разсчитывался самъ, и никому не спускалъ ни копѣйки, однако и лишняго не бралъ.

Постояльцы съ нимъ не заговаривали, да и онъ самъ не любилъ тратить по-пусту слова. «Мнѣ ваши деньги нужны, а вамъ моя харчь», толковалъ онъ, словно отрывая каждое слово: «не дѣтей намъ съ вами крестить; проѣзжій поѣлъ, покормилъ, не засиживайся. А усталъ, такъ спи, не болтай». Работниковъ держалъ онъ рослыхъ и здоровыхъ, но смирныхъ и повадливыхъ; они его очень боялись. Онъ въ ротъ не бралъ хмѣльнаго, а имъ выдавалъ въ великіе праздники по гривеннику на водку; въ другіе дни они не смѣли пить. Люди, подобные Науму,

скоро богатѣютъ.... но до блестящаго положенія, въ которомъ онъ находился,—а его считали въ сорока или пятидесяти тысячахъ—Наумъ Ивановъ дошелъ не прямымъ путемъ....

Лѣтъ за двадцать до того времени, къ которому мы отнесли начало нашего разсказа, уже существовалъ на томъ же мѣстѣ большой дороги постоялый дворъ. Правда, на немъ не было темно-красной тесовой крыши, которая придавала дому Наума Иванова видъ дворянской усадьбы; и строеніемъ былъ онъ побѣднѣй, и на дворѣ навѣсы имѣлъ соломенные, а вмѣсто бревенчатыхъ стѣнъ, плетеныя; не отличался онъ также трехъ-угольнымъ греческимъ фронтономъ на точеныхъ столбикахъ, но все же онъ былъ постоялый дворъ хоть куда—помѣстительный, прочный, теплый—и проѣзжіе охотно его посѣщали. Хозяинъ его въ то время былъ не Наумъ Ивановъ, а нѣкто Акимъ Семеновъ, крестьянинъ сосѣдней помѣщицы, Лизаветы Прохоровны Кунце—штабъ-офицерши. Этотъ Акимъ былъ смышленый и торговый мужикъ, который въ молодыхъ еще лѣтахъ, отправившись въ извозъ съ двумя плохими лошадками, воротился черезъ годъ съ тремя порядочными, да съ тѣхъ поръ почти всю жизнь пространствовалъ по большимъ дорогамъ, ходилъ въ Казань и Одессу, въ Оренбургъ и въ Варшаву и за-границу въ «Липецкъ» *), и ходилъ ужъ подъ конецъ съ двумя тройками крупныхъ и сильныхъ жеребцовъ, запряженныхъ въ двѣ громадныя телѣги. Надоѣло ему, что ли, его бездомовное скитальческое житье, захотѣлось ли ему завестись семействомъ (въ одну изъ его отлучекъ умерла у него жена; дѣти, которые были, тоже померли), только онъ

*) Въ Лейпцигъ

рѣшился наконецъ бросить свое прежнее ремесло и завести постоялый дворъ. Съ позволенія своей барыни, основался онъ на большой дорогѣ, купилъ на ея имя полдесятины земли и построилъ на ней постоялый дворъ. Дѣло пошло на ладъ. Денегъ у него на обзаведеніе было слишкомъ довольно; опытность, пріобрѣтенная имъ въ теченіе долговременныхъ странствованій по всѣмъ концамъ Россіи, послужила ему въ великую пользу; онъ зналъ, чѣмъ угодить проѣзжимъ, особенно прежней своей братьѣ, троечнымъ извощикамъ, изъ которыхъ со многими онъ былъ знакомъ лично, и которыми особенно дорожатъ содержатели постоялыхъ дворовъ: такъ много ѣдятъ и потребляютъ эти люди на себя и на своихъ могучихъ лошадей. Акимовъ дворъ сталъ извѣстенъ на сотни верстъ вокругъ.... Къ нему даже охотнѣе заѣзжали, чѣмъ къ смѣнившему его впослѣдствіи Науму, хотя Акимъ далеко не могъ сравняться съ Наумомъ въ умѣньи хозяйничать. У Акима все было больше на старинную ногу, тепло, но не совсѣмъ чисто; и овесъ у него попадался легкій или подмоченный, кушанье то же варилось съ грѣхомъ пополамъ; у него иногда и такую снѣдь подавали на столъ, что лучше бы ей совсѣмъ въ печи оставаться, и не то, чтобъ онъ на харчи скупился, а такъ—баба не досмотритъ. За то онъ и съ цѣны готовъ былъ сбавить, и въ долгъ, пожалуй, не отказывался повѣрить, словомъ—хорошій былъ человѣкъ, ласковый хозяинъ. На разговоры, на угощенье онъ тоже былъ податливъ; за самоваромъ иной часъ такъ разболтается, что уши развѣсишь, особенно какъ станетъ разсказывать про Питеръ, про степи черкасскія, или вотъ еще про заморскую страну; ну и выпить, разумѣется, съ хорошимъ человѣкомъ любилъ, только не до безобразія, а больше для общества—такъ о немъ отзывались проѣзжіе. Весьма

благоволили къ нему купцы и вообще всѣ тѣ люди, которыхъ называютъ старозавѣтными, тѣ люди, которые не подпоясавшись въ дорогу не поѣдутъ и въ комнату не войдутъ не перекрестившись, и не заговорятъ съ человѣкомъ, не поздоровавшись съ нимъ напередъ. Уже одна наружность Акима располагала въ его пользу: онъ былъ роста высокаго; нѣсколько худъ, но очень строенъ, даже въ зрѣлыхъ лѣтахъ; лицо имѣлъ длинное, благообразное и правильное, высокій и открытый лобъ, носъ прямой и тонкій, и небольшія губы. Взглядъ его карихъ на выкатѣ глазъ такъ и сіялъ привѣтливой кротостью, жидкіе и мягкіе волосы завивались въ кольца около шеи: на макушкѣ оставалось ихъ немного. Звукъ Акимова голоса былъ очень пріятенъ, хотя слабъ; въ молодости онъ отлично пѣвалъ, но продолжительныя путешествія на открытомъ воздухѣ, зимой, разстроили его грудь. За то говорилъ онъ очень плавно и сладко. Когда онъ смѣялся, у него около глазъ располагались лучеобразныя морщинки, чрезвычайно милыя на видъ: — только у добрыхъ людей можно замѣтить такія морщинки. Движенья Акима были большею частью медленны и не лишены нѣкоторой увѣренности и важной учтивости, какъ у человѣка бывалаго и много видѣвшаго на своемъ вѣку.

Точно, всѣмъ бы хорошъ былъ Акимъ, или какъ его называли даже въ барскомъ домѣ, куда онъ хаживалъ часто и уже непремѣнно по воскресеньямъ, послѣ обѣдни—Акимъ Семеновичъ,—всѣмъ бы былъ онъ хорошъ, кабы не водилась за нимъ одна слабость, которая уже многихъ людей на землѣ погубила, а подъ конецъ сгубила и его самого—слабость къ женскому полу. Влюбчивость Акима доходила до крайности; сердце его никакъ не умѣло противиться женскому взгляду, онъ таялъ отъ него, какъ первый осенній снѣгъ отъ солнца.... и по-

рядочно уже пришлось ему поплатиться за свою излишнюю чувствительность.

Въ теченіе перваго года послѣ поселенья своего на большой дорогѣ, Акимъ такъ былъ занятъ постройкой двора, обзаведеніемъ хозяйства, и всѣми хлопотами, которыя неразлучны съ каждымъ новосельемъ, что ему рѣшительно некогда было думать о женщинахъ, а если и приходили ему на умъ какія-нибудь грѣшныя мысли, такъ онъ ихъ тотчасъ прогонялъ чтеніемъ разныхъ священныхъ книгъ, къ которымъ питалъ великое уваженіе (грамотѣ онъ выучился еще съ первой своей поѣздки), пѣніемъ вполголоса псалмовъ, или другимъ какимъ богобоязненнымъ занятіемъ. — Притомъ же ему уже пошелъ тогда 46-й годъ—а въ эти лѣта всякія страсти замѣтно утихаютъ и стынутъ, и для женитьбы прошла пора. Акимъ самъ начиналъ думать, что съ него эта блажь, какъ онъ выражался, соскочила.... да видно своей судьбы не минуешь.

Бывшая Акимова помѣщица, Лизавета Прохоровна Кунце — штабъ-офицерша, оставшаяся вдовой послѣ супруга нѣмецкаго происхожденія, была сама урожденка города Митавы, гдѣ она провела первые годы своего дѣтства, и гдѣ у ней оставалось очень многочисленное и бѣдное семейство, о которомъ она, впрочемъ, заботилась мало, особенно съ тѣхъ поръ, какъ одинъ изъ ея братьевъ, армейскій пѣхотный офицеръ, нечаянно заѣхалъ къ ней въ домъ и на второй же день до того разбуянился, что чуть не прибилъ самой хозяйки, назвавъ ее притомъ: du, Lumpenmamsell! между тѣмъ, какъ наканунѣ самъ величалъ ее ломанымъ русскимъ языкомъ: «сестрица и благодѣтель». Лизавета Прохоровна почти безвыѣздно жила въ своемъ хорошенькомъ, трудами супруга, бывшаго архитектора, благопріобрѣтенномъ имѣньи;

сама имъ управляла и очень недурно управляла. Лизавета Прохоровна не упускала ни малѣйшей своей выгоды, изъ всего извлекала пользу для себя; и въ этомъ, да еще въ необыкновенномъ умѣньи тратить вмѣсто гроша копѣйку, сказалась ея нѣмецкая природа; во всемъ другомъ она очень обрусѣла. Дворни у ней водилось значительное количество; особенно держала она много дѣвокъ, которыя, впрочемъ, ѣли хлѣбъ не даромъ: съ утра до вечера спины ихъ не разгибались надъ работой. Она любила выѣзжать въ каретѣ, съ ливрейными лакеями на запяткахъ: любила, чтобъ ей сплетничали и наушничали, и сама отлично сплетничала; любила взыскать человѣка своей милостью и вдругъ поразить его опалой — словомъ, Лизавета Прохоровна вела себя ужъ точно какъ барыня. — Акима она жаловала — оброкъ весьма значительный онъ платилъ ей исправно — милостиво съ нимъ заговаривала, и даже, шутя, приглашала его къ себѣ въ гости.... но именно въ господскомъ домѣ ожидала Акима бѣда.

Въ числѣ горничныхъ Лизаветы Прохоровны находилась одна дѣвушка лѣтъ двадцати, сирота, по имени Дуняша. Она была недурна собой, стройна и ловка; черты ея, хотя неправильныя, могли понравиться: свѣжій цвѣтъ кожи, густые бѣлокурые волосы, живые сѣрые глазки, маленькій круглый носъ, румяныя губы и особенное какое-то развязное, полунасмѣшливое, полувызывающее выраженіе лица — все это было довольно мило въ своемъ родѣ. Притомъ она, несмотря на свое сиротство, держала себя строго, почти надменно: она происходила отъ столбовыхъ дворовыхъ; ея покойный отецъ, Арефій, лѣтъ тридцать былъ ключникомъ, а дѣдъ, Степанъ, служилъ камердинеромъ у одного давно умершаго барина, гвардіи-сержанта и князя. Одѣвалась она опрятно и щеголяла

своими руками, которыя дѣйствительно были чрезвычайно красивы. Дуняша показывала большое пренебреженіе ко всѣмъ своимъ поклонникамъ, съ самоувѣренной улыбочкой выслушивала ихъ любезности, и если и отвѣчала имъ, то бо́льшей частью одними восклицаніями, въ родѣ: «да! какже! стану я! вотъ еще!...» Эти восклицанія у ней почти не сходили съ языка, Дуняша провела около трехъ лѣтъ въ Москвѣ въ ученьи, гдѣ она пріобрѣла тѣ особеннаго рода ужимки и замашки, которыми отличаются горничныя, побывавшія въ столицахъ: О ней отзывались, какъ о дѣвушкѣ съ самолюбіемъ (великая похвала въ устахъ дворовыхъ людей), которая хотя и видала виды, однако себя не уронила. Шила она тоже недурно, но за всѣмъ тѣмъ Лизавета Прохоровна къ ней не слишкомъ благоволила, по милости главной горничной Кирилловны, женщины уже немолодой, пронырливой и хитрой. Кирилловна пользовалась большимъ вліяніемъ на свою госпожу и очень искусно умѣла устранять соперницъ.

Въ эту-то Дуняшу и влюбись Акимъ! Да такъ, какъ прежде никогда не влюблялся. Онъ сначала увидалъ ее въ церкви: она только-что возвратилась изъ Москвы... потомъ встрѣчался съ ней нѣсколько разъ въ барскомъ домѣ, наконецъ провелъ съ ней цѣлый вечеръ у прикащика, куда его пригласили на чай, вмѣстѣ съ другими почетными людьми. Дворовые имъ не брезгали, хоть онъ и не принадлежалъ къ ихъ сословію и носилъ бороду; но онъ былъ человѣкъ образованный, грамотный, а главное съ деньгами; притомъ и одѣвался онъ не по-мужицки, носилъ длинный кафтанъ изъ чернаго сукна, выростковые сапоги и платочекъ на шеѣ. Правда, иные дворовые и толковали промежъ себя, что, дескать, все-таки видно, что онъ не нашъ, но въ глаза ему чуть не льстили. Въ тотъ вечеръ у прикащика Дуняша окончательно

покорила влюбчивое сердце Акима, хотя уже рѣшительно не отвѣчала ни одного слова на всѣ его заискивающія рѣчи и лишь изрѣдка съ боку посматривала на него, какъ бы удивляясь, зачѣмъ этотъ мужикъ тутъ. Все это только больше распаляло Акима. Онъ ушелъ къ себѣ домой, думалъ, думалъ и рѣшился добиться ея руки.... Такъ-то она его къ себѣ «присушила!» Но какъ описать гнѣвъ и негодованіе Дуняши, когда, дней черезъ пять, Кирилловна, ласково зазвавъ ее къ себѣ въ комнату, объявила ей, что Акимъ (а видно онъ умѣлъ, какъ за дѣло взяться), что этотъ бородачъ и мужикъ Акимъ, съ которымъ и сидѣть-то рядомъ она почитала обидой, за нее сватается!

Дуняша сперва вспыхнула вся, потомъ принужденно захохотала, потомъ заплакала, но Кирилловна такъ искусно повела атаку, такъ ясно дала ей почувствовать собственное ея положеніе въ домѣ, такъ ловко намекнула на приличный видъ, богатство и слѣпую преданность Акима, наконецъ такъ значительно упомянула о желаніи самой барыни, что Дуняша вышла изъ комнаты уже съ раздумьемъ на лицѣ, и, встрѣтившись съ Акимомъ, только пристально посмотрѣла ему въ глаза, но не отвернулась. Несказанно щедрые подарки этого влюбленнаго человѣка разсѣяли ея послѣднія недоумѣнья.... Лизавета Прохоровна, которой Акимъ на радости поднесъ сотню персиковъ на большомъ серебряномъ блюдѣ, согласилась на его бракъ съ Дуняшей, и этотъ бракъ состоялся. Акимъ не пожалѣлъ издержекъ — и невѣста, которая наканунѣ сидѣла на дѣвишникѣ какъ убитая, а въ самое утро свадьбы все плакала, пока ее Кирилловна наряжала къ вѣнцу, скоро утѣшилась.... Ей барыня дала надѣть въ церковь свою шаль—а Акимъ въ тотъ же день подарилъ ей такую же, чуть-ли не лучше.

Итакъ, Акимъ женился; перевезъ свою молодую къ себѣ во дворъ.... Начали они жить. Дуняша оказалась плохою хозяйкой, плохою подпорой мужу. Она ни во что не входила, грустила, скучала, развѣ какой-нибудь проѣзжій офицеръ обращалъ на нее вниманіе и любезничалъ съ ней, сидя за широкимъ самоваромъ; часто отлучалась, то въ городъ за покупками, то въ барскій домъ, до котораго отъ постоялаго двора считалось версты четыре. Въ барскомъ домѣ она отдыхала; тамъ ее окружали свои; дѣвушки завидовали ея нарядамъ; Кирилловна подчивала ее чаемъ; сама Лизавета Прохоровна съ ней разговаривала.... Но и эти посѣщенія не обходились безъ горькихъ ощущеній для Дуняши.... Ей, напримѣръ, какъ дворничихѣ, уже не приходилось носить шляпки, и она принуждена была повязывать свою голову платкомъ.... какъ купчиха, говорила ей лукавая Кирилловна.... какъ какая-нибудь мѣщанка, думала Дуняша про себя.

Не разъ пришли Акиму на память слова единственнаго его родственника, старика дяди, мужика заматерѣлаго, безсемейнаго бобыля: «Ну, братъ, Акимушка, сказалъ онъ ему, встрѣтившись съ нимъ на улицѣ, слышалъ я, ты сватаешься...»

— Ну да; а что?

— Эхъ, Акимъ, Акимъ! Ты намъ, мужикамъ, не братъ теперь, что́ и говорить—да и она тебѣ не сестра.

— Да чѣмъ же она мнѣ не сестра?

— А хоть бы вотъ чѣмъ,—возразилъ тотъ, и указалъ Акиму на его бороду, которую онъ въ угодность своей невѣстѣ началъ подстригать — сбрить-то ее совсѣмъ онъ не согласился.... Акимъ потупился; а старикъ отвернулся, запахнулъ полы своего разорваннаго на плечахъ тулупа и пошелъ прочь, встряхивая головой.

Да, не разъ задумывался, кряхтѣлъ и вздыхалъ Акимъ.... Но любовь его къ хорошенькой женѣ не уменьшалась; онъ гордился ею—особенно когда сравнивалъ ее, не говоримъ уже съ другими бабами, или съ своей прежней женой, на которой его женили шестнадцати лѣтъ—но съ другими дворовыми дѣвушками; «вотъ, молъ, мы какую пташку заполевали!».... Малѣйшая ея ласка доставляла ему великое удовольствіе.... Авось, думалъ онъ, попривыкнетъ, обживется.... Притомъ она вела себя очень хорошо, и никто не могъ сказать про нее худого слова.

Такъ прошло нѣсколько лѣтъ. Дуняша, дѣйствительно, кончила тѣмъ, что привыкла къ своему житью. Акимъ чѣмъ больше старѣлъ, тѣмъ больше къ ней привязывался и довѣрялъ ей; товарки ея, которыя вышли замужъ не за мужиковъ, терпѣли нужду кровную, либо бѣдствовали, либо попали въ недобрыя руки.... А Акимъ богатѣлъ, да богатѣлъ. Все ему удавалось — счастье ему везло; одно только его сокрушало: дѣтей ему Богъ не давалъ. Дуняшѣ уже перешло за двадцать пять лѣтъ; ужъ всѣ ее стали величать Авдотьей Арефьевной. Настоящей хозяйкой она все-таки не сдѣлалась—но домъ свой полюбила, распоряжалась припасами, присматривала за работницей.... Правда, она все это дѣлала кое-какъ, не наблюдала какъ-бы слѣдовало за чистотой и порядкомъ; за то въ главной комнатѣ постоялаго двора, рядомъ съ портретомъ Акима, висѣлъ ея портретъ, писанный масляными красками и заказанный ею самою доморощенному живописцу, сыну приходскаго дьякона.—Она была представлена въ бѣломъ платьѣ, желтой шали, съ шестью нитками крупнаго жемчуга на шеѣ, длинными серьгами въ ушахъ и кольцами на каждомъ пальцѣ.—Узнать ее было можно — хотя живописецъ изобразилъ ее черезъ-чуръ дебелой и румяной — и глаза ея написалъ, вмѣсто сѣрыхъ, чорные и даже нѣсколько ко-

сые.... Акимъ ему вовсе не удался: онъ вышелъ у него какъ-то очень темнó — à la Rembrandt — такъ что иной проѣзжій подойдетъ, бывало, посмотритъ и только промычитъ немного. Одѣваться Авдотья стала довольно небрежно; накинетъ большой платокъ на плечи — а платье подъ нимъ какъ-нибудь сидитъ: лѣнь ее обуяла, та вздыхающая, вялая, сонливая лѣнь, къ которой слишкомъ склоненъ русскій человѣкъ, особенно когда существованіе его обезпечено....

Со всѣмъ тѣмъ дѣлà Акима и жены его шли очень хорошо — они жили ладно и слыли за примѣрныхъ супруговъ. Но какъ бѣлка, которая чиститъ себѣ носъ въ то самое мгновенье, когда стрѣлокъ въ нее цѣлится, человѣкъ не предчувствуетъ своего несчастья—и вдругъ подламывается какъ на льду....

Въ одинъ осенній вечеръ, на постояломъ дворѣ у Акима остановился купецъ съ краснымъ товаромъ. Разными окольными дорогими пробирался онъ съ двумя нагруженными кибитками изъ Москвы въ Харьковъ; это былъ одинъ изъ тѣхъ разнощиковъ, которыхъ помѣщики и въ особенности помѣщичьи жены и дочери ожидаютъ иногда съ такимъ великимъ нетерпѣніемъ. Съ этимъ разнощикомъ, человѣкомъ уже пожилымъ, ѣхало двое товарищей или, говоря правильнѣе, двое работниковъ—одинъ блѣдный, худой и горбатый, другой, молодой, видный, красивый малый лѣтъ двадцати. Они спросили себѣ поужинать, потомъ сѣли за чай; разнощикъ попросилъ хозяевъ выкушать съ ними по чашкѣ—хозяева не отказались. Между двумя стариками (Акиму стукнуло пятьдесятъ шесть лѣтъ) скоро завязался разговоръ; разнощикъ разспрашивалъ о сосѣднихъ помѣщикахъ — а никто лучше Акима не могъ сообщить ему всѣ нужныя свѣдѣнія на ихъ счетъ; горбатый работникъ безпрестанно ходилъ смотрѣть телѣги и

наконецъ убрался спать; Авдотьѣ пришлось бесѣдовать съ другимъ работникомъ.... Она сидѣла подлѣ него и говорила мало, больше слушала, что́ тотъ ей разсказывалъ; но видно, рѣчи его ей нравились: ея лицо оживилось, краска заиграла на щекахъ, и смѣялась она довольно часто и охотно. Молодой работникъ сидѣлъ почти не шевелясь и наклонивъ къ столу свою кудрявую голову; говорилъ тихо, не возвышая голоса и не торопясь; за то глаза его, небольшіе, но дерзко-свѣтлые и голубые, такъ и впились въ Авдотью; она сперва отворачивалась отъ нихъ, потомъ сама стала глядѣть ему въ лицо. Лицо этого молодого парня было свѣжо и гладко какъ крымское яблоко; онъ часто ухмылялся и поигрывалъ бѣлыми пальцами по подбородку, уже покрытому рѣдкимъ и темнымъ пухомъ. Выражался онъ по-купечески, но очень свободно и съ какой-то небрежной самоувѣренностью — и все смотрѣлъ на нее тѣмъ же пристальнымъ и наглымъ взглядомъ.... Вдругъ онъ пододвинулся къ ней немного поближе и, ни мало не измѣнившись въ лицѣ, сказалъ ей: «Авдотья Арефьевна, лучше васъ на свѣтѣ никого нѣтъ; я, кажется, помереть готовъ для васъ».

Авдотья громко засмѣялась.

— Чему ты? спросилъ ее Акимъ.

— Да вотъ — они такое все смѣшное разсказываютъ, проговорила она безъ особеннаго, впрочемъ, смущенія.

Старый разнощикъ осклабился.

— Хе, хе, да-съ; у меня Наумъ такой ужъ балагуръ-съ. Но вы его не слушайте-съ.

— Да! ка́кже! стану я ихъ слушать—возразила она и покачала головой.

— Хе, хе, конечно-съ, замѣтилъ старикъ.—Ну, однако, прибавилъ онъ на распѣвъ: — прощенья просимъ-съ,

на боковую-съ.... И онъ

ъ, промолвилъ Акимъ и
сть; впрочемъ, спокойной
ставай.
отя, за ней поднялся и

ю коморку, служившую
пѣлъ тотчасъ. Авдотья
она лежала тихо, обо-
чала метаться на го-
натягивала одѣяло....
Вдругъ раздался со
пѣлъ какую-то про-
овъ которой нельзя
за, облокотилась и
ась.... Звонко пе-

молчавъ немно-
ь я въ свое вре-
пѣвалъ, да го-
молодецъ тотъ
ъ повернулся
ъ.
я все слуша-
о оборвался,
ъ. Авдотья
... Прошло
о спускать-

— Куда, ты, жена? спросилъ ее сквозь сонъ Акимъ.

Она остановилась.

— Лампаду поправить, проговорила она: не спится что-то....

— А ты помолися, пролепеталъ Акимъ, засыпая.

Авдотья подошла къ лампадкѣ, стала поправлять ее и нечаянно погасила; вернулась и легла. Все утихло.

На другое утро, рано, купецъ отправился въ путь съ своими товарищами. Авдотья спала. Акимъ проводилъ ихъ съ полверсты: ему надобно было зайти на мельницу. Вернувшись домой, онъ засталъ уже свою жену одѣтую и не одну: съ ней былъ вчерашній молодой парень, Наумъ. Они стояли подлѣ стола у окна и разговаривали. Увидавъ Акима, Авдотья молча пошла вонъ изъ комнаты, а Наумъ сказалъ, что вернулся за хозяйскими рукавицами, которыя тотъ будто позабылъ на лавкѣ, и тоже ушелъ.

Мы теперь же скажемъ читателямъ то, о чемъ они вѣроятно и безъ насъ догадались: Авдотья страстно полюбила Наума. Какъ это могло случиться такъ скоро, объяснить трудно; тѣмъ болѣе трудно, что до того времени она вела себя безукоризненно, несмотря на множество случаевъ и покушеній измѣнить супружеской вѣрности. Впослѣдствіи, когда связь ея съ Наумомъ стала гласною, многіе въ околоткѣ толковали, что онъ въ первый же вечеръ подсыпалъ ей въ чашку чая приворотнаго зелья (у насъ еще твердо вѣрятъ въ дѣйствительность подобнаго средства), и что это очень легко можно было замѣтить по Авдотьѣ, которая будто скоро потомъ начала худѣть и скучать.

Какъ бы то ни было, но только Наума стали довольно часто видать на Акимовомъ дворѣ. Сперва проѣхалъ онъ опять съ тѣмъ же купцомъ, а мѣсяца черезъ три появился уже одинъ съ собственнымъ товаромъ; потомъ про-

въ одномъ изъ близъле-
, той поры уже не про-
ісь на большой дорогѣ
пряженная парой круг-
илъ самъ. Между Аки-
ой дружбы, да и не-
Акимъ не обращалъ
ь только о немъ, какъ
ко пошелъ въ ходъ.
подозрѣвалъ и про-

едъ обѣдомъ, часу
которая въ теченіе
другъ сморщилась
притиранія, ру-
а съ собачкой и
ъ свой нѣмецкій
аленнымъ плать-
счаной дорожкѣ,
унку георгинъ,
накомая Кирил-
-то Б....й ку-
му дѣлу. Ки-
кою милостью
Кунце) и съ
юсить бѣлый
тонкимъ чер-

кно?
ла Кирил-
ся они же-

Лизавета Прохоровна вернулась въ гостиную, сѣла на обыкновенное свое мѣсто, кресло съ куполомъ, по которому красиво извивался плющъ, и велѣла кликнуть Б...аго купца.

Вошелъ Наумъ, поклонился и остановился у двери.

— Я слышала, вы у меня что-то купить хотите, начала Лизавета Прохоровна и сама про себя подумала:— какой красивый мужчина этотъ купецъ.

— Точно такъ-съ.

— Что́ же именно?

— Не изволите ли продавать постоялый вашъ дворъ?

— Какой дворъ?

— Да вотъ, что́ на большой дорогѣ, отсюда недалече.

— Да этотъ дворъ не мой. Это Акимовъ дворъ.

— Какъ не вашъ? На вашей землицѣ сидитъ-съ.

— Положимъ—земля моя.... на мое имя куплена; да дворъ-то его.

— Такъ-съ. Такъ вотъ не изволите ли вы его продать намъ-съ.

— Какъ же я его продамъ?

— Такъ-съ. А мы бы цѣну хорошую положили-съ.

Лизавета Прохоровна помолчала.

— Право это странно, начала она опять: — какъ это вы говорите. А что́ бы вы дали? прибавила она. — То есть, это я не для себя спрашиваю, а для Акима.

— Да со всѣмъ строеніемъ-съ и угодьями-съ, ну да конечно и съ землей, какая при томъ дворѣ находится, двѣ тысячи рублей бы дали-съ.

— Двѣ тысячи рублей! Это мало, возразила Лизавета Прохоровна.

— Настоящая цѣна-съ.

— Да вы съ Акимомъ говорили?

— Зачѣмъ намъ съ ними говорить-съ. Дворъ вашъ, такъ вотъ мы съ вами и изволимъ разговаривать-съ.

— Да я-жъ вамъ объявила.... Право, это удивительно, какъ это вы меня не понимаете!

— Отчего же не понять-съ; понимаемъ-съ.

Лизавета Прохоровна посмотрѣла на Наума, Наумъ посмотрѣлъ на Лизавету Прохоровну.

— Такъ какже-съ, началъ онъ:—какое будетъ, съ вашей стороны, то-есть, предложеніе?

— Съ моей стороны.... Лизавета Прохоровна зашевелилась на креслѣ. — Во-первыхъ, я вамъ говорю, что двухъ тысячъ мало, а во-вторыхъ....

— Сотенку накинемъ-съ, извольте.

Лизавета Прохоровна встала.

— Я вижу вы совсѣмъ не то говорите, я вамъ уже сказала, что я этотъ дворъ не могу продавать и не продамъ. Не могу.... то-есть не хочу.

Наумъ улыбнулся и помолчалъ.

— Ну, какъ угодно-съ.... промолвилъ онъ, слегка пожавъ плечомъ:—просимъ прощенья-съ. И онъ поклонился и взялся за ручки двери.

Лизавета Прохоровна обернулась къ нему.

— Впрочемъ.... проговорила она съ едва замѣтной запинкой: — вы еще не уѣзжайте. — Она позвонила: изъ кабинета явилась Кирилловна. — Кирилловна, вели напоить г-на купца чаемъ. Я васъ еще увижу, прибавила она, слегка кивнувъ головой.

Наумъ еще разъ поклонился и вышелъ вмѣстѣ съ Кирилловной.

Лизавета Прохоровна раза два прошлась по комнатѣ и опять позвонила. На этотъ разъ вошелъ казачокъ. Она приказала ему позвать Кирилловну. Черезъ нѣсколько

мгновеній вошла Кирилловна, чуть поскрипывая своими новыми козловыми башмаками.

— Слышала ты, начала Лизавета Прохоровна, съ принужденнымъ смѣхомъ: — чтó мнѣ купецъ этотъ предлагаетъ? такой, право чудакъ!

— Нѣтъ-съ, не слыхала.... Чтó такое-съ? И Кирилловна слегка прищурила свои чорные, калмыцкіе глазки.

— Онъ у меня Акимовъ дворъ хочетъ купить.

— Такъ чтоже-съ?

— Да вѣдь какже.... А что же Акимъ? Я его Акиму отдала.

И, помилуйте, барыня, чтó вы это изволите говорить? Развѣ этотъ дворъ не вашъ? Не ваши мы чтó-ли? И все, что мы имѣемъ — развѣ не ваше же, не господское?

— Что ты это говоришь, Кирилловна, помилуй?—Лизавета Прохоровна достала батистовый платокъ и нервически высморкалась.—Акимъ этотъ дворъ на свои деньги купилъ.

— На свои деньги? А откуда онъ эти деньги взялъ?— Не по вашей ли милости? Да онъ и такъ столько времени землею пользовался.... Вѣдь все по вашей же милости. А вы думаете, сударыня, что у него такъ и не останется больше денегъ? Да онъ богаче васъ, ей Богу-съ.

— Все это такъ, конечно; но все же это я не могу.... Какъ же это я этотъ дворъ продамъ?

— Отчего же не продать-съ? продолжала Кирилловна.— Благо покупщикъ нашелся. Позвольте узнать-съ, сколько они вамъ предлагаютъ?

— Двѣ тысячи рублей слишкомъ, тихо проговорила Лизавета Прохоровна.

— Онъ, сударыня, больше дастъ, коли двѣ тысячи съ

перваго слова предлагаетъ. А съ Акимомъ вы потомъ сдѣлаетесь; оброку скинете что ли.— Онъ еще благодаренъ будетъ.

— Конечно, надо будетъ оброкъ уменьшить. Но нѣтъ, Кирилловна, какъ же я продамъ.... И Лизавета Прохоровна заходила взадъ и впередъ по комнатѣ....—Нѣтъ, это невозможно, это не годится.... нѣтъ, пожалуйста, ты мнѣ больше этого не говори.... а то я разсержусь....

Но, несмотря на запрещенія взволнованной Лизаветы Прохоровны, Кирилловна продолжала говорить, и черезъ полчаса возвратилась къ Науму, котораго оставила въ буфетѣ за самоваромъ.

— Чтó вы мнѣ скажете-съ, моя почтеннѣйшая, проговорилъ Наумъ, щеголевато опрокинувъ допитую чашку на блюдечко.

— А то скажу, возразила Кирилловна:—что идите къ барынѣ, она васъ зоветъ.

— Слушаю-съ, отвѣчалъ Наумъ, всталъ и вслѣдъ за Кирилловной отправился въ гостиную.

Дверь за ними затворилась.... Когда наконецъ та дверь опять открылась, и Наумъ, кланяясь, вышелъ изъ нея спиной, дѣло было уже слажено; Акимовъ дворъ принадлежалъ ему: онъ пріобрѣлъ его за 2,800 рублей ассигнаціями. Купчую положили совершить какъ можно скорѣе и до времени не разглашать ея; Лизавета Прохорова получила сто рублей задатку, да двѣсти рублей пошло Кирилловнѣ на магарычъ. «Не дорого купилъ», думалъ Наумъ, взлѣзая на телѣжку: «спасибо, случай вышелъ».

Въ то самое время, когда въ барскомъ домѣ происходила разсказанная нами сдѣлка, Акимъ сидѣлъ у себя одинъ подъ окномъ на лавкѣ и съ недовольнымъ видомъ поглаживалъ свою бороду.... Мы сказали выше, что онъ

*

не подозрѣвалъ расположенія своей жены къ Науму, хотя добрые люди не разъ ему намекали, что пора, молъ, тебѣ за умъ взяться; конечно, онъ самъ иногда могъ замѣтить, что хозяйка его съ нѣкотораго времени какъ-будто норовистѣй стала, да вѣдь извѣстно: женскій полъ ломливъ и прихотливъ. Даже, когда ему дѣйствительно казалось, что у него въ домѣ неладно что-то, онъ только рукой махалъ; не хотѣлось ему, какъ говорится, поднимать струшню; добродушіе въ немъ не убавлялось съ годами, да и лѣнь брала свое. Но въ тотъ день онъ былъ очень не въ духѣ; наканунѣ онъ совершенно нечаянно подслушалъ на улицѣ разговоръ между своей работницей и другой сосѣдней бабой....

Баба спрашивала работницу, отчего она къ ней на праздникъ вечеромъ не зашла: «я, дескать, тебя поджидала».

— Да я было и пошла, возразила работница:—да грѣшнымъ дѣломъ на хозяйку насовалась.... чтобъ ей пусто было!

— Насовалась.... повторила баба какимъ-то растянутымъ голосомъ и подперла рукою щеку. — А гдѣ-жъ это ты на нее насовалась, мать моя?

— А за коноплянниками, за поповскими. Хозяйка-то, знать, къ своему-то, къ Науму, въ коноплянники вышла, а мнѣ-то въ темнотѣ не видать, отъ мѣсяца, что ли, Господь его знаетъ, прямо такъ на нихъ и наскочила.

— Наскочила, опять повторила баба. — Ну и что же она, мать моя, съ нимъ—стоитъ?

— Стоитъ—ничего. Онъ стоитъ, и она стоитъ. Увидала меня, говоритъ, куда ты это бѣгаешь? Пошла-ка-сь домой. Я и пошла.

— Пошла.—Баба помолчала. — Ну, прощай, Фетиньюшка, промолвила она, и поплелась своей дорогой.

но подѣйствовалъ на Акима.
охладѣла, но все-таки слова
лись. А она сказала правду:
ръ Авдотья выходила къ На-
сплошной тѣни, падавшей
сокаго коноплянника. Роса
й его стебель; сильный до
Мѣсяцъ только-что всталъ,
атомъ и тускломъ туманѣ.
опливые шаги Авдотьи
Она подошла къ нему,
ила ей въ лицо.
онъ ее.
чала она нерѣшитель-
Ивановичъ...
билъ онъ ее и протя-

кой-то свертокъ. На-
ъ себѣ за пазуху.
Авдотья медленно и
умъ Иванычъ, по-

работница.
неудовольствіемъ
дѣло входила въ
лько провожалъ
зъ, и захвативъ
порогъ—онъ
себя:
бабы всегда
, этого отъ
тъ куда-ни-
нѣ любятъ.

Авдотья выслушала мужнину рѣчь до конца, не перемѣнивъ своего положенія; только при словѣ «вечеромъ» чуть повела головой и словно задумалась.

— Ужъ ты, Семенычъ, промолвила она наконецъ съ досадой: — извѣстно, какъ начнешь разговаривать, ужъ тутъ....

Она махнула рукой и ушла, хлопнувъ дверью. Авдотья, дѣйствительно, не слишкомъ высоко цѣнила Акимово краснорѣчіе, и бывало, по вечерамъ, когда онъ принимался разсуждать съ проѣзжими, или пускался въ разсказы, зѣвала тихомолкомъ, или уходила. Акимъ посмотрѣлъ на запертую дверь.... «Какъ начнешь разговаривать», повторилъ онъ вполголоса.... «то-то и есть, что я мало разговаривалъ съ тобой.... И кто же? свой же братъ, да еще».... И онъ всталъ, подумалъ, да и постучалъ себѣ кулакомъ по затылку....

Нѣсколько дней прошло послѣ этого дня довольно страннымъ образомъ. Акимъ все поглядывалъ на жену свою, какъ-будто собирался ей что-то сказать; и она съ своей стороны на него подозрительно посматривала; при томъ они оба принужденно молчали; впрочемъ это молчаніе обыкновенно прерывалось брюзгливымъ замѣчаніемъ Акима на счетъ какого-нибудь упущенія въ хозяйствѣ, или на счетъ женщинъ вообще; Авдотья большею частію не отвѣчала ему ни слова. Однако, при всей добродушной слабости Акима, между нимъ и Авдотьей непремѣнно дошло бы до рѣшительнаго объясненія, если-бъ не случилось наконецъ происшествія, послѣ котораго всякія объясненія были безполезны.

А именно, въ одно утро, Акимъ съ женой только-что собирались пополдничать (проѣзжихъ въ постояломъ дворѣ за лѣтними работами ни одного не было), какъ вдругъ телѣжка бойко застучала по дорогѣ и круто остановилась

передъ крыльцомъ. Акимъ глянулъ въ окошко, нахм
ся и потупился: изъ телѣжки, не торопясь, выл
Наумъ. Авдотья его не увидала, но когда раздал
сѣняхъ его голосъ, ложка слабо дрогнула въ ея
Онъ приказывалъ работнику лошадь поставить на д
Наконецъ дверь распахнулась, и онъ вошелъ въ
нату.

— Здорово, промолвилъ онъ и снялъ шапку.

— Здорово, повторилъ сквозь зубы Акимъ. — О
Богъ принесъ?

— По сосѣдству, возразилъ тотъ, и сѣлъ на лав
Я отъ барыни.

— Отъ барыни, проговорилъ Акимъ, все не по
маясь съ мѣста.—По дѣламъ, что-ль?

— Да, по дѣламъ. Авдотья Арефьевна, наше
почтеніе.

— Здравствуйте, Наумъ Иванычъ, отвѣтила она.

Всѣ помолчали.

— Чтó это у васъ, похлебка знать какая, на
Наумъ....

— Да, похлебка, возразилъ Акимъ, и вдругъ поб
нѣлъ:—да не про тебя.

Наумъ съ удивленіемъ глянулъ на Акима.

— Какъ не про меня?

— Да такъ вотъ, что не про тебя. — У Акима г
заблестѣли, и онъ ударилъ рукой по столу.—У мен
домѣ ничего про тебя нѣту, слышишь?

— Что ты, Семенычъ, что ты? Что съ тобой?

— Со мной-то ничего, а *ты* мнѣ надоѣлъ, На
Иванычъ, вотъ что.—Старикъ всталъ и весь затрясс
Вольно часто сталъ ко мнѣ таскаться, вотъ что.

Наумъ тоже всталъ.

— Да ты, братъ, чай рехнулся, произнесъ онъ съ усмѣшкой.—Авдотья Арефьевна, что это съ нимъ?....

— Я тебѣ говорю, закричалъ дребезжащимъ голосомъ Акимъ: — пошолъ вонъ, слышишь.... какая тебѣ тутъ Авдотья Арефьевна.... я тебѣ говорю, слышишь, проваливай!

— Что ты такое мнѣ говоришь? спросилъ значительно Наумъ.

— Пошелъ вонъ отсюда; вотъ что я тебѣ говорю. Вотъ Богъ, а вотъ порогъ.... понимаешь? а то худо будетъ!

Наумъ шагнулъ впередъ.

— Батюшки, не деритесь, голубчики мои, залепетала Авдотья, которая до того мгновенья сидѣла неподвижно за столомъ....

Наумъ глянулъ на нее.

— Не безпокойтесь, Авдотья Арефьевна, зачѣмъ драться! Экъ-ста, братъ, продолжалъ онъ, обращаясь къ Акиму: — какъ ты раскричался. Право. Экой прыткой! Слыханое ли дѣло, изъ чужого дома выгонять, прибавилъ съ медленной разстановкою Наумъ: — да еще хозяина.

— Какъ изъ чужого дома, пробормоталъ Акимъ.—Какого хозяина?

— А хоть бы меня.

И Наумъ прищурился и оскалилъ свои бѣлые зубы.

— Какъ тебя? Развѣ не я хозяинъ.

— Экой ты безтолковый, братецъ. Говорятъ тебѣ—я хозяинъ.

Акимъ вытаращилъ глаза.

— Что ты такое врешь, словно бѣлены объѣлся, заговорилъ онъ наконецъ. — Какой ты тутъ къ чорту хозяинъ?

— Да что съ тобой толковать, вскрикнулъ съ нетерпѣніемъ Наумъ. — Видишь ты эту бумагу, продолжалъ онъ, выхвативъ изъ кармана сложенный вчетверо гербовый листъ:—видишь? Это купчая, понимаешь, купчая и на землю твою и на дворъ; я ихъ купилъ у помѣщицы, у Лизаветы Прохоровны купилъ; вчера купчую въ Б....ѣ совершили—хозяинъ здѣсь, стало-быть, я, а не ты. Сегодня же собери свои пожитки, прибавилъ онъ, кладя обратно бумагу въ карманъ:—а завтра чтобъ и духу твоего здѣсь не было, слышишь?

Акимъ стоялъ, какъ громомъ пришибленный.

— Разбойникъ, простоналъ онъ наконецъ: — разбойникъ.... Эй, Федька, Митька, жена, жена, хватайте его, хватайте—держите его!

Онъ совсѣмъ потерялся.

— Смотри, смотри, съ угрозой произнесъ Наумъ:— смотри, старикъ, не дури....

— Да бей же его, бей его, жена! твердилъ слезливымъ голосомъ Акимъ, напрасно и безсильно порываясь съ мѣста.—Душегубецъ, разбойникъ.... Мало тебѣ ея.... и домъ ты мой у меня отнять хочешь, и все.... Да нѣтъ, стой же.... этого быть не можетъ.... Я пойду самъ, я самъ скажу.... какъ.... за что же продавать.... Постой.... постой....

И онъ безъ шапки бросился на улицу.

— Куда, Акимъ Иванычъ, куда бѣжишь, батюшка? заговорила работница Фетинья, столкнувшись съ нимъ въ дверяхъ.

— Къ барынѣ! пусти! Къ барынѣ.... завопилъ Акимъ, и увидавъ Наумову телѣгу, которую не успѣли еще ввести на дворъ, вскочилъ въ нее, схватилъ возжи и, ударивъ изо всей силы по лошади, пустился вскачь къ господскому двору.

— Матушка, Лизавета Прохоровна, твердилъ онъ про себя въ продолженіе всей дороги—за что же такая немилость? кажется, усердствовалъ!

И между тѣмъ онъ все сѣкъ, да сѣкъ лошадь. Встрѣчавшіеся съ нимъ сторонились и долго смотрѣли ему вслѣдъ.

Въ четверть часа доѣхалъ Акимъ до усадьбы Лизаветы Прохоровны, подскакалъ къ крыльцу, соскочилъ съ телѣги и прямо ввалился въ переднюю.

— Чего тебѣ? пробормоталъ испуганный лакей, сладко дремавшій на коникѣ.

— Барыню, мнѣ нужно барыню видѣть, громко проговорилъ Акимъ.

Лакей изумился.

— Аль что случилось? началъ онъ....

— Ничего не случилось, а мнѣ барыню нужно видѣть.

— Чтó, чтó, промолвилъ болѣе и болѣе изумленный лакей и медленно выпрямился.

Акимъ опомнился.... Словно холодной водой его облили.

— Доложите, Петръ Евграфычъ, барынѣ, сказалъ онъ съ низкимъ поклономъ: — что Акимъ, молъ, желаетъ ихъ видѣть....

— Хорошо.... пойду.... доложу.... а ты знать пьянъ, подожди, проворчалъ лакей и удалился.

Акимъ потупился, и какъ-будто смутился.... Рѣшимость быстро исчезла въ немъ съ самаго того мгновенья, какъ только онъ вступилъ въ прихожую.

Лизавета Прохоровна тоже смутилась, когда доложили ей о приходѣ Акима. Она тотчасъ велѣла позвать Кирилловну къ себѣ въ кабинетъ.

— Я не могу его принять, торопливо заговорила она,

лишь только та показалась:—никакъ не могу. Чтó я ему скажу? Я вѣдь говорила тебѣ, что онъ непремѣнно придетъ и будетъ жаловаться, прибавила она съ досадой и волненіемъ:—я говорила....

— Для чего же вамъ его принимать-съ, спокойно возразила Кирилловна: это и не нужно-съ. Зачѣмъ вы будете безпокоиться, помилуйте.

— Да какъ же быть?

— Если позволите, я съ нимъ поговорю.

Лизавета Прохоровна подняла голову.

— Сдѣлай одолженіе, Кирилловна. Поговори съ нимъ. Ты скажи ему.... тамъ—ну, что я нашла нужнымъ.... а впрочемъ, что я его вознагражу.... ну тамъ, ты ужъ знаешь. Пожалуйста, Кирилловна.

— Не извольте, сударыня, безпокоиться, возразила Кирилловна и ушла поскрипывая башмаками.

Четверти часа не протекло, какъ скрипъ ихъ послышался снова, и Кирилловна вошла въ кабинетъ съ тѣмъ же спокойнымъ выраженіемъ на лицѣ, съ той же лукавой смышленостью въ глазахъ.

— Ну что, спросила ее барыня:—что Акимъ?

— Ничего-съ. Говоритъ-съ, что все въ волѣ милости вашей, были бы вы здоровы и благополучны, а съ его вѣкъ станетъ.

— И онъ не жаловался?

— Никакъ нѣтъ-съ. Чего ему жаловаться?

— Зачѣмъ же онъ приходилъ? промолвила Лизавета Прохоровна, не безъ нѣкотораго недоумѣнія.

— А приходилъ онъ просить-съ, пока до награжденья, не будетъ ли милости вашей оброкъ ему простить, на предбудущій годъ, то-есть....

— Разумѣется простить, простить, съ живостью подхватила Лизавета Прохоровна;—разумѣется. Съ удоволь-

ствіемъ. И вообще, скажи ему, что я его вознагражу. Ну, спасибо тебѣ, Кирилловна. А онъ, я вижу, добрый мужикъ. Постой, прибавила она:—дай ему вотъ это, отъ меня. И она достала изъ рабочаго столика трехъ-рублевую ассигнацію.—Вотъ возьми, отдай ему.

— Слушаю-съ, возразила Кирилловна, и спокойно возвратившись въ свою комнату, спокойно заперла ассигнацію въ кованный сундучокъ, стоявшій у ея изголовья; она сохраняла въ немъ всѣ свои наличныя денежки, а ихъ было не мало.

Кирилловна донесеніемъ своимъ успокоила госпожу, но разговоръ между нею и Акимомъ происходилъ въ дѣйствительности не совсѣмъ такъ, какъ она его передала; а именно: она велѣла его позвать къ себѣ въ дѣвичью. Онъ сперва-было не пошелъ къ ней, объявивъ при томъ, что желаетъ видѣть не Кирилловну, а самоё Лизавету Прохоровну, однако наконецъ послушался и отправился черезъ заднее крыльцо къ Кирилловнѣ. Онъ засталъ ее одну. Войдя въ комнату, онъ тотчасъ же остановился и прислонился подлѣ двери къ стѣнѣ, хотѣлъ-было заговорить.... и не могъ.

Кирилловна пристально посмотрѣла на него.

— Вы, Акимъ Семенычъ, начала она:—желаете барыню видѣть?

Онъ только головой кивнулъ.

— Этого нельзя, Акимъ Семенычъ. Да и къ чему? сдѣланнаго не передѣлаешь, а только вы ихъ обезпокоите. Онѣ васъ теперь не могутъ принять, Акимъ Семенычъ.

— Не могутъ, повторилъ онъ и помолчалъ. — Такъ какъ же, проговорилъ онъ наконецъ: — стало-быть такъ дому и пропадать?

— Послушайте, Акимъ Семенычъ. Вы, я знаю, всегда

были благоразумный человѣкъ. На это господская воля. А перемѣнить этого нельзя. Ужъ этого не перемѣнишь. Чтó мы тутъ будемъ съ вами разсуждать, вѣдь это ни къ чему не поведетъ. Не правда ли?

Акимъ заложилъ руку за спину.

— А вы лучше подумайте, продолжала Кирилловна:— не попросить ли вамъ госпожу, чтобъ оброку вамъ поспустить, что ли....

— Стало-быть дому такъ и пропадать, повторилъ Акимъ прежнимъ голосомъ.

— Акимъ Семенычъ, я-жъ вамъ говорю: нельзя. Вы сами это знаете лучше меня.

— Да. По крайней мѣрѣ, за сколько онъ пошелъ, дворъ-то?

— Не знаю я этого, Акимъ Семенычъ; не могу вамъ сказать.... Да что вы—такъ стоите, прибавила она: — присядьте.

— Постоимъ-съ и такъ. Наше дѣло мужицкое, благодаримъ покорно.

— Какой же вы мужикъ, Акимъ Семенычъ? Вы тотъ же купецъ, васъ и съ дворовымъ сравнить нельзя, чтó вы это? Не убивайтесь по-напрасну. Не хотите ли чаю?

— Нѣтъ, спасибо; не требуется. Такъ за вами домикъ остался, прибавилъ онъ, отдѣляясь отъ стѣны. — Спасибо и на этомъ. Прощенья просимъ, сударушка.

И онъ обернулся и вышелъ вонъ. Кирилловна одернула свой фартукъ и отправилась къ барынѣ.

— А знать я и впрямь купцомъ сталъ, сказалъ самому себѣ Акимъ, остановившись въ раздумьѣ передъ воротами. — Хорошъ купецъ! Онъ махнулъ рукой и горько усмѣхнулся. — Что-жъ! Пойдти домой!

И совершенно забывъ о Наумовой лошади, на которой пріѣхалъ, поплелся онъ пѣшкомъ по дорогѣ къ постоя-

лому двору. Онъ еще не успѣлъ отойти первой версты, какъ вдругъ услышалъ рядомъ съ собой стукъ телѣжки.

— Акимъ, Акимъ Семенычъ, звалъ его кто-то.

Онъ поднялъ глаза и увидалъ знакомца своего, приходскаго дьячка Ефрема, прозваннаго Кротомъ, маленькаго, сгорбленнаго человѣчка, съ вострымъ носикомъ и слѣпыми глазами. Онъ сидѣлъ въ дрянной телѣжонкѣ, на клочкѣ соломы, прислонясь грудью къ облучку.

— Домой, что-ль, идешь? спросилъ онъ Акима.

Акимъ остановился.

— Домой.

— Хочешь, подвезу?

— А пожалуй, подвези.

Ефремъ посторонился, и Акимъ взлѣзъ къ нему въ телѣгу. Ефремъ, который былъ, казалось, на-веселѣ, принялся стегать свою лошаденку концами веревочныхъ возжей; она побѣжала усталой рысью, безпрестанно вздергивая незанузданной мордой.

Они проѣхали съ версту, не сказавъ другъ другу ни слова. Акимъ сидѣлъ, наклонивъ голову, а Ефремъ такъ только бурчалъ что-то себѣ подъ носъ, то понукая, то сдерживая лошадь.

— Куда-жъ это ты безъ шапки ходилъ, Семенычъ? внезапно спросилъ онъ Акима, и, не дожидаясь отвѣта, продолжалъ вполголоса: — въ заведеньицѣ оставилъ, вотъ что. Питухъ ты; я тебя знаю, и за то люблю, что питухъ; ты не убійца, не буянъ, ненапрасливый; домостроитель ты, но питухъ, и такой питухъ — давно бы пора тебя подъ начало за это, ей-Богу; потому это дѣло скверное.... Ура! закричалъ онъ вдругъ во все горло, — ура! ура!

— Стойте, стойте, раздался вблизи женскій голосъ: — стойте!

Акимъ оглянулся. Къ телѣгѣ черезъ поле бѣжала щина, до того блѣдная и растрепанная, что онъ ея (ва не узналъ.

— Стойте, стойте, простонала она опять, задыха: махая руками.

Акимъ вздрогнулъ: это была его жена.

Онъ ухватилъ возжи.

— А зачѣмъ останавливаться, забормоталъ Ефрем для бабы—останавливаться? Ну-у!

Но Акимъ круто осадилъ лошадь.

Въ это мгновеніе Авдотья добѣжала до дороги, и и повалилась прямо лицомъ въ пыль.

— Батюшка, Акимъ Семенычъ, завопила она: — и меня онъ выгналъ!

Акимъ посмотрѣлъ на нее и не пошевелился, то еще крѣпче натянулъ возжи.

— Ура! снова воскликнулъ Ефремъ.

— Такъ выгналъ онъ тебя? проговорилъ Акимъ.

— Выгналъ, батюшка, голубчикъ мой, отвѣтила вс пывая Авдотья. — Выгналъ, батюшка. Говоритъ, д теперь мой, такъ ступай, молъ, вонъ.

— Важно, вотъ оно какъ хорошо.... важно! замѣт Ефремъ.

— А ты, чай, оставаться собиралась? горько про вилъ Акимъ, продолжая сидѣть на телѣгѣ.

— Какое оставаться! Да, батюшка, подхватила дотья, которая приподнялась-было на колѣни и се ударилась б-земь: — вѣдь ты не знаешь, вѣдь я.... У меня, Акимъ Семенычъ, убей меня тутъ же на мѣстѣ.

— За что тебя бить, Арефьевна! уныло воз зилъ Акимъ: — сама ты себя побѣдила! чего ужъ ту

— Да вѣдь ты что́ думаешь, Акимъ Семенычъ.... В денежки.... твои денежки.... Вѣдь нѣтъ ихъ, твоихъ

(Надо замѣтить, что Ефремъ «тыкалъ» его только съ пьяна; Акиму и не такія лица говорили: вы).

Акимъ вошелъ въ дьячкову избу.

— Вотъ сюда, на лавочку, пожалуйте, говорилъ Ефремъ.—Подите вы, пострѣлята, крикнулъ онъ на трехъ другихъ ребятишекъ, которые вмѣстѣ съ двумя исхудалыми и запачканными пепломъ кошками появились вдругъ изъ разныхъ угловъ комнаты. — Подите вонъ! Брысь! Вотъ сюда, Акимъ Семенычъ, сюда, продолжалъ онъ, усаживая гостя:—да не прикажете ли чего?

— Что я тебѣ скажу, Ефремъ, произнесъ наконецъ Акимъ:—нельзя ли вина?

Ефремъ встрепенулся.

— Вина? Могимъ. Дома-то его у меня нѣту, вина-то, а вотъ я сейчасъ сбѣгаю къ отцу Ѳеодору. У него завсегда.... Мигомъ сбѣгаю....

И онъ схватилъ свою ушастую шапку.

— Да побольше принеси, я заплачу, крикнулъ ему вслѣдъ Акимъ.—На это денегъ-то у меня еще станетъ.

— Мигомъ! повторилъ еще разъ Ефремъ, исчезая за дверью. Онъ дѣйствительно вернулся очень скоро съ двумя штофами подъ мышкой, изъ которыхъ одинъ уже былъ раскупоренъ, поставилъ ихъ на столъ, досталъ два зеленые стаканчика, краюху хлѣба и соли.

— Вотъ это люблю, твердилъ онъ, садясь передъ Акимомъ. Чего горевать?—Онъ налилъ и ему, и себѣ.... и пустился болтать.... Поступокъ Авдотьи его озадачилъ.— Удивительное, право, дѣло, говорилъ онъ: какимъ это образомъ произошло? стало-быть онъ приворожилъ ее къ себѣ.... ась? Вотъ что значитъ жену-то какъ нужно строго соблюдать! Въ ежовыхъ рукавицахъ держать ее слѣдуетъ. А все-таки вамъ домой заѣхать не худо; вѣдь тамъ чай у васъ добра много осталось. И много еще по-

добныхъ рѣчей произнесъ Ефремъ; онъ, когда пилъ, не любилъ молчать.

Черезъ часъ вотъ что происходило въ Ефремовомъ домѣ. Акимъ, который въ теченіе всей попойки ни слова не отвѣчалъ на разспросы и замѣчанія своего болтливаго хозяина и только выпивалъ стаканъ за стаканомъ, спалъ на печи весь красный, спалъ тяжелымъ и мучительнымъ сномъ; ребятишки на него дивились, а Ефремъ.... Увы! Ефремъ тоже спалъ, но только въ очень тѣсномъ и холодномъ чуланѣ, куда заперла его жена, женщина весьма мужественнаго и сильнаго тѣлосложенія. Онъ-было отправился къ ней, въ закуту, и началъ ей не то грозить, не то разсказывать что-то, но до того несообразно и непонятно выражался, что она тотчасъ же смѣкнула въ чемъ дѣло, взяла его за воротникъ и отвела куда слѣдуетъ. Впрочемъ, онъ спалъ въ чуланѣ очень хорошо и даже покойно. Привычка!

Кирилловна не совсѣмъ вѣрно передала Лизаветѣ Прохоровнѣ разговоръ свой съ Акимомъ.... тоже можно сказать и объ Авдотьѣ. Наумъ ея не выгналъ, хотя она и сказала Акиму, что онъ ее выгналъ; онъ не имѣлъ права ее выгонять.... Онъ былъ обязанъ дать старымъ хозяевамъ время выбраться. Между нимъ и Авдотьей происходили объясненія совсѣмъ другого рода.

Когда Акимъ съ крикомъ: что онъ поѣдетъ къ барынѣ—выскочилъ на улицу, Авдотья обратилась къ Науму, поглядѣла на него во всѣ глаза и всплеснула руками.

— Господи! начала она: — Наумъ Иванычъ, что это такое? Вы нашъ дворъ купили?

— А что-съ? возразилъ тотъ.—Купилъ-съ.

*

Авдотья помолчала, и вдругъ всполохнулась.

— Такъ вамъ вотъ на что деньги нужны были?

— Точно такъ изволите говорить-съ. Эге, да кажется вашъ муженекъ на моей лошади поѣхалъ, прибавилъ онъ, услышавъ стукъ колесъ.—Каковъ молодецъ!

— Да вѣдь это грабежъ послѣ этого, возопила Авдотья:—вѣдь это наши деньги, мужнины деньги, и дворъ нашъ....

— Нѣтъ-съ, Авдотья Арефьевна, перебилъ ее Наумъ:—дворъ былъ не вашъ-съ, къ чему это говорить; дворъ былъ на господской землѣ, такъ и онъ господскій, а деньги точно ваши были; только вы были, можно сказать, такъ добры и мнѣ ихъ пожертвовали-съ; и я вамъ остаюсь благодарнымъ, и даже при случаѣ вамъ ихъ отдамъ, коли ужъ такой случай выдетъ-съ; а только мнѣ голякомъ оставаться не приходится, сами извольте разсудить.

Наумъ сказалъ все это очень спокойно и даже съ небольшой улыбкой.

— Батюшки мои! закричала Авдотья:—да что же это такое! Что это! Да какъ я послѣ этого мужу на глаза покажусь! Злодѣй ты, прибавила она, съ ненавистью глядя на молодое, свѣжее лицо Наума: — вѣдь я душу свою для тебя загубила, вѣдь я для тебя воровкой стала, вѣдь ты насъ по міру пустилъ, злодѣй ты этакой. Вѣдь мнѣ послѣ этого только и осталось, что бселъ себѣ на шею надѣть, злодѣй, обманщикъ, погубитель ты мой....

И она зарыдала въ три ручья....

— Не извольте безпокоиться, Авдотья Арефьевна, промолвилъ Наумъ;—а скажу вамъ одно: своя рубашка къ тѣлу ближе; впрочемъ на то и щука въ морѣ, Авдотья Арефьевна, чтобы карась не дремалъ.

— Куда же мы пойдемъ теперь, куда дѣнемся! съ плачемъ лепетала Авдотья.

— А этого я не могу сказать-съ.

— Да я зарѣжу тебя, злодѣй; зарѣжу, зарѣжу....

— Нѣтъ, этого вы не сдѣлаете, Авдотья Арефьевна; къ чему это говорить, а только, я вижу, мнѣ теперь лучше отсюда уйдти маленько, а то вы ужъ очень безпокоитесь.... Прощенья просимъ-съ, а завтра безпрепремѣнно завернемъ.... А работниковъ своихъ ужъ вы позвольте мнѣ прислать къ вамъ сегодня, прибавилъ онъ, между тѣмъ, какъ Авдотья продолжала твердить сквозь слезы, что она и его и себя зарѣжетъ.

— Да вотъ они кстати и идутъ, замѣтилъ онъ, глянувъ въ окно. А то, пожалуй, какая-нибудь бѣда, Боже сохрани, приключится.... Этакъ-то спокойнѣе будетъ. Вы ужъ сдѣлайте милость, пожиточки свои соберите сегодня-съ, а они у васъ покараулятъ и помогутъ вамъ, пожалуй. Просимъ прощенія-съ.

Онъ поклонился, вышелъ и подозвалъ къ себѣ работниковъ....

Авдотья упала на лавку, потомъ легла грудью на столъ, и начала ломать себѣ руки, потомъ вдругъ вскочила и побѣжала вслѣдъ за мужемъ.... Мы разсказали ихъ свиданіе.

Когда Акимъ уѣхалъ отъ нея прочь вмѣстѣ съ Ефремомъ, оставивъ ее одну въ полѣ, она сперва долго плакала, не сходя съ мѣста. Наплакавшись до-сыта, она отправилась къ господской усадьбѣ. Горько было ей войдти въ домъ, еще горше показаться въ дѣвичьей. Всѣ дѣвушки бросились къ ней на встрѣчу съ участіемъ и сожалѣніемъ. При видѣ ихъ, Авдотья не могла удержать слезъ своихъ; онѣ такъ и брызнули изъ ея опухшихъ и покраснѣвшихъ глазъ. Вся обезсиленная, сѣла она на

первый попавшійся стулъ. Побѣжали за Кирилловной. Кирилловна пришла, обошлась съ ней весьма ласково, но до барыни ее не допустила также, какъ не допустила Акима. Авдотья сама не очень настаивала на свиданьѣ съ Лизаветой Прохоровной; она пришла въ господскій домъ единственно потому, что рѣшительно не знала куда голову преклонить.

Кирилловна велѣла подать самоваръ. Авдотья долго отказывалась пить чай, но уступила наконецъ просьбамъ и убѣжденіямъ всѣхъ дѣвушекъ и за первой чашкой выпила еще четыре. Когда Кирилловна увидѣла, что ея гостья нѣсколько успокоилась и только изрѣдка вздрагивала и слабо всхлипывала, она спросила ее, куда они намѣрены переселиться и что́ хотятъ сдѣлать съ своими вещами. Авдотья отъ этого вопроса опять заплакала, стала увѣрять, что ей кромѣ смерти ничего уже не нужно; но Кирилловна, какъ женщина съ головой, ее тотчасъ остановила и присовѣтовала, не теряя попусту времени, съ сегодняшняго же дня приступить къ перевозкѣ вещей въ бывшую Акимову избу на деревнѣ, гдѣ жилъ его дядя, тотъ самый старикъ, который отговаривалъ его жениться; объявила, что съ позволенія барыни имъ дадутъ на подъемъ и въ подмогу людей и лошадей: «а что до васъ касается, моя душенька», прибавила Кирилловна, сложивъ въ кислую улыбочку свои кошачьи губы, «у насъ всегда мѣсто для васъ найдется, и намъ очень будетъ пріятно, если вы у насъ погостите до тѣхъ поръ, пока опять справитесь и обзаведетесь домкомъ. Главное — унывать не нужно. Господь далъ, Господь взялъ и опять дастъ; все въ Его волѣ. Лизавета Прохоровна, конечно, по своимъ соображеніямъ, должна была продать вашъ дворъ, но она васъ не забудетъ и вознаградитъ; такъ она приказала сказать Акиму Семенычу.... Гдѣ онъ теперь?»

Авдотья отвѣчала, что онъ, встрѣтившись съ ней, очень ее обидѣлъ и уѣхалъ къ дьячку Ефрему.

— Къ этому! значительно возразила Кирилловна.—Ну, я понимаю, что ему теперь трудно, пожалуй его сегодня не отыщешь; какъ быть? Нужно распорядиться. Малашка, прибавила она, обращаясь къ одной изъ горничныхъ, попроси-ка сюда Никанора Ильича: мы съ нимъ потолкуемъ. — Никаноръ Ильичъ, человѣкъ наружности весьма мизерной, нѣчто въ родѣ прикащика, тотчасъ явился, подобострастно выслушалъ все, что ему сказала Кирилловна, проговорилъ: «будетъ исполнено», вышелъ и распорядился. Авдотьѣ выдали три подводы съ тремя крестьянами; къ нимъ по собственной охотѣ присоединился четвертый, который самъ объявилъ про себя, что онъ будетъ «потолковѣй ихъ», и она отправилась вмѣстѣ съ ними на постоялый дворъ, гдѣ нашла своихъ прежнихъ работниковъ и работницу Фетинью въ большомъ смущеньѣ и ужасѣ....

Наумовы новобранцы, три очень дюжихъ парня, какъ пришли съ утра, такъ ужъ никуда не уходили и караулили дворъ очень усердно, по обѣщанію Наума, до того усердно, что у одной новой телѣги вдругъ не оказалось шинъ....

Горько, горько было укладываться бѣдной Авдотьѣ. Несмотря на помощь «толковаго» человѣка, который, впрочемъ, только и умѣлъ, что ходить съ палочкой въ рукѣ, глядѣть на другихъ и сплевывать въ сторону, она не успѣла выбраться въ тотъ же день и осталась ночевать въ постояломъ дворѣ, упросивъ напередъ Фетинью не выходить изъ ея комнаты; впрочемъ, она задремала только на зарѣ лихорадочной дремотой, и слезы текли по ея щекамъ даже во снѣ.

Между тѣмъ Ефремъ проснулся раньше обыкновеннаго

въ своемъ чуланѣ и началъ стучаться и проситься вонъ. Жена сперва не хотѣла выпустить его, объявивъ ему чрезъ дверь, что онъ еще не выспался; но онъ подстрекнулъ ея любопытство обѣщаніемъ разсказать ей необыкновенное происшествіе съ Акимомъ; она вынула щеколду. — Ефремъ сообщилъ ей все, что̀ зналъ, и кончилъ вопросомъ: что, молъ, проснулся онъ или нѣтъ?

— А Господь его знаетъ, отвѣчала жена:—поди, посмотри самъ; съ печи еще не слѣзалъ. — Вишь, вы оба вчера какъ напились; поглядѣлъ бы хоть ты на себя — лицо на лицо не похоже, какъ чумичка какая-то, а что̀ въ волосахъ сѣна набилось!

— Ничего, что набилось, возразилъ Ефремъ—и, проведя рукой по головѣ, вошелъ въ комнату.—Акимъ уже не спалъ; онъ сидѣлъ со свѣшенными ногами на печи; очень странно и взъерошено было также его лицо. Оно казалось тѣмъ болѣе измятымъ, что Акимъ не имѣлъ привычки много пить.

— Ну, что̀, Акимъ Семенычъ, какъ выспались, началъ Ефремъ....

Акимъ посмотрѣлъ на него мутнымъ взоромъ.

— Что братъ, Ефремъ, заговорилъ онъ сипло:—нельзя ли опять—того?

Ефремъ быстро взглянулъ на Акима.... Онъ почувствовалъ въ это мгновенье нѣкоторое содроганіе; подобнаго рода ощущеніе испытываетъ стоящій подъ опушкою охотникъ при внезапномъ тявканіи гончей въ лѣсу, изъ котораго уже, казалось, весь звѣрь выбѣжалъ.

— Какъ—еще? спросилъ онъ наконецъ.

— Да; еще.

«Жена увидитъ», подумалъ Ефремъ,—«не пуститъ пожалуй».—Ничего, можно, промолвилъ онъ громко:—потерпите.—Онъ вышелъ и, благодаря искусно принятымъ

мѣрамъ, успѣлъ незамѣтнымъ образомъ пронести подъ полой большую бутылку....

Акимъ взялъ эту бутылку.... Но Ефремъ не сталъ пить съ нимъ вмѣстѣ, по-вчерашнему, — онъ боялся жены, и объявивъ Акиму, что поѣдетъ посмотрѣть, что́ такое у него дѣлается и какъ укладываютъ его пожитки, и не грабятъ ли его,—тотчасъ отправился къ постоялому двору на своей некормленной лошадкѣ верхомъ—при чемъ однако себя не забылъ, если принять въ соображеніе его оттопырившуюся пазуху.

Акимъ скоро послѣ его ухода уже спалъ, опять, какъ убитый, на печи.... Онъ даже тогда не проснулся, по крайней мѣрѣ не подалъ вида, что проснулся, когда вернувшійся часа черезъ четыре Ефремъ началъ его толкать и будить, и лепетать надъ нимъ какія-то чрезвычайно сбивчивыя слова о томъ, что уже все поѣхало и переѣхало, и образа, молъ, сняты уже и поѣхали, и все уже кончено — и что его всѣ ищутъ, но что онъ, Ефремъ, распорядился и запретилъ.... и т. д. Впрочемъ лепеталъ онъ недолго. Жена его опять отвела въ чуланъ, а сама, въ большомъ негодованіи и на мужа своего, и на гостя, по милости котораго мужъ «запилъ», легла въ комнатѣ на полатяхъ.... Но когда, проснувшись по обычаю своему ранехонько, глянула она на печь, уже Акима на ней не было.... Еще вторые пѣтухи не пропѣли и ночь еще стояла такая темная, что само небо чуть-чуть сѣрѣло прямо надъ головой, а по краямъ совершенно утопало во мракѣ — какъ уже Акимъ выходилъ изъ воротъ дьячковскаго дома. Лицо его было блѣдно — но онъ зорко глядѣлъ кругомъ, и походка его не изобличала пьянаго.... Онъ шелъ въ направленіи прежняго своего жилища—постоялаго двора, уже поступившаго окончательно во владѣніе новаго хозяина—Наума.

Наумъ тоже не спалъ въ то время, когда Акимъ покидалъ украдкой домъ Ефрема. Онъ не спалъ; подославъ подъ себя тулупчикъ, лежалъ онъ одѣтый на лавкѣ. Не совѣсть его мучила—нѣтъ! онъ съ удивительнымъ хладнокровіемъ присутствовалъ съ утра при укладкѣ и перевозкѣ всего Акимова скарба и не разъ самъ заговаривалъ съ Авдотьей, которая до того упала духомъ, что даже не упрекала его.... Совѣсть его была покойна, но его занимали разныя предположенія и разсчеты. Онъ не зналъ, посчастливится ли ему на новомъ поприщѣ; до тѣхъ поръ онъ никогда еще не содержалъ постоялаго двора — да и вообще не имѣлъ своего угла; ему и не спалось. «Хорошо начато дѣльце, думалъ онъ,—что дальше будетъ».... Отправивши передъ вечеромъ послѣднюю телѣгу съ Акимовымъ добромъ (Авдотья съ плачемъ пошла за нею), онъ осмотрѣлъ весь дворъ, всѣ закуты, погреба, сараи, лазилъ на чердакъ, неоднократно приказывалъ своимъ работникамъ караулить крѣпко-на-крѣпко, и оставшись одинъ послѣ ужина, все не могъ заснуть. Такъ случилось, что въ тотъ день ни одинъ изъ проѣзжихъ не остался ночевать; это его очень обрадовало. «Собаку нужно завтра купить непремѣнно, какую-нибудь позлѣй, у мельника; вишь, они свою увели»,—говорилъ онъ самому себѣ, ворочаясь съ боку на бокъ и вдругъ проворно поднялъ голову.... Ему показалось, что кто-то прошелъ подъ окномъ... Онъ прислушался.... Ничего. Только кузнечикъ по временамъ осторожно трещалъ за печкой, да мышь гдѣ-то скреблась, да слышалось его собственное дыханіе. Все было тихо въ пустой комнатѣ, тускло освѣщенной желтыми лучами маленькой стеклянной лампадки, которую онъ успѣлъ повѣсить и зажечь передъ образкомъ въ углу.... Онъ опустилъ голову; вотъ ему опять послышалось, какъ-будто скрыпнули ворота.... потомъ слегка затрещалъ пле-

тень.... Онъ не выдержалъ, вскочилъ, отворилъ дверь въ другую комнату и вполголоса кликнулъ: Ѳедоръ, а Ѳедоръ! Никто не отозвался ему.... Онъ вышелъ въ сѣни и чуть не упалъ споткнувшись на Ѳедора, развалившагося на полу. Мыча сквозь сонъ, зашевелился работникъ; Наумъ растолкалъ его.

— Что тамъ—что надо, началъ-было Ѳедоръ....

— Чего орешь, молчи, произнесъ шопотомъ Наумъ.— Эка спите, проклятые! Ничего не слыхалъ?

— Ничего, отвѣчалъ тотъ.... А что?

— А гдѣ другіе спятъ?

— Другіе спятъ гдѣ приказано.... Да развѣ что....

— Молчи—ступай за мной.

Наумъ тихонько отперъ дверь изъ сѣней на дворъ.... На дворѣ было очечь темно.... навѣсы съ ихъ столбами только потому и можно было различить, что они еще гуще чернѣли среди черной мглы....

— Не засвѣтить ли фонарикъ, проговорилъ вполголоса Ѳедоръ....

Но Наумъ махнулъ рукой и притаилъ дыханіе.... Сперва онъ ничего не услыхалъ, кромѣ тѣхъ ночныхъ звуковъ, которые почти всегда услышишь въ обитаемомъ мѣстѣ: лошадь жевала овесъ, свинья слабо хрюкнула разъ сквозь сонъ, гдѣ-то похрапывалъ человѣкъ; но вдругъ дошелъ до его ушей какой-то подозрительный шумъ, поднявшійся на самомъ концѣ двора, подлѣ забора....

Казалось, кто-то тамъ ворочался и какъ-будто дышалъ или дулъ.... Наумъ глянулъ черезъ плечо на Ѳедора и осторожно сойдя съ крылечка, пошелъ на шумъ.... Раза два останавливался онъ, прислушивался и продолжалъ снова красться.... Вдругъ онъ вздрогнулъ.... Въ десяти шагахъ отъ него, въ густой темнотѣ, ярко зардѣлась огненная точка: то былъ раскаленный уголь, и возлѣ

самаго угля показалась на мигъ передняя часть чьего-то лица съ вытянутыми губами.... Быстро и молча, какъ кошка на мышь, ринулся Наумъ на огонь.... Торопливо поднявшись съ земли, бросилось ему на встрѣчу какое-то длинное тѣло и чуть не сбило его съ ногъ, чуть не выскользнуло изъ его рукъ, но онъ вцѣпился въ него изо всѣхъ силъ.... «Ѳедоръ, Андрей, Петрушка, закричалъ онъ что было мочи: скорѣй сюда, сюда, вора поймалъ, зажигателя».... Человѣкъ, котораго онъ схватилъ, сильно барахтался и бился.... но не выпускалъ его Наумъ.... Ѳедоръ тотчасъ подскочилъ къ нему на подмогу.

— Фонарь, скорѣй фонарь! бѣги за фонаремъ, буди другихъ, скорѣй! крикнулъ ему Наумъ: — а я съ нимъ пока одинъ справлюсь — я сижу на немъ.... Скорѣй! да захвати кушакъ связать его.

Ѳедоръ побѣжалъ въ избу.... Человѣкъ, котораго держалъ Наумъ, вдругъ пересталъ биться....

— Такъ видно тебѣ мало и жены, и денегъ, и двора— меня тоже погубить хочешь, заговорилъ онъ глухо....

Наумъ узналъ Акимовъ голосъ.

— Такъ это ты голубчикъ, промолвилъ онъ:—хорошо же, погоди!

— Пусти, проговорилъ Акимъ. — Али тебѣ недовольно?

— А вотъ я тебѣ завтра передъ судомъ покажу, какъ мнѣ довольно.... — И Наумъ еще плотнѣе обнялъ Акима....

Прибѣжали работники съ двумя фонарями и веревками ... «Вяжите его!» рѣзко скомандовалъ Наумъ.... Работники ухватили Акима, подняли его, скрутили ему руки назадъ.... Одинъ изъ нихъ началъ-было ругаться, но узнавши стараго хозяина постоялаго двора, замолчалъ и только переглянулся съ другими.

— Вишь, вишь, твердилъ въ это время Наумъ, поводя фонаремъ надъ землей:—вотъ и уголь въ горшкѣ—смотрите-ка, въ горшкѣ цѣлую головешку притащилъ—надо будетъ узнать, гдѣ онъ горшокъ этотъ взялъ.... вотъ онъ и сучьевъ наломалъ.... И Наумъ тщательно затопталъ огонь ногой. — Обыщи-ка его, Ѳедоръ! прибавилъ онъ, нѣтъ ли у него тамъ еще чего?

Ѳедоръ обшарилъ и ощупалъ Акима, который стоялъ неподвижно и повѣсилъ, какъ мертвый, голову на грудь.—Есть, вотъ, ножъ, проговорилъ Ѳедоръ, доставая изъ-за Акимовой пазухи старый кухонный ножъ.

— Эге, любезный, такъ ты вотъ куда мѣтилъ, воскликнулъ Наумъ.—Ребята, вы свидѣтели.... вотъ онъ зарѣзать меня хотѣлъ, дворъ поджечь.... Заприте-ка его до утра въ подвалѣ, оттуда онъ не выскочитъ.... Караулить я самъ всю ночь буду, а завтра чуть-свѣтъ мы его къ исправнику.... а вы свидѣтели, слышите!

Акима втолкнули въ подвалъ — захлопнули за нимъ дверь.... Наумъ приставилъ къ ней двухъ работниковъ и самъ не легъ спать.

Между тѣмъ Ефремова жена, убѣдившись, что ея непрошенный гость удалился—принялась-было за стряпню, хотя на дворѣ еще чуть брезжило.... Въ тотъ день былъ праздникъ. Она присѣла къ печкѣ—достать огоньку, и увидала, что кто-то уже прежде выгребалъ оттуда жаръ; хватилась потомъ ножа—не нашла ножа; наконецъ изъ четырехъ своихъ горшковъ не досчиталась одного. Ефремова жена слыла бабой неглупой—и не даромъ. Она постояла въ раздумьѣ, постояла и пошла въ чуланъ къ мужу. Не легко было добудиться его — и еще труднѣе растолковать ему, зачѣмъ его будили.... На все, что ни говорила дьячиха, Ефремъ отвѣчалъ все одно и то же:

— Ушелъ — ну, Богъ съ нимъ.... я-то что? Унесъ ножъ и горшокъ—ну, Богъ съ нимъ—а я-то что?

Однако, наконецъ, онъ всталъ и, внимательно выслушавъ жену, рѣшилъ, что дѣло это нехорошее, и что этого такъ оставить нельзя.

— Да, твердила дьячиха:—это нехорошо; этакъ онъ, пожалуй, бѣдъ надѣлаетъ, съ отчаянья-то.... Я уже вечóръ видѣла, что онъ не спалъ, такъ лежалъ на печи; тебѣ бы, Ефремъ Александрычъ, не худо бы провѣдать, что-ли....

— Я вамъ, Ульяна Ѳедоровна, чтó доложу, началъ Ефремъ; я на постоялый дворъ теперича поѣду самъ; а вы ужъ будьте ласковы, матушка, дайте мнѣ опохмѣлиться винца стаканчикъ.

Ульяна призадумалась.

— Ну, рѣшила она, наконецъ: — дамъ я тебѣ вина, Ефремъ Александрычъ; только ты, смотри, не балуй.

— Будьте спокойны, Ульяна Ѳедоровна.

И, подкрѣпивъ себя стаканчикомъ, Ефремъ отправился на постоялый дворъ.

Еще только разсвѣтало, когда онъ подъѣхалъ къ двору, а уже у воротъ стояла запряженная телѣга и одинъ изъ работниковъ Наума сидѣлъ на облучкѣ, держа въ рукахъ возжи.

— Куда это? спросилъ его Ефремъ.

— Въ городъ, нехотя отвѣчалъ работникъ.

— Зачѣмъ это?

Работникъ только передернулъ плечами и не отвѣчалъ. Ефремъ соскочилъ съ своей лошадки и вошелъ въ домъ. Въ сѣняхъ ему попался Наумъ, совсѣмъ одѣтый и въ шапкѣ.

— Поздравляемъ съ новосельемъ новаго хозяина, про-

говорилъ Ефремъ, который зналъ его лично.—Куда такъ рано?

— Да, есть съ чѣмъ поздравлять, сурово возразилъ Наумъ. Въ первый же день, да чуть не сгорѣлъ.

Ефремъ дрогнулъ.—Какъ такъ?

— Да такъ, нашелся добрый человѣкъ, поджечь хотѣлъ. Благо на дѣлѣ поймалъ; теперь въ городъ везу.

— Ужъ не Акимъ ли?... медленно спросилъ Ефремъ.

— А ты почемъ знаешь? Акимъ. Пришелъ ночью съ головешкой въ горшкѣ — и ужъ на дворъ пробрался и огонь подложилъ.... всѣ мои ребята свидѣтели.—Хочешь посмотрѣть? Намъ же его кстати пора везти.

— Батюшка, Наумъ Иванычъ, заговорилъ Ефремъ, отпустите его, не погубите вы старика до конца. Не берите этого грѣха на душу, Наумъ Иванычъ. Вы подумайте—человѣкъ въ отчаяніи—потерялся, значитъ....

— Полно врать, перебилъ его Наумъ.—Какъ же! выпущу я его! Да онъ завтра же меня подожжетъ опять....

— Не подожжетъ, Наумъ Иванычъ, повѣрьте. Повѣрьте, вамъ самимъ этакъ будетъ покойнѣе— вѣдь тутъ разспросы пойдутъ, судъ—вѣдь вы сами знаете.

— Такъ что-жъ что судъ? Мнѣ суда бояться нечего.

— Батюшка, Наумъ Иванычъ, какъ суда не бояться....

— Э, полно: ты, я вижу, пьянъ съ утра, а еще сегодня праздникъ.

Ефремъ, вдругъ, совершенно неожиданно заплакалъ.

— Я пьянъ, да правду говорю, пробормоталъ онъ. А вы для праздничка Христова его простите.

— Ну пойдемъ, нюня.

И Наумъ пошелъ къ крыльцу....

— Для Авдотьи Арефьевны его простите, говорилъ Ефремъ, слѣдуя за нимъ.

Наумъ подошелъ къ подвалу, широко отворилъ дверь.

Ефремъ съ боязливымъ любопытствомъ вытянулъ шею изъ-за Наумовой спины, и съ трудомъ различилъ въ углу неглубокаго подвала—Акима. Бывшій богатый дворникъ, уважаемый въ околоткѣ человѣкъ, сидѣлъ съ связанными руками на соломѣ, какъ преступникъ.... Услышавъ шумъ, онъ поднялъ голову.... Казалось, онъ страшно исхудалъ за эти послѣдніе два дня, особенно за эту ночь—впалые глаза едва виднѣлись подъ высокимъ, какъ воскъ пожелтѣвшимъ лбомъ, пересохшія губы потемнѣли.... все лицо его измѣнилось и приняло странное выраженіе: жестокое и запуганное.

— Вставай и выходи, проговорилъ Наумъ.

Акимъ всталъ и шагнулъ черезъ порогъ.

— Акимъ Семенычъ, завопилъ Ефремъ, погубилъ ты свою головушку, голубчикъ!...

Акимъ глянулъ на него молча.

— Зналъ бы я для чего ты вина спрашивалъ — не далъ бы я тебѣ; право, не далъ бы; кажется, самъ бы все выпилъ! Эхъ, Наумъ Иванычъ, прибавилъ Ефремъ, ухвативъ Наума за руку: помилуйте его, отпустите.

— Эка штука, съ усмѣшкой возразилъ Наумъ. — Ну выходи же, прибавилъ онъ, снова обратившись къ Акиму.... Чего ждешь?

— Наумъ Ивановъ.... началъ Акимъ.

— Чего?

— Наумъ Ивановъ, повторилъ Акимъ, послушай: я виноватъ; самъ съ тебя расправы захотѣлъ; а насъ съ тобой Богъ разсудить долженъ. Ты у меня все отнялъ, самъ знаешь, все до послѣдняго. — Теперь ты меня погубить можешь, а только я тебѣ вотъ что скажу: коли ты меня отпустишь теперь — ну! такъ и быть! владѣй всѣмъ! я согласенъ и желаю тебѣ всякой удачи. А я

тебѣ, какъ передъ Богомъ говорю; отпустишь — пенять не будешь. Богъ съ тобой!

Акимъ закрылъ глаза и умолкъ.

— Какъ-же, какъ-же, возразилъ Наумъ: — можно тебѣ повѣрить!

— А, ей Богу, можно, заговорилъ Ефремъ; право можно. Я за него, за Акима Семеныча, головой готовъ поручиться—ну, право.

— Вздоръ! воскликнулъ Наумъ.—Ѣдемъ!

Акимъ посмотрѣлъ на него.

— Какъ знаешь, Наумъ Ивановъ. Твоя воля. Много ты только на душу себѣ берешь. Что-жъ, коли тебѣ-таки ужъ не терпится—ѣдемъ....

Наумъ въ свою очередь зорко поглядѣлъ на Акима. «А въ самомъ дѣлѣ, подумалъ онъ про себя, отпустить его къ чорту! А то меня этакъ, пожалуй, люди поѣдомъ поѣдятъ. Отъ Авдотьи проходу не будетъ».... Пока Наумъ разсуждалъ самъ съ собою—никто не произнесъ ни слова. Работникъ на телѣгѣ, которому сквозь ворота все было видно, только потряхивалъ головой и похлопывалъ по лошади вожжами. Другіе два работника стояли на крылечкѣ и тоже молчали.

— Ну, слушай, старикъ, началъ Наумъ: — когда я тебя отпущу—и вотъ этимъ молодцамъ (онъ указалъ головой на работниковъ) — не велю болтать; что же, мы съ тобой квиты будемъ — понимаешь меня — квиты.... ась?

— Говорятъ тебѣ, владѣй всѣмъ.

— Ты меня въ долгу считать у себя не будешь?

— Ни ты у меня въ долгу не будешь, ни я у тебя.

Наумъ опять помолчалъ.

— А побожись!

— Вотъ какъ Богъ святъ, возразилъ Акимъ.

— Вѣдь вотъ я знаю напередъ, что раскаяваться буду, промолвилъ Наумъ:—да ужъ такъ, куда не шло! Давай сюда руки.

Акимъ повернулся къ нему спиной; Наумъ началъ его развязывать.

— Смотри же старикъ, прибавилъ онъ, стаскивая съ его кистей веревку — помни, я тебя пощадилъ, смотри!

— Голубчикъ вы мой, Наумъ Иванычъ, пролепеталъ тронутый Ефремъ:—Господь васъ помилуетъ!

Акимъ выправилъ опухшія и похолодѣлыя руки и пошелъ-было къ воротамъ....

Наумъ вдругъ, какъ говорится, ожидовѣлъ — знать, ему жаль стало, что выпустилъ Акима. ..

— Ты побожился, смотри, крикнулъ онъ ему вслѣдъ.

Акимъ оборотился, и, обведя глазами кругомъ двора, промолвилъ печально: — Владѣй всѣмъ, на вѣки нерушимо.... прощай.

И онъ тихо вышелъ на улицу въ сопровожденіи Ефрема. Наумъ махнулъ рукой, велѣлъ отпречь телѣгу и вернулся въ домъ.

— Куда же ты, Акимъ Семенычъ, развѣ не ко мнѣ? воскликнулъ Ефремъ, увидавъ, что Акимъ своротилъ съ большой дороги направо.

— Нѣтъ, Ефремушка, спасибо, отвѣтилъ Акимъ.... Пойду посмотрѣть, что жена дѣлаетъ.

— Послѣ посмотришь.... А теперь надо бы на радости—того....

— Нѣтъ, спасибо, Ефремъ.... Довольно и такъ. Прощай. И Акимъ пошелъ не оглядываясь.

— Эка! Довольно и такъ! произнесъ озадаченный дьячекъ:—а я еще за него божился! Вотъ ужъ не ожидалъ я этого, прибавилъ онъ съ досадой — послѣ того, какъ я за него божился. Тьфу!

Онъ вспомнилъ, что забылъ взять ножъ свой и горшокъ, и вернулся на постоялый дворъ.... Наумъ велѣлъ выдать ему его вещи, но даже не подумалъ угостить его. Совершенно раздосадованный и совершенно трезвый явился онъ къ себѣ домой.

— Ну что, спросила его жена: — нашелъ?

— Что̀ нашелъ? возразилъ Ефремъ:—вѣстимо нашелъ: вотъ твоя посуда.

— Акимъ? съ особеннымъ удареніемъ спросила жена.

Ефремъ кивнулъ головой.

— Акимъ. Но каковъ же онъ гусь! Я же за него божился, безъ меня бы ему въ острогѣ пропадать, а онъ хоть бы чарочку мнѣ поднесъ. Ульяна Ѳедоровна, уважьте хоть вы меня, дайте стаканчикъ.

Но Ульяна Ѳедоровна не уважила его и прогнала его съ глазъ долой.

Между тѣмъ Акимъ шелъ тихими шагами по дорогѣ къ деревнѣ Лизаветы Прохоровны. Онъ еще не могъ хорошенько опомниться; вся внутренность въ немъ дрожала, какъ у человѣка, который только-что избѣжалъ явной смерти. Онъ словно не вѣрилъ своей свободѣ. Съ тупымъ изумленіемъ глядѣлъ онъ на поля, на небо, на жаворонковъ, трепетавшихъ въ тепломъ воздухѣ. Наканунѣ, у Ефрема, онъ съ самаго обѣда не спалъ, хоть и лежалъ неподвижно на печи; сперва онъ хотѣлъ виномъ заглушить въ себѣ нестерпимую боль обиды, тоску досады, бѣшенной и безсильной.... но вино не могло одолѣть его до конца; сердце въ немъ расходилось, и онъ началъ придумывать, какъ бы отплатить своему злодѣю.... Онъ думалъ объ одномъ Наумѣ, Лизавета Прохоровна не приходила ему въ голову, отъ Авдотьи онъ мысленно отворачивался. Къ вечеру жажда мести разгорѣлась въ немъ до изступленія, и онъ, добродушный и

слабый человѣкъ, съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ дождался ночи, и какъ волкъ на добычу, съ огнемъ въ рукахъ, побѣжалъ истреблять свой бывшій домъ.... Но вотъ его схватили.... заперли.... Настала ночь. Чего онъ не передумалъ въ эту жестокую ночь! Трудно передать словами все, что́ происходитъ въ человѣкѣ въ подобныя мгновенья, всѣ терзанья, которыя онъ испытываетъ; оно тѣмъ болѣе трудно, что эти терзанья и въ самомъ-то человѣкѣ безсловесны и нѣмы.... Къ утру, передъ приходомъ Наума съ Ефремомъ, Акиму стало какъ-будто легко.... Все пропало! подумалъ онъ.... все на вѣтеръ пошло!... и махнулъ рукой на все.... Если-бъ онъ былъ рожденъ съ душой недоброй, въ это мгновенье онъ могъ бы сдѣлаться злодѣемъ; но зло не было свойственнымъ Акиму. Подъ ударомъ неожиданнаго и незаслуженнаго несчастья, въ чаду отчаянья, рѣшился онъ на преступное дѣло; оно потрясло его до основанія, и не удавшись, оставило въ немъ одну глубокую усталость.... Чувствуя свою вину, оторвался онъ сердцемъ отъ всего житейскаго и началъ горько, но усердно молиться. Сперва молился шепотомъ, наконецъ онъ, можетъ быть, случайно, громко произнесъ: Господи!—и слезы брызнули изъ его глазъ.... Долго плакалъ онъ, и утихъ наконецъ.... Мысли его вѣроятно бы измѣнились, если-бъ ему пришлось поплатиться за свою вчерашнюю попытку.... но вотъ онъ вдругъ получилъ свободу.... и онъ шелъ на свиданіе съ женою, полуживой, весь разбитый, но спокойный.

Домъ Лизаветы Прохоровны стоялъ въ полутора верстахъ отъ ея деревни, на лѣво отъ проселка, по которому шелъ Акимъ. У поворота, ведущаго къ господской усадьбѣ, онъ остановился-было.... и прошелъ мимо. Онъ рѣшился сперва зайдти въ свою бывшую избу къ старику дядѣ.

Акимова изба нахо-
и; Акимъ прошелъ
есь народъ былъ у
подняла окошечко,
чка, выбѣжавшая
алась на него и
еловѣкъ, ему по-
ь дядя, котораго
осидѣлъ на заваекъ и грѣясь на
оттого онъ и въ
ался-было навѣ-
ѣда, какъ вдругъ
устилъ его до
илъ:

я старика, во-
стояли его ло-
куры.... Онъ
лъ за нимъ.
ее кулаками.
его, стоя у

илъ старикъ.
да сундуки

охомъ, по-
пь, ты мнѣ

— Помнишь, ты мнѣ сказалъ, что, дескать, я вамъ мужикамъ не свой братъ, а теперь вотъ какія времена подошли.... Самъ голъ, какъ соколъ, сталъ.

— Про дурныхъ людей не напасешься, отвѣчалъ старикъ: — а его безсовѣстнаго кабы кто могъ проучить хорошенько, баринъ, напримѣръ, какой, или другая власть, а то чего ему бояться? Волкъ, такъ волчью хватку и знаетъ. — И старикъ надѣлъ шапку и отправился.

Авдотья только-что возвратилась изъ церкви, когда ей сказали, что мужнинъ дядя ее спрашиваетъ. До того времени она очень рѣдко его видала; онъ къ нимъ на постоялый дворъ не хаживалъ и вообще слылъ за чудака: до страсти любилъ табакъ и все больше помалчивалъ.

Она вышла къ нему.

— Чего тебѣ, Петровичъ, аль что случилось?

— Ничего не случилось, Авдотья Арефьевна; мужъ тебя спрашиваетъ.

— Развѣ онъ вернулся?

— Вернулся.

— Да гдѣ-жъ онъ?

— А на деревнѣ, въ избѣ сидитъ.

Авдотья оробѣла.

— Что, Петровичъ, спросила она, глядя ему прямо въ глаза:—серчаетъ онъ?

— Не видать, чтобы серчалъ.

Авдотья потупилась.

— Ну, пойдемъ, промолвила она, надѣла большой платокъ и оба отправились. Молча шли они до самой деревни. Когда же стали они приближаться къ избѣ, Авдотью страхъ разобралъ такой, что колѣнки у ней задрожали.

— Батюшка, Петровичъ, проговорила она:—войди ты первый.... Скажи ему, что я, молъ, пришла.

Петровичъ вошелъ въ избу и нашелъ Акима сидящаго въ глубокомъ раздумьѣ на томъ же самомъ мѣстѣ, на которомъ онъ его оставилъ.

— Что, промолвилъ Акимъ, поднявъ голову:—али не пришла?

— Пришла, возразилъ старикъ.—У воротъ стоитъ....

— Ну, пошли ее сюда.

Старикъ вышелъ, махнулъ Авдотьѣ рукой, сказалъ ей: ступай, а самъ опять присѣлъ на заваленкѣ. Авдотья съ трепетомъ отперла дверь, переступила порогъ и остановилась....

Акимъ посмотрѣлъ на нее.

— Ну, Арефьевна, началъ онъ:—что́ мы теперь съ тобою будемъ дѣлать?

— Виновата, прошептала она.

— Эхъ, Арефьевна, всѣ мы грѣшные люди. Что тутъ толковать-то!

— Это онъ, злодѣй, погубилъ насъ обоихъ, заговорила Авдотья звенящимъ голосомъ, и слезы потекли по ея лицу.—Ты, Акимъ Семенычъ, этого такъ не оставляй, получи съ него деньги-то. Ты меня не жалѣй. Я подъ присягой готова показать, что деньги ему взаймы дала. Лизавета Прохоровна вольна была дворъ нашъ продать, онъ-то за что насъ грабитъ.... Получи съ него деньги.

— Мнѣ съ него не приходится получать деньги, угрюмо возразилъ Акимъ.—Мы съ нимъ разсчитались.

Авдотья изумилась.—Какъ такъ?

— Да такъ. Знаешь ли ты, продолжалъ Акимъ, и глаза его загорѣлись: — знаешь ли ты, гдѣ я провелъ ночь? Не знаешь? У Наума въ подвалѣ, по рукамъ, по ногамъ связанный, какъ баранъ, вотъ гдѣ я провелъ ночь. Я у него дворъ хотѣлъ поджечь, да онъ

меня поймалъ, Наумъ-то; ловокъ онъ больно! А сегодня меня собирался въ городъ везти, да ужъ такъ помиловалъ; стало-быть мнѣ съ него денегъ не приходится получать. Да и какъ я получу съ него деньги.... А когда, скажетъ онъ, я у тебя занималъ деньги? Что-жъ мнѣ сказать; жена ихъ у меня подъ поломъ отрыла да и снесла тебѣ? Вретъ, онъ скажетъ, твоя жена. Али тебѣ, Арефьевна, огласки мало? Молчи ужъ лучше, говорятъ тебѣ, молчи.

— Виновата, Семенычъ, виновата, шепнула снова перепуганная Авдотья.

— Не въ томъ дѣло, возразилъ Акимъ, помолчавъ немного:—а что́ мы будемъ дѣлать съ тобой! Дома у насъ теперь не стало.... денегъ тоже....

— Какъ-нибудь перебьемся, Акимъ Семенычъ; Лизавету Прохоровну попросимъ, она намъ поможетъ, мнѣ Кирилловна обѣщала.

— Нѣтъ, Арефьевна, ужъ ты сама ее проси съ твоей Кирилловной сообща; вы вѣдь одного поля ягодки. Я вотъ что тебѣ скажу: ты здѣсь оставайся, съ Богомъ; я здѣсь не останусь. Благо у насъ дѣтей нѣтъ, а я одинъ авось не пропаду. Одна голова не бѣдна.

— Что́ же ты, Семенычъ, аль опять въ извозъ пойдешь?

Акимъ горько засмѣялся.

— Хорошъ я извощикъ, нѣча сказать. Вотъ нашла молодца. Нѣтъ, Арефьевна, вѣдь это дѣло не то, что, примѣрно сказать, жениться; на это дѣло старикъ не годится. Я только здѣсь не хочу остаться, вотъ что; не хочу, чтобы на меня пальцами тыкали.... понимаешь? Я пойду грѣхи свои отмаливать, Арефьевна, вотъ я куда пойду.

— Какіе же твои грѣхи, Семенычъ? робко произнесла Авдотья.

— Ужъ про нихъ, жена, я самъ знаю.

— Да на кого же ты меня оставишь, Семенычъ? Какъ я безъ мужа жить-то буду?

— На кого я тебя оставлю? Эхъ, Арефьевна, какъ ты это говоришь, право. Очень тебѣ нуженъ такой мужъ, какъ я, да еще старый, да еще разоренный. Какъ же! Обходилась прежде, обойдешься и впередъ. А добро, какое еще у насъ осталось, возьми себѣ, ну его!...

— Какъ знаешь, Семенычъ, печально возразила Авдотья:—ты лучше это знаешь.

— То-то. Только ты не думай, чтобъ я серчалъ на тебя, Арефьевна. Нѣтъ, чего серчать, когда ужъ того.... Прежде надо было спохватиться. Самъ я виноватъ—и наказанъ (Акимъ вздохнулъ).—Люби кататься, люби и саночки возить. Лѣта мои старыя, пора о душенькѣ своей подумать. Меня самъ Господь вразумилъ. Вишь я старый дуракъ, съ молодой женой хотѣлъ въ свое удовольствіе пожить.... Нѣтъ, братъ-старикъ, ты сперва помолись, да лбомъ о-земь постучи, да потерпи, да попостись.... А теперь, ступай, мать моя. Усталъ я очень, сосну маленько.

И Акимъ протянулся, кряхтя на лавкѣ.

Авдотья хотѣла-было что-то сказать, постояла, поглядѣла, отвернулась и ушла.... Она не ожидала, что такъ дешево отдѣлается.

— Что, не побилъ? спросилъ ее Петровичъ, сидя, весь сгорбленный, на заваленкѣ, когда она съ нимъ поровнялась. Авдотья молча прошла мимо.—Вишь, не побилъ, произнесъ про себя старикъ, усмѣхнулся, взъерошилъ бороду и понюхалъ табаку.

Акимъ исполнилъ свое намѣреніе. Онъ устроилъ наскоро свои дѣлишки, и нѣсколько дней спустя, послѣ переданнаго нами разговора, зашелъ, одѣтый по дорожному, проститься съ своей женой, которая поселилась на время во флигелькѣ господскаго дома. Прощаніе ихъ продолжалось недолго.... Тутъ же случившаяся Кирилловна присовѣтовала Акиму явиться къ барынѣ; онъ явился къ ней. Лизавета Прохоровна приняла его съ нѣкоторымъ смущеніемъ, но благосклонно допустила его къ рукѣ, и спросила, куда онъ намѣренъ идти? Онъ отвѣчалъ, что пойдетъ сперва въ Кіевъ, а оттуда, куда Богъ дастъ. Она похвалила его и отпустила. Съ тѣхъ поръ онъ очень рѣдко показывался домой, хотя никогда не забывалъ принести барынѣ просвиру съ вынутымъ заздравнымъ.... За то вездѣ, куда только стекаются богомольные русскіе люди, можно было увидѣть его исхудавшее и постарѣвшее, но все еще благообразное и стройное лицо: и у раки св. Сергія, и у Бѣлыхъ береговъ и въ Оптиной пустынѣ, и въ отдаленномъ Валаамѣ; вездѣ бывалъ онъ....

Въ нынѣшнемъ году онъ проходилъ мимо васъ, въ рядахъ несмѣтнаго народа, идущаго крестнымъ ходомъ за иконой Богородицы въ Коренную; на слѣдующій годъ вы заставали его сидящимъ, съ котомкой за плечами, вмѣстѣ съ другими странниками, на паперти Николая чудотворца во Мценскѣ.... въ Москву онъ являлся почти каждую весну.

Изъ края въ край скитался онъ своимъ тихимъ, не торопливымъ, но безостановочнымъ шагомъ — говорятъ онъ побывалъ въ самомъ Іерусалимѣ.... Онъ казался совершенно спокойнымъ и счастливымъ, и много говорили о его набожности и смиренномудріи тѣ люди, которымъ удавалось съ нимъ бесѣдовать.

А Наумово хозяйство шло между тѣмъ, какъ нельзя

лучше. Живо и толково принялся онъ за дѣло и, какъ говорится, круто пошелъ въ гору. Всѣ въ околоткѣ знали, какими средствами досталъ онъ себѣ постоялый дворъ, знали также, что Авдотья отдала ему мужнины деньги; никто не любилъ Наума за его холодный и рѣзкій нравъ.... съ укоризной разсказывали про него, будто онъ однажды самому Акиму, попросившему у него подъ окномъ милостыню, отвѣчалъ, что Богъ, молъ, подастъ, и ничего не вынесъ ему; но всѣ соглашались, что счастливѣй его человѣка не было; хлѣбъ у него родился лучше, чѣмъ у сосѣдей; пчелы роились больше; куры даже чаще неслись; скотъ никогда не болѣлъ, лошади не хромали.... Авдотья долго не могла слышать его имени (она приняла предложеніе Лизаветы Прохоровны, и снова поступила къ ней на службу въ качествѣ главной швеи); но подъ конецъ ея отвращеніе нѣсколько уменьшилось; говорятъ, нужда заставила ее прибѣгнуть къ нему и онъ далъ ей рублей сто.... Не будемъ слишкомъ строго судить ее: бѣдность хоть кого скрутитъ, а внезапный переворотъ въ ея жизни очень ее состарилъ и смирилъ: трудно повѣрить, какъ скоро она подурнѣла, какъ опустилась и упала духомъ...

— Чѣмъ же все кончилось? спроситъ читатель.

А вотъ чѣмъ: Наумъ, удачно хозяйничавши лѣтъ пятнадцать, выгодно сбылъ свой дворъ другому мѣщанину.... Онъ бы никогда не разстался съ своимъ дворомъ, если-бъ не случилось слѣдующаго, повидимому, незначительнаго обстоятельства: два утра сряду собака его, сидя передъ окнами, протяжно и жалобно выла; онъ во второй разъ вышелъ на улицу, внимательно посмотрѣлъ на воющую собаку, покачалъ головой, отправился въ городъ и въ тотъ же день сошелся въ цѣнѣ съ мѣщаниномъ, который уже давно приторговывался къ его двору.... Черезъ недѣлю онъ уѣхалъ куда-то далеко—изъ губерніи вонъ; но-

вый хозяинъ переселился на его мѣсто, и что же? въ тотъ же самый вечеръ дворъ сгорѣлъ до тла, ни одна клѣть не уцѣлѣла, и Наумовъ наслѣдникъ остался нищимъ. Читатель легко себѣ представитъ, какія поднялись толки въ сосѣдствѣ по случаю этого пожара.... Видно онъ свою «задачу» съ собой унесъ, твердили всѣ.... О немъ ходятъ слухи, будто онъ занялся хлѣбной торговлей и разбогатѣлъ сильно. Но на долго ли? Не такіе столбы валились, и злому дѣлу рано или поздно приходитъ злой конецъ. О Лизаветѣ Прохоровнѣ много сказать нечего: она жива до сихъ поръ и, какъ это часто бываетъ съ людьми такого рода, ни въ чемъ не измѣнилась, даже не слишкомъ постарѣла, только какъ-будто суше стала; притомъ, скупость въ ней чрезвычайно усилилась, хотя трудно понять, для кого это она все бережетъ, не имѣя дѣтей и не будучи ни къ кому привязана. Въ разговорѣ она часто упоминаетъ объ Акимѣ и увѣряетъ, что съ тѣхъ поръ, какъ узнала всѣ его качества, она русскаго мужика очень стала уважать. Кирилловна отъ нея откупилась за порядочныя деньги и вышла замужъ по любви за какого-то молодого, бѣлокураго оффиціанта, отъ котораго терпитъ муку горькую; Авдотья живетъ по прежнему на женской половинѣ у Лизаветы Прохоровны, но опустилась еще нѣсколькими ступенями ниже, одѣвается очень бѣдно, почти грязно, и отъ столичныхъ замашекъ модной горничной, отъ привычекъ зажиточной дворничихи не осталось уже въ ней и слѣда.... Ее никто не замѣчаетъ, и она сама рада, что ее не замѣчаютъ; старикъ Петровичъ умеръ, а Акимъ все еще странствуетъ—и Богъ одинъ знаетъ, сколько ему еще придется странствовать!

1852 г.

ДВА ПРІЯТЕЛЯ.

Весной 184.... года, Борисъ Андреичъ Вязовнинъ, молодой человѣкъ лѣтъ двадцати-шести, пріѣхалъ въ свое родовое помѣстье, лежащее въ одной изъ губерній средней полосы Россіи. Онъ только-что вышелъ въ отставку— «по домашнимъ обстоятельствамъ» — и намѣревался заняться хозяйствомъ. Мысль благая, конечно! но возымѣлъ ее Борисъ Андреичъ, какъ оно, впрочемъ, большею частію бываетъ—противъ воли. Доходы его уменьшались съ каждымъ годомъ, долги увеличивались: онъ убѣдился въ невозможности продолжать службу, жить въ столицѣ, — словомъ, жить, какъ жилъ до тѣхъ поръ, и рѣшился, скрѣпя сердце, посвятить нѣсколько лѣтъ на исправленіе тѣхъ «домашнихъ обстоятельствъ», по милости которыхъ онъ внезапно очутился въ деревенской глуши.

Вязовнинъ нашелъ свое имѣніе разстроеннымъ, усадьбу запущенной, домъ чуть не въ развалинахъ; смѣнилъ старосту, уменьшилъ оклады дворовыхъ; очистилъ себѣ двѣ-три комнаты и велѣлъ положить новыя тесинки тамъ, гдѣ протекала крыша; прочемъ, не предпринялъ никакихъ рѣзкихъ мѣръ и не затѣялъ никакихъ усовершенствованій вслѣдствіе той, повидимому, простой мысли, что должно по крайней мѣрѣ узнать сперва то, что желаешь усовершенствовать.... Вотъ онъ и принялся узнавать хозяйство, началъ, какъ говорится, входить въ сущность дѣла. Дол-

жно признаться, что входилъ онъ въ сущность дѣла безъ особеннаго рвенія и не торопясь. Съ непривычки онъ скучалъ въ деревнѣ сильно, и часто не могъ придумать, куда и на что употребить цѣлый длинный день. Сосѣдей у него было довольно много, но онъ не знался съ ними,— не потому, чтобы чуждался ихъ, а такъ, какъ-то, не приходилось ему съ ними сталкиваться; наконецъ уже осенью, довелось ему познакомиться съ однимъ изъ самыхъ близкихъ ему сосѣдей. Его звали Петромъ Васильичемъ Крупицынымъ. Онъ когда-то служилъ въ кавалеріи и вышелъ въ отставку поручикомъ. Между его мужиками и Вязовнинскими, съ незапамятныхъ временъ, шелъ споръ о двухъ съ половиною десятинахъ сѣнокосной земли. Дѣло нерѣдко доходило до драки; копны сѣна таинственно переѣзжали съ мѣста на мѣсто; происходили разныя непріятности, и, вѣроятно, много еще лѣтъ продолжался бы этотъ споръ, если-бъ Крупицынъ, узнавъ стороной о миролюбивыхъ свойствахъ Бориса Андреича, не поѣхалъ къ нему для личнаго объясненія. Объясненіе это имѣло послѣдствія очень пріятныя: во-первыхъ, дѣло прекратилось тотчасъ же и навсегда, къ обоюдному удовольствію владѣльцевъ; а во-вторыхъ, и сами они другъ другу понравились, стали часто видѣться, а къ зимѣ сошлись уже такъ, что почти не разставались.

И между тѣмъ общаго между ними было немного. Вязовнинъ, какъ человѣкъ хотя самъ не богатый, но происходившій отъ богатыхъ родителей, получилъ хорошее воспитаніе, учился въ университетѣ, зналъ разные языки, любилъ заниматься чтеніемъ книгъ и вообще могъ считаться человѣкомъ образованнымъ. Крупицынъ, напротивъ, говорилъ съ грѣхомъ пополамъ по-французски, безъ особенной нужды книги въ руки не бралъ и скорѣе принадлежалъ къ числу людей необразованныхъ. Наружностью пріятели тоже мало похо-

дили другъ на друга: Вязовнинъ былъ довольно высокаго роста, худъ, бѣлокуръ и смахивалъ на англичанина, держалъ свою особу, особенно руки, въ большой чистотѣ, одѣвался изящно и щеголялъ галстухами... столичныя привычки! Крупицынъ, напротивъ, былъ роста небольшого, сутуловатъ, смуглъ, черноволосъ, и лѣто и зиму ходилъ въ какомъ-то пальто-сакѣ, съ оттопыренными карманами, изъ сукна бронзоваго цвѣта. «Мнѣ этотъ цвѣтъ за то нравится—говаривалъ Петръ Васильичъ — что онъ не марокъ». Цвѣтъ сукна дѣйствительно не былъ марокъ, но само сукно порядкомъ позапачкалось. Вязовнинъ любилъ хорошо покушать и охотно говорилъ о томъ, какъ пріятно хорошо кушать и чтó значитъ имѣть вкусъ; Крупицынъ ѣлъ все, чтó ни подавали ему, лишь бы только было надъ чѣмъ потрудиться. Попадались ли ему щи съ кашей—онъ съ удовольствіемъ хлебалъ щи и заѣдалъ ихъ кашей; представлялся ли ему нѣмецкій жидкій супъ—онъ съ той же готовностью налегалъ на супъ, а случалась тутъ каша—онъ и кашу туда же валилъ въ тарелку,— и ничего. — Квасъ любилъ онъ, по собственному выраженію, какъ отца родного, а вина французскія, особенно красныя, терпѣть не могъ и называлъ кислятиной. Вообще Крупицынъ былъ очень далекъ отъ брезгливости, тогда какъ Вязовнинъ мѣнялъ въ день два носовыхъ платка. Словомъ, пріятели, какъ мы уже сказали выше, не походили другъ на друга. Одно въ нихъ было общее: оба они были, чтó называется, добрые малые, простые ребята. Крупицынъ такимъ родился, а Вязовнинъ сталъ такимъ. Кромѣ того они оба еще отличались тѣмъ, что ни тотъ, ни другой ничего особеннаго не любилъ, т.-е. не имѣлъ ни къ чему особенной страсти или привязанности. Крупицынъ шестью или восемью годами былъ старше Вязовнина.

Дни ихъ проходили довольно однообразно. Обыкновенно утромъ, однако не слишкомъ рано, часовъ въ десять— Борисъ Андреичъ еще сидѣлъ возлѣ окна, въ красивомъ шлафрокѣ нараспашку, причесанный, вымытый и въ бѣлой, какъ снѣгъ рубашкѣ, съ книжкой и чашкой чаю:— дверь отворялась, и входилъ Петръ Васильичъ, съ обычнымъ своимъ небрежнымъ видомъ. Деревенька его находилась всего въ полу-верстѣ отъ Вязовны (такъ называлось имѣніе Бориса Андреича). Притомъ, Петръ Васильичъ очень часто оставался на ночь у Бориса Андреича. «А, здравствуйте! — говорили они оба въ одно время.—Какъ почивали»? И тутъ же Ѳедюшка (мальчикъ лѣтъ пятнадцати, одѣтый казачкомъ, у котораго даже волосы, стоявшіе дыбомъ, какъ у турухтана весной, на затылкѣ, имѣли видъ заспанный) приносилъ Петру Васильичу его шлафрокъ изъ бухарской матеріи, и Петръ Васильичъ, предварительно крякнувъ, облекался въ свой шлафрокъ и принимался за чай и за трубку. Тутъ начинались разговоры — разговоры неторопливые, съ промежутками и роздыхами: говорили о погодѣ, о вчерашнемъ днѣ, о полевыхъ работахъ и хлѣбныхъ цѣнахъ; говорили также о близлежащихъ помѣщикахъ и помѣщицахъ. Въ первые дни своего знакомства съ Борисомъ Андреичемъ, Петръ Васильичъ почиталъ за долгъ и даже радовался случаю разспрашивать сосѣда о столичной жизни, о наукѣ и образованности вообще—вообще о возвышенныхъ предметахъ; отвѣты Бориса Андреича занимали, часто удивляли его и возбуждали его вниманіе, но въ то же время причиняли ему нѣкоторую усталость, такъ что въ скорости всѣ подобные разговоры прекратились; да и самъ Борисъ Андреичъ, съ своей стороны, не обнаруживалъ излишняго желанія возобновлять ихъ. Случалось впослѣдствіи — и то изрѣдка — что Петръ Васильичъ спроситъ

вдругъ Бориса Андреича, напримѣръ, о томъ, что, дескать, за вещь электрическій телеграфъ, и выслушавъ не совсѣмъ ясное толкованіе Бориса Андреича, помолчитъ, скажетъ: «да, это удивительно», и уже долго потомъ не любопытствуетъ ни о какомъ ученомъ предметѣ. Большею частью разговоры между ними происходили въ родѣ слѣдующаго. Петръ Васильичъ, напримѣръ, наберется дыму изъ трубки и, выпуская его черезъ ноздри, спроситъ:

— А чтó это у васъ за новая дѣвушка? я на заднемъ крыльцѣ видѣлъ, Борисъ Андреичъ.

Борисъ Андреичъ, въ свою очередь, поднесетъ сигарку ко рту, пыхнетъ раза два и, отхлебнувъ глотокъ холоднаго чаю со сливками, промолвитъ:

— Какая новая дѣвушка?

Петръ Васильичъ нагнется нѣсколько въ бокъ и, глянувъ въ окно на дворъ, гдѣ собака только-что укусила босого мальчика за икру, возразитъ:

— Бѣлокурая такая.... недурная.

— А! воскликнетъ, немного погодя, Борисъ Андреичъ:—это у меня новая прачка.

— Откуда? спроситъ Петръ Васильичъ, словно удивившись.

— Изъ Москвы. Въ ученьѣ была.

И оба помолчатъ.

— А сколько у васъ всѣхъ прачекъ, Борисъ Андреичъ? спроситъ опять Петръ Васильичъ, внимательно глядя на вспыхивающій съ сухимъ трескомъ табакъ, подъ нагорѣвшею золою въ трубкѣ.

— Три, отвѣчаетъ Борисъ Андреичъ.

— Три! У меня только одна. И одной-то дѣлать почти нечего. Вѣдь у меня, вы сами знаете, какое мытье!

— Гм! отвѣчаетъ Борисъ Андреичъ.

И разговоръ прекращается на время.

ками; ничего у ней не спо-
е рвалось, кушанье не дова-
тръ Васильичъ называлъ ее

ть къ хлѣбосольству, Петръ
ебя гостей и угощать ихъ,
въ своихъ. Особенно ста-
посѣщалъ его Борисъ Ан-
оніи, которая, впрочемъ,
на каждомъ шагу отъ
тра Васильича выходили
й частью ограничивались
и рюмкой водки, о кото-
праведливо, говоря, что
ослѣ прогулки оба пріі-
риса Андреича и обѣ-
, какъ-будто завтрака и
влялся куда-нибудь въ
два-три; Борисъ Ан-
чные журналы. Вече-
уже между ними заве-
грать въ преферансъ,
ли такимъ же обра-
Петръ Васильичъ
ьно пріятнымъ те-
льичъ очень любилъ
ъ Андреичъ, кото-
ести имени Бетхо-
сквы фортепьяно.
Васильичъ имѣлъ
ко времени его
чувствомъ и нѣс-
щіе стихи:

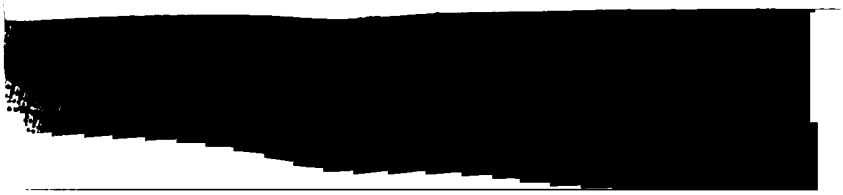
Въ такихъ занятіяхъ проходило утро и наступало время завтрака. Петръ Васильичъ особенно любилъ завтракъ и утверждалъ, что двѣнадцатый часъ — это есть самое то время, когда хочется человѣку ѣсть; и дѣйствительно: онъ въ этотъ часъ ѣлъ такъ весело, съ такимъ здоровымъ и пріятнымъ аппетитомъ, что, глядя на него, даже нѣмецъ бы порадовался: такъ славно завтракалъ Петръ Васильичъ! Борисъ Андреичъ кушалъ гораздо меньше: съ него достаточно было куриной котлетки, или двухъ яичекъ въ смятку съ масломъ и какой-нибудь англійской приправы въ хитро устроенномъ и патентованномъ сосудѣ, за которую платилъ онъ большія деньги и которую втайнѣ находилъ отвратительною, хотя и увѣрялъ, что безъ нея ничего въ ротъ взять не можетъ. Послѣ завтрака и до обѣда, оба пріятеля, если погода была хорошая, ходили по хозяйству, или такъ, просто гуляли, смотрѣли какъ объѣзжались молодыя лошади и т. д. Иногда добиралися они до деревни Петра Васильича и изрѣдка заходили въ его домикъ.

Домикъ этотъ, небольшой и ветхій, скорѣе походилъ на простую дворовую лачужку, чѣмъ на жилище помѣщика. По соломенной крышѣ, кругомъ пробуравленной воробьиными и галочными гнѣздами, росъ зеленый мохъ; изъ двухъ осиновыхъ срубовъ, нѣкогда сплоченныхъ и прилаженныхъ, одинъ откинулся назадъ, другой покачнулся въ бокъ и вросъ въ землю; словомъ, плохъ былъ домъ Петра Васильича снаружи, плохъ изнутри. Но Петръ Васильичъ не унывалъ: будучи человѣкомъ холостымъ и вообще невзыскательнымъ, онъ мало радѣлъ объ удобствахъ жизни и довольствовался уже тѣмъ, что имѣлъ мѣстечко, гдѣ могъ по нуждѣ укрыться отъ ненастья и холода. Хозяйствомъ его завѣдывала ключница Македонія, женщина среднихъ лѣтъ, очень усердная и даже чест-

ная, но съ несчастными руками; ничего у ней не спорилось: посуда билась, бѣлье рвалось, кушанье не доваривалось или пригорало. Петръ Васильичъ называлъ ее Калигулой.

Имѣя врожденную склонность къ хлѣбосольству, Петръ Васильичъ любилъ видѣть у себя гостей и угощать ихъ, несмотря на скудность средствъ своихъ. Особенно старался и хлопоталъ онъ, когда посѣщалъ его Борисъ Андреичъ; но по милости Македоніи, которая, впрочемъ, чуть не летѣла съ ногъ долой на каждомъ шагу отъ усердія, угощенія бѣднаго Петра Васильича выходили всегда очень неудачны и большей частью ограничивались кускомъ зачерствѣлаго балыка и рюмкой водки, о которой онъ отзывался совершенно справедливо, говоря, что она отлична *противъ* желудка. Послѣ прогулки оба пріятеля возвращались въ домъ Бориса Андреича и обѣдали не спѣша. Покушавши такъ, какъ-будто завтрака и не было, Петръ Васильичъ отправлялся куда-нибудь въ уединенный уголъ и спалъ часика два-три; Борисъ Андреичъ въ это время читалъ заграничные журналы. Вечеромъ пріятели опять сходились: такая уже между ними завелась дружба! Иногда они садились играть въ преферансъ, вдвоемъ, иногда просто разговаривали такимъ же образомъ, какъ поутру; случалось, что Петръ Васильичъ бралъ со стѣны гитару и пѣлъ довольно пріятнымъ тенoромъ разные романсы. Петръ Васильичъ очень любилъ музыку, — гораздо болѣе, чѣмъ Борисъ Андреичъ, который безъ восхищенія не могъ произнести имени Бетховена и все собирался выписать изъ Москвы фортепьяно. Въ минуту грусти или унынія Петръ Васильичъ имѣлъ привычку пѣть романсъ, относившійся ко времени его службы въ полку.... Съ особеннымъ чувствомъ и нѣсколько въ носъ произносилъ онъ слѣдующіе стихи:

*



«Кухню намъ французъ не правитъ,
А денщикъ варитъ обѣдъ....
Славный Роде не играетъ,
Каталани не поетъ....
Трубачъ зорю отхватаетъ,
Вахмистръ съ рапортомъ придетъ».

Борисъ Андреичъ изрѣдка ему подтягивалъ, но голосъ у него былъ непріятный и невѣрный. Часу въ десятомъ, а иногда и раньше, пріятели расходились.... и на другой день снова начиналось то же.

Вотъ, однажды, сидя по обыкновенію, нѣсколько вкось и напротивъ Бориса Андреича, Петръ Васильичъ поглядѣлъ на него довольно пристально и промолвилъ задумчивымъ голосомъ:

— Одному я удивляюсь, Борисъ Андреичъ....

— Чему это? спросилъ тотъ.

— Вотъ чему. Вы человѣкъ молодой, умный, образованный: что́ вамъ за охота жить въ деревнѣ?

Борисъ Андреичъ посмотрѣлъ съ удивленіемъ на своего сосѣда.

— Вы вѣдь знаете, Петръ Васильичъ, проговорилъ онъ наконецъ:—что если-бъ не мои обстоятельства.... Обстоятельства меня къ этому принуждаютъ, Петръ Васильичъ.

— Обстоятельства? обстоятельства ваши пока еще ничего.... Съ вашимъ имѣньемъ можно жить. Опредѣлитесь на службу.

И, помолчавъ немного, Петръ Васильичъ прибавилъ:

— Я на вашемъ мѣстѣ поступилъ бы въ уланы.

— Въ уланы? Почему же именно въ уланы?

— Такъ, мнѣ кажется, вамъ приличнѣе быть въ уланахъ.

— Но позвольте: вы сами служили въ гусарахъ?

— Я? Конечно въ гусарахъ, съ живостью заговорилъ Петръ Васильичъ — и въ какомъ полку! Такого другого

полка въ цѣломъ свѣтѣ не найдешь! Золотой былъ полкъ! Начальники, товарищи — что́ за люди были! Но вамъ.... я не знаю.... вамъ, по моему, надо въ уланы. Вы бѣлокуры, талія у васъ тоненькая: все это идетъ.

— Но позвольте, Петръ Васильичъ; вы забываете, что, въ силу военныхъ узаконеній, я долженъ буду начать съ юнкерскаго чина. Въ мои годы это нѣсколько затруднительно. Кажется, даже оно запрещено.

— И то правда, замѣтилъ Петръ Васильичъ и потупился.— Ну, въ такомъ случаѣ женитесь, произнесъ онъ вдругъ, поднявъ голову.

— Какой у васъ, однако, сегодня странный оборотъ мыслей, Петръ Васильичъ! воскликнулъ Борисъ Андреичъ.

— Почему же странный? Что́ въ самомъ дѣлѣ жить такъ-то? Чего дождетесь? Только время упустите. Желаю я знать, какая вамъ оттого будетъ польза, что вы не женитесь?

— Да не въ пользѣ дѣло, началъ было Борисъ Андреичъ.

— Нѣтъ, позвольте, перебилъ его Петръ Васильичъ, неожиданно войдя въ азартъ.—Это мнѣ удивительно, отчего въ нынѣшнее время молодые люди такъ боятся жениться! Я этого просто понять не могу. Вы, Борисъ Андреичъ, не смотрите на меня, что я не женатъ. Я, можетъ быть, и хотѣлъ, и предлагалъ, да мнѣ вотъ что̀ показали.

И тутъ Петръ Васильичъ поднялъ кверху указательный палецъ правой руки, обративъ его наружной стороной къ Борису Андреичу.

— А съ вашимъ состояніемъ какъ не жениться?

Борисъ Андреичъ внимательно глядѣлъ на Петра Васильича.

— Весело, что ли, холостымъ-то жить? продолжалъ

Петръ Васильичъ. — Эка нéвидаль! вотъ радость-то!... Право, меня нынѣшніе молодые люди удивляютъ.

И Петръ Васильичъ съ досадой выколотилъ трубку о ручку креселъ и сильно дунулъ въ чубукъ.

— Да кто вамъ сказалъ, Петръ Васильичъ, что я не намѣренъ жениться? медленно проговорилъ Борисъ Андреичъ.

Петръ Васильичъ какъ полѣзъ пальцами въ свой вышитый блестками бархатный массаковаго цвѣта кисетъ съ табакомъ, такъ и остался недвижимъ. Слова Бориса Андреича его изумили.

— Да, продолжалъ Борисъ Андреичъ: — я готовъ жениться. Сыщите мнѣ невѣсту, и я женюсь.

— Право?

— Право.

— Нѣтъ, ей-Богу?

— Какой вы, Петръ Васильичъ; ей-Богу, я не шучу.

Петръ Васильичъ набилъ себѣ трубку.

— Ну, смотрите-жъ, Борисъ Андреичъ. Невѣста вамъ будетъ.

— Хорошо, возразилъ Борисъ Андреичъ:—но послушайте, въ сущности, для чего вы хотите женить меня?

— А для того, что вы, какъ посмотрю на васъ, не имѣете способности этакъ ничего не дѣлать.

Борисъ Андреичъ улыбнулся.

— Мнѣ, напротивъ, до сихъ поръ казалось, что я на это мастеръ.

— Вы меня не такъ поняли, промолвилъ Петръ Васильичъ и перемѣнилъ разговоръ.

Дня два спустя, Петръ Васильичъ явился къ своему сосѣду не въ обыкновенномъ своемъ пальто-сакѣ, а въ сюртукѣ, цвѣта воронова крыла, съ высокой тальею, крошечными пуговицами и длинными рукавами. Усы Петра

Васильича казались почти черными отъ фабры, а волосы, круто завитые спереди, въ видѣ двухъ продолговатыхъ колбасокъ, ярко лоснились помадой. Большой бархатный галстухъ, съ атласнымъ бантомъ, туго сжималъ шею Петра Васильича и придавалъ торжественную неподвижность и праздничную осанку всей верхней части его туловища.

— Чтó значитъ этотъ туалетъ? спросилъ Борисъ Андреичъ.

— А то значитъ этотъ туалетъ, отвѣтилъ Петръ Васильичъ, опускаясь на кресла не съ обычной своей развязностью,—что велите заложить коляску. Мы ѣдемъ.

— Куда это?

— Къ невѣстѣ.

— Къ какой невѣстѣ?

— А вы уже забыли, о чемъ мы четвертаго дня разговаривали съ вами?

Борисъ Андреичъ засмѣялся, а самъ смутился въ душѣ.

— Помилуйте, Петръ Васильичъ, да вѣдь это была одна шутка.

— Шутка? Какъ же вы божились тогда, что не шутите? Нѣтъ, ужъ извините, Борисъ Андреичъ, а вы должны сдержать свое слово. Я ужъ принялъ надлежащія мѣры.

Борисъ Андреичъ еще болѣе смутился.

— Какія, однако, то-есть мѣры? спросилъ онъ.

— О, не безпокойтесь.... Чтò вы думаете! Я только предварилъ одну нашу сосѣдку прелюбезную особу, что мы съ вами сегодня намѣрены посѣтить ее.

— Кто эта сосѣдка?

— Узнаете—погодите. Вотъ вы сперва одѣньтесь, да велите лошадей заложить.

Борисъ Андреичъ съ нерѣшительностью поглядѣлъ кругомъ.

— Право, Петръ Васильичъ, что вамъ за охота.... посмотрите, какая погода.

— Ничего погода: она всегда такая бываетъ.

— И далеко ѣхать?

— Верстъ пятнадцать.

Борисъ Андреичъ молчалъ.

— Да хоть позавтракаемте сперва!

— Позавтракать—ничего, можно. Знаете что, Борисъ Андреичъ, подите одѣньтесь теперь, а я безъ васъ распоряжусь: водочки, икры кусокъ—это не долго, а у вдовушки насъ покормятъ—объ этомъ безпокоиться нечего.

— Развѣ она вдова? спросилъ, обернувшись Борисъ Андреичъ, который уже подходилъ къ дверямъ кабинета.

Петръ Васильичъ закачалъ головой.

— Вотъ увидите, увидите.

Борисъ Андреичъ ушелъ и заперъ за собою дверь, а Петръ Васильичъ, оставшись одинъ, распорядился и насчетъ коляски и насчетъ завтрака.

Борисъ Андреичъ одѣвался довольно долго. Петръ Васильичъ выпивалъ уже, слегка наморщившись и принявъ грустный видъ, вторую рюмку водки, когда Борисъ Андреичъ предсталъ на порогѣ кабинета. Онъ позаботился о своемъ туалетѣ. На немъ былъ щегольски сшитый просторный черный сюртукъ, пріятно отдѣлявшійся своей матовой массой отъ томнаго блеска свѣтлосѣрыхъ брюкъ, черный низенькій галстухъ и красивый темносиній жилетъ; золотая цѣпочка, прицѣпленная крючкомъ къ послѣдней петелькѣ, скромно терялась въ боковомъ карманѣ; тонкіе сапоги благородно скрипѣли, и вмѣстѣ съ появленіемъ Бориса Андреича разлился въ воздухѣ запахъ ess'bouquet'a въ соединеніи съ запахомъ свѣжаго бѣлья. Петръ Васильичъ только и могъ произнести, что «а!», и тотчасъ взялся за шапку.

Борисъ Андреичъ натянулъ на лѣвую руку лайковую сѣрую перчатку, предварительно подышавъ въ нее; потомъ тою же рукою нервически налилъ себѣ четверть рюмки водки и выпилъ, наконецъ взялъ шляпу и вышелъ вмѣстѣ съ Петромъ Васильичемъ въ переднюю.

— Я это только для васъ дѣлаю, сказалъ Борисъ Андреичъ, садясь въ коляску.

— Положимъ, что для меня, сказалъ Петръ Васильичъ, на котораго видимо подѣйствовалъ изящный видъ Бориса Андреича:—а, можетъ быть, вы сами будете меня благодарить.

И онъ сказалъ кучеру, какъ и куда ѣхать. Коляска покатилась.

— Мы ѣдемъ къ Софьѣ Кирилловнѣ Заднѣпровской, промолвилъ Петръ Васильичъ, послѣ довольно продолжительнаго промежутка, въ теченіе котораго оба пріятеля сидѣли неподвижно, словно каменные: — Слыхали ли вы про нее?

— Кажется, слыхалъ, отвѣчалъ Борисъ Андреичъ. — Что же, вы ее-то мнѣ въ невѣсты прочите?

— А почему же бы и нѣтъ? Она женщина отличнаго ума, съ состояньемъ, съ маперами, можно сказать, столичными. Впрочемъ, поглядите.... вѣдь это васъ ни къ чему не обязываетъ.

— Еще бы! возразилъ Борисъ Андреичъ. — А сколько ей лѣтъ?

— Лѣтъ двадцать-пять, или двадцать-семь,—никакъ не болѣе. Въ самомъ, какъ говорится, соку!

До имѣнія госпожи Заднѣпровской было не пятнадцать, а добрыхъ двадцать-пять верстъ, такъ что Борисъ Андреичъ порядкомъ продрогъ подъ конецъ и все пряталъ свой покраснѣвшій носикъ въ бобровый воротникъ шинели. Петръ Васильичъ не боялся холода вообще—и, въ

особенности, когда былъ одѣтъ по праздничному. Тогда онъ скорѣе подвергался испаринѣ. Усадьба госпожи Заднѣпровской состояла изъ новенькаго бѣлаго домика, съ зеленой крышей, въ видѣ дачи, въ городскомъ вкусѣ, съ небольшимъ садикомъ и дворомъ. Подъ Москвою часто можно встрѣтить подобныя дачи; въ провинціи онѣ попадаются рѣже. Видно было, что госпожа Заднѣпровская поселилась тутъ недавно. Пріятели вышли изъ коляски. На крыльцѣ встрѣтилъ ихъ лакей, въ гороховыхъ панталонахъ и сѣромъ, кругломъ фракѣ, съ гербовыми пуговицами; въ передней, довольно опрятной, но съ коникомъ, встрѣтилъ ихъ другой такой же лакей. Петръ Васильичъ велѣлъ доложить барынѣ о себѣ и о Борисѣ Андреичѣ. Лакей не пошелъ къ барынѣ, а отвѣчалъ, что приказано просить.

Гости отправились, и черезъ столовую, въ которой оглушительно трещала канарейка, вошли въ гостиную, съ модной мебелью изъ русскаго магазина, очень ухищренной и изогнутой, подъ предлогомъ доставленія удобства сидящимъ, а въ сущности очень неудобной. Не прошло двухъ минутъ, какъ послышался въ сосѣдней комнатѣ шелестъ шелковаго платья; портьерка приподнялась, и проворными шагами вошла въ гостиную хозяйка. Петръ Васильичъ расшаркался и подвелъ къ ней Бориса Андреича.

— Очень рада съ вами познакомиться и давно этого желала, развязно проговорила хозяйка, быстро окинувъ его взоромъ: — я очень благодарна Петру Васильичу за доставленіе такого пріятнаго знакомства. Прошу садиться.

И хозяйка сѣла, прошумѣвъ платьемъ, на низкій диванчикъ, прислонилась къ спинкѣ, протянула ноги, обутыя въ очень миленькія ботинки, и скрестила руки.

Платье на ней было зеленое, съ бѣловатыми переливами, глассе, съ воланами въ нѣсколько рядовъ.

Борисъ Андреичъ сѣлъ на кресла противъ нея, Петръ Васильичъ — немного поодаль. Разговоръ начался. Борисъ Андреичъ внимательно разсматривалъ Софью Кирилловну. Это была женщина стройная, высокая, съ тонкой тальей, смуглая и довольно красивая. Выраженіе ея лица и особенно глазъ, большихъ и блестящихъ, съ приподнятыми углами, какъ у китайцевъ, являло странную смѣсь смѣлости и робости, и никакъ не могло назваться естественнымъ. Она то щурила свои глаза, то внезапно ихъ раскрывала; а на губахъ у ней постоянно играла улыбка, желавшая казаться равнодушной. Всѣ движенія Софьи Кирилловны были очень свободны, почти рѣзки. Впрочемъ, наружность ея понравилась Борису Андреичу; только непріятно подѣйствовалъ на него косой проборъ волосъ, придававшій ея чертамъ лихой и мальчишескій видъ; сверхъ того, она, по его мнѣнію, слишкомъ чисто и правильно выражалась по-русски.... Борисъ Андреичъ раздѣлялъ мнѣніе Пушкина, что —

Какъ устъ румяныхъ безъ улыбки,
Безъ грамматической ошибки,

нельзя любить русской рѣчи. Словомъ, Софья Кирилловна принадлежала къ числу тѣхъ женщинъ, которыхъ любезники величаютъ ловкими дамами, мужья — боевыми особами, а старые холостяки — разбитными бабенками.

Сперва разговоръ зашелъ о томъ, что очень скучно жить въ деревнѣ.

— Здѣсь просто нѣтъ живой души, просто не съ кѣмъ словомъ перекинуться, говорила Софья Кирилловна, особенно отчетливо произнося букву *с*. — Я не могу понять, чтó за люди здѣсь живутъ. А тѣ, прибавила она

съ ужимкой: — съ которыми было бы пріятно познакомиться, — тѣ не ѣздятъ, оставляютъ насъ, бѣдныхъ, въ нашемъ невеселомъ одиночествѣ.

Борисъ Андреичъ слегка наклонился впередъ и пробормоталъ какое-то неловкое извиненіе, а Петръ Васильичъ только глянулъ на него, какъ бы желая сказать: «ну что́, я вамъ говорилъ? Кажется, эта за словомъ въ карманъ не полѣзетъ».

— Вы курите? спросила Софья Кирилловна.

— Курю.... но....

— Сдѣлайте одолженіе.... я сама курю.

И, сказавъ эти слова, вдова взяла со столика довольно большую серебряную сигарочницу, достала изъ нея папироску и предложила гостямъ. Оба гостя взяли по папироскѣ. Софья Кирилловна позвонила и велѣла вошедшему мальчику, съ краснымъ жилетомъ во всю грудь, подать огня. Мальчикъ принесъ восковую свѣчу на хрустальномъ подносѣ. Папироски задымились.

— Вѣдь вотъ, напримѣръ, вы не повѣрите, продолжала вдова, слегка закинувъ голову и пуская дымъ тонкой струею кверху: — здѣсь есть люди, которые находятъ, что дамамъ не слѣдуетъ курить. А ужъ верхомъ ѣздить, сохрани Боже! просто, каменьями побьютъ. — Да, прибавила она послѣ небольшого молчанія: — все, что́ выходитъ изъ-подъ общаго уровня, все, что́ нарушаетъ законы какого-то выдуманнаго приличія, подвергается здѣсь строжайшему осужденію.

— Особенно барыни на этотъ счетъ сердиты, замѣтилъ Петръ Васильичъ.

— Да, возразила вдова:—бѣда попасть къ нимъ на зубокъ! Впрочемъ, я съ ними не знаюсь вовсе; сплетни ихъ не проникаютъ въ мое пустынное убѣжище.

— И вамъ не скучно? спросилъ Борисъ Андреичъ.

— Скучно? Нѣтъ. Я читаю.... А когда книги мнѣ надоѣдаютъ, мечтаю, гадаю о будущемъ, задаю вопросы своей судьбѣ.

— Будто вы гадаете? спросилъ Петръ Васильичъ.

Вдова снисходительно улыбнулась.

— Почему же и не гадать? Я уже довольно стара для этого.

— О, что́ вы-съ! возразилъ Петръ Васильичъ.

Софья Кирилловна, прищурившись, посмотрѣла на него.

— Впрочемъ, бросимте этотъ разговоръ, промолвила она и съ живостью обратилась къ Борису Андреичу:— послушайте, мсьё Вязовнинъ, я увѣрена, что вы интересуетесь русской литературой?

— Да.... конечно, я....

Вязовнинъ любилъ читать, но собственно по-русски читалъ неохотно и мало. Особенно новѣйшая словесность была ему незнакома: онъ остановился на Пушкинѣ.

— Скажите пожалуйста, отчего Марлинскій въ послѣднее время впалъ въ такую немилость? Это, по моему, въ высшей степени несправедливо. Вы какого о немъ мнѣнія?

— Марлинскій — писатель съ достоинствами, конечно, возразилъ Борисъ Андреичъ.

— Онъ поэтъ; онъ уноситъ воображеніе въ міръ.... въ какой-то очаровательный, чудесный міръ; а въ нынѣшнее время стали описывать ежедневное. Ну, помилуйте, что хорошаго въ этой ежедневной жизни, здѣсь, на землѣ....

И Софья Кирилловна провела рукой вокругъ себя.

Борисъ Андреичъ значительно посмотрѣлъ на Софью Кирилловну.

— Я не согласенъ съ вами. Я нахожу много хорошаго

и здѣсь, сказалъ онъ, съ особеннымъ удареніемъ на послѣднемъ словѣ.

Софья Кирилловна внезапно засмѣялась какимъ-то рѣзкимъ смѣхомъ, а Петръ Васильичъ также внезапно поднялъ голову, подумалъ и опять принялся курить. Разговоръ продолжался въ томъ же родѣ, какъ начался, до самаго обѣда, безпрестанно переходя отъ одного предмета къ другому, чего не случается, когда разговоръ становится дѣйствительно занимательнымъ. Между прочимъ, рѣчь зашла о бракѣ, о его выгодахъ и невыгодахъ, и о положеніи женщинъ вообще. Софья Кирилловна сильно возставала противъ брака, пришла наконецъ въ волненіе и, почувствовавъ жаръ, выражалась очень краснорѣчиво, хотя собесѣдники ея ей почти не противорѣчили: она не даромъ любила Марлинскаго. Она также умѣла кстати прибѣгнуть къ украшеніямъ новѣйшаго слога. Слова: артистическій, художественность, обусловливать, такъ и сыпались изъ ея устъ.

— Что̀ можетъ быть для женщины дороже свободы — свободы мыслей, чувствъ, поступковъ! воскликнула она наконецъ.

— Да позвольте, перебилъ ее Петръ Васильичъ, лицо котораго понемногу начинало принимать выраженіе недовольное:—на что̀ женщинѣ свобода? что̀ она съ нею сдѣлаетъ?

— Какъ что̀? А мужчинѣ она, по вашему, нужна? То-то и есть вы, господа....

— Да и мужчинѣ она не нужна, перебилъ ее опять Петръ Васильичъ.

— Какъ не нужна?

— Да также не нужна. На что она, эта хваленая свобода человѣку? Человѣкъ свободный—это дѣло извѣстное—либо скучаетъ, либо дурачится.

— Стало-быть, замѣтила Софья Кирилловна, съ иронической усмѣшкой:—вы скучаете, потому что, зная васъ за человѣка благоразумнаго, я не могу предполагать, чтобы вы дурачились, какъ вы говорите.

— Случается и то, и другое, спокойно промолвилъ Петръ Васильичъ.

— Вотъ это мило! Впрочемъ, я должна быть благодарна вашей скукѣ за то, что имѣю удовольствіе видѣть васъ сегодня у себя....

И довольная ловкимъ оборотомъ своей фразы, хозяйка слегка закинулась назадъ и произнесла въ полголоса:

— Вашъ пріятель, я вижу, любитъ парадоксы, mr. Вязовнинъ.

— Я этого не замѣтилъ, возразилъ Борисъ Андреичъ.

— Чтó я люблю? спросилъ Петръ Васильичъ.

— Парадоксы.

Петръ Васильичъ посмотрѣлъ въ глаза Софьѣ Кирилловнѣ и ничего не отвѣтилъ ей, а только подумалъ про себя: «Я такъ знаю, чтò ты любишь»....

Мальчикъ съ краснымъ жилетомъ вошелъ и доложилъ, что обѣдъ готовъ.

— Милости просимъ, сказала хозяйка, поднимаясь съ дивана.

И всѣ перешли въ столовую.

Обѣдъ не понравился гостямъ. Петръ Васильичъ всталъ изъ-за стола голодный, хотя блюдъ было много; а Борисъ Андреичъ, какъ гастрономъ, остался недоволенъ, хоть кушанья приносились подъ жестяными колпаками и тарелки подавались грѣтыя. Вина тоже оказались плохими, несмотря на великолѣпные, золотомъ и серебромъ украшенные ярлыки на бутылкахъ. Софья Кирилловна не переставала разговаривать, — только повременамъ бросала выразительные взоры на подававшихъ людей, и винцо она

попивала порядкомъ: при чемъ замѣчала, что въ Англіи всѣ дамы употребляютъ вино, а здѣсь и это считается неприличнымъ. Послѣ обѣда хозяйка пригласила Бориса Андреича и Петра Васильича обратно въ гостиную и спросила у нихъ, что́ они предпочитаютъ — кофе или желтый чай. Борисъ Андреичъ пожелалъ чаю, и выпивъ свою чашку, внутренно сожалѣлъ о томъ, что не попросилъ кофе; а Петръ Васильичъ пожелалъ кофе и, выпивъ свою чашку, спросилъ чаю, отвѣдалъ и поставилъ чашку обратно на подносъ. Хозяйка усѣлась, закурила папироску и, повидимому, не прочь была затѣять самую оживленную бесѣду: глаза у ней разгорѣлись, и смуглыя щеки покраснѣли. Но гости отвѣчали вяло на ея бойкія рѣчи, занимались больше куреніемъ и, судя по взорамъ ихъ, внезапно устремленнымъ въ углы комнаты, думали объ отъѣздѣ. Впрочемъ Борисъ Андреичъ вѣроятно согласился бы остаться до вечера: онъ уже вступилъ-было въ преніе съ Софьей Кирилловной по поводу кокетливаго ея вопроса: не удивляется ли онъ тому, что она живетъ одна, безъ компаньонки? но Петръ Васильичъ явно торопился домой. Онъ всталъ, вышелъ въ переднюю и приказалъ заложить лошадей. Когда же, наконецъ, оба пріятеля стали прощаться, а хозяйка начала ихъ удерживать и любезно выговаривать имъ, что они такъ мало посидѣли у ней, то Борисъ Андреичъ нерѣшительнымъ наклоненіемъ своего стана и осклабленнымъ выраженіемъ лица показывалъ, по крайней мѣрѣ, что упреки ея на него дѣйствуютъ; но Петръ Васильичъ, напротивъ, то и дѣло бормоталъ: «никакъ нельзя-съ, пора ѣхать-съ, дѣла́-съ, теперь мѣсячно», и упорно пятился назадъ къ двери. Софья Кирилловна взяла съ нихъ, однако, слово, что они на дняхъ опять посѣтятъ ее, и сама протянула имъ руку для англійскаго shake-hands. Борисъ Андреичъ

одинъ воспользовался ея предложеніемъ и довольно-таки крѣпко пожалъ ея пальцы. Она прищурилась и улыбнулась. Въ это мгновенье Петръ Васильичъ уже надѣвалъ въ передней шинель въ рукава.

Коляска не успѣла еще выѣхать изъ деревни, какъ онъ первый нарушилъ молчанье, воскликнувъ:

— Не то, не то, нѣтъ, не годится, не то!

— Чтó вы хотите сказать? спросилъ его Борисъ Андреичъ.

— Не то, не то, повторялъ Петръ Васильичъ, глядя въ сторону и слегка отвернувшись.

— Если вы это говорите про Софью Кирилловну, то я съ вами не согласенъ: она очень милая дама, — съ претензіями, но милая.

— Еще бы! Конечно, если-бъ только для того, чтобы, напримѣръ.... Но вѣдь я съ какою цѣлью желалъ васъ съ нею познакомить?

Борисъ Андреичъ не отвѣчалъ.

— Ужъ я вамъ говорю, не то! Самъ вижу. Это мнѣ нравится—говорить о себѣ: «я эпикурейка». Да позвольте: вотъ у меня на правой сторонѣ двухъ зубовъ недостаетъ—развѣ я говорю объ этомъ? И безъ моихъ словъ всѣ увидятъ. И, притомъ, какая она хозяйка? чуть съ голоду не уморила. Нѣтъ, по-моему, будь развязная, будь начитанная, коли ужъ такъ тебя повернуло, будь съ бонъ-тономъ, но будь хозяйка прежде всего. Нѣтъ, не то, не то, не того вамъ надо. Этими красными жилетами да колпаками на блюдахъ васъ не удивишь.

— Да развѣ вамъ нужно, чтобъ меня удивили? спросилъ Борисъ Андреичъ.

— Ужъ я знаю, чтó вамъ нужно—теперь я знаю.

— Увѣряю васъ, что я благодаренъ вамъ за знакомство съ Софьей Кирилловной.

— Тѣмъ лучше; но она, я повторяю, не то.

Пріятели поздно вернулись домой. Уходя отъ Бориса Андреича, Петръ Васильичъ взялъ его за руку и промолвилъ:

— А я все-таки отъ васъ не отстану, слова я вашего вамъ не возвращаю.

— Помилуйте, я къ вашимъ услугамъ, возразилъ Борисъ Андреичъ.

— Ну, и прекрасно!

И Петръ Васильичъ удалился.

Цѣлая недѣля прошла опять обыкновеннымъ порядкомъ, съ тою, однако, особенностью, что Петръ Васильичъ отлучался куда-то на цѣлый день. Наконецъ, въ одно утро, явился онъ, опять одѣтый по праздничному и опять предложилъ Борису Андреичу съѣздить съ нимъ въ гости. Борисъ Андреичъ, который, какъ видно, ожидалъ этого приглашенія съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ, безпрекословно повиновался.

— Куда вы теперь меня везете? спросилъ онъ Петра Васильича, сидя съ нимъ рядомъ уже въ саняхъ.

Со времени ихъ поѣздки къ Софьѣ Кирилловнѣ зима успѣла стать.

— Я везу васъ теперь, Борисъ Андреичъ, отвѣчалъ Петръ Васильичъ съ разстановкой:—въ одинъ очень почтенный домъ—къ Тиходуевымъ. Это препочтенное семейство. Старикъ служилъ полковникомъ и прекрасный человѣкъ. Жена его прекрасная дама. У нихъ двѣ дочери, чрезвычайно любезныя особы, воспитаны отлично, и состояніе есть. Не знаю, какая вамъ больше понравится: одна, этакъ, будетъ поживѣе, другая — потише; другая-то, признаться, уже слишкомъ робка. Но обѣ могутъ за себя постоять. Вотъ вы увидите.

— Хорошо, увижу, возразилъ Борисъ Андреичъ, и по-

думалъ про себя: «словно семейство Лариныхъ изъ Онѣгина».

И, по милости ли этого воспоминанія, по другой ли какой причинѣ, черты его лица приняли на нѣкоторое время видъ разочарованный и скучающій.

— Какъ зовутъ отца? спросилъ онъ небрежно.

— Его зовутъ Калимонъ Иванычъ, отвѣтилъ Петръ Васильичъ.

— Калимонъ! что за имя!... А мать?

— А мать зовутъ Пелагеей Ивановной.

— А дочерей какъ зовутъ?

— Одну тоже Пелагеей, а другую—Эмеренціей.

— Эмеренціей? я такого имени отъ роду не слыхалъ... и еще Калимоновной.

— Да, имя точно немножко странное.... Но какая за то дѣвица! просто можно сказать, вся составлена изъ какого-то добродѣтельнаго огня.

— Петръ Васильичъ, помилуйте! какъ вы поэтически выражаетесь! А какая изъ нихъ Эмеренція—та, что потише?

— Нѣтъ, другая.... Да вотъ вы сами увидите.

— Эмеренція Калимоновна! воскликнулъ еще разъ Вязовнинъ.

— Мать зоветъ ее Emérance, въ полголоса замѣтилъ Петръ Васильичъ.

— А мужа своего—Calimon?

— Этого не слыхалъ. Да вотъ погодите.

— Подожду.

До Тиходуевыхъ было тоже верстъ около двадцати пяти, какъ до Софьи Кирилловны; но старинная усадьба ихъ нисколько не походила на щегольской домикъ развязной вдовы. Это было неуклюжее строеніе, просторное и пространное, какая-то масса темнаго тесу, съ темными стек-

лами въ окнахъ. По бокамъ стояли въ два ряда высокія березы; изъ-за крыши виднѣлись бурыя вершины огромныхъ липъ — весь домъ словно обросъ кругомъ; лѣтомъ растительность эта, вѣроятно, оживляла видъ усадьбы, зимой она придавала ей еще больше унынія. Впечатлѣніе, производимое внутренностью дома, тоже не могло назваться веселымъ: все въ немъ было мрачно и тускло, все казалось старѣе, чѣмъ оно было въ самомъ дѣлѣ. Пріятели велѣли доложить о себѣ; ихъ провели въ гостиную. Хозяева встали имъ на встрѣчу, но долгое время могли привѣтствовать ихъ только знаками и тѣлодвиженіями, на которые гости съ своей стороны отвѣчали одними улыбками и поклонами: такой ужасный лай подняли четыре бѣлыя шавки, соскочившія, при появленіи чужихъ лицъ, съ шитыхъ подушекъ, на которыхъ лежали. Кое-какъ, хлопаньемъ по воздуху носовыми платками и другими средствами, успокоили разъярившихся собаченокъ, а одну изъ нихъ, самую старую и самую злую, вошедшая дѣвка принуждена была вытащить изъ-подъ скамейки и унести въ спальню, при чемъ потерпѣла укушеніе въ правую руку.

Петръ Васильичъ воспользовался возстановившеюся тишиной и представилъ Бориса Андреича хозяевамъ. Хозяева объявили въ одинъ голосъ, что очень рады новому знакомству; потомъ Калимонъ Иванычъ представилъ Борису Андреичу своихъ дочерей, называя ихъ Полинькой и Эминькой. Въ гостиной находились еще двѣ женскія личности, уже не молодыя: одна—въ чепцѣ, другая—въ темномъ платочкѣ; но Калимонъ Иванычъ не почелъ нужнымъ познакомить съ ними Бориса Андреича.

Калимонъ Иванычъ былъ человѣкъ лѣтъ пятидесяти-пяти, высокій, плотный, сѣдой; лицо его не выражало ничего особеннаго: черты тяжелыя, простыя, съ отпечат-

комъ равнодушія, доброты и лѣни. Жена его, маленькая, худая, съ изношеннымъ личикомъ, съ накладкой красноватыхъ волосъ подъ высокимъ чепцомъ, казалась въ вѣчной тревогѣ; въ ней замѣчались слѣды давно прошедшаго жеманства. Изъ дочерей, одна Пелагея, черноволосая и смуглая, глядѣла изъ-подлобья и дичилась; другая, напротивъ, Эмеренція, бѣлокурая, полная, съ круглыми красными щеками, съ маленькимъ съеженнымъ ротикомъ, вздернутымъ носикомъ и сладкими глазками, такъ и выдавалась впередъ; видно было, что обязанность занимать гостей лежала на ея отвѣтственности и нисколько ее не тяготила. На обѣихъ сестрахъ были бѣлыя платья, со вздымавшимися отъ малѣйшаго движенія голубыми лентами. Голубое шло къ Эмеренціи, но не шло къ Полинькѣ.... да врядъ что-нибудь могло идти къ ней, хотя ее нельзя было назвать некрасивой. Гости усѣлись: хозяева предложили имъ обычные вопросы, произносимые съ тѣмъ приторнымъ и натянутымъ выраженіемъ лица, которое является у самыхъ порядочныхъ людей въ первыя мгновенія разговора съ новымъ знакомымъ; гости возражали такимъ же образомъ. Все это производило довольно тягостное впечатлѣніе. Калимонъ Иванычъ, не будучи очень находчивъ отъ природы, спросилъ Бориса Андреича: «давно-ли онъ поселился въ нашихъ краяхъ»; а Борисъ Андреичъ только-что успѣлъ отвѣтить Пелагеѣ Ивановнѣ на этотъ же самый вопросъ. Пелагея Ивановна очень нѣжнымъ голосомъ — голосомъ, который всегда употребляется при гостяхъ въ день ихъ перваго посѣщенія, — упрекнула своего мужа въ разсѣянности; Калимонъ Иванычъ немного смутился и громко высморкался въ клѣтчатый носовой платокъ. Звукъ этотъ взволновалъ одну шавку, и она залаяла; но Эмеренція тотчасъ нашлась и, приласкавъ ее, успокоила. Та

же самая дѣвица съумѣла оказать другую услугу своимъ нѣсколько уже потерявшимся родителямъ: она оживила разговоръ, скромно, но съ твердостью, подсѣвъ къ Борису Андреичу и предложивъ ему, въ свою очередь, съ самымъ умиленнымъ видомъ, вопросы, хотя незначительные, но пріятные и способные вызвать веселые отвѣты. Дѣло скоро пошло на ладъ; завязалось общее преніе, въ которомъ одна Полинька не принимала участія. Она съ упорствомъ глядѣла на полъ, между тѣмъ какъ Эмеренція даже смѣялась, граціозно приподнявъ одну руку, и въ то же время такъ держалась, какъ-будто хотѣла сказать: «смотрите, смотрите, какъ я благовоспитанна и любезна, и сколько во мнѣ милой игривости и расположенія ко всѣмъ людямъ!» Казалось, она и пришепётывала оттого, что уже очень была добра. Она смѣялась, придавая смѣху своему сладостную растянутость, хотя Борисъ Андреичъ сначала не произносилъ ничего особенно смѣшного; она смѣялась потомъ еще болѣе, когда Борисъ Андреичъ, поощренный успѣхомъ словъ своихъ, началъ дѣйствительно острить и злословить.... Петръ Васильичъ тоже смѣялся. Вязовнинъ замѣтилъ, между прочимъ, что онъ страстно любитъ музыку.

— А я какъ люблю музыку, такъ это просто ужасъ! воскликнула Эмеренція.

— Вы не только ее любите — вы сами превосходная музыкантша, замѣтилъ Петръ Васильичъ.

— Неужели? спросилъ Борисъ Андреичъ.

— Да, продолжалъ Петръ Васильичъ: — и Эмеренція Калимоновна, и Пелагея Калимоновна, обѣ поютъ и на фортепьяно играютъ отлично, особенно Эмеренція Калимоновна.

Услышавъ свое имя, Полинька вспыхнула и чуть не вскочила съ мѣста, а Эмеренція скромно потупила глаза.

— Ахъ, mesdemoiselles, заговорилъ Борисъ Андреичъ: — неужели вы не будете такъ добры.... не сдѣлаете мнѣ удовольствія....

— Я, право.... не знаю.... прошептала Эмеренція и, бросивъ украдкой взглядъ на Петра Васильича, прибавила съ упрекомъ: — ахъ, какіе вы!

Но Петръ Васильичъ, какъ человѣкъ положительный, тотчасъ обратился къ самой хозяйкѣ.

— Пелагея Ивановна, сказалъ онъ: — прикажите вашимъ дочерямъ сыграть намъ что-нибудь или спѣть.

— Я не знаю, въ голосѣ ли онѣ сегодня, возразила Пелагея Ивановна: — но можно попробовать.

— Да, попробуйте, попробуйте, промолвилъ отецъ.

— Ахъ, maman, да какъ можно....

— Эмерансъ, канъ-же-ву-ди.... проговорила вполголоса, но очень серьёзно, Пелагея Ивановна.

У ней была привычка, общая многимъ матерямъ, отдавать приказы или дѣлать наставленія своимъ дѣтямъ при другихъ людяхъ на французскомъ діалектѣ, хотя бы тѣ люди и понимали по-французски. И это было тѣмъ болѣе странно, что сама она довольно плохо знала этотъ языкъ и произносила дурно.

Эмеренція встала.

— Чтó же мы будемъ пѣть, maman? спросила она съ покорностью.

— Вашъ дуэтъ: онъ премиленькій. У моихъ дочерей, продолжала Пелагея Ивановна, обращаясь къ Борису Андреичу, разные голоса: у Эмеренціи дишкантъ....

— Сопрано, вы хотите сказать?

— Да, да, сомпрано. А у Полиньки контро-альтъ.

— А! контръ-альтъ! это очень пріятно.

— Я не могу сегодня пѣть, промолвила Полинька съ усиліемъ: — я охрипла.

Голосъ ея дѣйствительно походилъ болѣе на басъ, чѣмъ на контръ-альтъ.

— А! ну, въ такомъ случаѣ, Эмерансъ, спой намъ свою арію, ты знаешь, итальянскую фаворитную; а Полинька тебѣ будетъ аккомпанировать.

— Ту арію, гдѣ ты горошкомъ, горошкомъ, подтвердилъ отецъ.

— Бравурную, объяснила мать.

Обѣ дѣвицы подошли къ фортепьяно. Полинька подняла крышу, положила тетрадку рукописныхъ нотъ на пюпитръ и сѣла, а Эмеренція стала подлѣ нея, едва замѣтно, но мило рисуясь подъ устремленными взорами Бориса Андреича и Петра Васильича, и по временамъ поднося платокъ къ губамъ. Наконецъ она запѣла, какъ большей частью поютъ барышни—визгливо и не безъ завываній. Слова она произносила невнятно, но по инымъ носовымъ звукамъ можно было догадаться, что она поетъ по-италіянски. Подъ конецъ она дѣйствительно разсыпалась горошкомъ, къ большому удовольствію Калимона Иваныча — онъ слегка приподнялся въ креслахъ и воскликнулъ: «хорошенько его!»—но послѣднюю трель она пустила ранѣе, чѣмъ бы слѣдовало, такъ что сестра ея нѣсколько тактовъ сыграла уже одна. Это, однако же, не помѣшало Борису Андреичу изъявить свое удовольствіе и сказать Эмеренціи комплиментъ; а Петръ Васильичъ, повторилъ раза два: «очень, очень хорошо», прибавилъ: «нельзя ли теперь намъ чего-нибудь русскаго, Соловья, напримѣръ, или Сарафанчика, или какую-нибудь цыганскую пѣсенку? А то эти иностранныя штуки, правду сказать, не для нашего брата писаны».

— И я съ вами согласенъ, промолвилъ Калимонъ Иванычъ.

— Шанте....ле «Сарафанъ», замѣтила въ полголоса и съ прежней суровостью мать.

— Нѣтъ, не «Сарафанъ», подхватилъ Калимонъ Иванычъ:—а «Мы двѣ цыганки», или «Скинь-ка шапку да пониже поклонись».... знаешь?

— Папà, ужъ вы всегда такой! возразила Эмеренція и спѣла «Скинь-ка шапку», и довольно порядочно спѣла. Калимонъ Иванычъ подтягивалъ ей и подтопывалъ, а Петръ Васильичъ пришелъ въ совершенный восторгъ.

— Вотъ это другое дѣло! Вотъ это понашенски! твердилъ онъ.—Утѣшили, Эмеренція Калимоновна!... Теперь я вижу, что вы имѣли право назвать себя охотницей и мастерицей! Согласенъ: охотница и мастерица.

— Ахъ, какой вы нескромный! возразила Эмеренція и хотѣла возвратиться на свое мѣсто.

— Апрезанъ ле «Сарафанъ», проговорила мать.

Эмеренція спѣла «Сарафанъ» не съ такимъ успѣхомъ, какъ «Скинь-ка шапку», но все-таки съ успѣхомъ.

— Теперь бы слѣдовало вамъ сыграть вашу сонату въ четыре руки, замѣтила Пелагея Ивановна: — но ужъ это лучше до другого разу, а то, я боюсь, мы надоѣдимъ г-ну Вязовнину.

— Помилуйте.... началъ-было Борисъ Андреичъ.

Но Полинька тотчасъ захлопнула фортепьяно, а Эмеренція объявила, что она устала. Борисъ Андреичъ почелъ за нужное повторить свой комплиментъ.

— Ахъ, mr. Вязовнинъ, отвѣчала она:—вы, я думаю, слышали не такихъ пѣвицъ: я воображаю, послѣ нихъ, что̀ значитъ мое пѣнье.... Конечно, Бомеріусъ, когда онъ проѣзжалъ здѣсь, говорилъ мнѣ.... вѣдь вы, я думаю, слыхали про Бомеріуса?

— Нѣтъ; какой это Бомеріусъ?

— Ахъ, помилуйте! отличный скрипачъ, въ парижской

консерваторіи воспитывался, удивительный музыкантъ.... Онъ говорилъ мнѣ, что «mademoiselle, если-бъ съ вашимъ голосомъ, да поучиться у хорошаго учителя, то это было бы просто удивительно». Просто всѣ пальчики мнѣ перецѣловалъ.... Но гдѣ здѣсь учиться?

И Эмеренція вздохнула.

— Да, конечно.... вѣжливо возразилъ Борисъ Андреичъ: — но съ вашимъ талантомъ.... Онъ замялся и еще вѣжливѣе глянулъ въ сторону.

— Эмерансъ, демандѐ, пуркуа ке-ле-динѐ, проговорила Пелагея Ивановна.

— Oui, maman, возразила Эмеренція и вышла, пріятно подпрыгнувъ передъ дверью.

Она бы не подпрыгнула, если-бъ не было гостей. А Борисъ Андреичъ направился къ Полинькѣ.

«Коли это семейство Лариныхъ, подумалъ онъ:—такъ ужъ не Татьяна ли она?»

И онъ подошелъ къ Полинькѣ, которая не безъ ужаса слѣдила за его приближеніемъ.

— Вы прелестно аккомпанировали вашей сестрицѣ, началъ онъ:—прелестно!

Полинька ничего не отвѣчала, только покраснѣла до самыхъ ушей.

— Мнѣ очень жаль, что мнѣ не удалось услышать вашъ дуэтъ.... Изъ какой онъ оперы?

Глаза Полиньки безпокойно забѣгали.

Вязовнинъ подождалъ ея отвѣта; отвѣта не было.

— Какую вы больше музыку любите? спросилъ онъ, погодя немного:—италіянскую или нѣмецкую?

Полинька потупилась.

— Пелажи, репонде-донкъ, раздался взволнованный шопотъ Пелагеи Ивановны.

— Всякую, торопливо произнесла Полинька.

— Однако, какже всякую? возразилъ Борисъ Андреичъ.—Это трудно предположить. Напримѣръ, Бетховенъ—геній первой величины, и между тѣмъ оцѣненъ не всѣми.

— Нѣтъ-съ, отвѣчала Полинька.

— Искусство безконечно разнообразно, продолжалъ неугомонный Борисъ Андреичъ.

— Да-съ, отвѣчала Полинька.

Разговоръ между ними длился не долго.

«Нѣтъ — думалъ Борисъ Андреичъ, отходя отъ нея— какая это Татьяна! это просто олицетворенный трепетъ»....

А бѣдная Полинька въ тотъ день, ложась спать, со слезами жаловалась своей горничной, какъ къ ней сегодня гость присталъ съ музыкой, и какъ она не знала, чтó отвѣчать ему, и какъ она несчастна бываетъ, когда пріѣзжаютъ гости: только маменька потомъ бранится — вотъ и все удовольствіе....

За обѣдомъ Борисъ Андреичъ сидѣлъ между Калимономъ Иванычемъ и Эмеренціей. Обѣдъ былъ русскій, безъ затѣй, но сытный, и Петру Васильичу гораздо болѣе пришелся по вкусу, чѣтъ ухищренныя явства вдовы. Подлѣ него сидѣла Полинька и, побѣдивъ наконецъ свою робость, по крайней мѣрѣ отвѣчала на его вопросы. За то Эмеренція такъ усердно занимала своего сосѣда, что ему, наконецъ, пришлось не въ-мочь. У ней была привычка гнуть голову направо, поднося ко рту кусокъ слѣва—словно она заигрывала съ нимъ; и эта привычка очень не нравилась Борису Андреичу. Не нравилось ему также и то, что она безпрестанно говорила о самой себѣ, съ чувствомъ довѣряя ему самыя мелкія подробности своей жизни; — но, какъ человѣкъ вѣжливый, онъ нисколько не обнаруживалъ ощущеній своихъ, такъ что на-

блюдавшій за нимъ черезъ столъ Петръ Васильичъ рѣшительно не могъ отдать себѣ отчета, какого рода впечатлѣніе производила на него Эмеренція.

Послѣ обѣда Калимонъ Иванычъ внезапно погрузился въ задумчивость, или, говоря прямѣе, слегка осовѣлъ; онъ привыкъ спать въ это время, и хотя, замѣтивъ, что гости собираются уѣхать, нѣсколько разъ промолвилъ: «да зачѣмъ же, господа, почему? въ карточки бы?».... однако, въ душѣ былъ доволенъ, когда увидалъ наконецъ, что они уже шапки въ руки взяли. Пелагея Ивановна, напротивъ, тутъ-то и оживилась и съ особенной настойчивостью удерживала гостей. Эмеренція усердно помогала ей и всячески старалась уговаривать ихъ остаться; даже Полинька сказала имъ: mais, messieurs.... Петръ Васильичъ не отвѣчалъ ни да, ни нѣтъ, и все поглядывалъ на своего товарища; за то Борисъ Андреичъ, вѣжливо, но твердо настоялъ на необходимости возвратиться домой. Словомъ, дѣло вышло наоборотъ тому, какъ оно происходило при прощаніи съ Софьей Кирилловной. Давъ слово въ скорости повторить свое посѣщеніе, гости, наконецъ, удалились; привѣтливые взоры Эмеренціи сопровождали ихъ до самой столовой, а Калимонъ Иванычъ вышелъ даже въ переднюю и, посмотрѣвъ, какъ проворный слуга Бориса Андреича закуталъ господъ въ шубы, навязалъ имъ шарфы и натянулъ на ихъ ноги теплые сапоги, вернулся въ свой кабинетъ и немедленно заснулъ, между тѣмъ, какъ Полинька, пристыженная своею матерью, ушла къ себѣ наверхъ, а двѣ безмолвныя женскія личности, одна въ чепцѣ, другая въ темномъ платочкѣ, поздравляли Эмеренцію съ новой побѣдой.

Пріятели ѣхали молча. Борисъ Андреичъ улыбался про себя, заслоненный отъ Петра Васильича приподнятымъ

воротникомъ енотовой своей шубы, и ждалъ, что-то онъ скажетъ.

— Опять не то! воскликнулъ Петръ Васильичъ.

Но на этотъ разъ въ голосѣ его замѣчалась какая-то нерѣшительность, и онъ, силясь взглянуть на Бориса Андреича черезъ воротникъ своей шубы, прибавилъ вопросительнымъ голосомъ.

— Вѣдь не правда ли, не то?

— Не то, со смѣхомъ отвѣчалъ Борисъ Андреичъ.

— Я такъ и думалъ, возразилъ Петръ Васильичъ и помолчавъ немного, прибавилъ: — однако, въ сущности, почему же не то? Чего недостаетъ этой дѣвицѣ?

— Ей ничего не недостаетъ. Напротивъ, у ней всего слишкомъ....

— То-есть, какъ это слишкомъ?

— Да такъ!

— Позвольте, Борисъ Андреичъ, я васъ не понимаю. Если вы говорите насчетъ образованности, то развѣ это худо? А что̀ касается до характера, до поведенія....

— Эхъ, Петръ Васильичъ, возразилъ Борисъ Андреичъ: — я вамъ удивляюсь, какъ вы, съ вашимъ яснымъ взглядомъ на вещи, не видите насквозь эту сюсюкающую Эмеренцію! Эта приторная любезность, это постоянное самообожаніе, это скромное убѣжденіе въ собственныхъ достоинствахъ, эта снисходительность ангела, смотрящаго на васъ съ вышины небесъ.... да что и говорить! ужъ если на то пошло, и въ случаѣ необходимости, я въ двадцать разъ охотнѣе женился бы на ея сестрѣ: та по крайней мѣрѣ умѣетъ молчать!

— Конечно, вы правы, отвѣтилъ вполголоса бѣдный Петръ Васильичъ.

Внезапная выходка Бориса Андреича его озадачила.

«Нѣтъ — сказалъ онъ самому себѣ, и сказалъ это въ

первый разъ послѣ своего знакомства съ Вязовнинымъ:— этотъ мнѣ не пара.... слишкомъ ученъ».

А Вязовнинъ, съ своей стороны, думалъ, глядя на луну, стоявшую низко надъ бѣлой чертой небосклона: «И это словно изъ Онѣгина....

Кругла, красна лицомъ она....

—но хорошъ мой Ленскій, и хорошъ я, Онѣгинъ!»

— Пошелъ, пошелъ, Ларюшка! прибавилъ онъ громко.

— Такъ не то? шутливо спросилъ Борисъ Андреичъ Петра Васильича, вылѣзая, съ помощью лакея, изъ саней и взбираясь на крыльцо своего дома: — а, Петръ Васильичъ?

Но Петръ Васильичъ ничего не отвѣчалъ и отправился ночевать къ себѣ. А Эмеренція на другой день писала своей пріятельницѣ (она вела огромную и дѣятельную переписку): «Вчера у насъ былъ новый гость, сосѣдъ Вязовнинъ. Онъ очень милый и любезный человѣкъ, сейчасъ видно, что очень образованный, и — сказать тебѣ на ушко? — мнѣ сдается, я произвела на него довольно сильное впечатлѣніе. Но не безпокойся, mon amie: мое сердце не было затронуто, и Валентину опасаться нечего».

Этотъ Валентинъ былъ учитель въ губернской гимназіи. Въ городѣ пускался онъ во всѣ тяжкія, а въ деревнѣ вздыхалъ по Эмеренціи платонически и безнадежно.

А пріятели, по обыкновенію, сошлись снова на другое утро, и жизнь ихъ потекла прежнимъ порядкомъ.

Прошло двѣ недѣли. Борисъ Андреичъ ежедневно ожидалъ новаго приглашенія; но Петръ Васильичъ, казалось, совершенно отступился отъ своихъ намѣреній. Борисъ Андреичъ самъ начиналъ заговаривать о вдовѣ, о Тиходуевыхъ, намекалъ на то, что всякую вещь должно ис-

пытать до трехъ разъ; но Петръ Васильичъ и не показывалъ виду, что понимаетъ его намеки. Наконецъ, Борисъ Андреичъ въ одинъ день не выдержалъ и началъ такъ:

— Чтó-жъ это, Петръ Васильичъ? видно, теперь моя очередь напоминать вамъ ваши обѣщанія?

— Какія обѣщанія?

— А помните, вы хотѣли женить меня? Я жду.

Петръ Васильичъ повернулся на стулѣ.

— Да вѣдь вишь вы какіе разборчивые! Съ вами не сообразишь. Богъ васъ знаетъ! На вашъ вкусъ здѣсь у насъ, должно быть, и невѣстъ-то нѣту.

— Это нехорошо, Петръ Васильичъ. Вы не должны такъ скоро отчаяваться. Съ первыхъ двухъ разъ не удалось — это еще не бѣда. Притомъ же мнѣ вдова понравилась. Если вы отъ меня откажетесь, я къ ней поѣду.

— Что-жъ поѣзжайте,—съ Богомъ.

— Петръ Васильичъ, увѣряю васъ, я не шутя желаю жениться. Повезите меня куда-нибудь еще.

— Да право же нѣтъ больше никого въ цѣломъ околоткѣ.

— Этого быть не можетъ, Петръ Васильичъ. Будто здѣсь, по сосѣдству, нѣтъ ни одной хорошенькой?

— Какъ не быть, да не вамъ чета.

— Однако, назовите какую-нибудь.

Петръ Васильичъ стиснулъ зубами янтарь чубука.

— Да вотъ, хотя бы Вѣрочка Барсукова, промолвилъ онъ наконецъ:—чего лучше? Только не для васъ.

— Отчего?

— Слишкомъ проста.

— Тѣмъ лучше, Петръ Васильичъ, тѣмъ лучше!

— И отецъ такой чудакъ.

— И это не бѣда.... Петръ Васильичъ, другъ мой, познакомьте меня съ этой.... какъ вы бишь ее назвали?...

— Барсуковой.

— Съ Барсуковой.... пожалуйста....

И Борисъ Андреичъ не далъ покоя Петру Васильичу, пока тотъ не обѣщалъ свезти его къ Барсуковымъ.

Дня два спустя, они поѣхали къ нимъ.

Семейство Барсуковыхъ состояло изъ двухъ лицъ: отца, лѣтъ пятидесяти, и дочери, девятнадцати лѣтъ. Петръ Васильичъ не даромъ назвалъ отца чудакомъ: онъ былъ дѣйствительно чудакъ первой руки. Окончивъ блестящимъ образомъ курсъ ученія въ казенномъ заведеніи, онъ вступилъ въ морскую службу и скоро обратилъ на себя вниманіе начальства, но внезапно вышелъ въ отставку, женился, поселился въ деревнѣ и понемногу такъ облѣнился и опустился, что, наконецъ, не только никуда не выѣзжалъ—не выходилъ даже изъ комнаты. Въ коротенькомъ заячьемъ тулупчикѣ и въ туфляхъ безъ задковъ, заложивъ руки въ карманы шароваръ, ходилъ онъ по цѣлымъ днямъ изъ угла въ уголъ, то напѣвая, то насвистывая, и, что̀ бы ему ни говорили, съ улыбкой на все отвѣчалъ: «брау, брау!» то есть: браво, браво!

— Знаете ли что̀, Степанъ Петровичъ, говорилъ ему, напримѣръ, заѣхавшій сосѣдъ—а сосѣди охотно къ нему заѣзжали, потому что хлѣбосольнѣе и радушнѣе его не было человѣка на свѣтѣ: — знаете ли, говорятъ, въ Бѣлевѣ цѣна на рожь дошла до тринадцати рублей ассигнаціями.

— Брау, брау! спокойно отвѣчалъ Барсуковъ, который только-что продалъ ее по семи съ полтиной.

— А слышали вы, сосѣдъ вашъ, Павелъ Ѳомичъ, двадцать тысячъ въ карты проигралъ?

— Брау, брау! также спокойно отвѣчалъ Барсуковъ.

— Въ Шлыковѣ падежъ, замѣчалъ тутъ же сидѣвшій другой сосѣдъ.

— Брау, брау!

— Лапина барышня съ управителемъ сбѣжала....

— Брау, брау, брау!

И такъ безъ конца. Докладывали ему, что лошадь у него захромала, что пріѣхалъ жидъ съ товаромъ, что стѣнные часы со стѣны пропали, что мальчикъ зашвырнулъ куда-то свои сапоги — только и слышали отъ него, что: «брау, брау!» И между тѣмъ въ домѣ его не было замѣтно слишкомъ большого безпорядка: мужики его благоденствовали, и долговъ онъ не дѣлалъ. Наружность Барсукова располагала въ его пользу! его круглое лицо, съ большими карими глазами, тонкимъ, правильнымъ носомъ и румяными губами, поражало своей почти юношеской свѣжестью. Свѣжесть эта казалась еще ярче отъ снѣжной бѣлизны его волосъ; легкая улыбка почти постоянно играла на его губахъ, и не столько на его губахъ, сколько въ ямочкахъ на щекахъ; онъ никогда не смѣялся, но иногда, весьма рѣдко, хохоталъ истерически и всякій разъ потомъ чувствовалъ себя нездоровымъ. Говорилъ онъ, кромѣ обычнаго своего восклицанія, очень мало, и то только самое необходимое, придерживаясь притомъ всевозможныхъ сокращеній.

Его дочь, Вѣрочка, очень на него походила, и лицомъ и выраженіемъ темныхъ глазъ, казавшихся еще темнѣе отъ нѣжнаго цвѣта бѣлокурыхъ волосъ, и улыбкой. Она была небольшого роста, миловидно сложена; въ ней не было ничего особенно привлекательнаго, но стóило взглянуть на нее или услышать ея голосокъ, чтобы сказать себѣ: «вотъ доброе существо». Отецъ и дочь очень любили другъ друга. Все домашнее хозяйство на-

ходилось на ея рукахъ, и она охотно имъ занималась.... другихъ занятій она не знала. Петръ Васильичъ не даромъ назвалъ ее простою.

Когда Петръ Васильичъ съ Борисомъ Андреичемъ пріѣхали къ Барсукову, онъ, по обыкновенію, ходилъ взадъ и впередъ по своему кабинету. Этотъ кабинетъ, который можно было назвать и гостиной и столовой, потому что въ немъ принимались гости и накрывался столъ, занималъ около половины всего небольшого домика Степана Петровича. Мебель въ немъ была некрасивая, но покойная: во всю длину одной изъ стѣнъ стоялъ диванъ чрезвычайно широкій, мягкій и съ великимъ множествомъ подушекъ, — диванъ, хорошо извѣстный всѣмъ окрестнымъ помѣщикамъ. Правду сказать, отлично лежалось на этомъ диванѣ. Въ остальныхъ комнатахъ стояли одни стулья, да кой-какіе столики, да шкафы; всѣ эти комнаты были проходныя и въ нихъ никто не жилъ. Маленькая спальня Вѣрочки выходила въ садъ, и, кромѣ чистенькой ея кровати, да умывальнаго столика съ зеркальцемъ, да одного кресла, въ ней тоже мебели не было; за то вездѣ по угламъ стояли бутылки съ наливками и банки съ вареньями, перемѣченныя рукою самой Вѣрочки.

Войдя въ переднюю, Петръ Васильичъ хотѣлъ-было велѣть доложить о себѣ и о Борисѣ Андреичѣ, но случившійся тутъ мальчикъ въ долгополомъ сюртукѣ только взглянулъ на него и началъ стаскивать съ него шубу, примолвивъ: «пожалуйте-съ». Пріятели вошли въ кабинетъ къ Степану Петровичу. Петръ Васильичъ представилъ ему Бориса Андреича.

Степанъ Петровичъ пожалъ ему руку, проговорилъ:— «Радъ.... весьма. Озябли.... Водки?» И, указавъ головой на закуску, стоявшую на столикѣ, принялся снова ходить по комнатѣ.

Борисъ Андреичъ выпилъ рюмку водки, за нимъ Петръ Васильичъ, и оба усѣлись на широкомъ диванѣ съ множествомъ подушекъ. Борису Андреичу тутъ же показалось, какъ-будто онъ вѣкъ свой сидѣлъ на этомъ диванѣ и давнымъ-давно знакомъ съ хозяиномъ дома. Точно такое ощущеніе испытывали всѣ пріѣзжающіе къ Барсукову.

Онъ былъ въ тотъ день не одинъ; впрочемъ, его рѣдко можно было застать одного. У него сидѣла какая-то приказная строка, со старушечьимъ сморщеннымъ лицомъ, ястребинымъ носомъ и безпокойными глазами, совершенно истасканное существо недавно служившее въ тепломъ мѣстечкѣ, а въ настоящее время находившееся подъ судомъ. Держась одною рукою за галстухъ, а другою — за переднюю часть фрака, этотъ господинъ слѣдилъ взоромъ за Степаномъ Петровичемъ и, подождавъ, пока усядутся гости, проговорилъ съ глубокимъ вздохомъ:

— Эхъ, Степанъ Петровичъ, Степанъ Петровичъ! осуждать человѣка легко; но знаете ли вы поговорку: «грѣшенъ честный, грѣшенъ плутъ, всѣ грѣхомъ живутъ, яко же и мы?»

— Брау.... произнесъ-было Степанъ Петровичъ, но остановился и промолвилъ: — поговорка скверная.

— Кто говоритъ? конечно, скверная, возразилъ истасканный господинъ: — но что прикажете дѣлать! Вѣдь нужда-то не свой братъ: вытравитъ изъ тебя честность-то. Вотъ я готовъ на сихъ господъ-дворянъ сослаться, если только имъ угодно будетъ выслушать обстоятельства моего дѣла....

— Можно курить? спросилъ Борисъ Андреичъ хозяина.

Хозяинъ кивнулъ головой.

— Конечно, продолжалъ господинъ: — и я, можетъ быть, не разъ досадовалъ и на себя, и на свѣтъ вообще, чувствовалъ, такъ-сказать, благородное негодованіе....

— Подлецами выдумано, перебилъ его Степанъ Петровичъ.

Господинъ дрогнулъ.

— То-есть, какъ же это, Степанъ Петровичъ? Вы хотите сказать, что благородное негодованіе выдумано подлецами?

Степанъ Петровичъ опять головой кивнулъ.

Господинъ помолчалъ и вдругъ засмѣялся разбитымъ смѣхомъ; при чемъ обнаружилось, что у него ни одного зуба не оставалось, а говорилъ онъ довольно чисто.

— Хе, хе, Степанъ Петровичъ, вы всегда такое скажете. Нашъ стряпчій не даромъ говоритъ про васъ, что вы настоящій каламбуристъ.

— Брау, брау! возразилъ Барсуковъ.

Въ это мгновеніе дверь отворилась и вошла Вѣрочка. Твердо и легко выступая, несла она на зеленомъ кругломъ подносѣ двѣ чашки кофе и сливочникъ. Темносѣрое платьице стройно обхватывало ея тонкій станъ. Борисъ Андреичъ и Петръ Васильичъ поднялись оба съ дивана; она присѣла имъ въ отвѣтъ, не выпуская изъ рукъ подноса, и, подойдя къ столу, поставила на него свою ношу, примолвивъ:

— Вотъ вамъ кофе.

— Брау, проговорилъ ея отецъ. — Еще двѣ, прибавилъ онъ, указывая на гостей. — Борисъ Андреичъ, моя дочь.

Борисъ Андреичъ вторично ей поклонился.

— Хотите вы кофею? спросила она, прямо и спокойно глядя ему въ глаза.—До обѣда часа полтора.

— Съ большимъ удовольствіемъ, отвѣтилъ Борисъ Андреичъ.

Вѣрочка обернулась къ Крупицыну.

— А вы, Петръ Васильичъ?

— И я выпью.

— Сейчасъ. А давно я васъ не видала, Петръ Васильичъ.

Сказавъ это, Вѣрочка вышла.

Борисъ Андреичъ посмотрѣлъ ей вслѣдъ и, нагнувшись къ своему пріятелю, шепнулъ ему на ухо:

— Да она очень мила.... И какое свободное обхожденіе!...

— Привычка! возразилъ Петръ Васильичъ: — вѣдь у нихъ здѣсь почитай-что трактиръ. Одинъ изъ дверей, другой въ двери.

Какъ-будто въ подтвержденіе словъ Петра Васильича, въ комнату вошелъ новый гость. Это былъ человѣкъ весьма обширный, или, говоря стариннымъ словомъ, уцѣлѣвшимъ въ нашихъ краяхъ, облый, съ большимъ лицомъ, съ большими глазами и губами, съ большими взъерошенными волосами. Въ чертахъ его замѣчалось выраженіе постояннаго неудовольствія — кислое выраженіе. Одѣтъ онъ былъ въ очень просторное платье и на ходу переваливался всѣмъ тѣломъ. Онъ тяжко опустился на диванъ и только тогда сказалъ: «здравствуйте», не обращаясь, впрочемъ, ни къ кому изъ присутствующихъ.

— Водки? спросилъ его Степанъ Петровичъ.

— Нѣтъ! какое водки, отвѣчалъ новый гость:—не до водки. Здравствуйте, Петръ Васильичъ, прибавилъ онъ, оглянувшись.

— Здравствуйте, Михѣй Михѣичъ, отвѣтилъ Петръ Васильичъ:—откуда Богъ несетъ?

— Откуда? разумѣется, изъ города. Вѣдь это вамъ только, счастливцамъ, не зачѣмъ въ городъ ѣхать. А я, по милости опеки, да вотъ этихъ судариковъ, прибавилъ онъ, ткнувъ пальцемъ въ направленіи господина, нахо-

дившагося подъ судомъ: — всѣхъ лошадей загналъ, въ городъ таскавшись. Чтобъ ему пусто было!

— Михѣю Михѣичу наше нижайшее, проговорилъ господинъ, столь безцеремонно названный сударикомъ.

Михѣй Михѣичъ посмотрѣлъ на него.

— Скажи мнѣ, пожалуйста, одно, началъ, онъ скрестивъ руки: — когда тебя наконецъ повѣсятъ?

Тотъ обидѣлся.

— А слѣдовало бы! Ей-ей, слѣдовало бы! Правительство къ вашему брату слишкомъ снисходительно — вотъ что! Вѣдь какая тебѣ оттого печаль, что ты подъ судомъ? Ровно никакой! Одно только, чай, досадно: теперь ужъ нельзя—хабенъ зи гевезенъ, — и Михѣй Михѣичъ представилъ рукой, какъ-будто поймалъ что-то въ воздухѣ и сунулъ себѣ въ боковой карманъ. — Шалишь! Эхъ вы, народецъ, съ борку да съ сосенки!

— Вы все изволите шутить, возразилъ отставленный приказный: — а того не хотите сообразить, что дающій воленъ давать, а принимающій—принимать. Притомъ же я дѣйствовалъ тутъ не по собственному наущенію, а больше одно лицо участвовало, какъ я и объяснилъ....

— Конечно, иронически замѣтилъ Михѣй Михѣичъ. Лисичка подъ бороной отъ дождя хоронилася — все не каждая капля капнетъ. А сознайся, лихо тебя нашъ исправникъ допекъ? а? Вѣдь лихо?

Того передернуло.

— Человѣкъ ко укрощенію борзый, сказалъ онъ, наконецъ, съ запинкой.

— То-то же!

— А совсѣмъ тѣмъ и про нихъ можно-съ....

— Золотой человѣкъ, истинная находка, перебилъ его Михѣй Михѣичъ, обращаясь къ Степану Петровичу. —

На этихъ молодцовъ, да вотъ еще на пьяницъ — просто гигантъ!

— Брау, брау! возразилъ Степанъ Петровичъ.

Вѣрочка вошла съ другими двумя чашками кофе на подносѣ.

Михѣй Михѣичъ ей поклонился.

— Еще одну, проговорилъ отецъ.

— Что-жъ это вы сами трудитесь? сказалъ ей Борисъ Андреичъ, принимая отъ нея чашку.

— Какой же это трудъ! отвѣтила Вѣрочка:—а буфетчику я поручить не хочу: мнѣ кажется, такъ будетъ вкуснѣй.

— Конечно, изъ вашихъ рукъ.

Но Вѣрочка не дослушала его любезности, ушла и тотчасъ вернулась съ кофеемъ для Михѣя Михѣича.

— А слышали вы, заговорилъ Михѣй Михѣичъ, допивая чашку:—вѣдь Мавра Ильинична безъ языка лежитъ.

Степанъ Петровичъ остановился и приподнялъ голову.

— Какъ же, какъ же, продолжалъ Михѣй Михѣичъ.— Параличъ. Вѣдь вы знаете, она любила-таки покушать. Вотъ сидитъ она третьяго дня за столомъ и гости у ней.... Подаютъ ботвинью, а ужъ она двѣ тарелки скушала, проситъ третью.... да вдругъ оглянулась и говоритъ, этакъ, не торопясь, знаете: «примите ботвинью, всѣ люди сидятъ зеленые».... да и хлопъ со стула. Бросились поднимать ее, спрашиваютъ, что́ съ ней.... Руками объясняется, а языкъ уже не дѣйствуетъ. Еще говорятъ, уѣздный лекарь нашъ при этомъ случаѣ отличился.... Вскочилъ да кричитъ: «доктора! пошлите за докторомъ!» Совсѣмъ потерялся. Ну да и практика-то его какая! только и живъ, что мертвыми тѣлами.

— Брау, брау! задумчиво произнесъ Барсуковъ.

— И у насъ сегодня будетъ ботвинья, замѣтила Вѣрочка, присѣвшая въ углу на кончикъ стула.

—Съ чѣмъ? съ осетриной? проворно спросилъ. Михѣй Михѣичъ.

— Съ осетриной и съ балыкомъ.

— Это дѣло хорошее. Вотъ говорятъ, что ботвинья не годится зимой, потому что кушанье холодное. Это вздоръ... не правда ли, Петръ Васильичъ?

— Совершенный вздоръ, отвѣтилъ Петръ Васильичъ;— вѣдь здѣсь въ комнатѣ тепло?

— Очень тепло.

— Такъ почему же въ теплой комнатѣ не ѣсть холоднаго кушанья? Я не понимаю.

— И я не понимаю.

Подобнымъ образомъ разговоръ продолжался довольно долго. Хозяинъ почти въ немъ не принималъ участія и то-и-дѣло похаживалъ по комнатѣ. За обѣдомъ всѣ накушались на славу: такъ все было вкусно, хотя и просто приготовлено. Вѣрочка сидѣла на первомъ мѣстѣ, разливала ботвинью, разсылала блюда, слѣдила глазами, какъ кушали гости, и старалась предупреждать ихъ желанія. Вязовнинъ сидѣлъ подлѣ нея и глядѣлъ на нее пристально. Вѣрочка не могла говорить не улыбаясь, какъ отецъ, и это очень шло къ ней. Вязовнинъ изрѣдка обращался къ ней съ вопросами,—не для того, чтобы получить отъ нея какой-нибудь отвѣтъ, но именно для того, чтобы видѣть эту улыбку.

Послѣ обѣда Михѣй Михѣичъ, Петръ Васильичъ и господинъ, находившійся подъ судомъ, котораго настоящее имя было Онуфрій Ильичъ, сѣли играть въ карты. Михѣй Михѣичъ уже не такъ жестоко о немъ отзывался, хоть и продолжалъ трунить надъ нимъ; можетъ быть, это происходило отъ того, что Михѣй Михѣичъ за обѣдомъ вы-

пилъ лишнюю рюмку. Правда, онъ при всякой сдачѣ объявлялъ напередъ, что всѣ тузы и козыри будутъ у Онуфрія, что это кранивное сѣмя подтасовываетъ, что у него уже руки такія грабительскія; но за то, сдѣлавъ съ нимъ маленькій шлемъ, Михѣй Михѣичъ совершенно неожиданно похвалилъ его.

— А вѣдь, что ни говори, конечно, ты дрянь совершенная, сказалъ онъ ему: — а я тебя люблю, ей-Богу; потому что, во-первыхъ, у меня такая натура, а во-вторыхъ, коли разсудить, еще хуже тебя бываютъ, и даже можно сказать, что ты, въ своемъ родѣ, порядочный человѣкъ.

— Истину изволили сказать, Михѣй Михѣичъ, возразилъ Онуфрій Ильичъ, сильно поощренный такими словами: — самую сущую истину, а только, конечно, гоненія....

— Ну, сдавай, сдавай, перебилъ его Михѣй Михѣичъ: — что гоненія! какія гоненія! Благодари Бога, что не сидишь въ Пугачевской башнѣ на цѣпи.... Сдавай.

И Онуфрій Ильичъ принялся сдавать, проворно мигая глазами и еще проворнѣе мусля большой палецъ правой руки своимъ длиннымъ и тонкимъ языкомъ.

Между тѣмъ Степанъ Петровичъ ходилъ по комнатѣ, а Борисъ Андреичъ все держался около Вѣры. Разговоръ шелъ между ними урывками (она безпрестанно выходила), и до того незначительный, что и передать его было трудно. Онъ спрашивалъ ее о томъ, кто у нихъ въ сосѣдствѣ живетъ, часто ли она выѣзжаетъ, любитъ ли она хозяйство. На вопросъ, что она читаетъ, она отвѣчала: «я бы читала, да нѐкогда». И между тѣмъ, когда, при наступленіи ночи, мальчикъ вошелъ въ кабинетъ съ докладомъ, что лошади готовы, ему жаль стало уѣзжать, жаль перестать видѣть эти добрые глаза, эту ясную улыб-

ку. Если-бъ Степанъ Петровичъ вздумалъ его удерживать, онъ навѣрно бы остался; но Степанъ Петровичъ этого не сдѣлалъ,—не потому, чтобы онъ не былъ радъ своему новому гостю, а потому, что у него такъ было заведено: кто хотѣлъ ночевать, самъ прямо приказывалъ, чтобъ ему приготовили постель. Такъ поступили Михѣй Михѣичъ и Онуфрій Ильичъ; они даже легли въ одной комнатѣ и разговаривали долго за полночь; ихъ голоса глухо слышны были изъ кабинета: говорилъ больше Онуфрій Ильичъ, словно разсказывалъ что-то, или убѣждалъ въ чемъ, а собесѣдникъ его только изрѣдка произносилъ, то недоумѣвающимъ, то одобрительнымъ образомъ: «гм!» На другое утро они уѣхали вмѣстѣ въ деревню Михѣя Михѣича, а оттуда въ городъ, тоже вмѣстѣ.

На возвратномъ пути и Петръ Васильичъ и Борисъ Андреичъ долго безмолвствовали. Петръ Васильичъ даже заснулъ, убаюканный звяканьемъ колокольчика и ровнымъ движеніемъ саней.

— Петръ Васильичъ! сказалъ наконецъ Борисъ Андреичъ.

— Чтó? проговорилъ Петръ Васильичъ съ просонья.

— Что же вы меня не спрашиваете?

— О чемъ васъ спрашивать?

— Да какъ въ тѣ разы — то ли?

— Насчетъ Вѣрочки-то?

— Да!

— Вотъ тебѣ на! Развѣ я вамъ ее прочилъ? Она для васъ не годится.

— Напрасно вы это думаете. Мнѣ она гораздо больше нравится, чѣмъ всѣ ваши Эмеренціи да Софьи Кирилловны.

— Чтó вы?

— Я вамъ говорю.

— Да помилуйте! вѣдь она совсѣмъ простая дѣвушка. Хозяйкой она можетъ быть хорошей, — точно; да вѣдь развѣ вамъ это нужно?

— А почему же и нѣтъ? Можетъ быть, я именно этого ищу.

— Да что́ вы, Борисъ Андреичъ! помилуйте! вѣдь она по-французски совсѣмъ не говоритъ!

— Такъ что-жъ такое? Развѣ нельзя обойтись безъ французскаго языка?

Петръ Васильичъ помолчалъ.

— Я этого никакъ не предполагалъ.... отъ васъ, то-есть.... мнѣ кажется, вы шутите.

— Нѣтъ, не шучу.

— Богъ же васъ знаетъ послѣ того! А я думалъ, что она только нашему брату подъ-стать. Впрочемъ, она точно дѣвчонка хоть куда.

И Петръ Васильичъ поправилъ на себѣ шапку, уткнулся головою въ подушку и заснулъ. Борисъ Андреичъ продолжалъ думать о Вѣрочкѣ. Ему все мерещилась ея улыбка, веселая кротость ея глазъ. Ночь была свѣтлая и холодная, снѣгъ переливалъ голубоватыми огнями. словно алмазный; на небѣ вызвѣздило и стожары ярко мерцали, морозъ хрустѣлъ и скрипѣлъ подъ санями; покрытыя оледенѣлымъ инеемъ, вѣтки деревьевъ слабо звенѣли, блистая на лунѣ, какъ стеклянныя. Въ такое время воображеніе охотно играетъ. Вязовнинъ испыталъ это на себѣ. Чего-чего онъ не передумалъ, пока сани не остановились, наконецъ, у крыльца; но образъ Вѣрочки не выходилъ у него изъ головы и тайно сопровождалъ его мечтанія.

Петръ Васильичъ, какъ уже сказано, удивился впечатлѣнію, произведенному Вѣрочкой на Бориса Андреича; но онъ удивился еще болѣе два дня спустя, когда тотъ

же Борисъ Андреичъ объявилъ ему, что онъ непремѣнно желаетъ ѣхать къ Барсукову, и что поѣдетъ одинъ, если Петръ Васильичъ не расположенъ ему сопутствовать. Петръ Васильичъ, разумѣется, отвѣтилъ, что онъ радъ и готовъ, и пріятели опять поѣхали къ Барсукову, опять провели у него цѣлый день. Какъ въ первый разъ, застали они у него нѣсколько гостей, которыхъ Вѣрочка также подчивала кофеемъ, а послѣ обѣда вареньемъ; но Вязовнинъ разговаривалъ съ ней больше, чѣмъ въ первый разъ, то-есть онъ больше говорилъ ей. Онъ разсказывалъ ей о своей прошедшей жизни, о Петербургѣ, о своихъ путешествіяхъ, — словомъ, обо всемъ, что̀ ему приходило въ голову. Она слушала его съ спокойнымъ любопытствомъ, то и дѣло улыбаясь и посматривая на него, но ни на мгновенье не забывала обязанностей хозяйки: тотчасъ вставала, какъ только замѣчала, что гостямъ что-нибудь нужно, и сама все имъ приносила. Когда она удалялась, Вязовнинъ не оставлялъ своего мѣста и мирно поглядывалъ кругомъ; она возвращалась, садилась подлѣ него, брала свою работу, и онъ снова вступалъ съ нею въ разговоръ. Степанъ Петровичъ, прогуливаясь по комнатѣ, подходилъ къ нимъ, вслушивался въ рѣчи Вязовнина, бормоталъ: «брау, брау!» — и время такъ и бѣжало.... Въ этотъ разъ Вязовнинъ съ Петромъ Васильичемъ остались ночевать и уѣхали только на другой день поздно вечеромъ.... Прощаясь, Вязовнинъ пожалъ Вѣрочкѣ руку. Она слегка покраснѣла. Ни одинъ мужчина не жалъ ея руки до того дня, но она подумала, что видно такъ въ Петербургѣ заведено.

Оба пріятеля часто стали ѣздить къ Степану Петровичу, особенно Борисъ Андреичъ совершенно освоился у него въ домѣ. Бывало такъ и тянетъ его туда, такъ и подмываетъ. Нѣсколько разъ онъ даже одинъ ѣздилъ.

Вѣрочка ему нравилась все болѣе и болѣе; уже между ними завелась дружба, уже онъ началъ находить, что она — слишкомъ холодный и разсудительный другъ. Петръ Васильичъ пересталъ говорить съ нимъ о Вѣрочкѣ.... Но вотъ, однажды, утромъ, поглядѣвъ на него, по обыкновенію, нѣкоторое время въ безмолвіи, онъ значительно проговорилъ:

— Борисъ Андреичъ!

— Что? возразилъ Борисъ Андреичъ, и слегка покраснѣлъ, самъ не зная чему.

— Что̀ я вамъ хотѣлъ сказать, Борисъ Андреичъ.... Вы смотрите.... того.... вѣдь нехорошо будетъ, если, напримѣръ, что-нибудь....

— Что вы хотите сказать, возразилъ Борисъ Андреичъ: — я васъ не понимаю.

— Да насчетъ Вѣрочки....

— Насчетъ Вѣрочки?

И Борисъ Андреичъ покраснѣлъ еще болѣе.

— Да. Смотрите, вѣдь бѣды недолго надѣлать.... обидѣть то-есть.... Извините мою откровенность; но я полагаю, что мой долгъ, какъ пріятеля....

— Да съ чего вы это взяли, Петръ Васильичъ! перебилъ его Борисъ Андреичъ. Вѣрочка—дѣвушка съ самыми строгими правилами, да и наконецъ между нами, кромѣ самой обыкновенной дружбы, нѣтъ ничего.

— Ну, полноте, Борисъ Андреичъ! заговорилъ въ свою очередь Петръ Васильичъ; — съ какой стати у васъ, образованнаго человѣка, будетъ дружба съ деревенской дѣвушкой, которая, кромѣ своихъ четырехъ стѣнъ....

— Опять вы за то же! вторично перебилъ его Борисъ Андреичъ. Къ чему вы тутъ образованность приплетаете, я не понимаю.

Борисъ Андреичъ немножко разсердился.

— Ну, послушайте, однако-жъ, Борисъ Андреичъ, нетерпѣливо промолвилъ Петръ Васильичъ: — коли на то пошло, я долженъ вамъ сказать, скрываться отъ меня вы имѣете полное право, но уже обмануть меня, извините не обманете. Вѣдь у меня глаза тоже есть. Вчерашній, день (они оба были наканунѣ у Степана Петровича) мнѣ открылъ многое....

— А что́ же именно онъ открылъ вамъ? спросилъ Борисъ Андреичъ.

— А то онъ мнѣ открылъ, что вы ее любите и даже ревнуете къ ней.

Вязовнинъ посмотрѣлъ на Петра Васильича.

— Ну, а она меня любитъ?

— Этого я не могу сказать навѣрное, но странно было бы, если-бъ она не полюбила васъ.

— Оттого, что я образованъ, хотите вы сказать.

— И отъ этого, и оттого, что у васъ состояніе хорошее. Ну, и наружность ваша тоже можетъ нравиться. А главное — состояніе.

Вязовнинъ всталъ и подошелъ къ окну.

— Почему же вы могли замѣтить, что я ревную? спросилъ онъ, внезапно обернувшись къ Петру Васильичу.

— А потому, что вы вчера на себя похожи не были, пока этотъ шалопай Карантьевъ не уѣхалъ.

Вязовнинъ ничего не отвѣчалъ, но почувствовалъ въ душѣ, что пріятель его говорилъ правду. Карантьевъ этотъ былъ недоучившійся студентъ, веселый и неглупый малый, съ душою, но совершенно сбившійся съ толку и погибшій. Страсти смолоду истощили его силы; онъ слишкомъ рано остался безъ призора. У него было цыганское удалое лицо и весь онъ походилъ на цыгана, пѣлъ и плясалъ какъ цыганъ. Онъ влюблялся во всѣхъ

щинъ. Вѣрочка ему очень нравилась. Борисъ Андреичъ познакомился съ нимъ у Барсукова и сначала весьма благоволилъ къ нему; но, замѣтивъ однажды особенное выраженіе лица, съ которымъ Вѣрочка слушала его сенки, онъ сталъ о немъ думать иначе.

— Петръ Васильичъ, сказалъ Борисъ Андреичъ, подойдя къ своему пріятелю и остановясь передъ нимъ: — долженъ сознаться.... мнѣ кажется, вы правы. Я это давно самъ чувствовалъ, но вы мнѣ окончательно открыли глаза. Я точно неравнодушенъ къ Вѣрочкѣ; но вѣдь послушайте, Петръ Васильичъ, что-жъ изъ этого? И она я, мы оба не захотимъ ничего безчестнаго; притомъ же, я вамъ уже, кажется, говорилъ, что я съ ея стороны не вижу никакихъ особенныхъ знаковъ расположенія ко мнѣ.

— Все такъ, возразилъ Петръ Васильичъ: — да лукавый силенъ.

— Борисъ Андреичъ помолчалъ.

— Что же мнѣ дѣлать, Петръ Васильичъ?

— Что̀? Перестать ѣздить.

— Вы думаете?

— Конечно.... Не жениться же вамъ на ней!

Вязовнинъ опять помолчалъ.

— А почему бы и не жениться? воскликнулъ онъ наконецъ.

— Да потому, Борисъ Андреичъ, ужъ я вамъ сказалъ: она вамъ не пара.

— Этого я не вижу.

— А не видите, дѣлайте какъ знаете. Я вамъ не опекунъ.

И Петръ Васильичъ началъ набивать трубку.

Борисъ Андреичъ сѣлъ къ окну и погрузился въ задумчивость.

Петръ Васильичъ не мѣшалъ ему и преспокойно выпускалъ маленькими облаками дымъ изо рта. Наконецъ, Борисъ Андреичъ всталъ и съ замѣтнымъ волненіемъ велѣлъ закладывать лошадей.

— Куда это? спросилъ его Петръ Васильичъ.

— Къ Барсуковымъ, отвѣтилъ Борисъ Андреичъ отрывисто.

Петръ Васильичъ пыхнулъ разъ пятокъ.

— Ѣхать мнѣ съ вами, что́ ли?

— Нѣтъ, Петръ Васильичъ; я бы желалъ сегодня ѣхать одинъ. Мнѣ хочется объясниться съ самой Вѣрочкой.

— Какъ знаете.

«Вотъ — сказалъ онъ самому себѣ, проводивъ Бориса Андреича, — какъ, подумаешь, пошла шутка въ дѣло.... А все съ жиру», прибавилъ онъ, укладываясь на диванѣ.

Вечеромъ того же дня, Петръ Васильичъ, не дождавшись возвращенія своего пріятеля, только-что собирался лечь въ постель у себя дома, какъ вдругъ въ комнату, весь запорошенный снѣгомъ, ворвался Борисъ Андреичъ и прямо бросился къ нему на шею.

— Другъ мой, Петръ Васильичъ, поздравь меня! воскликнулъ онъ, въ первый разъ говоря ему *ты*: она согласилась, и старикъ тоже согласился.... Все уже кончено!

— Какъ.... что́ такое? пробормоталъ изумленный Петръ Васильичъ.

— Я женюсь!

— На Вѣрочкѣ?

— На ней.... Все уже рѣшено и улажено.

— Не можетъ быть?

— Экой ты человѣкъ!... говорятъ тебѣ, все кончено.

Петръ Васильичъ торопливо надѣлъ туфли на босу ногу, накинулъ халатъ, крикнулъ.

— Македонія, чаю! и прибавилъ:—ну, коли все уже

кончено, стало-быть, толковать нечего; дай Богъ вамъ ладъ да совѣтъ! Но разскажи мнѣ, пожалуйста, какимъ образомъ это случилось?

Замѣчательно, что съ того времени оба пріятеля начали говорить другъ другу—*ты*, какъ-будто иначе никогда и не говорили.

—Изволь, съ удовольствіемъ,—отвѣчалъ Вязовнинъ, и началъ разсказывать.

На самомъ дѣлѣ вотъ какъ это произошло.

Когда Борисъ Андреичъ пріѣхалъ къ Степану Петровичу, у него, противъ обыкновенія, не было ни одного гостя, и самъ онъ не прохаживался по комнатѣ, а сидѣлъ въ вольтеровскихъ креслахъ: ему нездоровилось. Онъ совсѣмъ переставалъ говорить, когда это съ нимъ случалось, и потому ласково кивнулъ головой вошедшему Вязовнину, показалъ ему сперва на столъ съ закуской, а потомъ на Вѣрочку, и закрылъ глаза. Вязовнину только того и нужно было: онъ подсѣлъ къ Вѣрочкѣ и вступилъ съ нею въ разговоръ въ полголоса. Рѣчь зашла о здоровьѣ Степана Петровича.

— Мнѣ всегда страшно, говорила шопотомъ Вѣрочка: — когда ему не можется. Вѣдь онъ такой: не пожалуется, не попроситъ ничего; слова отъ него не добьешься. Боленъ будетъ, не скажетъ.

— А вы его очень любите? спросилъ ее Вязовнинъ.

— Кого? папеньку? Да больше всѣхъ на свѣтѣ. Сохрани Богъ, если что́ съ нимъ случится! я, кажется, умру.

— Стало-быть, вамъ бы невозможно было съ нимъ разстаться.

— Разстаться? Для чего же разстаться?

Борисъ Андреичъ поглядѣлъ ей въ лицо.

— Дѣвушкѣ нельзя вѣкъ жить въ родительскомъ домѣ.

— А! вотъ вы на какой счетъ говорите.... Ну, въ этомъ случаѣ я покойна.... Кто меня возьметъ?

«Я!» чуть-было не сказалъ Борисъ Андреичъ, но удержался.

— Чтó вы задумались? спросила она, съ обычной своей улыбкой посмотрѣвъ на него.

— Я думаю, возразилъ онъ: — я думаю.... что.... И, вдругъ перемѣнивъ тонъ, онъ спросилъ ее, давно ли она знакома съ Карантьевымъ.

— А право не помню.... Вѣдь ихъ такъ много къ папенькѣ ѣздитъ. Кажется, онъ къ намъ въ прошломъ году въ первый разъ пріѣхалъ.

— Скажите: онъ вамъ нравится?

— Нѣтъ, отвѣчала Вѣрочка, подумавъ.

— Отчего?

— Онъ такой неопрятный, простодушно возразила она. — Впрочемъ, онъ долженъ быть хорошій человѣкъ, и поетъ такъ славно.... сердце шевелится, когда онъ поетъ.

— А! промолвилъ Вязовнинъ и, подождавъ немного, прибавилъ:—да кто-жъ вамъ нравится?

— Многіе нравятся,—вы мнѣ нравитесь.

— Мы съ вами, извѣстное дѣло, друзья. Но неужели никто больше другихъ не нравится?

— Какіе вы любопытные!

— А вы очень холодны.

— Какъ это? невинно спросила Вѣрочка.

— Послушайте.... началъ-было Вязовнинъ....

Но въ это мгновенье Степанъ Петровичъ повернулся въ креслахъ.

— Послушайте, продолжалъ онъ чуть слышно, между тѣмъ какъ кровь у него такъ и стучала въ горлѣ:—мнѣ что-то нужно вамъ сказать, очень важное.... только не здѣсь.

— Гдѣ же?

— Да хоть въ сосѣдней комнатѣ.

— Чтó такое? спросила Вѣрочка, приподнимаясь: — стало-быть, секретъ?

— Да, секретъ.

— Секретъ, повторила Вѣрочка съ удивленіемъ и вышла въ сосѣднюю комнату.

Вязовнинъ послѣдовалъ за ней, какъ въ лихорадкѣ.

— Ну, что такое? спросила она его съ любопытствомъ.

Борисъ Андреичъ хотѣлъ-было повести дѣло издалека; но, глянувъ въ это молодое лицо, оживленное той легкой улыбкой, которую онъ такъ любилъ, въ эти ясные глаза, глядѣвшіе такимъ мягкимъ взоромъ, онъ потерялся и совершенно неожиданно для самого себя, безъ всякихъ приготовленій, прямо спросилъ Вѣрочку:

— Вѣра Степановна, хотите быть моей женой?

— Какъ? спросила Вѣрочка, вспыхнувъ вся и покраснѣвъ до ушей.

— Хотите ли вы быть моей женой? машинально повторилъ Вязовнинъ.

— Я... я, право не знаю, я не ожидала... это такъ... прошептала Вѣра, протягивая руки къ оконницѣ, чтобы не упасть, — и вдругъ бросилась вонъ изъ комнаты къ себѣ въ спальню.

Борисъ Андреичъ постоялъ немного на мѣстѣ и въ большомъ смущеніи вернулся въ кабинетъ. На столѣ лежалъ нумеръ «Московскихъ Вѣдомостей». Онъ взялъ этотъ нумеръ, сѣлъ и сталъ глядѣть на строки, не только не понимая, чтó тамъ напечатано, но даже вообще не имѣя понятія о томъ, чтó съ нимъ такое происходило. Съ четверть часа провелъ онъ въ такомъ положеніи; но вотъ сзади его раздался легкій шелестъ, и онъ, не оглядываясь, почувствовалъ, что это вошла Вѣра.

*

Прошло еще нѣсколько мгновеній. Онъ глянулъ вскользь изъ-за листа «Вѣдомостей». Она сидѣла у окна отвернувшись и казалась блѣдной. Онъ наконецъ собрался съ духомъ, всталъ, подошелъ къ ней и опустился на стулъ, возлѣ нея....

Степанъ Петровичъ не шевелился, сидя съ закинутою головою въ креслахъ.

— Извините меня, Вѣра Степановна, началъ Вязовнинъ съ нѣкоторымъ усиліемъ: — я виноватъ, я не долженъ былъ такъ внезапно.... и притомъ.... я, конечно, не имѣлъ повода....

Вѣрочка ничего не отвѣчала.

— Но если ужъ оно такъ случилось, продолжалъ Борисъ Андреичъ:—то я бы желалъ знать, какой отвѣтъ....

Вѣрочка тихо потупилась; щеки ея опять вспыхнули.

— Вѣра Степановна, одно слово.

— Я, право, не знаю, начала она: — Борисъ Андреичъ.... это зависитъ отъ папеньки....

— Нездорова? раздался вдругъ голосъ Степана Петровича.

Вѣрочка вздрогнула и быстро подняла голову. Глаза Степана Петровича, устремленные на нее, выражали безпокойство. Она тотчасъ подошла къ нему.

— Вы меня спрашиваете, папенька?

— Нездорова? повторилъ онъ.

— Кто? я? Нѣтъ.... Почему вы думаете?

Онъ пристально посмотрѣлъ на нее.

— Точно здорова? спросилъ онъ еще разъ.

— Конечно; какъ *вы* себя чувствуете?

— Брау, брау, тихо проговорилъ онъ и опять закрылъ глаза.

Вѣрочка направилась къ дверямъ, Борисъ Андреичъ остановилъ ее.

— Скажите мнѣ, по крайней мѣрѣ, позволите ли вы мнѣ поговорить съ вашимъ батюшкой?

— Какъ вамъ угодно, прошептала она: — только, Борисъ Андреичъ, мнѣ кажется, я вамъ не пара.

Борисъ Андреичъ хотѣлъ-было взять ее за руку; но она уклонилась и вышла вонъ.

«Странное дѣло! подумалъ онъ: — и она тоже говоритъ, что́ Крупицынъ!»

Оставшись наединѣ съ Степаномъ Петровичемъ, Борисъ Андреичъ далъ себѣ слово объясниться съ нимъ потолковѣе и, по мѣрѣ возможности, приготовить его къ столь неожиданному предложенію; но на дѣлѣ оно оказалось еще труднѣе, чѣмъ съ Вѣрочкой. Степанъ Петровичъ чувствовалъ небольшой жаръ и не то задумывался, не то дремалъ, нехотя и нескоро отвѣчалъ на различные вопросы и замѣчанія, посредствомъ которыхъ Борисъ Андреичъ надѣялся постепенно перейти къ настоящему предмету разговора.... Словомъ, Борисъ Андреичъ, видя, что всѣ его намеки пропадаютъ даромъ, рѣшился, по неволѣ, приступить къ дѣлу прямо.

Нѣсколько разъ забиралъ онъ въ себя духъ, какъ бы готовясь говорить, останавливался и не произносилъ ни слова.

— Степанъ Петровичъ, началъ онъ наконецъ: — я намѣренъ сдѣлать вамъ предложеніе, которое васъ очень удивитъ.

— Брау, брау, спокойно проговорилъ Степанъ Петровичъ.

— Такое предложеніе, котораго вы никакъ не ожидаете.

Степанъ Петровичъ раскрылъ глаза.

— Только вы, пожалуйста, не разсердитесь на меня....

Глаза Степана Петровича расширились еще болѣе.

— Я... я намѣренъ просить у васъ руки вашей дочери, Вѣры Степановны.

Степанъ Петровичъ быстро поднялся съ вольтеровскихъ своихъ креселъ.

— Какъ? спросилъ онъ точно такимъ же голосомъ и съ такимъ же выраженіемъ лица, какъ Вѣрочка.

Борисъ Андреичъ принужденъ былъ повторить свое предложеніе.

Степанъ Петровичъ уставился на Вязовнина и долго молча смотрѣлъ на него, такъ что ему стало, наконецъ, неловко.

— Вѣра знаетъ? спросилъ Степанъ Петровичъ.

— Я объяснился съ Вѣрой Степановной, и она мнѣ позволила обратиться къ вамъ.

— Сейчасъ объяснились?

— Да, вотъ теперь.

— Подождите, проговорилъ Степанъ Петровичъ и вышелъ.

Борисъ Андреичъ остался одинъ въ кабинетѣ чудака. Въ оцѣпенѣніи глядѣлъ онъ то на стѣны, то на полъ, какъ вдругъ раздался топотъ лошадей у крыльца, дверь передней застучала, густой голосъ спросилъ: «дома?» послышались шаги, и въ кабинетъ ввалился уже знакомый намъ Михѣй Михѣичъ.

Борисъ Андреичъ такъ и обмеръ съ досады.

— Экая здѣсь теплынь! воскликнулъ Михѣй Михѣичъ, опускаясь на диванъ. — А, здравствуйте! А гдѣ же Степанъ Петровичъ?

— Онъ вышелъ, сейчасъ придетъ.

— Ужасный холодъ сегодня, замѣтилъ Михѣй Михѣичъ, наливая себѣ рюмку водки.

И, едва успѣвъ проглотить ее, съ живостью проговорилъ:

— А вѣдь я опять изъ города.

— Изъ города? возразилъ Вязовнинъ, съ трудомъ скрывая свое волненіе.

— Изъ города, повторилъ Михѣй Михѣичъ:—и все по милости этого разбойника Онуфрія. Представьте вы себѣ, наговорилъ мнѣ чертову тьму, турусы на колесахъ такіе подпустилъ, что ай-люли, ты моя радость! аферу, говоритъ, такую для васъ сыскалъ, какой еще на свѣтѣ подобной не бывало, просто сотнями загребай цѣлковенькіе; а окончилась вся афера тѣмъ, что у меня же двадцать-пять рублевъ занялъ, да въ городъ я напрасно протаскался, лошадей совершенно заморилъ.

— Скажите! пробормоталъ Вязовнинъ.

— Я вамъ говорю: разбойникъ, разбойникъ какъ есть. Ему только съ кистенемъ по дорогамъ ходить. Я, право, не понимаю, чего полиція смотритъ. Вѣдь этакъ, наконецъ, по міру отъ него пойдешь, ей-Богу.

Степанъ Петровичъ вошелъ въ комнату.

Михѣй Михѣичъ началъ ему разсказывать свои похожденія съ Онуфріемъ.

— И отчего это ему никто шеи не намнетъ! воскликнулъ онъ.

— Шеи не намнетъ, повторилъ Степанъ Петровичъ и вдругъ покатился со смѣху.

Михѣй Михѣичъ тоже засмѣялся, на него глядя, и повторилъ даже: «именно, слѣдовало бы ему шею намять»; но когда Степанъ Петровичъ упалъ наконецъ на диванъ въ судорогахъ истерическаго смѣха, Михѣй Михѣичъ обратился къ Борису Андреичу и промолвилъ, слегка разставивъ руки:

— Вотъ онъ всегда такъ; засмѣется вдругъ, чему— Господь знаетъ. Такая ужъ у него фанаберика!

Вѣрочка вошла, вся встревоженная, съ покраснѣвшими глазами.

— Папенька сегодня не совсѣмъ здоровъ, замѣтила она вполголоса Михѣю Михѣичу.

Михѣй Михѣичъ кивнулъ головой и положилъ себѣ въ ротъ кусокъ сыра. Наконецъ Степанъ Петровичъ умолкъ, приподнялся, отдохнулъ и началъ ходить по комнатѣ. Борисъ Андреичъ избѣгалъ его взоровъ и сидѣлъ какъ на иголкахъ. Михѣй Михѣичъ принялся опять бранить Онуфрія Ильича.

Сѣли за столъ; за столомъ тоже разговаривалъ одинъ Михѣй Михѣичъ. Наконецъ, уже передъ вечеромъ, Степанъ Петровичъ взялъ Бориса Андреича за руку и молча вывелъ его въ другую комнату.

— Вы хорошій человѣкъ? спросилъ онъ, глядя ему въ лицо.

— Я честный человѣкъ, Степанъ Петровичъ, отвѣчалъ Борисъ Андреичъ; — за это я могу ручаться, — и люблю вашу дочь.

— Любите? точно?

— Люблю и постараюсь заслужить ея любовь.

— Не наскучитъ? спросилъ опять Степанъ Петровичъ.

— Никогда!

Лицо Степана Петровича болѣзненно сжалось.

— Ну, смотрите же.... Любите.... я согласенъ.

Борисъ Андреичъ хотѣлъ-было обнять его; но онъ сказалъ:

— Послѣ.... хорошо.

И, отвернувшись, подошелъ къ стѣнѣ. Борисъ Андреичъ могъ замѣтить, что онъ плакалъ.

Степанъ Петровичъ утеръ глаза, не оборачиваясь, потомъ пошелъ назадъ въ кабинетъ мимо Бориса Андреича

и, не взглянувъ на него, проговорилъ, съ своей обычной улыбкой:

— Пожалуйста, ужъ сегодня больше не надо.... завтра... все.... что́ нужно....

— Хорошо, хорошо, поспѣшно возразилъ Борисъ Андреичъ, и, войдя вслѣдъ за нимъ въ кабинетъ, обмѣнялся взглядомъ съ Вѣрочкой.

На душѣ его было радостно, но и смутно въ то же время. Онъ не могъ остаться долго у Степана Петровича, въ обществѣ Михѣя Михѣича; ему непремѣнно нужно было уединиться, — притомъ его тянуло къ Петру Васильичу. Онъ уѣхалъ, обѣщаясь на другой день вернуться. Прощаясь съ Вѣрочкой въ передней, онъ поцѣловалъ ея руку; она посмотрѣла на него.

— До завтра, сказалъ онъ ей.

— Прощайте, тихо отвѣчала она.

— Вотъ видишь ли, Петръ Васильичъ, говорилъ Борисъ Андреичъ, окончивъ свой разсказъ и шагая взадъ и впередъ по его спальнѣ: — мнѣ что̀ пришло въ голову: молодой человѣкъ часто отчего не женится? оттого, что ему страшно кажется жизнь свою закабалить; онъ думаетъ: къ чему торопиться! еще успѣю, можетъ быть, чего-нибудь лучшаго дождусь; а кончается обыкновенно исторія тѣмъ, что либо состарится бобылемъ, либо женится на первой встрѣчной; это все самолюбіе да гордость! Послалъ тебѣ Богъ милую и добрую дѣвушку, не упускай случая, будь счастливъ и не прихотничай слишкомъ. Лучше Вѣрочки не найду я себѣ жены; а если ей недостаетъ чего-нибудь со стороны воспитанія, то ужъ мое дѣло будетъ объ этомъ позаботиться. Нравъ у ней довольно флегматическій, но это не бѣда — напротивъ! Вотъ почему я такъ скоро и рѣшился. Ты же мнѣ сосовѣтовалъ жениться. А если я обманулся, прибавилъ

онъ, остановился и, подумавъ немного, продолжалъ: — бѣда не велика! изъ моей жизни и такъ ничего бы не вышло.

Петръ Васильичъ слушалъ своего пріятеля молча, изрѣдка попивая изъ надтреснувшаго стакана прескверный чай, приготовленный усердной Македоніей.

— Что-жъ ты молчишь? спросилъ его наконецъ Борисъ Андреичъ, остановившись передъ нимъ. — Вѣдь, не правда ли, я дѣло говорю? вѣдь ты со мной согласенъ?

— Предложеніе сдѣлано, возразилъ Петръ Васильичъ съ разстановкой:—отецъ благословилъ, дочь не отказала, стало-быть, разсуждать ужъ болѣе нечего. Можетъ быть, оно точно все къ лучшему. Теперь надо о свадьбѣ думать, а не разсуждать; но утро вечера мудренѣе.... Завтра потолкуемъ какъ слѣдуетъ. Эй! кто тамъ? проводите Бориса Андреича.

— Да хоть обними меня, поздравь, возразилъ Борисъ Андреичъ:—какой ты право!

— Обнять я тебя обниму, съ удовольствіемъ.

И Петръ Васильичъ обнялъ Бориса Андреича.

— Дай Богъ тебѣ всего хорошаго на сей землѣ!

Пріятели разошлись.

«Все оттого—сказалъ самому себѣ вслухъ Петръ Васильичъ, полежавъ нѣкоторое время въ постели и переворачиваясь на другой бокъ — все оттого, что въ военной службѣ не служилъ! Блажить привыкъ и порядковъ не знаетъ».

Спустя мѣсяцъ, Вязовнинъ женился на Вѣрочкѣ. Онъ самъ настоятельно требовалъ, чтобы свадьбы не откладывали дальше. Петръ Васильичъ былъ у него шаферомъ.

Въ теченіе всего этого мѣсяца Вязовнинъ каждый день ѣздилъ къ Степану Петровичу; но въ обращеніи его съ Вѣрочкой и Вѣрочки съ нимъ не замѣчалось перемѣны: она стала застѣнчивѣе съ нимъ—вотъ и все. Онъ привезъ ей «Юрія Милославскаго» и самъ прочелъ ей нѣсколько главъ. Романъ Загоскина ей понравился; но, кончивъ его, она не попросила другого. Карантьевъ пріѣзжалъ разъ взглянуть на Вѣрочку, ставшую невѣстой другого и, должно признаться, пріѣзжалъ хмѣльной, все смотрѣлъ на нее, какъ бы собираясь сказать ей что-то, но не сказалъ ничего; его попросили спѣть, онъ затянулъ какую-то заунывную пѣсню, потомъ грянулъ удалую, бросилъ гитару на диванъ, распростился со всѣми, и сѣвъ въ сани, повалился грудью на постланное сѣно, зарыдалъ — и черезъ четверть часа уже спалъ мертвымъ сномъ.

Наканунѣ свадьбы Вѣрочка была очень грустна, и Степанъ Петровичъ также упалъ духомъ. Онъ надѣялся, что Борисъ Андреичъ согласится переѣхать къ нимъ на жительство; но онъ ни слова не сказалъ объ этомъ и, напротивъ, предложилъ Степану Петровичу на время поселиться въ Вязовнѣ. Старикъ отказался: онъ привыкъ къ своему кабинету. Вѣрочка обѣщалась посѣщать его по крайней мѣрѣ разъ въ недѣлю. Какъ уныло отецъ отвѣтилъ ей: «брау, брау!»

Вотъ и началъ жить Борисъ Андреичъ женатымъ человѣкомъ. Въ первое время все шло прекрасно. Вѣрочка, какъ отличная хозяйка, привела весь его домъ въ порядокъ. Онъ любовался ея нешумливой, но заботливой дѣятельностью, ея постоянно-яснымъ и кроткимъ нравомъ, называлъ ее своей маленькой голландкой и безпрестанно повторялъ Петру Васильичу, что онъ теперь только узналъ счастье. Должно замѣтить, что Петръ Ва-

сильичъ, со дня свадьбы Бориса Андреича, уже не такъ часто къ нему ходилъ и не такъ долго у него засиживался, хотя Борисъ Андреичъ попрежнему очень радушно принималъ его, хотя Вѣрочка искренно его любила.

— Твоя жизнь теперь ужъ не та, говаривалъ онъ Вязовнину, дружелюбно упрекавшему его въ томъ, что онъ охладѣлъ къ нему:—ты женатый человѣкъ, я холостой. Я могу мѣшать.

Вязовнинъ ему сперва не противорѣчилъ; но вотъ онъ понемногу началъ замѣчать, что безъ Крупицына ему было скучно дома. Жена нисколько его не стѣсняла; напротивъ, онъ иногда о ней забывалъ вовсе и по цѣлымъ утрамъ не говорилъ съ ней ни слова, хотя всегда съ удовольствіемъ и нѣжностью глядѣлъ ей въ лицо; и всякій разъ бывало, когда она своей легкой поступью проходила мимо его, ловилъ и цѣловалъ ея руку, что́ непремѣнно вызывало улыбку на ея губы. Улыбка эта была все та же, которую онъ такъ любилъ, но довольно ли одной улыбки?

Между ними было слишкомъ мало общаго, и онъ началъ догадываться объ этомъ.

«А вѣдь нечего сказать, у жены моей мало ресурсовъ»—подумалъ Борисъ Андреичъ однажды, сидя, скрестивъ руки на диванѣ.

Слова Вѣрочки, сказанныя ею въ день предложенія: «я вамъ не пара», зазвучали у него въ душѣ.

«Если-бъ я былъ какой нѣмецъ или ученый—такъ продолжалъ онъ свои размышленія — или если-бъ у меня было постоянное занятіе, которое поглощало бы бо́льшую часть моего времени, подобная жена была бы находка; но такъ! Неужто я обманулся?».... Эта послѣдняя мысль была для него мучительнѣе, чѣмъ онъ ожидалъ.

Когда, въ то же утро, Петръ Васильичъ опять повторилъ ему, что онъ имъ не можетъ мѣшать, онъ не въ состояніи былъ удержаться и воскликнулъ:

— Помилуй! ты нисколько не мѣшаешь намъ; напротивъ, при тебѣ намъ обоимъ гораздо веселѣе.... онъ чуть-было не сказалъ: легче.— И это было дѣйствительно такъ.

Борисъ Андреичъ охотно бесѣдовалъ съ Петромъ Васильичемъ, точно такимъ же образомъ, какъ бесѣдовали они до свадьбы; и Вѣрочка умѣла говорить съ нимъ, а мужа своего она ужъ очень уважала и, при всей своей несомнѣнной привязанности къ нему, не знала, чтó ему сказать, чѣмъ занять его....

Кромѣ того, она видѣла, что присутствіе Петра Васильича его оживляло. Кончилось тѣмъ, что Петръ Васильичъ сталъ совершенно необходимымъ лицомъ въ домѣ Бориса Андреича. Вѣрочку онъ полюбилъ какъ дочь свою; да и нельзя было не любить такое доброе существо. Когда Борисъ Андреичъ, по слабости человѣческой, довѣрялъ ему, какъ другу, свои завѣтныя мысли и жалобы, Петръ Васильичъ сильно упрекалъ его въ неблагодарности, вычислялъ передъ нимъ всѣ достоинства Вѣрочки, и однажды, въ отвѣтъ на замѣчаніе Бориса Андреича, что вѣдь и онъ, Петръ Васильичъ, находилъ ихъ несозданными другъ для друга, съ сердцемъ отвѣтилъ ему, что онъ ея не стóитъ.

— Я ничего не нашелъ въ ней, пробормоталъ Борисъ Андреичъ.

— Какъ ничего не нашелъ? Да развѣ ты ожидалъ отъ нея чего-нибудь необыкновеннаго? Ты въ ней нашелъ прекрасную жену. Вотъ чтó!

— Это правда, торопливо возразилъ Вязовнинъ.

Въ домѣ Вязовнина все шло по прежнему — мирно и

тихо, потому что съ Вѣрочкой не только не было возможности ссориться — даже недоразумѣній между нею и ея мужемъ существовать не могло; но внутренній разрывъ чувствовался во всемъ. Такъ въ цѣломъ существѣ человѣка замѣчается вліяніе невидимой внутренней раны. Вѣрочка не имѣла привычки жаловаться; притомъ, она даже мысленно ни въ чемъ не обвиняла Вязовнина, и ему ни разу въ голову не пришло, что ей не совсѣмъ легко жить съ нимъ. Два человѣка только ясно понимали ея положеніе: старикъ отецъ и Петръ Васильичъ. Степанъ Петровичъ съ какимъ-то особеннымъ соболѣзнованіемъ ласкалъ ее и заглядывалъ ей въ глаза, когда она къ нему пріѣзжала, — не разспрашивалъ ее ни о чемъ, но чаще вздыхалъ, расхаживая по комнатѣ, и его «брау, брау!» не звучало, какъ прежде, невозмутимымъ спокойствіемъ души, удалившейся отъ всего земного. Разлученный съ дочерью, онъ какъ-будто вдругъ поблѣднѣлъ и похудѣлъ. Отъ Петра Васильича тоже не скрылось, что̀ происходило у нея въ душѣ. Вѣрочка не требовала вовсе, чтобъ мужъ много занимался ею или даже разговаривалъ съ нею; но ее томила мысль, что она ему въ тягость. Петръ Васильичъ однажды засталъ ее неподвижно-стоявшей лицомъ къ стѣнѣ. Какъ отецъ, на котораго она чрезвычайно походила, она не любила показывать слезъ своихъ и отворачивалась, когда плакала, даже если была одна въ комнатѣ.... Петръ Васильичъ тихо прошелъ мимо нея, и ни малѣйшимъ намекомъ не подалъ ей потомъ повода думать, что онъ понялъ, зачѣмъ она стояла лицомъ къ стѣнѣ. За то онъ Вязовнину не давалъ покою; правда, онъ ни разу не произнесъ передъ нимъ тѣхъ обидно-раздражающихъ, ненужныхъ и самодовольныхъ словъ: «вѣдь я тебѣ это все напередъ предсказывалъ!» — тѣхъ словъ, которыя, замѣтимъ кстати, самые лучшіе люди,

въ мгновеніе самаго горячаго участія, не могутъ не выговорить; но онъ безпощадно нападалъ на Бориса Андреича за его равнодушіе и хандру и разъ довелъ ёго до того, что онъ побѣжалъ къ Вѣрочкѣ и съ безпокойствомъ сталъ оглядывать и разспрашивать ее. Она такъ кротко посмотрѣла на него и такъ спокойно ему отвѣчала, что онъ ушелъ, внутренно взволнованный упреками Петра Васильича, но довольный тѣмъ, что по крайней мѣрѣ Вѣрочка ничего не подозрѣвала.... Такъ прошла зима.

Подобныя отношенія долго длиться не могутъ: онѣ либо кончаются разрывомъ, либо измѣняются, рѣдко къ лучшему....

Борисъ Андреичъ не сдѣлался раздражительнымъ и взыскательнымъ, какъ это часто случается съ людьми, чувствующими себя неправыми, не позволилъ также себѣ дешоваго и, часто даже у умныхъ людей, грубаго удовольствія глумленія и подсмѣиванія, не впалъ въ задумчивость; его просто начала занимать мысль: какъ бы уѣхать куда-нибудь,—разумѣется, на время.

«Путешествіе!» твердилъ онъ, вставая поутру. «Путешествіе!» шепталъ онъ, ложась въ постель: въ этомъ словѣ таилось обаятельное для него очарованіе. Онъ попытался-было съѣздить для развлеченія къ Софьѣ Кирилловнѣ, но ея краснорѣчіе и развязность, ея улыбочки и ужимочки показались ему очень приторны. «Какое сравненіе съ Вѣрочкой!» думалъ онъ, глядя на расфранченную вдову, и между тѣмъ мысль уѣхать отъ этой самой Вѣрочки не покидала его....

Дыханіе наступившей весны, — той весны, что́ тянетъ и манитъ самихъ птицъ изъ-за морей, развѣяло его послѣднія сомнѣнія, вскружило ему голову. Онъ уѣхалъ въ Петербургъ, подъ предлогомъ какого-то важнаго и безотлагательнаго дѣла, о которомъ до того времени не было

и помину.... Разставаясь съ Вѣрочкой, онъ вдругъ почувствовалъ, что сердце его сжалось и облилось кровью: жаль ему стало тихой и доброй своей жены, слезы хлынули изъ его глазъ и оросили ея блѣдный лобъ, къ которому онъ только-что прикоснулся губами.... «Я скоро, скоро вернусь и писать буду — твердилъ онъ — душа моя!» и, поручивъ ее вниманію и дружбѣ Петра Васильича, сѣлъ въ коляску, растроганный и грустный.... Грусть его замерла мгновенно при видѣ первыхъ нѣжно-зеленыхъ ракитъ на большой дорогѣ, пролегавшей въ двухъ верстахъ отъ его деревни; непонятный, почти юношескій восторгъ заставилъ забиться его сердце; грудь его приподнялась, и онъ съ жадностью устремилъ глаза въ даль.

«Нѣтъ, воскликнулъ онъ:—я вижу, что—

«Въ одну телѣгу впречь не можно
Коня и трепетную лань»....

А какой онъ былъ *конь*?

Вѣра осталась одна; но, во-первыхъ, Петръ Васильичъ посѣщалъ ее часто, а главное — старикъ-отецъ рѣшился оторваться отъ своего любимаго обиталища и переѣхалъ на время въ домъ къ дочери. Славно зажили они втроемъ. Вкусы ихъ, привычки такъ согласовались! И между тѣмъ Вязовнинъ не только былъ забытъ ими,—напротивъ, онъ служилъ имъ всѣмъ невидимой духовной связью: они безпрестанно толковали о немъ, о его умѣ, добротѣ, образованности и простотѣ въ обращеніи. Бориса Андреича въ отсутствіе изъ его дому какъ-будто еще болѣе полюбили. Погода наступила прекрасная; дни не летѣли: нѣтъ, они проходили мирно и радостно, какъ высокія свѣтлыя облака на голубомъ и свѣтломъ небѣ. Вязовнинъ писалъ изрѣдка; его письма читались и перечитывались

съ великимъ удовольствіемъ. Онъ въ каждомъ изъ нихъ говорилъ о своемъ близкомъ возвращеніи.... Наконецъ, въ одинъ день, Петръ Васильичъ получилъ отъ него слѣдующее письмо:

«Милый другъ, добрѣйшій мой Петръ Васильичъ! Я долго думалъ, какъ начать это письмо, но, видно, лучше всего сказать тебѣ прямо, что я ѣду за границу. Это извѣстіе, я знаю, тебя удивитъ и даже разсердитъ: ты этого никакъ не могъ ожидать, — и ты будешь совершенно правъ, назвавъ меня легкомысленнымъ и безпутнымъ человѣкомъ; я и не намѣренъ вовсе оправдываться и даже въ эту минуту самъ чувствую, что краснѣю. Но выслушай меня съ нѣкоторымъ снисхожденіемъ. Во-первыхъ, я ѣду на весьма короткое время и въ такомъ обществѣ и такъ выгодно, что ты представить не можешь; а во-вторыхъ, я твердо убѣжденъ въ томъ, что, подурачившись въ послѣдній разъ, удовлетворивъ въ послѣдній разъ страсти моей видѣть все и все испытать, я сдѣлаюсь отличнымъ мужемъ, семьяниномъ и домосѣдомъ, и докажу, что умѣю цѣнить ту незаслуженную милость ко мнѣ судьбы, даровавшей мнѣ такую жену, какова Вѣрочка. Пожалуйста, убѣди и ее въ этомъ, и покажи ей это письмо. Самъ я къ ней теперь не пишу: не имѣю на то духа, — но напишу непремѣнно изъ Штеттина, куда пароходъ отправляется; а пока скажи ей, что я становлюсь передъ ней на колѣни и униженно прошу ее не сѣтовать на своего глупаго мужа. Зная ея ангельскій нравъ, я увѣренъ, она проститъ меня; а я клянусь всѣмъ на свѣтѣ, что черезъ три мѣсяца, никакъ не позже, вернусь въ Вязовну, и тогда меня силой оттуда не вытащишь до конца дней моихъ. Прощай, или лучше до скораго свиданія; обнимаю тебя и цѣлую милыя ручки мой Вѣрочки. Я вамъ изъ Штеттина напишу, куда мнѣ адресовать

письма. Въ случаѣ какихъ-нибудь непредвидѣнныхъ дѣлъ и вообще насчетъ хозяйства, я надѣюсь на тебя, какъ на каменную стѣну.

«Твой —

«Борисъ Вязовнинъ.

«P. S. Вели оклеить къ осени мой кабинетъ обоями.... слышишь?... непремѣнно».

Увы! надеждамъ, высказаннымъ Борисомъ Андреичемъ въ этомъ письмѣ, не суждено было исполниться. Изъ Штеттина онъ, по множеству хлопотъ и новыхъ впечатлѣній, не успѣлъ написать Вѣрочкѣ; но изъ Гамбурга къ ней послалъ письмо, въ которомъ извѣщалъ ее о своемъ намѣреніи посѣтить — для осмотра нѣкоторыхъ промышленныхъ заведеній, а также для выслушанія нѣкоторыхъ нужныхъ лекцій—Парижъ, куда и просилъ адресовать впредь письма — poste restante. Вязовнинъ пріѣхалъ въ Парижъ утромъ и, избѣгавъ въ теченіе дня бульвары, Тюльерійскій садъ, площадь Согласія, Пале-Рояль, взобравшись даже на Вандомскую колонну, солидно и съ видомъ habitué пообѣдалъ у Вефура, а вечеромъ отправился въ Шато-де Флёръ—посмотрѣть, въ качествѣ наблюдателя, что̀ такое въ сущности «канканъ», и какъ парижане исполняютъ этотъ танецъ. Самый танецъ не понравился Вязовнину; но одна изъ парижанокъ, исполнявшихъ канканъ, живая, стройная брюнетка съ вздёрнутымъ носомъ и бойкими глазами — ему понравилась. Онъ сталъ всё чаще и чаще возлѣ нея останавливаться, мѣнялся съ нею сперва взглядами, потомъ улыбками, потомъ словами.... Полчаса спустя, она уже ходила съ нимъ подъ руку, сказала ему — son petit nom: Julie,— и намекала на то, что она голодна и что ничего не можетъ быть лучше ужина à la Maison d'or, dans un petit

cabinet particulier. Борисъ Андреичъ самъ вовсе не былъ голоденъ, да и ужинъ въ обществѣ мамзель Жюли не входилъ въ его соображенія.... Однако, если уже таковъ здѣсь обычай, подумалъ онъ, — тó, я полагаю, надо будетъ отправиться.—«Partons!» проговорилъ онъ громко,— но въ то же мгновенье кто-то весьма больно наступилъ ему на ногу. Онъ вскрикнулъ, обернулся—и увидалъ передъ собою господина среднихъ лѣтъ, призёмистаго, плечистаго, въ тугомъ галстухѣ, въ статскомъ доверху застегнутомъ сюртукѣ и широкихъ панталонахъ военнаго покроя. Надвинувъ шляпу на самый носъ, изъ-подъ котораго двумя маленькими каскадами ниспадали крашеные усы, и оттопыривъ карманы панталонъ большими пальцами волосатыхъ рукъ, господинъ этотъ, по всѣмъ признакамъ пѣхотный офицеръ, въ упоръ уставился на Вязовнина. Выраженіе его жолтыхъ глазъ, его жосткихъ, плоскихъ щёкъ, его синеватыхъ, выпуклыхъ скулъ, всего его лица было дерзко и грубо.

— *Вы* наступили мнѣ на ногу? проговорилъ Вязовнинъ.

— Oui, monsieur.

— Но въ такихъ случаяхъ.... люди извиняются.

— А если я не хочу извиняться передъ вами, monsieur le Moscovite?

Парижане тотчасъ узнаютъ русскихъ.

— Вы, стало-быть, желали меня оскорбить? спросилъ Вязовнинъ.

— Oui, monsieur; форма вашего носа мнѣ не нравится.

— Fi, le gros jaloux!—пролепетала мамзель Жюли, для которой пѣхотный офицеръ повидимому не былъ чужимъ человѣкомъ.

— Но тогда.... началъ Вязовнинъ, какъ бы недоумѣвая....

— Вы хотите сказать, подхватилъ офицеръ: — тогда надо драться. Конечно. Очень хорошо-съ. Вотъ моя карточка.

— А вотъ моя, отвѣчалъ Вязовнинъ, не переставая недоумѣвать и словно во снѣ, съ смутнымъ біеніемъ сердца, выскрёбывая только-что купленнымъ для часовой брелоки золотымъ карандашикомъ на глянцовитой бумагѣ своей визитной карточки слова: Hôtel des Trois Monarques, № 46.

Офицеръ кивнулъ головой, объявилъ, что будетъ имѣть честь прислать своихъ секундантовъ къ m-r.... m-r.... (онъ поднесъ карточку Вязовнина къ своему правому глазу) M-r de Vazavononin — и повернулся спиной къ Борису Андреичу, который тутъ же покинулъ Шато́-де-Флёръ. Мамзель Жюли попыталась удержать его,—но онъ очень холодно посмотрѣлъ на неё.... Она медленно отъ него отвернулась и долго потомъ, присѣвъ въ сторонѣ, что-то объясняла сердитому офицеру, который попрежнему не вынималъ рукъ изъ панталонъ, водилъ усами и не улыбался....

Выйдя на улицу, Вязовнинъ подъ первымъ попавшимся газовымъ рожкомъ вторично и съ бо́льшимъ вниманіемъ прочелъ врученную ему карточку. На ней стояли слѣдующія слова: Alexandre Leboeuf, capitaine en second au 83-me de ligne.

«Неужели это можетъ имѣть какія-нибудь послѣдствія?» думалъ онъ возвратившись въ свою гостинницу. «Неужели я точно буду драться? и изъ-за чего? и на другой же день послѣ моего пріѣзда въ Парижъ! Какая глупость!»—Онъ началъ-было письмо къ Вѣрочкѣ, къ Петру Васильичу— и тотчасъ разорвалъ и бросилъ начатые листы. Вздоръ!

комедія! повторилъ онъ и легъ спать. — Но мысли его приняли другой оборотъ, когда на слѣдующее утро, за завтракомъ, явились къ нему двое господъ, весьма похожихъ на мосье Лебёфа, только помоложе (всѣ французскіе пѣхотные офицеры на одно лицо), и, объявивъ свои имена (одного звали m-r Lecoq, другого m-r Pinochet— оба служили лейтенантами «au 83-me de ligne»), отрекомендовали себя Борису Андреичу въ качествѣ секундантовъ «de notre ami, m-r Leboeuf», присланныхъ имъ для принятія нужныхъ мѣръ, такъ какъ ихъ пріятель, мосьё Лебёфъ, никакихъ извиненій не допуститъ. Вязовнинъ вынужденъ былъ съ своей стороны объявить господамъ офицерамъ, пріятелямъ мосьё Лебёфа, что будучи совершеннымъ новичкомъ въ Парижѣ, онъ еще не успѣлъ осмотрѣться и запастись секундантомъ.... («Вѣдь одного достаточно?» присовокупилъ онъ, «совершенно достаточно», отвѣтствовалъ мосьё Пиношэ), и потому онъ долженъ попросить г-дъ офицеровъ дать ему часа четыре сроку. Г-да офицеры переглянулись, пожали плечами, однако согласились и встали съ мѣстъ.

— Si monsieur le désire, проговорилъ внезапно г-нъ Пиношэ, остановившись передъ дверью (изъ двухъ секундантовъ онъ былъ очевидно самый бойкій на языкъ и ему было поручено вести переговоры — мосьё Лекокъ только похрюкивалъ одобрительно):—si monsieur le désire, повторилъ онъ (тутъ Вязовнину вспомнился мосьё Галиси, его московскій куафёръ, который часто употреблялъ эту фразу):—мы можемъ отрекомендовать одного изъ офицеровъ нашего полка—le lieutenant Barbichon, un garçon très devoué, который навѣрное согласится оказать услугу «à un gentleman» (г-нъ Пиношэ выговорилъ это слово на французскій ладъ: жантлеманъ)—вывести его изъ за-

трудненія, и ставъ вашимъ секундантомъ, приметъ ваши интересы къ сердцу—prendra à coeur vos intèrêts.

Вязовнинъ сперва изумился подобному предложенію, но сообразивъ, что у него въ Парижѣ нѣтъ знакомыхъ, поблагодарилъ г-на Пиношэ—и сказалъ, что будетъ ожидать г-на Барбишона.—И г-нъ Барбишонъ не замедлилъ явиться. Этотъ garçon très dévoué оказался чрезвычайно юркой и дѣятельной личностью. Объявивъ, что «cet animal de Leboeuf n'en fait jamais d'autres.... c'est un Othello, monsieur, un véritable Othello»,—онъ спросилъ Вязовнина: «n'est-ce pas, vous désirez que l'affaire soit sèrieuse»? и не дождавшись отвѣта, воскликнулъ: «c'est tout ce que je désirais savoir! Laissez moi faire!» — И точно: онъ такъ живо повелъ дѣло, такъ горячо принялъ къ сердцу интересы Вязовнина, что, часа четыре спустя, бѣдный Борисъ Андреичъ, отроду не умѣвшій фехтовать, уже стоялъ на самой серединѣ зеленой полянки въ Венсенскомъ лѣсу, со шпагой въ рукѣ, съ засученными рукавами рубашки и безъ сюртука, въ двухъ шагахъ отъ своего также разоблачившагося противника. Яркое солнце освѣщало эту сцену. Вязовнинъ никакъ не могъ отдать себѣ яснаго отчета въ томъ, ка́къ онъ сюда попалъ; онъ продолжалъ твердить про себя: «какъ это глупо! какъ это глупо!» и совѣстно ему становилось, словно онъ участвовалъ въ какой-то плоской шалости — и неловкая, внутрь затаенная улыбка не сходила у него съ души, а глаза его не могли оторваться отъ низкаго лба, отъ остриженныхъ подъ гребенку черныхъ волосъ торчавшаго передъ нимъ француза.

— Tout est prèt, раздался картавый голосъ; — allez! пропищалъ другой.

Лицо г-на Лебёфа приняло выраженіе не столько озлобленное, сколько хищное, Вязовнинъ замахалъ шпа-

гой.... (Пиноше увѣрилъ его, что незнаніе фехтовальнаго искусства даетъ ему великія преимущества: de grands avantages!) вдругъ произошло нѣчто необыкновенное. Что-то стукнуло, топнуло, сверкнуло — Вязовнинъ почувствовалъ въ груди съ правой стороны присутствіе какой-то холодной, длинной палки.... Онъ хотѣлъ отпихнуть ее, сказать: «не надо!» но онъ уже лежалъ на спинѣ и испытывалъ ощущеніе странное, почти смѣшное: точно ему изо всего тѣла зубъ хотѣли вытащить.... Потомъ земля тихонько поплыла подъ нимъ.... Первый голосъ сказалъ: «Tout s'est passé dans les règles, n'est ce pas, messieurs?»—второй отвѣчалъ: «Oh, parfaitement!»—и бухъ! все кругомъ полетѣло и провалилось.... Вѣрочка! едва успѣлъ тоскливо подумать Вязовнинъ....

Къ вечеру «преданный малый» привезъ его въ гостинницу des Trois Monarques — а въ ночь его не стало. Вязовнинъ отправился въ тотъ край, откуда еще не возвращалось ни одного путешественника. Онъ не пришелъ въ себя до самой смерти, и только раза два пролепеталъ! «Я сейчасъ вернусь... это ничего.... теперь въ деревню».... Русскій священникъ, за которымъ послалъ хозяинъ, далъ обо всемъ знать въ наше посольство — и «несчастный случай съ пріѣзжимъ русскимъ«, дня черезъ два, уже стоялъ во всѣхъ газетахъ.

Трудно и горько было Петру Васильичу сообщить Вѣрочкѣ письмо ея мужа; но когда дошло до него извѣстіе о гибели Вязовнина, онъ совсѣмъ потерялся. Первый прочелъ о ней въ газетахъ Михѣй Михѣичъ, и тотчасъ же вмѣстѣ съ Онуфріемъ Ильичемъ, съ которымъ опять успѣлъ сойтись, поскакалъ къ Петру Васильичу. Онъ, какъ водится, еще въ передней закричалъ: «вообразите, какое несчастье!» и т. д. Петръ Васильичъ долго не хотѣлъ ему вѣрить; но когда уже не осталось возможности

сомнѣваться, онъ, переждавъ цѣлый день, отправился къ Вѣрочкѣ. Одинъ видъ его, уничтоженный и убитый, до того испугалъ ее, что она чуть устояла на ногахъ. Онъ хотѣлъ-было приготовить ее къ роковой вѣсти, но силы ему измѣнили — онъ сѣлъ и сквозь слезы залепеталъ:

— Онъ умеръ, умеръ....

Прошелъ годъ. Отъ корней срубленнаго дерева идутъ новые отпрыски, самая глубокая рана заростаетъ, жизнь такъ же смѣняетъ смерть, какъ и сама смѣняется ею, — и сердце Вѣрочки отдохнуло понемногу и зажило.

Притомъ же ни Вязовнинъ не принадлежалъ къ числу людей незамѣнимыхъ (да и есть ли такіе люди?), ни Вѣрочка не была способна посвятить себя на вѣкъ одному чувству (да и есть ли такія чувства?). Она вышла за Вязовнина безъ принужденья и безъ восторга, была ему вѣрна и предана, но не отдалась ему вся, горевала о немъ искренно, но не безумно.... чего же болѣе? Петръ Васильичъ не переставалъ къ ней ѣздить; онъ по прежнему былъ ея самымъ близкимъ другомъ, и потому нисколько не удивительно, что, оставшись однажды наединѣ съ нею, онъ гляпулъ ей въ лицо и преспокойно предложилъ ей быть его женою.... Она улыбнулась въ отвѣтъ и протянула ему руку. Жизнь ихъ послѣ свадьбы продолжалась точно такъ же, какъ и прежде: въ ней нѐчего было перемѣнить. Съ тѣхъ поръ уже прошло около десяти лѣтъ. Старикъ Барсуковъ живетъ вмѣстѣ съ ними и, не разлучаясь ни на шагъ съ своими внуками—у него ихъ уже трое: двѣ дѣвочки и одинъ мальчикъ,—съ каждымъ годомъ молодѣетъ. Съ ними онъ даже разговариваетъ, особенно съ своимъ любимцемъ внукомъ, кудрявымъ и черноглазымъ мальчишкой, названнымъ, въ честь его, Степаномъ.

Маленькій плутъ очень хорошо знаетъ, что дѣдушка въ немъ души не чаетъ, и, вслѣдствіе этого, позволяетъ себѣ передразнивать его, какъ онъ ходитъ по комнатѣ и восклицаетъ: «брау, брау!» Эта шалость всегда возбуждаетъ большую веселость въ цѣломъ домѣ. Бѣдный Вязовнинъ до нынѣшняго дня не забытъ. Петръ Васильичъ чтитъ его память, всегда съ особеннымъ чувствомъ отзывается о немъ и при каждомъ удобномъ случаѣ непремѣнно скажетъ, что вотъ это-то любилъ покойникъ, такую-то имѣлъ онъ привычку. Петръ Васильичъ, его жена, всѣ его домашніе проводятъ время очень однообразно—мирно и тихо; они наслаждаются счастіемъ.... потому что на землѣ другого счастія нѣтъ.

1853 г.

Конецъ

ШЕСТОГО ТОМА.

Типографія Глазунова, Спб. Казанская, 8.